

Георгий Водокитин



БУРЕЛОМ







ГЕОРГИЙ ВОЛОКИТИН

# БУРЕЛОМ

ПОВЕСТЬ



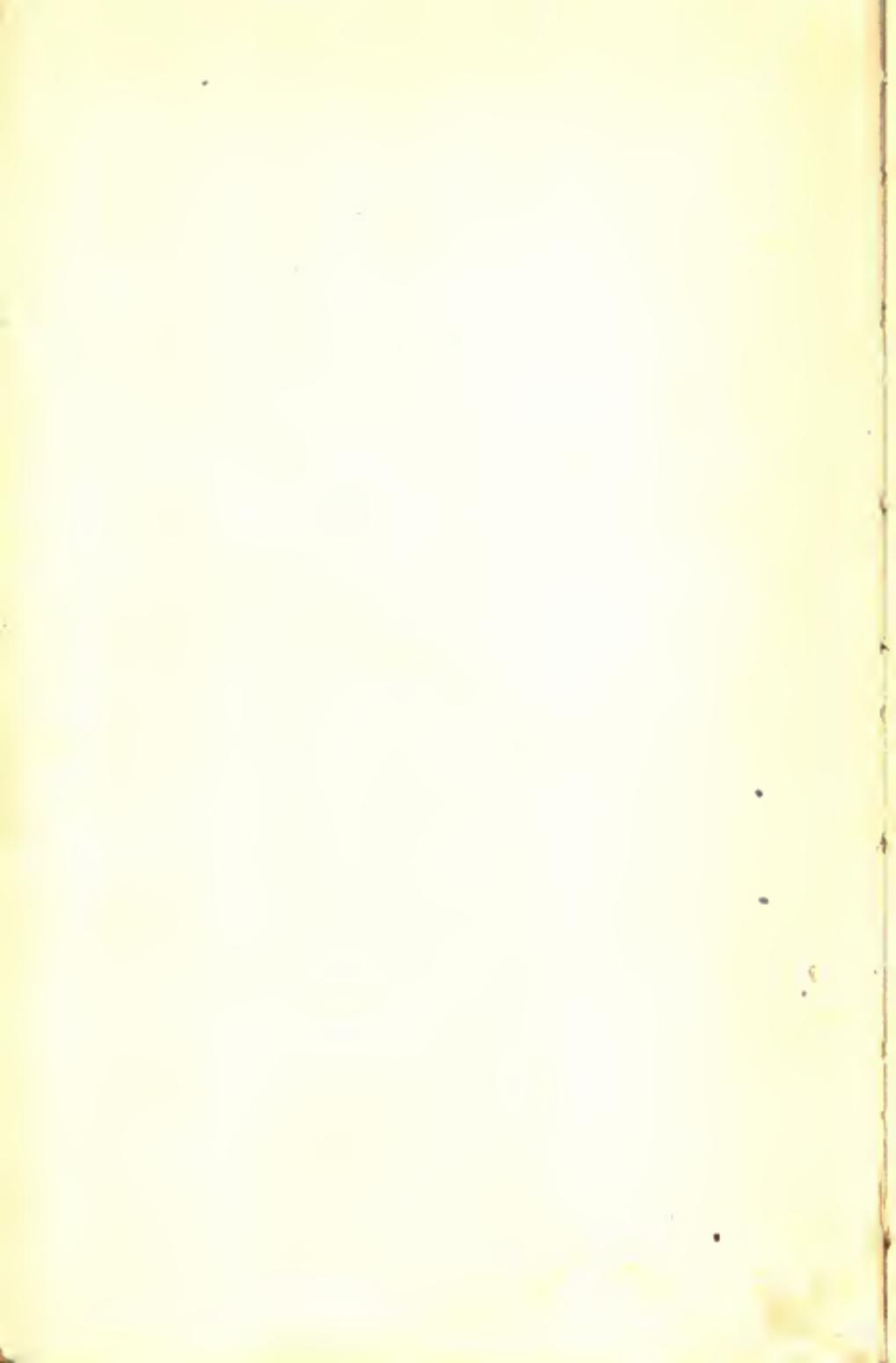
117

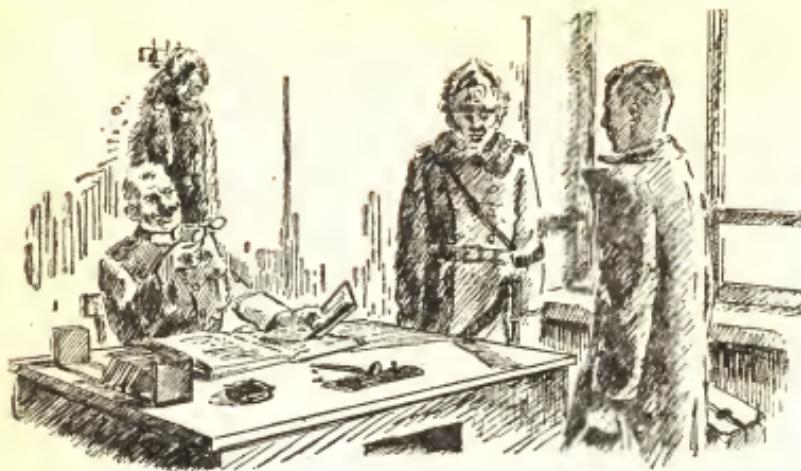
ХАКАССКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АБАКАН—1958



*Родной Советской власти посвящает  
свой скромный труд*

Автор.





Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись.  
(И. С. Тургенев. „Рудин“.)

## 1. НЕРАДУШНЫЙ ПРИЕМ

Было это 7-го января 1923 года.

Восточный почтово-пассажирский поезд, громыхая по стрелкам, подходил к харбинскому вокзалу. В окнах вагонов промелькнули водокачка, первые станционные постройки; паровоз, после долгого пробега, облегчённо вздохнув струйками пара, медленно, в последний раз, про-вернул свои огромные колёса,— и поезд плавно остановился у дебаркадера. Стрелки круглых часов на здании вокзала показывали 12.30.

— Станция Харбин! Поезд стоит сорок минут. Пере-садка Куаньченцы — Чаньчунь! — торопливо пробегая по перрону вдоль поезда, кричал толстый, приземистый обер-кондуктор в круглой барабашковой шапке.

Перрон заполнился толпой пассажиров. Одни спешили в буфет,— час был обеденный,— другие следили за пере-грузкой своих вещей на южный чаньчуньский поезд. Деловито суетились носильщики.

Кедров вышел на площадку вагона и в нерешительности остановился. Ну вот и Харбин! Добрался... Что-то дальше будет... Куда же теперь идти? Ах да, сначала в паспортный пункт...

Перед Харбином по вагонам прошли два полицейских — русский и китаец — и отобрали у всех русских пассажиров паспорта для проверки. Получить паспорта обратно надо было в паспортном пункте на харбинском вокзале.

Резкий, сухой маньчжурский ветер рванул полы демисезонного пальто, обдавая холодом смуглое молодое лицо Кедрова.

— Холодновато! — пожаловался он, натянув поглубже свою студенческую фуражку. — Но ничего... Бывало хуже...

Он взял свой лёгкий чемодан и спустился с площадки на перрон.

При входе в вокзал Кедрова атаковала толпа отельных комиссионеров:

— Господин, в гостиницу? Первоклассный отель «Эльдорадо». Все удобства... Два доллара в сутки...

— Ну-таки зачем вы его, господин, слушаете? Вы послушайте меня. Накажи меня бог, если вы где-нибудь найдёте лучше нашей «Астории». И зачем вам платить в «Эльдорадо» два доллара, когда вы можете получить номер в «Астории» за полтора?..

— Отель «Ориант»!.. В центре города...

— Господин, что я вам скажу...

Кедров, отмахнувшись от назойливых комиссионеров, прошёл в вокзал.

— Хорош «господин», нечего сказать, — усмехнулся он. — В кармане три доллара, в чемодане — смена белья да видающие виды одеяло с подушкой, и... никаких перспектив на угол для ночлега...

В паспортном пункте выдача проверенных паспортов шла быстро. Но на Кедрове русский полицейский чиновник задержался.

— Кедров Николай Георгиевич... 23-х лет. Студент Владивостокского университета... Тэк-с... Тэк-с... Студент, значит... Гм...

И, подняв глаза на Кедрова, резко спросил:

— Из Владивостока, значит? А? Большевик? Зачем изволили пожаловать?

— Помилуйте! — опешил Кедров. — Какой же я большевик? Наоборот, я бежал от большевиков... Я офицер, служил в белой армии, потом учился в университете... А вы говорите...

— Я знаю, что говорю, — перебил его полицейский.  
— Не вам меня учить. Кто вас в Харбине знает?

Кедров растерянно молчал. В самом деле, кто может его знать? Город незнакомый. Правда, во Владивостоке Кедров достал адрес инженера Якшина. Жена Якшина была дочерью знакомых родителей Кедрова по Верхнедвинску, но никто из них самого Кедрова лично не знал.

— Кто же, я спрашиваю, здесь вас знает? — повторил полицейский.

— У меня в Харбине никого знакомых нет. Но... но, может быть, я найду кого-нибудь из сослуживцев по армии... У нас командиром полка был полковник Сорокин, командиром бригады — полковник Рюмкин Михаил Фёдорович... Они меня знают.

Полковники произвели некоторое впечатление. Резкий тон полицейского смягчился.

— А где же вы думаете остановиться? — спросил он Кедрова.

— У меня есть адрес инженера Якшина. Бульварный проспект, 37...

— Что ж вы раньше молчали? — уже совсем другим тоном заговорил полицейский. — С инженером Якшиным я имею честь быть лично знакомым-с... Да-с... Вы, того... вы пока свободны; а за паспортом всё-таки вам придётся завтра зайти в третий полицейский участок. Мы ещё проверим-с! Не помешает. Так, как вы сказали, — полковник Сорокин и полковник Рюмкин вас знают?.. И запомните, молодой человек, если окажется, что вы того... Понимаете? То незамедлительно будете высланы обратно в Приморье. По этапу-с! Понятно?

Кедров пришёл в себя только на вокзальной площади.  
«Ерунда! — думал он. — Никуда меня не вышлют. Какой же я к чёрту большевик! Разберутся, в конце концов...»

Расспросив у первого встречного русского, — как пройти на Бульварный проспект, — Кедров направился разыскивать Якшиных.

В этот первый день церковного праздника «рождества» Харбин жил шумной, пьяной жизнью. Улицы города были

оживлены. Компании гуляк встречались Кедрову на каждом шагу. Сновали пролётки извозчиков, развозя визитёров. Эти пролётки поразили Кедрова, и он, как бы проснувшись, только сейчас обратил внимание, что на улицах нет снега. По голым мостовым гулко цокали копыта извозчичьих лошадей.

— Вот так зима... — удивился Кедров. — Без снега. А морозец знатный. Двадцать три градуса, — вспомнил он показание градусника на вокзале.

Из дверей одного дома с пением вышла компания подвыпившей молодёжи. До Кедрова донеслись слова песни:

Мундир английский,  
Погон российский,  
А штык японский —  
Правитель Омский.  
Ах, шарабан мой,  
Американка!  
А я девчонка,  
Да эмигрантка!..

Кедров криво усмехнулся, повторяя про себя последние слова песни: «а я девчонка, да эмигрантка».

— Ну вот, и я теперь тоже «парнишка-эмигрант». Но ничего... Хорошо всё, что хорошо кончается... Нельзя же было, в самом деле, оставаться во Владивостоке. Да и через границу удалось благополучно перейти... Ямай меня на границе — тоже бы пуля в лоб... Ни... продолжал убеждать себя Кедров, — проживу... Быть... работать, учиться. Главное — надо учиться... Закончить образование... Но, однако, где же здесь живут Якшины?

— Извините, вы не скажете мне, где здесь дом номер 37? — обратился он к двум прохожим. Один из них был в суконной, подбитой мехом бекеше, в офицерской фуражке с кокардой, другой — в енотовой шубе и бобровой шапке. Оба — сильно навеселе.

— Номер 37? — заплетающимся языком переспросила «енотовая шуба». — А ты кто? Студент? Внутренний враг, значит... — «Енотовая шуба» пьяно икнула, обдав Кедрова винным запахом. — Ага... Студент... Представитель прогрессивной русской инт... и-ик!... интеллигенции... Х'орошо!.. Вот, — обратилась «енотовая шуба» к «бекеше», — пусть нам этот господин студент скажет — прав я или нет? А, что? И-ик... М-да... Пусть скажет... Я говорю — большевики развалили Россию, а мы её вос... восстановим, гово-

рю. Да! Кто хранит русские традиции? М-мы! Да, мы! Старая русская интеллигенция! Где она вся сейчас? Здесь! А там — сброд! А, что? Не прав я?

— Им там скоро всем крышка! — мрачно подтвердила «бекеша». — Иностранцы не допустят...

— Правильно! — восторженно изрекла «енотовая шуба» и обняла Кедрова. — Слушай, студент! Дай я тебя поцелую. Вот вернёмся в Россию, я тебя в своё имение увезу... Хочешь?

Кедров молча вырвался из объятий «енотовой шубы» и быстро зашагал по улице.

— Не желаешь? — донеслись до него пьяные выкрики «енотки». — Ну, чёрт с тобой! В другой раз — морду набью. Социалист голоштанный...

— Мало их казачьими нагайками пороли да вешали, — уловил Кедров слова «бекеши». — Надо было всех перевешать, тогда бы этой проклятой революции не было..

Вскоре Кедров нашёл квартиру Якшина.

На звонок дверь открыла миловидная горничная.

— Пожалуйста, проходите, — пригласила она. — Барыни дома, принимает. Разрешите ваше пальто...

— Я не с визитом, — прошёл Кедров в переднюю. — Я по делу. Р' доложите — Кедров. Моя фамилия Кедров. Вышла чиня — Лидия Михайловна Якшина.

— Кт ч, Маша? — щуря глаза, спросила она горничную.

— К в а ли господин, по делу.

— По делу?! — удивлённо протянула Якшина. — Да кто же в первый день рождества делами занимается! Вы, молодой человек, — пригласила она Кедрова, — снимайте ваше пальто и — милости прошу выпить, закусить...

— Я, собственно говоря, не с визитом, — извиняющимся голосом отвечал Кедров. — У меня к вам дело. Мне во Владивостоке дали ваш адрес. Я — Кедров, Николай Кедров, из Верхнеудинска... Я только что приехал, мне негде остановиться... Может быть... может быть, у вас...

— У нас?.. Но тогда вам надо поговорить с мужем, а он уехал с визитами. Вы зайдите... Ну, хотя бы, завтра...

— Да, но, — сделал последнюю попытку Кедров, — дело в том, что ваши и мои родители хорошо знакомы по Верхнеудинску. Ведь вы же урождённая Рыцк? Я очень рассчитывал...

— Вот это идея! — оживилась Якшина. — Я вам дам

адрес отца. Папа и мама живут на Пристани, Водопроводная, 5. У них как раз перед рождеством освободилась одна комната...

Из столовой, из общего весёлого гама вырвался возглас:

— За здоровье очаровательной хозяйки! Предлагаю выпить за здоровье хозяйки!

Кто-то запел:

Выпьем мы за Лиду,  
Лиду дорогую,  
А пока не выпьем,  
Не нальём другую.

— Извините, господа,— спохватился другой голос,— а где же хозяйка? Лидия Михайловна!.. Лидия Ми-хай-ловна-а!

— Ay!..— кокетливо отозвалась Якшина.— Иду, иду... У меня тут деловой разговор.

Из столовой вышел один из гостей:

— Деловой разговор?!.. Ай-яй-яй, Лидия Михайловна, в отсутствие мужа деловые разговоры с молодыми людьми! Да ежели вы от нас сейчас чарочку не выкушаете, незамедлительно всё вашему супругу доложим. Всё-с!..

— Значит, запомнили: Пристань, Водопроводная, 5,— кивнула Кедрову Якшина и ушла в столовую.

Чарочка моя,  
Серебряная,  
На золотом блюде поставленная,—

донеслось до Кедрова из квартиры Якшиных нестройное пение, когда горничная закрыла за ним дверь.

Около четырёх часов дня Кедров звонил в квартиру Рыцк. Дверь открыл благообразный старик с длинной седой бородой.

— Я хотел бы видеть господина Рыцк, — нерешительно проговорил Кедров.

— Ну, предположим, что Рыцк это я. Что вам от меня угодно? — сухо ответил старик и сердито добавил: — Да вы проходите, проходите в переднюю, не выстуживайте квартиру. Не лето...

— Видите ли, — несмело начал в передней Кедров, потерявший от такого приёма всякую надежду на благоприятный исход разговора. — Видите ли... Я — Кедров. Николай Кедров. Сын полковника Кедрова, из Верхнеу-

динска. Я-то сам сейчас из Владивостока. А мой отец в Верхнеудинске... Вы ведь знакомы с моим отцом?..

— Так, так... С вашим папашей я, действительно, имею честь быть знакомым...

— Ну вот, тем более! — воспрянул духом Кедров. — Мне во Владивостоке дали адрес вашей дочери, мадам Якшиной. Я был сейчас у неё, и она направила меня к вам. Я только с поезда, и мне негде ночевать...

— Это она напрасно, — сердито проговорил старик. — Живём вдвоём с женой в трёх комнатах, самим повернуться негде. А папаше будете писать, — привет передавайте. А за сим — честь имею кланяться!..

Последняя надежда на очлег рухнула. Кедров беспомощно брёл по улице, подняв воротник своего демисезона. Первую встречу, оказанную ему Харбином, никак нельзя было назвать радушной.

Куда идти? В гостиницу? Рискнуть последними долларами? Но документы задержаны в паспортном пункте, без них в гостиницу не пустят. Разве на вокзале переночевать?

## 2. ТОВАРИЩ ПО УНИВЕРСИТЕТУ

— Кедров! Коля! Какими судьбами? — вывел его из раздумья оклик.

Кедров вскинул глаза. Перед ним, расплывшись широкой радостной улыбкой, стоял его товарищ по университету Вася Троицкий.

— Вася! — обрадованно вскрикнул Кедров. — Вот неожиданная встреча!

— Почему неожиданная? Все дороги, дружище, в Рим ведут, — похлопал Кедрова по плечу Троицкий, — а наши в Харбин! Ты когда приехал?

— Сегодня.

— Где остановился?

— Пока нигде. Вернее — негде остановиться. Брожу по улицам, как неприкаянный. Хоть под забором ночуй!

— Так в чём же дело! Пошли ко мне, — предложил Троицкий. — Места хватит. Или лучше — поедем. Извозчик! — окликнул он проезжавшего мимо свободного извозчика. — Модягоу — полтинник... Я, брат, предусмотрительно пораньше смотался из Владивостока, — рассказывал по дороге Троицкий. — Когда там ещё воевода Дитерикс меч-

тал о въезде в Москву на белом коне. Мои родители, ты знаешь, в Харбине с постройки дороги живут. Выслал мне стечь деньжат и поторопил. Отсюда-то виднее было, чем там всё кончится. Ну, а ты как выбрался?

— До Гродеково в поезде. А там через границу пешком по сопкам.

— А с визой как?

— Использовал древнюю китайскую психологию. За тридцать долларов полицейский чиновник наставил на моём паспорте все необходимые печати. Не подкопаешься! Хотя, между прочим, документы у меня задержали на вокзале в паспортном пункте.

— Как так?

— За большевика приняли. Будут проверять мою личность. Сказали зайти за паспортом в какой-то ваш тут третий полицейский участок.

— Ну это маленькое дело, — засмеялся Троицкий. — Мой папахен — старый харбинец, со всей полицией «за ручку и на ты». Он с самой постройки занимается подрядами на дорогу. А в этом деле надо с полицией дружить. Как говорится: не подмажешь — не уедешь. Приходится ему одаривать всю полицию «и на Кузьму и на Онуфрия». Но зато и полиция к нему относится с подобающим уважением. С твоим паспортом он в момент всё уладит...

Уже смеркалось, когда приятели въехали в Модягоу — большой пригород Харбина, — где Троицкие жили в своём собственном доме.

К вечеру ещё больше похолодало. В морозном тумане блёкли огни уличных фонарей, фары встречных автомашин. Деревья в палисадниках молягоуских домов, в большинстве одноэтажных, стояли покрытые густым серебристым инеем.

— Ну вот и наше «Царское Село»! — проговорил Троицкий.

— Какое царское село? — обернулся к нему Кедров.

— А это теперь так наше Модягоу окрестили, после того, как в Харбин понесали беженцы. Все белые генералы здесь живут. На каждом шагу только и слышишь «Ваше превосходительство». Стой! Стой! — закричал Троицкий извозчику. — За разговорами чуть свой дом не проехали. Выгружайся, друже.

Дома друзей встретила мать Троицкого, невысокого роста, полная, рыхлая женщина.

— Это ты, Васенька? А я думала опять визитёры. С утра, как постоянный двор,— одни из дверей, другие в двери. Ты потише, Васенька, отец-то спит. Больно грузный приехал, навизитёрился...

— Ничего, ничего, мама... Мы потихоньку. Вот знакомься — друг мой, Кедров Коля. Вместе в университете учились. Только что приехал из Владивостока. От большевиков бежал.

Троицкая всплеснула своими пухлыми руками:

— Ах вы, сердечный мой! Да как же это вам удалось вырваться от антихристов? Проходите, проходите... Закусите с дороги-то чем бог послал.

На накрытом праздничном столе лежал на блюде огромный окорок. Посредине — жареный поросёнок с зеленью в осколенных зубах. Копчёные гусь, утка, индейка, различные закуски, бутылки и графины с водкой, винами и различными наливками, — всё это говорило о том, что с добрым и щедрым богом Троицкие жили в ладу.

Кедров окинул взглядом столовую. Это была небольшая, уютная комната, с зелёным накатом и золотыми разводами на стенах. В небольшом остеклённом буфете стояли горки дорогой фарфоровой посуды. В переднем углу перед большой иконой с золочёной ризой теплилась серебряная лампадка. На стенах — портреты Николая второго, его жены, какого-то архиерея, семейные фотографии — всё это в массивных багетовых рамках. Окно столовой скрывалось под длинными кружевными шторами.

— Вы тут, Васенька, сами хозяйничайте, — указала Троицкая на стол. — А я пойду прилягу. За день-то настопталась. Я скажу Насте — она вам самоварчик подогреет. Вы уж меня, — обратилась она к Кедрову, — как вас зовут-то, не упомнила...

— Николай.

— Вы уж меня, говорю, Коленька, извините...

— Ничего, ничего, мама, он извинит. Он у нас и ночевать останется. У меня в комнате его устроим. Я сам скажу Насте. Она постелет.

Проводив мать, Троицкий пригласил Кедрова к столу:

— Ну, действуй. Для начала по рюмашке «смирновки» хватим, а?

— Не в коня овёс, — ответил Кедров. — Не пью.

— Даже с дороги?

— Даже с дороги. Не научился ещё.

— Эх ты, красна девица! А ещё на военной службе был.

— Что ж поделаешь, — пошутил Кедров. — В отношении выпивки я, так сказать, нравственный урод.

— Ну тогда я один. С морозу это не вредно. За твоё здоровье. С благополучным прибытием в наш богоспасаемый град!..

Выпив, Троицкий аппетитно крякнул:

— Хорошо! Мой папаша, хотя, откровенно сказать, и прижимистый человек, но праздники спрятывать не скучится. Да ты ешь, ешь, Коля, не стесняйся. Дай-ка, я тебе поросёнка положу... Что много? Ничего не много. Себе — тоже, и под это свинячье мясо ещё рюмашку хвачу. Будь здоров! Напрасно ты всё-таки не выпьешь... Ну, ну, не настаиваю. Да ты что так вяло ешь? Не стесняйся. Насыщайся как следует. Папаша от этого не разорится. У него не только на свой, но и на мой век хватит. Накопил с божьей помощью. Он ведь у меня богомол. В здешней церкви церковным старостой. А между церковными и подрядными делами деньги под проценты даёт, ростовщикеством занимается. Словом, одной рукой кресты на лоб кладёт, а другой с ближнего последние штаны, творя молитву, стаскивает. А помрёт мой родитель, — на том свете ему тоже плохо не будет, потому... как... — Троицкий кивнул на икону, — на лампадку он масла не жалеет, и попам от него перепадает детишкам на молочышко. Те тоже его грехи замаливают.

В это время молодая женщина внесла кипящий самовар.

— А, свет-Настасьюшка, — погладил её по широкой спине Троицкий. — Кормилица-поилица ты наша!

— Не балуйте, Василий Иваныч, — повела Настя плечом.

— А что? Нельзя?

— Нельзя. Маменьке скажу.

— Про что?

— А про всё.

— Неужели так-таки про всё скажешь? — многозначительно, делая ударение на слове «всё», спросил Троицкий.

Настя покраснела:

— А ну вас! Охальник, ей-богу, охальник. Хоть бы чужого человека постыдились.

— Он не чужой. Он — свой. Правда, Коля?

Кедров не отвечал. Он сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула.

— Э, да он спит! — засмеялся Троицкий. — Коля, Коля!

— А? Что? — устало открыл глаза Кедров.

— Спишь?

— Разморило в тепле, — Кедров потянулся. — Плохо спал в поезде. Да и вообще все эти дни... не до сна было.

Троицкий понимающе кивнул головой.

— Вот что, свет-Настасьюшка, — сказал он Насте, — приготовь-ка гостю постель на диване в моей комнате. Мы сейчас попьём чайку и — на боковую.

Когда Настя вышла, Троицкий, налив себе и Кедрову чай, стал рассказывать о Харбине.

— Вот поживёшь здесь, — сам увидишь. Знаешь латинскую поговорку: *homo homini lupus est* «человек человеку волк». Эта древняя мораль применяется к жизни в Харбине в полной мере. Ты что усмехаешься? Не веришь?

— Почему не верю? Верю, — ответил Кедров. — Тем более, что я, кажется, уже испытал это сегодня на себе.

— Как так?

— А так. — И Кедров рассказал Троицкому о сухом приёме, оказанном ему знакомыми его родителей.

— Ну, вот видишь, видишь?! Волки здесь, а не люди. Овцой здесь быть не приходится — волки задерут. Но между собой они тоже грызутся. И побеждает тот, у кого остree и крепче зубы.

— Надо завтра же идти искать работу, — отвечая на свои мысли, проговорил Кедров.

— Фьють! — свистнул Троицкий. — Это, брат, не так-то легко. Я здесь уже два месяца, и до сих пор никуда не могу устроиться, несмотря на то, что у отца большие связи. Хорошо ещё, что отец кормит, а то бы...

— Ну, а меня кормить некому, — усмехнулся Кедров. — Мне надо что-то делать.

— Ну, ну, действуй. А пока — пошли на боковую. Утро вечера мудренее.

### 3. «ВЕЛИКАЯ, БЕСКРОВНАЯ»

Несмотря на усталость с дороги, тяжёлые думы гнали от Кедрова сон.

Он лежал с открытыми глазами и перебирал в памяти

ьсё, что произошло за истекшие пять лет, все те непонятные, до сих пор непонятные для него события, которые, в конце концов, выкинули его, Николая Кедрова, как ненужную вещь, — да, вещь! — на чужую сторону, навстречу неизвестности.

— «А я девчонка, да эмигрантка», — назойливо звучали в ушах слова слышанной им сегодня песни.

— И вот я теперь тоже «парнишка-эмигрант», — повторил про себя Кедров.

Мысли путались. Лезли в голову бессмысленные рифмы к слову «эмigrant».

— Франт, квартирант, маркитант, адъютант...

— Да... адъютант... эмигрант...

Кедров усмехнулся:

— Был несколько месяцев полковым адъютантом, теперь стал эмигрантом... На сколько месяцев или лет — неизвестно. А, чёрт... Сам виноват... Надо попытаться уснуть.

Но мысли набегали, обгоняя одна другую.

— Сам виноват... сам! Но, может быть, и не сам?..

Вспомнилось детство, школьные годы, начало революции.

Отец Кедрова был начальником гарнизона тёбольского заштатного города Енисейска.

Военная среда, в которой рос мальчик, — ала на него своё влияние. Он с раннего детства ме... ъ офицером, — и непременно казачьим, — и сеять... в тылу врага, как генерал Мищенко. О его знаменитом рейде в русско-японскую войну часто восторженно рассказывал отец. Ватага мальчишек, предводительствуемая Колей, сидя верхом на длинных прутьях и размахивая игрушечными саблями, атаковала соседний пустырь, густо покрощий крапивой, и ожесточенно рубила «япошек». Дома Коля жадно впитывал в себя разговоры часто бывавших у его отца гарнизонных офицеров о предательской сдаче Порт-Артура, о бездарности генерала Куропаткина, командовавшего русской армией в русско-японскую войну.

— Продают, мерзавцы, Россию оптом и в розницу, — слышал Коля возмущённые слова офицеров.

Своим детским умом он не мог понять — кто же эти мерзавцы, продающие Россию. Он только судорожно сжимал свои кулачонки и думал: «Я вот им покажу, как продавать. Только вырасту — сразу покажу».

Отец часто брал Колю в казармы, возил с собой на учения, на манёвры. И в голове мальчика всё больше и больше крепла мысль — буду офицером.

Школа изменила мечты Кедрова. Учёба, прочитанные книги, — а читал он очень много, — открыли перед ним новые горизонты, выходившие далеко за пределы казарм и учебного плаца. Но до семнадцати лет Коля не читал ни одной газеты. Чтение газет ему было категорически запрещено отцом.

— Нечего тебе политикой заниматься, — раз и навсегда отрезал отец, — твоё дело учиться. Будешь в университете — тогда читай. Да и то не слишком. Политика к добру не приводит.

Но политика ворвалась в жизнь сама, не ожидая разрешения отца. Был один из последних дней февраля 1917 года. Гимназисты, класс за классом, строем входили в актовый зал на утреннюю молитву. Вот уже подошёл седьмой класс, в котором учился Кедров. Вошёл директор в синем виц-мундире, невысокий, нахмуренный, за ним группа преподавателей. Но... восьмого класса всё ещё не было.

Директор поманил пальцем классного надзирателя.

— В чём дело? Где восьмой класс?

— Я им говорил... Несколько раз...

— Вы читать. И чтобы немедленно явились.

— С... ось!

Классный надзиратель поспешил, на цыпочках вышел и, вернувшись через несколько минут, встревоженно зашептал что-то директору.

— Не желают? — поднял директор бровь. — То-есть, как это — не желают? Что это — бунт? Ну, что ж, пусть на себя пеняют. Исключим всех с волчьими билетами.

И, пожевав губами, распорядился:

— Начинайте молитву.

Этот день, ознаменовавшийся небывалым в истории Енисейской гимназии происшествием, — отказом выпускников явиться на утреннюю молитву, — был полон для Кедрова рядом новых, непонятных для него событий.

Не успел он войти после молитвы в свой класс, как к нему быстро подошёл восьмиклассник Лыткин и спросил:

— Слушай, Колька, ты не знаешь, почему это сегодня ночью по городу патрули ходили? Отец тебе ничего не говорил?

— Нет. А что?



— В Петрограде революция! Понимаешь ты, революция! Николашка отрёкся... Свобода! Телеграмма получена, но её жандармский ротмистр зажал. Мне телеграфист сказал. Товарищи! — крикнул Лыткин классу. — Революция, свобода!

Вошедший преподаватель шарахнулся от раскатившегося по классу «сур»...

Кричал и Кедров, подхваченный общим настроением, хотя в глубине его души гнездились опасения: «Революция? Но ведь это же бунт против власти... За это в девятьсот пятом году пороли нагайками... ссылали... вешали»...

Уроки были сорваны. Во всех старших классах шли собрания. Уговоры преподавателей не действовали. Директор уехал к жандармскому ротмистру, но приехал без него и созвал экстренное заседание педсовета: ротмистр скрылся из города.

Ученики выбирали школьный старостат. Седьмой класс выдвинул в старостат Колю Кедрова и его друга Васю Подгайского. Председатель старостата Лыткин предъявил директору ряд требований, обеспечивающих интересы учащихся.

Дома Коля долго не решался заговорить с отцом о событиях этого дня. Наконец осторожно спросил:

— Папа, у тебя вчера вечером был жандармский ротмистр?

— А ну их, эти «голубые мундиры», — мрачно ответил отец. — Всю жизнь я их сторонился, и тебе то же самое советую...

— В Петрограде революция. Царь отрёкся.

— А ты откуда знаешь?

Коля рассказал отцу всё, что произошло в гимназии. Отец молча ходил по кабинету, заложив руки за спину.

— Да... революция... — наконец, медленно произнёс он. — Этого надо было ожидать. К тому шло...

Он подошёл к Коле и ласково обнял его.

— Вот что я скажу тебе, сынок. Ты уже не маленький и постараися меня понять. Воздержись от всяких сходок, митингов и вообще... В девятьсот пятом году тоже была революция и закончилась столыпинскими галстуками.

— Какими галстуками? — переспросил Коля.

— Четлей на шею, вот какими. Не для того я тебя расстал, чтобы потерять. И вообще — не лезь в политику, а кончай гимназию и поступай в университет. Я вот до со-

рока пяти лет прожил без политики... До сих пор в ней ничего не понимаю, и, несмотря на это, гарнизон у меня всегда в порядке... В жизни важно честно и добросовестно делать своё дело, полезное родине... Понял?

Коля кивнул головой... Отца он понял. Но в то же время бессознательно чувствовал, что в жизнь вошло что-то новое, необычное, неотвратимое, положившее предел её старому, узаконенному столетиями, равномерному движению.

В Народном доме имени Баландина день и ночь шли заседания городского Совета. Летали в воздухе слова «эсдеки», «эсеры», «кадеты», «анархисты». Позднее стали склоняться по всем падежам: «меньшевик», «большевик». Одни ораторы говорили о мире без аннексий и контрибуций — зал бурными аплодисментами выражал своё одобрение. Другие — призывали к продолжению войны с Германией до победного конца, и те же слушатели поддерживали их так же единодушно.

Кедров тщетно пытался разобраться в этом хаосе новых, непонятных ему слов, в сумбуре этих речей, но, тем не менее, полные патриотизма слова о свободном русском народе захватили, закружили его, и, помнится, он тогда написал в Читу своей двоюродной сестре наивно восторженное письмо:

«Ты себе представить не можешь, Маруся, какие мы счастливые люди, что переживаем такие великие исторические дни! Свершилась великая, бескровная русская революция. Сколько крови лилось в революции французские, в революцию 1905 года, а теперь — бескровная. Весь русский народ — рабочие, крестьяне, купцы, интеллигенция, помещики, фабrikанты — все братски объединились и свергли царя. Теперь свобода, равенство и братство. Помещики дадут крестьянам землю, фабrikанты будут заботиться о рабочих».

Позже Кедров густо краснел за свою наивность, но в то время он чувствовал себя настоящим революционером, героям, борцом за народ, за свободу.

#### 4. ГДЕ ПРАВДА?

Старостат организовал школьный клуб и выдвинул Кедрова на должность завклубом.

Собрания, подготовка к экзаменам, учёба в гимназии — на всё это не хватало дня, и Коля редко видел отца, который тоже целые дни проводил в казармах. Гарнизон не оправдал надежд своего начальника. Приказ № 1 о революционной дисциплине в армии дал солдатам новые права, и отец Кедрова растерялся...

...Из столовой Троицких донёсся бой часов. Одиннадцать...

— Ого! Спать, спать надо.

Но сон не шёл. О чём это он думал?

Ах, да... Приказ № 1... Отец, отец растерялся. Да разве он один. Ну, отец — понятно. Он учился на медные деньги. Из простой семьи. А другие? Вот, например, преподаватель гимназии Евтеев. Латинист. Этот с университетским образованием, и то...

Помнит Кедров, как этот интеллигент сидел у них и говорил отцу:

— Просоветуйте, в какую мне партию записаться.

— Ей-богу, не знаю, — пожал плечами отец. — Может быть, лучше никуда? Эсеры, кадеты, эсдеки... Чёрт их знает, что всё значит...

— Да нет, неудобно беспартийным быть. Сейчас все записываются. Ну, что ж... Я тогда, пожалуй, в эсеры запишуся. Это, по крайней мере, хоть красиво звучит — социалист-революционер...

Летом 1917 года отца Кедрова перевели в Верхнеудинск на должность воинского начальника. Вся семья уехала с ним, но Коля остался в Енисейске заканчивать гимназию. Учиться осталось ещё год, а в Верхнеудинске гимназии не было.

Перед отъездом отец долго беседовал с Колей, предостерегая его от вмешательства в разворачивающиеся события.

— Без тебя всё сделается. А твоё дело — учиться. Человеком надо быть.

В июне временное правительство организовало наступление на фронте.

Кедров ликовал: вот сно что значит — свободный народ, революционная армия! Нет больше предателей. Теперь-то уж мы доведём войну до победного конца.

Но в городе в эти дни образовался Совет рабочих и солдатских депутатов. Из пригородной рабочей слободки появились новые для Кедрова люди. Они на заседании

совдепа настойчиво говорили о прекращении войны и о заключении мира. Их называли большевиками.

Эти речи возмущали Кедрова. Возмущали до бешенства:

— Как? Опуститься перед Германией на колени? Позорный мир? И это в то время, когда наши войска гонят немцев?

Но наступление захлебнулось. С фронта шли тревожные вести о развале армии... Большевики в Енисейском совдепе всё настойчивее и настойчивее говорили о необходимости мира. В их речах Кедрова возмущало всё до мелочей, даже подчас неправильно, нелитературно произносимые слова.

— Подумаешь, — зло говорил он своему другу Васе Подгайскому, возвращаясь ночью с открытого заседания совдепа, — по-русски-то правильно говорить не умеют, а туда же ещё, ораторствуют! «Хотишь, не хотишь», «туды-сюды».

— Не важно, как говорить, важно, как делать, — возражал Вася.

Кедров вскипал:

— А хорошо делают? Войну надо во что бы то ни стало довести до победного конца, а они кричат об её прекращении.

— Да кому она нужна, война-то? Тебе что ли? — насмешливо спросил Вася.

— Мне — нет. — Кедров даже остановился от неожиданности. — Мне — нет, не нужна. И тебе не нужна. Никому. Но раз она начата, раз она идёт — Россия должна победить, понимаешь, — должна!

Но иного мнения был Федя Лыткин. Ещё в прошлом году про него поговаривали, что он бывает в каких-то тайных марксистских кружках.

В то время жандармский ротмистр внимательно к нему присматривался, как-то раз делал даже обыск в квартире, но ничего подозрительного обнаружить не мог. Теперь Лыткин был одним из делегатов большевиков в Совете рабочих и солдатских депутатов.

— Война? — усмехнулся Лыткин, когда Кедров заговорил о призывае большевиков к миру. — Война нужна царям да буржуям. Народу никакой войны не надо. Для нас сейчас важно — прекратить войну и углублять революцию...

Углублять революцию? Как углублять? Зачем? Царя нет. В России — республика, народу даны все свободы. Что же ещё надо?

Всё, что становилось как будто бы ясным для Кедрова в происходящей революции, теперь снова делалось непонятным и непонятным.

И невольно вспомнились слова отца:

— Не лезь, сделается без тебя. Твоё дело — учиться.

Революционный пыл Кедрова остыл, и с началом учебного года он ревностно взялся за учёбу.

События развивались. Буржуазия, прислуживающие ей интеллигенция и царское чиновничество, реакционное офицерство цеплялись за ускользавшие от них права и привилегии.

Разгон учредительного собрания, образование Советской власти, мятежи белых генералов на Дону, юнкерский мятеж в Иркутске... Всё это прошло как-то мимо Кедрова, незаметно для него. Он не чувствовал важности происходившего. Не понимал и не старался понять. И только тревожные письма отца говорили ему о том, что «великая, бескровная» вот-вот может обагриться кровью. Отец торопил его выезжать сразу же после экзаменов, не ожидая начала навигации.

«Иначе, — писал он, — ты рискуешь потерять с нами связь, так как может прерваться железнодорожное сообщение».

В гимназии тоже торопились с выпускными экзаменами, и в конце мая 1918 года Кедров был уже в Верхнеудинске.

Странно и непривычно было видеть отца без погон. Но отец продолжал быть на военной службе и работал в военном комиссариате. В Верхнеудинске налаживалась Советская власть. Через город проходили эшелоны с отрядами Красной гвардии. Они шли на восток для ликвидации так называемой тогда «семёновской пробки»: казачий есаул Семёнов собрал вокруг себя отряд из бежавших от Советской власти офицеров, кадетов и юнкеров, приютил недовольных новыми порядками купеческих и кулацких сынков и образовал около станции Маньчжурия антибольшевистский фронт. О порках, насилиях и расстрелах, чинимых семёновцами, ходило в Верхнеудинске много слухов.

Летом Кедров репетировал — было несколько уроков —

и готовился к поступлению осенью в Томский технологический институт. Отец окончательно рассеял его неприязнь к большевикам.

— Крепко взялись, — говорил он. — Не сразу, конечно, но наладят.

В это лето Коле действительно казалось, что тихая, спокойная жизнь налаживается. По форме не такая, как прежде, но важно, что налаживается и, самое главное, можно будет учиться дальше.

Но осенью начался чешский мятеж, в город вошли чехи, Колю мобилизовали в белую армию и отправили в Иркутск в военное училище. Отправкой в военное училище отец был доволен.

— Пробудешь там с год, — провожал он Колю, — авось за это время вся эта кутерьма успокоится, и пойдешь в институт.

По «кутерьма» не успокаивалась, и через год Коля, уже офицером, ходил с полком по забайкальским сопкам, гоняясь за красными партизанами.

От тяжёлых дум Кедров со стоном повернулся на диване. За что и за кого он дрался полтора года? За что и за кого он полтора года рисковал головой?.. И где же, в конце концов, правда?

Вспомнил Кедров один случай. Зайдя с разъездом в небольшой посёлок, он разговорился с пожилым казаком.

— Ну как, станичник, ты за кого — за учредительное собрание или за большевиков?

— А нам всё едино, — осторожно проговорил казак.

— Но всё же? — настаивал Кедров. — Кто, по-твоему, прав — Колчак или большевики?

Казак ответил не сразу. Трубка в его крепких зубах сердито захрипела. Густой синеватый дым едкого самосада скрыл от Кедрова прищуренные казачьи глаза. Наконец, казак вынул изо рта трубку и, старательно выбивая её о жердину заплата, проговорил:

— А кто их знает... Что «колчаки», что «большаки» — от всех беспокойство. Понаедут — сена, овса подавай, пои, корми... Опять же с подводами гонят. Одно слово — мятва!..

— Ну, а молодёжь ваша как думает?

— А что молодняк, — сплюнул казак. — Молодняк поседлался да, почитай, весь целиком к красным партизанам подался.

— Добровольно?

— А их разве удержишь...

Кедров потом долго раздумывал над этим разговором. «Их разве удержишь?» Неужели правда там, на той стороне? А если нет?.. Но тогда почему же народ шёл к красным партизанам добровольно, а ряды белых пополнялись только мобилизацией? Почему же в посёлке Грязнём около Нерчинского завода целый казачий полк, перебив офицеров, ушёл к красным? В Нерчинском заводе перешла к красным пехотная рота, а в Сретенске ушёл к красным целый батальон? Если правда на стороне белых, то почему же тогда застрелился в Сретенске командир его полка полковник Темников, разносторонне образованный, интеллигентный человек? Будучи в то время полковым адъютантом, Кедров, опечатывая его личные бумаги, нашёл посмертную записку застрелившегося полковника.

Она была кратка:

«Потерял веру в белое дело. Уйти к красным не позволяет офицерский мундир. Поэтому — ухожу из жизни».

Не думал Кедров о правде лишь тогда, когда, будто слившись с пулемётом, он длинными очередями свинцового ливня прижимал к земле наступавшие партизанские цепи.

Не думал он о правде и тогда, когда, спасая от захвата, вёл свою полусотню в конную атаку и данно появившихся с фланга красных партизан

Да и сколько было их, таких случаев, когда и приходилось думать не о правде, а о жизни, о голове.

Животный страх перед смертью заслонил неразрешимые вопросы о правде и в поселке Абагайтуй, когда не пожелавшие уйти за границу казаки уговаривали Кедрова остаться с ними.

— Нет, станичники, — наотрез отказался он — Вам-то ничего не будет. А я — офицер: Меня расстреляют.

Но в Приморье Кедрову представилась возможность уйти из армии, и он поступил во Владивостоке в университет. Наконец-то можно учиться!

В октябре 1922 года из Владивостока уходили остатки белых. Бывшие сослуживцы по полку усиленно звали Кедрова с собой. Но он решил остаться.

— Остаться?.. Почему?..

На этот вопрос Кедров не мог дать определённого ответа.

В самом деле, почему это он вдруг решил не бежать с остатками белых, а ждать прихода красных, против которых он дрался два года назад? Было ли это решение принято им «вдруг», неожиданно, под каким-то случайным впечатлением, или на него повлияла студенческая среда, товарищи по университету, в большинстве своём, прогресивно настроенные...

Нет, нет... Какое там влияние!.. Он, Кедров, привык мыслить самостоятельно. Недаром как-то раз командир полка полковник Сорокин полуслово, полуслово называл его вольнодумцем...

В первые месяцы учёбы в университете, работая в порту грузчиком, он хорошо узнал жизнь портовых рабочих. Он был свидетелем, как они, несмотря ни на какие принуждения, отказывались разгружать японские корабли с боеприпасами для японских интервентов и для белых.

Он, Кедров, болезненно переживал зверскую расправу бочкаревцев с Сергеем Лазо и закипал ненавистью к плачам. Он видел, как бесшабашно кутили штабные офицеры белых в «Золотом Роге» и какими оборванными, полуголодными бродили по городу бойцы и офицеры «земской рати воевода Дитерикса».

Может быть, бессознательно, чутьём, но он угадывал истоки той правды, искания которой его мучили последние годы. И он остался.

О том, что с ним будет, когда в город войдут красные, Кедров не думал. Возможность одним ударом окончательно отрезать себя от белой авантюры заслонила перед ним страх ответственности за прошлое, который не позволил ему остаться с казаками в Абагайтуе.

Захваченный общим подъёмом, он восторженно встречал входившие в город советские полки, махал фуражкой шагавшим по Светланской улице советским бойцам с винтовками «на ремне».

Радостно билась мысль: «Буду жить, учиться, кончать университет!..»

Но эта радость быстро померкла. По городу поползли тревожные слухи о начавшихся арестах и расстрелах большевиками бывших белых офицеров. Слухи эти росли, ширились, раздувались оставшимися во Владивостоке тайными агентами белых. Кедров заметался — что делать?

Назревала мысль — надо бежать. Да, бежать... Жить, жить во что бы то ни стало... И в ночь на 5-е января 1923

года он в районе станции Пограничная перешёл китайскую границу...

...Усталость брала своё. Веки тяжелели. Кедрову опять вспомнилось слово «эмигрант».

— Какое странное слово... Э-миг-рант...

Это слово было последним, которое отразилось в его сознании, — он, наконец, уснул. И было пора — за окном уже брезжил рассвет.

## 5. «СЧАСТЛИВАЯ ХОРВАТИЯ»

Проснулся Кедров поздно, около четырех часов дня. Разбудил его Троицкий.

— Ну и здоров же ты спать, — тряс он за плечо Кедрова. — Я уж с последними визитами набегался — вчера не успел всех обойти. Вставай, вставай!.. Мать послала будить тебя к чаю. Настя пирожков напекла. Между прочим, вот твой паспорт, получи...

— Постой, да ведь мне сказали — самому явиться...

— Не требуется. Полицейский надзиратель сам пришёл... Утром отец звонил в участок по телефону. За это «фараон» у нас пообещал... да, кроме того, папаша ему бутылочку коньяку отслюнил, шустовского, три звёздочки. Тебе только придётся при случае сходить в участок получить китайский паспорт...

— Какой китайский паспорт? — удивлённо спросил Кедров. — Я же не китаец.

— Вот поэтому-то и надо, что не китаец, — объяснил Троицкий. — У китайцев вообще никаких паспортов нет, а русским даются местные харбинские китайские паспорта. Таков порядок.

За чаем состоялось знакомство Кедрова с отцом Троицкого. Часепитие продолжалось долго. Троицкий-отец внимательно, с интересом слушал рассказ Кедрова о последних месяцах его жизни во Владивостоке, о его бегстве из Приморья, о рискованном переходе через границу.

— Вот так я и добрался до Харбина, — закопчил Кедров.

— Да-а... — глубокомысленно протянул Троицкий-отец, помешивая ложечкой чай в большом гранёном стакане в серебряном подстаканнике. — Обезумел народ. Совсем обезумел.

— И то, отец, — сокрушённо вздыхая, поддержала его жена. — Божье попущенье. Правду говорят, что коли бог хочет наказать человека, — разум отнимет.

— Ну где это видано, и как это возможно,—не слушая её, продолжал говорить Троицкий, — чтобы всех уравнять? Да вот, к примеру, в одной семье дети — и то неодинаковые бывают. Один — умный, другой — дурак, шалопай. Одним бог счастье в жизни посыпает, у других — за что ни возьмутся, всё из рук валится. А большевики хотят всю Россию под одну гребёнку постричь, чтобы все равнин были. Никак это невозможно. Вот, к примеру, я, скажем, подряды на дорогу поставляю. Здесь надо — с умом. Чтобы, значит, и себя не обидеть, не задарма хлопотать, да и с приёмочной комиссией полную политику вести, чтобы всё было без сучка, без задоринки. Знать надо, кому из комиссии как дать и сколько дать, чтобы и людей не обидеть, да и себе не в убыток. Это, брат, не каждый сумеет сделать, а они говорят — уравнять. Или вот тоже говорят — поделить всё. Отобрать у богатых и отдать бедным. Это уж просто грабёж. Почему, спрашивается, человек себе капитал составил? Да потому, что он с умом, знает, что к чему, как лучше заработать. А бедняк, боясь этого не понимает и, всё равно, сколько ему ни дай — у него всё прахом пойдёт. Помешники там, фабриканты — они свои капиталы годами, веками наживали. Сколько около них людей кормилось, а? А теперь что получается? Нишета будет. Вся Россия с голodu подохнет. Одно спасенье, кто сюда выбрался. Здесь ещё, слава богу, жить можно... Ничего, скоро, бог даст, одумается народ, когда на своей шкуре испытает антихристову власть, и всё опять обернётся по-старому...

Кедров не возражал, хотя во многом был не согласен с тем, что слышал. Но не возражал больше из приличия, стараясь не обидеть гостеприимного хозяина.

На следующий день Кедров хотел отправиться на поиски работы, но оказалось, что рождество Харбин празднует по старинке три дня, и все учреждения, начиная с управления дороги и кончая кантонами, и даже магазины, закрыты. Но всё же утром он решил идти, хотя бы даже для того, чтобы познакомиться с городом. Была ещё надежда встретить кого-нибудь из сослуживцев по армии или знакомых по Владивостоку, у которых он смог бы приступить на первое время: после разговоров Троицкого-отца

за чаем у Кедрова зародилось к этому дому какая-то глухая неприязнь, подогреваемая словами Васи про отца:

— Одной рукой кресты на лоб кладёт, другой последние штаны с ближнего тянет.

Революционный шквал, который смёл в России самодержавие и после Великой Октябрьской социалистической революции утвердил в стране власть Советов, — пронёсся мимо полосы отчуждения КВЖД.

Когда в Харбине была получена телеграмма о событиях в Петрограде и о свержении царя, жандармский полковник Горгопо приказал телеграмму не оглашать и, встревоженный, явился к управляющему дорогой генералу Хорвату.

— Невероятные события, ваше высокопревосходительство, — взволнованно докладывал полковник. — Как прикажете поступить?..

Хорват грузно поднялся с глубокого кресла за большим письменным столом и несколько раз прошёлся по кабинету, нервно разглаживая свою длинную седую бороду.

— Да, полковник, — наконец, остановился он около жандарма. — Новость вы сообщили, действительно, потрясающую.

Умный, дальновидный старик, Хорват ещё в 1905 году понял, что царский трон шатается, и поэтому вторая вспышка революции не была для него неожиданностью.

Но... чтобы свергли царя!.. Кроме того, отказался от престола и брат царя — великий князь Михаил... Ведь... это же конец династии, а значит, конец и самодержавию!.. Неизвестно, во что выльются дальнейшие события в России, но здесь полоса отчуждения, Китай... Здесь надо и возможно сохранить прежнее положение, сбечь дорогу от революционной горячки. И, конечно, сохранить своё собственное положение.

Хорват позвонил и, когда вошёл секретарь, распорядился:

— Вызвать немедленно начальника заамурского пограничного округа генерала-лейтенанта Самойлова, командира железнодорожной бригады генерала-майора Дориана, начальника ратников ополчения полковника Плонского и полицмейстера полковника фон-Арнольда. Кроме них, никого сегодня не принимать.

На совещании выяснилось, что опереться можно было только на полицию, жандармов да на некоторые части

железнодорожной бригады. Ратники ополчения, заменившие на КВЖД во время войны ушедшие на фронт полки пограничников, были, по заявлению полковника Плонского, неблагонадёжны. Их решено было демобилизовать и эвакуировать в Россию.

Когда на следующий день в Харбине была получена из Петрограда телеграмма за подписью Родзянко о принятии всей полноты власти в России временным правительством, скрывать свершившееся было уже невозможно.

В воинских частях и в железнодорожных мастерских начались митинги, выбирались Советы рабочих и солдатских депутатов. Однако, начавшаяся демобилизация ратников ополчения, неорганизованность рабочих КВЖД, оторванность полосы отчуждения от центра, а, главное, соглашательство меньшевиков и эсеров, которые, в основном, захватили места в Совете рабочих и солдатских депутатов, — всё это помогло Хорвату сохранить своё положение и власть на дороге. Единственно, в чём ему пришлось уступить, — это согласиться на ликвидацию жандармского управления и на увольнение полцмейстера полковника фон-Арнольда. Харбинскую полицию возглавил, как её комиссар, рабочий железнодорожных мастерских Миллиончиков.

Осенью 1917 года престиж Хорвата несколько пошатнулся. Выставленная им его кандидатура в члены учредительного собрания не прошла, и делегатом от КВЖД поехал в Петроград бывший солдат Аркус, заместитель председателя харбинского Совета рабочих и солдатских депутатов.

До Петрограда Аркус не доехал. На станции Маньчжурия его особый поезд был окружён семёновцами, и Семёнов лично зарубил Аркуса на перроне Маньчжурского вокзала. В тот же вечер семёновцы ворвались в железнодорожное собрание Маньчжурии, где заседал Совет рабочих и солдатских депутатов. Хорват вздохнул свободнее — на западе линия КВЖД была прикрыта от «большевистской заразы» семёновцами.

В Харбине начали организацию своих отрядов полковники Орлов и Браштель. Опираясь на них, Хорват ликвидировал Советы по всей линии дороги. Единственный в Харбинском Совете большевик — бывший прапорщик Рютин — бежал в Россию.

С революцией на КВЖД было покончено. Хорват

объявил себя главноначальствующим всех контрреволюционных отрядов, находившихся на КВЖД, и поддерживал Семёнова деньгами из средств дороги и оружием.

После Великой Октябрьской социалистической революции в Харбин, — в «счастливую Хорватию», как называли тогда полосу отчуждения КВЖД все противники большевиков, — начали просачиваться из России политические авантюристы всех мастей и оттенков.

Пробирались в Харбин из России бывшие помещики, промышленники, капиталисты, кулаки и вообще все те, кого утверждавшаяся в стране Советская власть лишила былого привычного благополучия, основанного на эксплуатации чужого труда. Они, приехав, прочно врастали в Харбин фундаментами каменных доходных домов, коммерческими конгорами, крупными и мелкими торгово-промышленными предприятиями, различными магазинами. Это всё были классовые враги Советской власти, люди непримиримые с ней, люди, среди которых белые генералы, организовывавшие антибольшевистские отряды, если не всегда находили материальную поддержку, то моральную — всегда.

Пробирались в «счастливую Хорватию» — в Харбин — и царские офицеры, кадровые и некадровые. Не пожелавшие сотрудничать с большевиками и выкинутые поэтому за борт жизни, они ненавидели Советскую власть и были готовы к борьбе за её свержение. Часть из них, не доехав до Харбина, пополнила ряды семёновцев; часть в Харбине комплектовала собою антибольшевистские отряды, которые организовывались Хорватом, как ядро будущей его, хорватовской «освободительной» армии.

Харбин сделался центром реакции на Дальнем Востоке, её базой. Через Харбин потянулись к России руки иностранных хищников.

Ликвидировав революционное движение на КВЖД, Хорват мечтал заглушить революцию и в России.

После утверждения в России Советской власти бежавшие в Харбин бывшие члены 4-й государственной думы и учредительного собрания образовали, так называемый, политический центр, который выдвинул из своей среды «деловой комитет» во главе с бывшим членом государственной думы Таскиным. Этот «деловой комитет» был готовым «правительством», которое должно было начать править Россией сразу же после свержения Советской власти.

Политический центр ориентировался на Хорвата:  
— Управляющий дорогой... Фактический её хозяин...  
Материально поддержать может... Подкормит!..

И Хорвату было предложено взять на себя бразды правления... будущей «освобождённой» Россией.

5-го августа 1918 года Хорват в специальном поезде выехал на станцию Гродеково, где, на русской территории, объявил себя временным правителем России. Вместе с ним в поезде находилось и «российское правительство» — члены делового комитета с портфелями министров! Голова у Хорвата вскружилась ещё больше — о принятии им власти над всей Россией он оповестил по телеграфу весь мир.

Сохранив за собою должность управляющего КВЖД, Хорват на посту главноначальствующего оставил в Харбине адмирала Колчака, который, бежав из Черноморского флота, обосновался сначала в Японии, а затем проbralся в Харбин.

Через месяц поезд Хорвата перешёл в Владивосток. Вскоре после этого Хорват получил от Колчака телеграмму, в которой адмирал просил уволить его с дороги и выплатить ему заштатные.

Колчака не удовлетворяла должность главноначальствующего полосы отчуждения КВЖД. В Харбине он был постоянным гостем в английском консульстве, и перед ним рисовались более широкие перспективы. 18 ноября 1918 года он объявил себя в Омске «верховным правителем».

Об отъезде Колчака в Омск Хорват впервые узнал из перехваченного его контрразведкой письма в адрес вдовы контр-адмирала Темерёва — любовницы Колчака. Автор письма, подписавшись «любящий тебя Александр», писал контр-адмиральше, что он «вырвался, наконец, от бородатого сатаны Хорвата и скоро надеется встретиться с ней в Омске...»

Сделавшись «верховным правителем», Колчак предложил Хорвату остаться на Дальнем Востоке «верховным уполномоченным Российского правительства».

На этом посту, помогая Колчаку распродавать Россию иностранцам оптом и в розницу, Хорват продолжал оставаться до августа 1919 года, когда его сменил генерал Розанов.

Хорват вернулся в свою «Хорватию». Его авторитет

пошатнулся. Атаманы, которых он поддерживал, перестали с ним считаться.

Царский есаул Калмыков, объявив себя в Хабаровске генерал-майором, терроризовал со своим отрядом при помощи японцев Уссурийский край.

В Благовещенске обосновался атаман Кузнецов и полновластно творил в Амурской области суд и расправу.

В Чите Семёнов с нетерпением ждал падения Колчака и мечтал при помощи японских штыков занять пост верховного правителя, если не всей России, то, во всяком случае, всей Сибири — от Тихого океана до Урала.

В этом стремлении Семёнова на его пути стоял Хорват, который всё ещё имел некоторый удельный вес в глазах интервентов, в том числе и Японии.

И вот, однажды, в управлении КВЖД, около кабинета Хорвата, появился молодой поручик.

— Их высокопревосходительство заняты. Приказано никого не принимать, — сообщил поручику стоявший у дверей кабинета вахтер.

Поручик решил обождать, когда Хорват освободится, но подошёл конец рабочего дня в управлении, Хорват всё ещё был занят, и поручик ушёл.

На следующий день поручик снова появился в управлении дороги и... опять неудачно: добиться приёма у Хорвата ему не удалось.

Поручик ходил в управление дороги две недели каждый день. Иногда Хорват выходил из кабинета, и тогда поручик, нервно пошарив рукой в кармане галифе, пытался к нему подойти, но каждый раз в нерешительности останавливался.

Ежедневно, когда поручик возвращался из управления дороги в гостиницу, жена, приехавшая вместе с ним из Читы, встречала его с телеграммой в руке.

Эти телеграммы приходили из Читы, были подписаны атаманом Семёновым и всякий раз заставляли поручика болезненно морщиться.

Атаман запрашивал:

— «Когда будет выполнено задание?».

— «Срочно донести о выполнении задания».

— «За невыполнение задания — военно-полевой суд».

И поручик решился... После угрозы Семёнова военно-полевым судом, он, не обращая внимания на протесты,

вахтёра, вошёл в кабинет Хорвата и срывающимся голосом заговорил:

— Ваше высокопревосходительство... Я... Мне... Я поручик Верёвин... Я должен... Мне поручено... Атаман Семёнов приказал мне убить вас... Я не могу... Арестуйте меня, делайте со мной что хотите... Вот доказательство...

И Верёвин положил на стол свой пистолет и все телеграммы, полученные им от Семёнова.

Хорват не арестовал Верёвина. Он выдал ему тысячу золотых рублей и отправил его вместе с женой в Шанхай.

Там жена Верёвина вскоре сменила быстро пустеющий карман мужа на чековую книжку иностранца, а сам Верёвин опустился и умер в одной из шанхайских ночлежек.

Начали неприязненно относиться к Хорвату и китайцы. Они видели растущие силы Советской России, и реакционность Хорвата мешала им наладить отношения с Москвой и восстановить свои права на полосу отчуждения КВЖД.

В 1920 году Хорват был отзван в Пекин. На посту управляющего дорогой временно появился инженер Лачинов. Китайцы ввели на охрану дороги свои войска. Все общественные и административные учреждения на КВЖД — городская управа, суд, полиция — перешли в руки китайцев.

На память о Хорвате у населения Харбина и линии КВЖД остались хорватовские деньги, выпущенные им взамен, потерявших после революции ценность, «романовских». Хорватовские рубли были обеспечены всем имуществом КВЖД и имели поэтому реальную ценность. Теперь, после отзыва Хорвата, их заменил китайский доллар. «Хорватовки» сделались бумажной макулатурой, разорив тех, кто их неосторожно копил.

Власть китайцев распространилась только на административное управление городами и посёлками в полосе отчуждения КВЖД. Сама же дорога продолжала жить в работать на прежних основаниях, как это было до революции. Она по-прежнему контролировалась Русско-Азиатским банком, часть акций которого хранилась в карманах у французских капиталистов. И только правление дороги находившееся до революции в Петрограде, теперь было в Харбине.

Тем не менее, Харбин всё ещё переживал политическую горячку. Через город шли эшелоны с интервентами.

Иностранные разведки развивали свою деятельность. В ресторанах и шантанах звучала разноязычная речь. Золото во всех валютах лилось рекой.

В эти дни коренных харбинцев можно было разделить на две пристроположные друг другу классовые группы. Если у рабочих дороги была ещё свежа в памяти заглушенная Хорватом революционная вспышка в полосе отчуждения КВЖД и они с надеждой смотрели в сторону Москвы, то чиновный и купеческий Харбин вообще забыл бы о революции, если бы о ней не напоминали беженцы.

Первая большая беженская волна нахлынула на Харбин в конце 1920 и в начале 1921 годов после разгрома Советскими войсками в Забайкалье семёновцев и остатков колчаковцев. К Харбину один за одним подходили эшелоны с людьми, бежавшими от Советской власти. Это были люди всех классов и сословий, переметнувшиеся за границу из городов и сёл Поволжья, Урала, Сибири — с домашним скарбом, какой только было можно вывезти... Целыми семьями — старики, женщины; дети... Администрация Лысьвенского завода на Урале демонтировала с помощью части рабочих и мастеровых и вывезла в Харбин всё заводское оборудование, обещав рабочим восстановить для них завод в Харбине. Но в Харбине это оборудование «чудесно» превратилось в большие доходные дома, принадлежавшие ловким администраторам завода — каждому по дому.

В это же время в Харбине осело много офицеров, солдат и казаков из эшелонов белой армии, проходивших мимо Харбина в Приморье после разгрома Семёнова Советскими войсками. Эти люди почувствовали свою ошибку и отказались от дальнейшего участия в белой авантюре.

Беженцы начали быстро осваивать Харбин. Собственно Харбин делился на две главные основные части — Новый Город и Пристань. Новый Город — это административный центр. Здесь — управление КВЖД и многочисленные улицы типовых, прекрасно оборудованных домов, в которых жили служащие дороги, или, как их называли, «кавежедки».

В часы занятий на дороге, улицы Нового Города были мало оживлены.

Зато на Пристани жизнь была ключом с утра до поздней ночи. Это — торговый центр Харбина. Один за другим

открывались новые торговые конторы, магазины, кафе, рестораны, кабаре, карточные клубы.

Возникали новые пригороды. Начальник земельного отдела КВЖД бывший царский сановник Гондатти щедрой рукой раздавал беженцам землю. И небольшие фаршированные<sup>1</sup> и саманные дома беженцев способствовали появлению на карте Харбина новых пригородов: Гондатьевка, Алексеевка, Саманный Городок, Корпусной Городок, Новое Чинхэ. Часть беженцев строилась за рекой Сунгари — в Затоне.

Рядом с Пристанью руками беженцев был выстроен пригород Нахаловка, получивший своё название от того, что строился он действительно нахально. Почва, на которой вырос этот пригород, была болотистая, и китайские власти строиться на ней не разрешали. Но соблазн был велик. Район этот находился рядом с центром, с Пристанью. И беженцы начали строиться, используя китайский закон, который гласил, что строение не подлежит сносу, если в нём выложена и уже топится печь. За почву на пустынном месте вырастал сколоченный из досок сарай, в нём выкладывалась небольшая печь, и на утро китайские полицейские были бессильны перед свершившимся фактом,— дым, поднимавшийся над не успевшей высохнуть трубой, говорил им ещё об одном домовладельце. Препятствовать дальнейшей постройке, превращавшей сарай в жилой дом, полицейские уже не могли.

Также упорно и настойчиво входили беженцы и в общественную жизнь Харбина. Возник беженский комитет, различные общества по профессиональному признаку—общество инженеров, общество врачей, юристов... Было даже общество ночных сторожей. Различные землячества—казанское, самарское, омское... Всех землячеств трудно было перечесть: в Поволжье, на Урале и в Сибири городов не мало. В год приезда в Харбин Кедрова, там было не менее сотни различных беженских объединений. Практическая выгода от всех этих объединений была только их организаторам, так как касса, пополняемая членскими взносами, находилась у них в кармане.

Беженцы рассасывались. Устраивались на работу. Работали у беженцев же, которые вывезли с собой ценности

<sup>1</sup> Фаршированные дома—так называли в Харбине дома с засыпными стенами.

и открывали в Харбине различные предприятия. Специалисты — инженеры, техники, мастеровые устраивались на дорогу: командированный в Харбин правлением Русско-Азиатского банка на должность управляющего дороги инженер Остроумов охотно принимал специалистов из беженцев в депо, в механические мастерские и вообще на дорогу, как людей «политически благонадёжных». Так же, как людям «политически благонадёжным», широко открывались двери внутренней охраны КВЖД для бывших офицеров, казаков и солдат белых армий.

Вторая волна беженцев, нахлынувших на Харбин после того, как Советские войска окончательно очистили от белых Приморье, создала в городе большие кадры безработных.

В основном, это были бывшие военные одиночки и с семьями — люди без специальности. Но и немногим специалистам из их среды было уже трудно устроиться. Частные конторы, предприятия, магазины служащих больше не принимали. На дороге все штаты были также заполнены.

Для этих беженцев жизнь в Харбине началась с тяжёлых дней.

Кедрову, исходившему за этот день почти весь Харбин, он казался настоящим русским городом. На каждом шагу русские лица, повсюду русская речь... И только китайские киоски, торгующие папиросами, китайские газетчики да китайские полицейские на перекрёстках улиц говорили ему о том, что он в Китае.

## 6. ЛЮБУЮ РАБОТУ — НА ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Праздники кончились. Харбин пьяно и шумно отгулялся три дня, и в городе снова началась деловая жизнь.

Кедров вышел из дома с твёрдым намерением — сегодня же найти работу во что бы то ни стало. В успехе Кедров не сомневался. В слова Троицкого, что получить в Харбине работу дело безнадёжное, — не верил.

— Хитрит Васька, — усмехался он. — Просто сам не хочет работать. Да и на что ему? Говорят же, что у его отца на два века хватит.

Во время вчерашнего знакомства с городом, Харбин произвёл на Кедрова хорошее впечатление.

— Город большой, шумный, — думал Кедров. — А как зарод гуляет! Значит, есть на что... А если есть на что, значит, зарабатывают... Работают... Да... Но, может быть, лучше купить газету? Нет ли там объявлений о работе?..

Он подозывал газетчика-китайца.

— Газета «Заря», «Рупор», «Русское слово»... Шибко интересна... — ломанным русским языком затараторил китаец, протягивая Кедрову пачку газет.

— Да одну мне, одну, понимаешь... Ну вот, хоть эту... Какая это? «Заря»? Сколько? Пятачок... На, получи.

Кедров развернул газету. Объявлений о спросе на труд не было ни одного, но зато предложений труда... Этими мелкими объявлениями была испещрена полностью вся последняя страница:

— «Ищу службу...»

— «Ищу работу...»

— «Инженер-строитель с большим стажем ищет службу инженера, техника, десятника, чертёжника. Согласен на любые условия».

— «Бывший судебный следователь ищет работу счетовода, бухгалтера и других подходящих занятий. Согласен на любые условия».

Но особенно поразило Кедрова одно объявление. Он даже перечитал его несколько раз. В небольшом квадрате мелким убористым шрифтом было напечатано:

«Бывший военный лётчик, полковник царской службы Макаров ищет место шофёра, автомеханика, чертёжника, слесаря. Готовит и репетирует по всем предметам средне-учебных заведений. Владеет в совершенстве французским и немецким языками. Знаком с конторским делом. Может быть сторожем, дворником. Согласен на любую работу, на любых условиях».

Вчитываясь в это объявление, Кедров почувствовал, как почва ускользает из-под ног. Прежней уверенности — как не бывало.

— Уж если такой человек, столько специальностей, — «на любую работу, на любых условиях», — то как же я?.. Нет, пожалуй, Васька, действительно, правду говорил... Впрочем, ничего, — мысленно успокаивал он себя, немного погодя. — Ничего... На войне хуже положения бывало, и то вывозила кривая. Авось, и тут не выдаст... В крайнем случае, на вокзал или на пароходы грузчиком пойду работать. Ведь работал же я во Владивостокском порту...

Под вечер Кедров возвращался домой усталый и подавленный. Его упорные поиски работы не дали никаких результатов. За день он обошёл всю Пристань. Заходил в каждую контору, в каждый магазин, несмотря на то, что повсюду висели на дверях лаконичные надписи.

«Свободных вакансий нет».

Но Кедров всё же заходил и просил работу. Он согласен на любую работу, на любых условиях. Но везде был один и тот же стереотипный ответ, такой же, какой он читал на дверях:

«Свободных вакансий нет».

Правда, в нескольких конторах всё же спросили о его специальности, но что он мог на это ответить? Какая у него специальность?! Когда и где он мог её приобрести?..

В одной из таких контор на вопрос о специальности ответил.

— Репетитор. Могу быть грузчиком — четыре месяца работал по этой специальности. Знаю языки — английский, японский. Ну, что ещё? Да, ещё умею джигитовать, сгребать, колоть, рубить...

Хозяин насмешливо улыбнулся:

— Репетиторов, грузчиков и переводчиков нам пока не требуется. Джигитов и стрелков — тоже не надо. До свидания...

И когда Кедров выходил, владелец конторы ещё раз насмешливо проговорил ему вслед:

— Действительно «стрелок»! Того и гляди в карман залезет!

Дома Троицкий успокаивал Кедрова:

— Не унывай! Сегодня ничего не нашёл, завтра найдёшь, послезавтра, через месяц... Я вон два месяца без работы.

— Ты — другое дело, — возражал Кедров. — У тебя родители здесь А я... У меня...

Кедров нервно провёл рукой по лбу, вспомнив о семье. Отец, мать, сестра... Где они сейчас? Он потерял с ними связь в конце девяностого года. Правда, кто-то во Владивостоке говорил ему, что перед уходом белых из Верхнеудинска полковника Кедрова уговаривали бежать, давали в эшелоне отдельную теплушку, но он наотрез отказался. Он в то время занимался хозяйством, имел небольшую пасеку и считал, что бежать ему некуда и незачем.

— Чудак человек! — говорил между тем Троицкий, хлопая Кедрова по плечу.—Живи себе пока у нас. Кто тебя гонит?!

Но Кедров был иного мнения—ведь не обязан же отец Троицкого его кормить! Да и сам он, Кедров, не привык сидеть на чужой шее, он с четырнадцати лет старался зарабатывать на свои личные расходы, хотя в этом и не было надобности.

— Ну что ж, —как-то даже обиженно сказал Троицкий.—Твоё дело, конечно... Если хочешь, сходим завтра в Русское студенческое общество, может быть, там что-нибудь наклюнется...

Русское студенческое общество, куда на следующее утро Троицкий привёл Кедрова, представляло собою фактически только список студентов-беженцев, зарегистрированных беженским комитетом.

Комитет нанял для них три комнаты в доме модягоусского домовладельца Гольцева, где студенты и жили. Гольцев содержал баню, пользование которой студентами беженский комитет обусловил в контракте о найме помещения.

Лучшего нечего было желать, и Кедров, сердечно поблагодарив семью Троицких за приют, переташил свой лёгкий чемодан в «Общежитие РСО», как называла этот кров для студентов небольшая деревянная доска, прибитая около дверей дома. Выше же, над дверью, тянулась большая вывеска с надписью:

«Русская баня Гольцева».

Студенты, вернее, бывшие студенты, дружески приняли нового сожителя. Их было шесть человек. Самому старшему из них, Грачёву,—лет около тридцати. Он когда-то учился на юридическом факультете Казанского университета. В 1915 году был призван в армию, окончил военное училище и летом семнадцатого года, будучи уже поручиком, командовал батальоном.

Грачёв был груб с солдатами и поэтому после революции, опасаясь расправы, устроил себе командировку в тыл, и на фронт больше не вернулся.

В первые же дни гражданской войны он, не задумываясь, влился в белую армию и с Колчаковцами прошёл всю Сибирь с запада на восток, пока не остановился в Харбине. Но эта остановка была временной—Грачёв мечтал об Америке и ждал только подходящего случая для

отъезда за океан. А пока он усиленно подкапливал деньги. Мастерски играя в преферанс, Грачёв сделался в Харбине игроком-профессионалом. Каждый вечер он уходил в агорный клуб, и не было случая, чтобы возвращался без выигрыша.

В одной комнате с Грачёвым обитал также казанец Панкратов, сын крупного помещика. Революция застала Панкратова на первом курсе медицинского факультета. Вместе с родителями он бежал от большевиков на восток. По дороге, в эшелоне, отец и мать умерли от сыпного тифа, и Панкратов добрался до Харбина осиротевшим. Он остро, жгуче ненавидел большевиков, обвинявших во всем своих несчастьях.

Обладая прекрасным баритоном, Панкратов пел в церковном хоре и, кроме того, работал в одной из ночных ресторанов, развлекая публику пением русских песен. Этим он зарабатывал достаточно, чтобы, по примеру Грачёва, подкапливать деньги,— как и Грачёв, Панкратов стремился уехать за океан.

В другой комнате обитали два друга — два «брата Аякса», как их шутливо называли остальные, — Женя Поспелов и Павлик Воронов. Как и у Кедрова, их мечты о продолжении образования были разбиты мобилизацией в белую армию. Вместе с колчаковцами «братья» докатились до Приморья, где, использовав предоставленную возможность уйти из армии, поступили во Владивостокский Политехнический институт. Но проучились они только два месяца. Слухи о том, что большевики не щадят никого и расстреливают поголовно всех, служивших в белой армии, оторвали друзей от учёбы.

В октябре 1922 года на одном из пароходов они с остатками выкинутых из Приморья белых полков добрались до корейского порта Гензана, а оттуда, через китайский город Гирин,— до Харбина.

Служба в белой армии (оба по мобилизации попали в один полк), учёба в институте, мытарства по Корее и Китаю,— всё это крепко их сдружило. У них не было различия «твоё—моё», и сейчас, в Харбине, они работали вместе, деля заработок пополам. Оба они хорошо рисовали, и их комната представляла собой небольшую художественную мастерскую. На деревянных, гладко обструганных дощечках, на полотне, на удлинённых, тонких от резких древесных стволов они рисовали яркие пейзажи,

жанровые картинки. Всё это потом выносилось ими на базар. «Товар» этот шёл не плохо, спрос на него был, друзья на жизнь не жаловались.

Кедрова как-то сразу потянуло к «Аяксам». С первого же дня знакомства они перешли на «ты», и весь вечер просидели, съебирая в памяти недавно пережитые годы.

Два раза в неделю Поспелов и Воронов работали статистами в оффре и такую же работу предложили Кедрову.

— Правда, — говорили они, перебивая друг друга, — это не настоящая работа, всего лишь полтинник в вечер. Четыре доллара в месяц. Но зато, брат, оперу бесплатно будешь слушать. Это тоже кое-что стоит. Пойдём с нами завтра.

Но Кедров и не думал отказываться.

Любая работа, на любых условиях! Начнём с оперного статиста. Четыре доллара в месяц тоже на земле не валяются! Статист в театре — это ничего. Важно — не оказаться статистом в жизни...

В комнате, в которой поместился Кедров, жили два земляка — томичи. Бывшие студенты Томского университета. Один — Кожевников — с физико-математического факультета, другой — Власов — с юридического. Оба служили в белой армии и бежали в Харбин из Приморья. Кожевников, как его звали товарищи, «математик» жил на заработки — где наколет дров, где подметёт и двор, то поможет какой-нибудь хозяйке донести домой продукты с базара. С утра он уходил на поиски этой работы. Когда день был удачный и «математику» удавалось заработать несколько десятков центов, — он возвращался в общежитие весёлым, жизнерадостным, как правило, выпившим. Но если «математик» возвращался мрачным и, чертыхаясь, сразу заваливался спать, то все знали — заработать в этот день ему ничего не удалось.

Власов имел постоянную работу. Каждый день по утрам он разносил хлеб из пекарни в русские и китайские лавки и получал за это двадцать долларов в месяц и полбулки хлеба в день.

На следующее утро Кедров, взяв домовую книгу, сходил в полицейский участок для прописки на новом месте жительства. В участке его строго предупредили, что в течение месяца он обязательно должен взять китайский паспорт.

— Ну, месяц — это ещё ничего! За месяц-то он два дол-

лара на паспорт заработает! Да... но ведь надо сфотографироваться.

Вечером Поспелов и Воронов повели его в театр на работу.

—Что, опять новый статист?—заговорил помощник режиссёра, когда «Аяксы» стали просить его о Кедрове.—Да откуда вас столько берётся? Ну, ну, ладно—идите гримируйтесь. Расскажите ему, что и как надо делать.

В этот вечер шла «Кармен». Кедров в синем испанском мундире, в причудливой каске с белым султаном, с бутафорским ружьём на плече, вместе с другими статистами чётко промаршировал по сцене.

Кедров слушал оперу впервые в жизни. В Енисейске вообще театра не было, не говоря уже об оперном. Владивосток также жил без оперы.

Забыв обо всём, Кедров жадно впитывал в себя море звуков чудесной музыки Бизэ. Эти звуки, казалось, наполнили его всего.—Как хороша жизнь. И сколько она может дать человеку необыкновенного, красивого!

Кедров мысленно повторял про себя особенно запомнившуюся ему мелодию: «торрэдор, смелее в бой»..

— Да, да... Смелее в бой! Он, Кедров, тоже будет биться. Биться за жизнь.

Возвращаясь из театра, друзья быстро шагали по пустынным улицам. Мороз заставлял их прибавлять шаг..

— Ну, как? — спросил Поспелов.—Понравилась работа?

—Хорошо,—улыбнулся в ответ Кедров, всё ещё переживая очарование слышанной музыки и нашупывая в кармане серебряный полтинник, пятьдесят центов—первые деньги, заработанные в эмиграции.

Принимая во внимание, что общий стол, который организовали обитатели общежития РСО, обходился им тридцать центов с человека в день, первый заработок Кедрова был не так уж плох—на него можно было пропитаться почти два дня.

## 7. «У КОГО ЦЕЛЫЕ ПОДМЕТКИ?»

Время шло. Через неделю после своего первого выступления статистом, Кедров взялся за шесть долларов в месяц два раза в неделю расклевывать по всему городу афиши об очередных оперных спектаклях.

Вскоре ему удалось устроиться в редакцию газеты «Русь» относить газеты на вокзал к ночному поезду для отправки их на линию. Платили за это пять долларов в месяц. Кедров, не задумываясь, взялся и за это—лишние доллары не помешают.

Представилась возможность уплатить за китайский паспорт.

Рассматривая этот документ, дающий ему право проживать в Харбине, он усмехнулся—в графе «подданство» было чётко написано: «российский эмигрант».

Да... эмигрант... Вот теперь он действительно эмигрант, узаконенный китайскими властями!

Однажды в общежитии Кедров заметил, как Власов выпал из стеклянного флакончика небольшую грязьку белого порошка на вытянутый большой палец и затем, поднеся его к носу, коротким вдохом ловко втянул порошок в себя.

—Что это?—кинув на бутылочку, спросил Кедров.  
—Лечитесь?

Власов насмешливо взглянул на Кедрова, удивляясь ироничности его вопроса.

—Нет-с, коллега, не лечусь. Просто подкрепляюсь. Это—кокаинчик. Вы не пробовали? Замечательная вещь. Хотите угощу? Впрочем, нет, не угощу. У самого осталось на два-три раза.

И Власов бережно положил бутылочку в боковой карман своей сильно потрёпанной военной гимнастёрки.

Странным казался Кедрову этот человек. Странным временами почему-то даже страшным. Высокого роста, худощавый, с тонкими чертами лица, он выглядел старше своих двадцати пяти лет. Запавшие в глубокие впадины бесцветные глаза были безжизненны, и только после очередной порции кокаина лихорадочно загорались и становились колючими, жёсткими, жестокими.

—Напрасно вы этим увлекаетесь,—осторожно проговорил Кедров.—Вредно для здоровья...

—Чудак вы, коллега, ей-богу!—усмехнулся Власов.  
—Да мало ли что вредно для здоровья, а мы всё же делаем. Вы вот курите, это разве не разрушает ваши легкие? «Математик» наш иногда выпивает—алкоголь тоже губительно действует на организм. А кокайн... Без кокaina, батенька мой, в контрразведке нельзя. Иначе нервы не выдержат.

Кедров невольно отшатнулся:

— Вы... служили в контрразведке?!

До Владивостока Кедров не имел понятия о том, что такое белогвардейская контрразведка.

«Полтавская, три»... Об этом доме на Полтавской улице говорили в городе шёпотом, боязливо оглядываясь,—как бы кто не подслушал, не донёс. С «Полтавской, три» возврата не было. Там, обосновалась белогвардейская контрразведка, которая, чувствуя неизбежный конец белой авантюры, особенно жестоко расправлялась со всеми, на кого падала хотя бы малейшая тень подозрения в симпатиях к красным.

— Да, служил,— не замечая изменившегося состояния Кедрова, продолжал Власов.— И, могу сказать,—не плохо. Впрочем, не плохо, может быть, благодаря кокайну. Иногда попадались такие экземплярчики, что из них из выколотишь признания. Пока не запорешь до смерти,—не один раз нюхнёшь...

Власов судорожно стиснул свои тонкие, длинные пальцы, указательный палец правой руки его нервно задёргался, как бы нажимая на спусковой крючок пистолета. Он не мог спокойно говорить о большевиках.

— Такие экземплярчики...—повторил он.— Вот, знаете, попался один... Было это под Читой, перед пасхой, в двадцатом году. Как раз бои шли с красными. Подобрали наши раненого комиссара, ну и, естественно, прямо к нам Птица крупная, сами понимаете. А что комиссар был—по документам обнаружили, не успел уничтожить, снарядом его оглушило. Подлечили его немного, стали допрашивать. Молчит мерзавец. И так и эдак с ним. Всыпал ему шомполов, как полагается. Опять ни звука. Посолили его...

— Как посолили?— не понял Кедров.

— А очень просто — солью. На то место, по которому вороли. Многие этого засола не выдерживают, начинают говорить. Он же — как воды в рот набрал. Решили поджарить пятки на раскалённых углях. Горит мерзавец.. Горелым мясом завоняло, но — молчит. Стали опять пытать. Но всё-таки не заговорил. Пришлось пристрелить.

— Неужели вы... сами?— ужаснулся Кедров.

Власов колыхнул его взглядом:

— Не дядю же просить. Натурально сам. Вас это воробит?

— Откровенно сказать — да,— сознался Кедров.— Слишком всё это жестоко.

Власов встал и заходил по комнате, хрустя пальцами.

— Жестоко, говорите. Эх вы... мягкотелый интеллигент! Жестоко! Да я, если вы хотите знать, жалею сейчас только об одном,— что мало их перестрелял. Их надо было всех уничтожить, всех до одного! Жестоко?!— Власов зло засмеялся. — А с нами они поступили не жестоко? Со мной, с вами, со всеми нами? Вышвырнули нас как ненужные вещи.

— Но ведь я, вы и другие — сами мы бежали. Никто нас не гнал,— пытался возразить Кедров.

— Всё равно, всё равно,—нервно перебил его Власов. — Нас выгнали, сами бежали — это дела не меняет. Факт остаётся фактом. Не будь этой проклятой революции, не будь большевиков,— я, вы и другие нам подобные жили бы нормальной, веками налаженной жизнью.

После этого разговора Кедров стал брезгливо сторониться Власова.

— Неприятный тип,— сказал он однажды про него «братьям Аяксам».

— Ты не ошибся,— подтвердил Женя Поспелов.— Кстати, ты знаешь его историю? Тут он как-то разоткровенничался о себе...

И Женя рассказал.

Власов был сыном прокурора томской судебной палаты. Революция застала его на втором курсе юридического факультета Томского университета. Он готовил себя к судебной карьере. Адвокатскую деятельность он презирал— пустобрёхи, говоруны!— и мечтал после окончания университета быть судебным следователем, прокурором, судьёй.

— Преступников надо не защищать, а карать,—авторитетно повторял он слова отца.— И особенно строго карать тех, кто подрывает основы самодержавия.

Отец Власова не пережил революции. Когда над Томском заалели красные флаги и томичи восторженно подавливали друг друга с «великой, бескровной», прокурор, достав из ящика письменного стола браунинг, перешагнул грань отделяющую жизнь от смерти.

Накануне похорон Власов всю ночь неподвижно просидел около гроба отца. Потрескивало масло в лампадке перед образами, монотонно лился голос монашки, читав-

шёл над покойником псалтырь... Власов вглядывался в строгое, застывшее в вечном спокойствии лицо отца, думал свои думы.

Эта ночь окончательно определила его мировоззрение. Если в первые дни новой жизни Власов просто не разделял общего ликования, то затем, похоронив отца, он сделался яростным противником революции. Ожесточённый, он не скрывал своих взглядов и вскоре был арестован за контрреволюционные выступления. Из-под ареста Власову удалось бежать. Он скрылся из города.

Следы Власова обнаружились в конце 1918 года, когда он, работая в колчаковской контрразведке, появился опять в Томске и начал расправу со всеми, кого считал виновниками смерти отца. Он мстил. Кому? За что? Всем тем, кто хотел, кто делал эту проклятую революцию, лишившую его отца прочного служебного положения в жизни, закрывшую перед самим Власовым дорогу к карьере, о которой он мечтал. Мстил жестоко, с холодным sadizmом. Немало невинных людей закончили при помощи Власова свою жизнь в застенках колчаковской контрразведки, искоренявшей большевизм в Томске.

Не переставая работать в контрразведке, Власов докатился до Приморья, где последним его этапом была Полтавская улица, № 3, во Владивостоке.

За несколько дней до входа во Владивосток советских войск он бежал в Харбин.

Власов также сторонился Кедрова, но однажды не выдержал. Возвратившись под вечер с работы, он, снимая ботинки, кинул Кедрову:

— Вот вы, интеллигент с возвышенной душой, клеймящий жестокость,—полюбуйтесь, до чего нас довели большевики! Вот взгляните — на собственных подошвах хожу! Подметки совершенно сносились. Это, по-вашему, не жестоко?

Власов зло сплюнул и лёг на кровать.

Проблема подметок мучила не только Власова. Как-то в театре шла опера «Князь Игорь». Во время возвращения князя из половецкого плена бояре подносят ему хлеб-соль. Помощник режиссёра подобрал для этой роли двух статистов. По разработанной мизансцене они должны были подносить князю хлеб-соль, стоя перед ним на коленях, спиной к публике. В антракте опытный помощник режиссёра решил проверить.

— А ну-ка вы, бояре с хлебом-солью, покажите ваши подмётки.

У обоих «бояр» на подмётках оказались большие дыры.

— А что б вас,—выругался помощник режиссёра. — Да вы что, публику смешить вздумали. А ну-ка, господа статисты,— обратился он к остальным,— у кого из вас целые подмётки?

Проверка дала катастрофические результаты — ни у кого из двадцати с лишним статистов целых подмёток не было.

Пришлось, спасая положение, снять ботинки с двух музыкантов в оркестре и обуть «бояр». Фасон обуви не играл роли — сверху на ботинки надевались парчевые бутафорские краги, создававшие впечатление богатых боярских сапог — важны были целые, не пронощенные дыры подмётки.

## 8. «БЕЛЫЕ НЕГРЫ»

Приближалась весна. Многочисленные харбинские церкви каждый день великопостным звоном звали к себе русских горожан освободиться от всех грехов, вольных и невольных, сотворённых ими в течение года.

Как-то в один из таких дней Кедров, подходя к общежитию, увидел около двери китайского полицейского. Когда Кедров поднялся на крыльце, полицейский остановил его вопросом на ломаном русском языке:

— Тебе здесь живи?

— Да... А что?

— Твоя знай Власова? Его тоже здесь живи?

— Знаю. Мы вместе живём.

— Твоя сейчас ходи покажи, куда его живи.

Кедров провёл полицейского в общежитие.

В этот послебеденный час все были в сборе. Власов лежал, вытянувшись на койке, и насвистывал популярный мотив из «Сильвы». Увидев вошедшего полицейского, он поднялся и сел.

— Какой люди Власов? — спросил полицейский у Кедрова.

— Ну, я — Власов... В чём дело? — ответил за Кедрова Власов.

— Твоя Власов? — ещё раз переспросил полицейский.

— Я же сказал — да.

Полицейский молча снял с пояса свёрнутую жгутом верёвку, распустил её и быстрым движением скрутил руки Власова назад.

Когда Власов был уведён, все стали наперебой спрашивать Кедрова,— откуда он привёл полицейского.

— Скорее он меня привёл, чем я его,— рассказывал Кедров.— Поймал у входа, спросил про Власова и сказал, чтобы я провёл его сюда.

— Но за что всё-таки его, а?— взорвался Поспелов.— «Математик», ты не знаешь?

Павлик высказал предположение:

— Может за кокайн? Узнали, что нюхает... Китайцы на этом строго следят...

Однако через несколько дней причина ареста Власова выяснилась. Денег на кокайн у него не было, и он продавал на базаре часть хлеба, который должен был разносить клиентам пекарни. Те, естественно, обратились к хозяину, и трюк Власова был обнаружен. Владелец пекарни сделал заявление в полицию.

Власов не вернулся. Он сел на четыре месяца в тюрьму за кражу.

Незаметно подошёл весенний церковный праздник — пасха.

Пасху Харбин праздновал так же широко, пьяно и разгульно, как и рождество. Пожалуй, даже ещё шире, приходя в себя только в конце пасхальной недели.

Кедров решил сходить к Троицким, поздравить родителей Василия с праздником. К этому Кедрова обязывало чувство благодарности к ним за помощь и приют, оказанные ему в первые дни его жизни в Харбине.

У Троицких было уже много визитёров. Подходили новые.

— С светлым праздничком, Агафья Антоновна! — приветствовали они хозяйку. — Христос воскрес! Да уж нет, позвольте похристосоваться... (Чмок... Чмок...) Ещё раз... (Чмок.) По христианскому обычаю — троекратно-с!..

— Воистину! — христосовалась с гостями Агафья Антоновна и приглашала к столу.

— Милости просим выпить, закусить... Чем бог послал.

Пасхальный стол изобиловал множеством вин и закусок. Но на этот раз его убранство дополняли стоявшие

на тарелках, на кружевных бумажных салфетках куличи, расписанные сахарной глазурью, крашеные яйца вокруг свежей зелени овса и большая сырная пасха.

Разговоры за столом шли обычные, празднично-пастальные.

— Где изволили быть у заутрени? В соборе? А я, знаете, в Иверской. Чудесный хор там... Владыка Дмитрий служил... Нет, нет, Агафья Антоновна, уж вы меня от второй увольте! Одну рюмочку за ваше здоровье выпил с удовольствием, а вторую — ни-ни! Духовенство в светлых ризах, вся церковь в огнях... Благолепие... Не невольте, Агафья Антоновна! От второй наотрез откажусь. У меня сегодня больше полсотни визитов, и я в каждом доме только по рюмочке... Зарок дал...

Агафья Антоновна особенно не настаивала — приём праздничных визитёров имел свои неписаные законы.

К концу дня... «по рюмочке в каждом доме» делали своё дело. Визитёры уже не разбирали — знакомый дом или нет — и заходили в каждый подряд.

— С с'свет'лым пр'а-аэдничком! — еле-еле шевеля языком, здоровались они с незнакомыми хозяйками.

— Х'рии.. Христос в'воскресе!..

Бесцеремонно расцеловав хозяйку, — Тр'роек... ник... кратно... п'по христианскому обычаю-с! — визитёр, не дожидаясь приглашения, проходил в столовую, что-то пил, чем-то закусывал и, нетвёрдо шагая, направлялся в другой дом — рядом.

К вечеру извозчики и шофёры сдавали мирно похранивающие на сидениях пролёток и биржевых автомашин «мёртвые тела» — по принадлежности: жёнам, поджидавшим своих мужей с визитов.

Посидев немного, Кедров собрался было уходить, но Агафья Антоновна его не отпустила:

— Нет, нет, и не думайте! Ишь, тоже визитёр выискался... В кой-то веки зашёл и удирать собрался. Или, может, куда с визитом?..

Идти Кедрову больше было некуда.

— Вот и прекрасно,— решила Агафья Антоновна.  
— Отобедаете у нас, а там, глядишь, и отец с Васенькой подойдут.

Сам Троицкий подъехал к вечеру сильно навеселе и потребовал чаю. Когда Настя внесла самовар, шумно вошёл Вася.

— Слышали новость? — возбуждённо-радостно заговорил он. — Шанхайцы в Америку едут. Володька Ляпустин письмо получил. Ты ведь его помнишь, Коля? С нами на одном курсе был.

— Он разве здесь?

— Сначала в Шанхай мотанул из Владивостока, потом его отец сюда вызвал. Отец у него здесь, доктор. Володька теперь сграшно жалеет, что послушал отца.

Прихлёбывая чай, Вася начал рассказывать более связно:

— В Шанхае есть американская организация — христианский союз молодых людей, иначе — ХСМЛ. При её помощи американское консульство выявило желающих из числа русской эмигрантской молодёжи поехать в Америку для продолжения образования, и теперь отправляет их за океан на государственный счёт. Вот повезло людям! Как ты на это смотришь, Коля?

Кедров молчал. Всё это, конечно, заманчиво. Очень заманчиво. Продолжать учиться. Уехать на казённый счёт. Тем более — английский язык он знает... Но... Всё же, Америка... Уедешь за океан — России больше никогда не увидишь.

Мелькнула тень какого-то смутного подозрения — почему это вдруг американцы — деловые, расчётливые люди, у которых всё построено на наживе, — почему они вдруг решили сделать такой широкий жест?..

За Кедрова Вася ответил отец:

— Вот это я понимаю! Одно слово — Америка! Люди! И себя помнят — и ближнему помогают. Оттого у них в порядок твёрдый наложен. Никаких революций нет...

Кедров вернулся домой поздно вечером, но общежитие ещё не спало. Грачёв, Панкратов и «математик» играли в преферанс — «по маленькой», а «Аяксы» работали.

Новость, принесённая Кедровым, взбудоражила всех. Грачёв, несмотря на то, что по обыкновению выигрывал, бросил карты.

— Надо сразу же, как только кончатся праздники, — решительно заявил он, — идти в ХСМЛ. Если в Шанхае христианский союз провернул это дело, то почему же здесь нельзя?

— Троицкий тоже хочет сходить, — сказал Кедров.

— Правильно! Молодец ваш Троицкий! — Грачёв обвёл всех радостно блестящими глазами. — Ведь это же.

господа, такой случай, такой шанс! Такого, может быть, больше и не будет...

В оживлённом обсуждении вопроса об Америке мнения разделились. «Аяксов» в Америку не тянуло. К их мнению присоединился Кедров. Грачёв и Панкратов считали отъезд за океан единственной возможностью создать для себя, как они говорили, действительно человеческие условия жизни. «Математик» завалился на кровать и молча слушал этот спор.

— Вот вы, господа, говорите, что Америка окончательно оторвёт вас от России. Но... от какой России, разрешите вас спросить? — горячился Грачёв. — России, как таковой, былой, настоящей России — нет! На её месте — Совдепия. Туда вас что ли тянет? Там вас давно ждут, каждому по осине да по верёвке на шею приготовлено!

Поспелов вынес из своей комнаты небольшую, недавно законченную картинку, и показал её Грачёву:

— Видите?

— Позвольте, какое это имеет отношение?...

— Про отношение потом... А сейчас я спрашиваю — видите? Что это?

— Ну, предположим, что берёзовая роща, — взглянул на картину Грачёв и зло добавил: — Во всяком случае, шедевром назвать нельзя.

Однако, Поспелов на это колкое замечание не обиделся.

— Ясно, что не шедевр, — улыбнулся он. — Я не Левитан. А вот всё-таки смотрю я на свою берёзовую рощу и представляю себе берёзовую рощу другую — настоящую, живую, нашу русскую, родную берёзку. Вижу эту рощу, залитую ярким летним светом. Слышу, как нежно шелестят её листья. И даже запах её чувствую... Чуть-чуть уловимый, такой... свежий! Эх, да что говорить! Где вы, кроме как у нас, в России, найдёте такую красоту?

Панкратов внёс предложение:

— Попросим высказаться «математика». Пусть он разрешит наш спор с точки зрения неопровергимой математической логики.

«Математик» сел на кровати и, почёсывая голову, сказал:

— Откровенно говоря, братцы, спать пора — первый час.

— Да ты не отваливай,— настаивал Панкратов,— говори прямо: хочешь в Америку ехать?

— Спать, спать пора,—раздеваясь, повторил «математик».

— В самом деле, коллега,— поддержал Панкратова Грачёв,— интересно было бы услышать ваше просвещённое мнение.

— Моё мнение?—«Математик» натянул на себя одеяло и, повернув к Грачёву голову, заговорил:— По Евтушевскому, дважды два всего было, есть и будет—четыре. А вы с Панкратовым хотите нас всех убедить в том, что дважды два — пять. Нас вы в этом не убедите, а сами... сами можете ехать к вашим просвещённым янки. Белые негры там тоже могут быть использованы не хуже чёрных. А за сим — спокойной ночи.

Павлик от восторга даже вззизгнул:

— Ей-богу, прав «математик»! Даром-то они, конечно, может быть, и увезут и наобещают с три короба, а потом так зажмут, что лазаря запоёшь, да уж поздно будет — не выкрутишься. Действительно в раба, в белого негра превратишься.

Однако, Грачёву с Панкратовым Америка рисовалась в ином свете.

Весной 1923 года американское консульство в Харбине объявило о том, что правительство Соединенных Штатов Америки открыло для русской антибольшевистской молодёжи свободный въезд в Америку — вне квоты. Харбинское отделение ХСМЛ повело широкую агитацию, яркими красками рисуя те блестящие перспективы, которые, якобы, открываются для русских в стране доллара.

На американскую удочку клюнуло человек полтораста. Американское консульство заполнилось звуками русской речи — шло оформление документов. Готовились к отъезду Грачёв и Панкратов. Троицкие собирали Васю.

## 9. ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕСТВА

Весна вступила в свои права. Зелёными аллеями тянулись новогородние улицы Харбина. Вдоль правого берега Сунгари — от Пристани и дальше, вверх по течению, до Чинхэ — целыми днями сидели любители-рыболовы.

У крутого, выложенного рваным камнем берега реки,

в конце Китайской улицы поджидали пассажиров свежевыкрашенные лодки. Их, лодок, было много, и все они почему-то носили женские имена: «Тамара», «Зоя», «Маруся». Начиная с двадцатого года, русские лодочники стали вытеснять китайских — беженцы брались за любую работу. И часто можно было слышать, как лодочники, споря друг с другом из-за перехваченного пассажира, кричали:

— Эй, поручик, ты с какой стати моего пассажира к себе уводишь? Сюда, господин, сюда пожалуйте... Прошлый раз я вас возил...

Днём бывало даже жарко. Заядлые купальщики начали купаться с половины мая, хотя вода в Сунгаре была ещё холодной.

В городе становилось душно. Повсюду неприятно пахло расплавленным асфальтом — шёл ромент улиц. Громухи огромные катки, укатывая щебень и затем песок мостовой. Укатанный песок заливался асфальтом. Здесь работали артели русских рабочих, причём, старые понощенные военные гимнастёрки со следами от погон красноречиво говорили о их недалёком прошлом.

Кедров искал комнату. Общежитие РСО закрывалось. Срок его аренды кончался 1-го июня, и беженский комитет от возобновления договора отказался, не видя смысла содержать общежитие для нескольких человек. К этому времени из общежития ушёл «математик». Он нашёл место дворника у одного пристанского домовладельца и перебрался в свою небольшую дворницкую. Поспелову и Воронову посчастливилось устроиться помощниками декоратора в железнодорожное собрание. Там же, при собрании, вновь испечённые железнодорожники получили комнату.

В общежитии оставались только Кедров, Грачёв и Панкратов. Но последние двое вот-вот должны были уехать за океан.

Сказать «найти комнату» — легко. Но не так-то просто это сделать, когда можешь ассигновать на её наём не больше трёх долларов в месяц, да и то урезав себя при этом во всём остальном. Кедров осторожно пробирался по узким, дощатым, местами прогнившим тротуарам, сооружённым на высоких сваях по бокам улиц Нахаловки. Этот новый, недавно выросший на болоте пригород Харбина был местом, где ютилась вся беженская беднота в

где можно было недорого снять комнату или, в крайнем случае, угол. Самостоятельно с двадцатого года осваивая эту большую болотистую площадь, протянувшуюся от вокзальных путей до механических мастерских и одним боком подходившую к Пристани, а другим упиравшуюся в Московские казармы, беженцы, сколотив там «фаршированные» дома, принялись за осушение топких улиц, выкапывая вдоль них сточные канавы. В этих канавах всё лето стояла покрытая зелёной плесенью сточная вода, заражая воздух зловонием. Если в сухую погоду по улицам Нахаловки было трудно не только проехать, но даже и пройти, то во время дождей они были совершенно непроходимы.

Однако нахаловские домовладельцы не унывали. Они крепко вrostали в болото, и ситцевые занавески, и горшки с геранью на окнах говорили даже о налаживаемом ими жизненном уюте. Вторая большая партия беженцев значительно пополнила собой население Нахаловки, забившись в комнаты и углы её домиков.

Сильно потрёпанный костюм Кедрова, по-видимому, не внушал доверия. В домах побогаче, где на окнах висела бумажная наклейка с надписью «Сдаётся комната», его встречали с холодной сдержанностью и запрашивали нагорчito высокую цену, которая была Кедрову не по карману.

В других — его отпугивала плата, запрашиваемая за три месяца вперёд.

Натолкнувшись несколько раз на подобный приём, Кедров стал обходить такие дома.

— Нет, нет... надо искать где попроще... В крайнем случае, найти где-нибудь угол...

Около одного из таких домов «попроще» он и остановился, увидев на окне наклейку:

«Сдаётся угол».

Войдя в маленький двор, увешанный сушившимся на верёвках бельём, он постучал в полуоткрытую дверь. Оттуда послышался женский голос:

— Кто там? Не заперто, входите.

Кедров вошёл. В небольшой кухне женщина стирала бельё.

— Здравствуйте, — снял Кедров фуражку, — это у вас здесь сдаётся угол?

— Что, угол? — оторвалась от стирки женщина, обивая с рук мыло. — Это вот сюда, в эту дверь, к слесарю.

— Степан Кузьмич! — крикнула она в сторону двери. — Степан Кузьмич, тут к тебе... квартирант пришёл.

— Ну пришёл, так пусть идёт сюда. Чего он там стоит? — послышался в соседней комнате голос, и в дверях показался его обладатель.

Это был человек невысокого роста, на вид лет сорока, с взлохмаченными волосами, с лицом, заросшим клочистой чёрной бородой.

«На цыгана походит», — подумал, взглянув на него, Кедров.

— Вы что ли снять угол хотите? — обратился слесарь к Кедрову и тут же решил: — Платите три доллара за месец вперёд и переезжайте. Вдвоём веселее будет.

Комната, которую слесарь снимал у женщины, стиравшей бельё, была небольшая. Из единственного, давно немытого окна открывался унылый вид на заболоченную улицу, но выбора не было.

«Поживу пока здесь, — мысленно уговаривал себя Кедров, — а там видно будет».

Он протянул слесарю деньги и нерешительно проговорил:

— Мне ведь надо для себя еду готовить... Я хотел занять угол с пользованием плитой...

— Это плёвое дело, — опять быстро решил слесарь, засовывая деньги в карман. — Плита у хозяйки целыми днями топится. А нет, так на моей печурке на дворе сваришь что надо. Купишь углей и сваришь. Ну, а теперь давай знакомиться. Степан Кочкин я, бывший слесарь Китайской Восточной железной дороги. А теперь вроде как отставной козы барабанщик. Хе-хе-хе, — засмеялся он своей шутке. — Когда, значит, Остроумов на дороге воцарился, так Степана Кочкина сразу к чёртовой матери. Не по нраву пришёлся им Степан Кочкин. Так-то вот!.. А тебя как звать-то? — перешёл слесарь на «ты».

— Николай... Николай Кедров...

— Так ты вот что, Николай, того... ты завтра же перебирайся. Вдвоём-то нам веселее будет. И плату я тебе с завтрашнего дня считать буду. Да ты куда торопишься? Посиди, поговорим...

— Да нет, — отказался Кедров. — Я, пожалуй, пойду. Темнеет уж. Тут с непривычки по вашим улицам...

— Да это, действительно, — перебивая его, согласился слесарь. — По нашим улицам, будь они трижды прокля-

ты, особенно пьяному — лучше не ходить. В один момент сковырнёшься с тротуара и «утопнешь» в болоте. До завтра, значит... До свиданьица!

Кедров пожал мозолистую, заскорузлую руку слесаря, попрощался в кухне с хозяйкой и вышел.

Сумерки сгущались. Кедров с ещё большей осторожностью, чем днём, пробирался по тротуарам-мосткам, направляясь в сторону Пристани.

— А чёрт! — чертыхался он, обходя зиявшие дыры в прогнивших досках.— Как я буду тут ходить ночью? Зазеваясь, сковырнёшься и в самом деле «утопнешь»!..

Перейдя, наконец, через железнодорожную часынь, идущую от вокзала в механические мастерские и отделявшую Нахаловку от Пристани, Кедров уверенно зашагал по цементированным тротуарам пристанских улиц.

Ехать в Модягоу в автобусе для него было дорогим удовольствием. Шёл пешком, не спеша. Торопиться было некуда, да к тому же хотелось собраться с мыслями. За пять месяцев, прожитых в Харбине, ему до сих пор, несмотря на все усилия, не удалось найти постоянной работы, которая позволяла бы ему не думать о завтрашнем дне. Вот подбил к ботинкам подмётки, и это было его из бюджета — месяц он недоедал. Теперь ещё прибавился расход на квартиру. А что если он лишится работы, какую имеет? Поговаривают, что оперные ~~труппы~~ артисты скоро закончатся... Как же дальше жить?

Мысли перенеслись на несколько лет назад — гда то-вариц Кедрова по гимназии Федя Лыткин рассказывал ему, что жизнь человеческого общества строится на основах удовлетворения потребности человека в пище, жилище и одежде. До сих пор в Харбине Кедров заботился только о пище и одежде. Теперь ему приходится заботиться ещё и о жилище, как полноправному члену человеческого общества.

В общежитии его радостно встретили Грачёв и Панкратов.

— Ну-с, коллега,— заговорили они наперебой,— можете нас поздравить! Через неделю едем! Понимаете — Америка! Вот где жизни! Вот где человек, действительно, ценится! Через пять лет получим американское гражданство... Чудак вы, право, что отказались ехать. Можно сказать, от своего счастья отмахнулись!..

Эти розовые мечты Грачёва и Панкратова об Америке,

их восторженные речи о стране доллара, прозвучали резким диссонансом с тяжёлыми думами Кедрова о той суровой действительности, с которой его стукнула жизнь в Харбине.

Но всё же он остался при своём мнении и шутливо ответил «американцам»:

— А ну её к чёртовой бабушке вашу Америку! Как-нибудь... пробьюсь как-нибудь... и, в конце концов, выбьюсь!

— Выбьетесь из сил? — насмешливо подсказал Гравёв.

— Не из сил, а в люди выбьюсь, — уверенно проговорил Кедров. — И здесь я добьюсь того, что буду полноценным человеком.

— Блажен кто верует, легко ему на свете! — саркастически заметил Панкратов. Но Кедров больше не слушал. Он пошёл в кухню подогревать ужин..

## 10. СТЕПАН КУЗЬМИЧ

Степан Кузьмич Кочкин — слесарь потомственный. Его отец всю свою жизнь проработал в слесарном цехе железнодорожных мастерских в Чите. В этом же цехе начал с двадцати лет работать и Степан — сначала учеником, по окончании ручным и, в конце концов, — слесарем.

От работы в цехе его оторвал в 1903 году призыв в армию. Для отбывания воинской повинности Кочкин был отправлен в Маньчжурию, в железнодорожный батальон, расквартированный по линии КВЖД. В составе этого батальона он участвовал в русско-японской войне, был ранен, за боевые отличия получил георгиевский крест и нашивки старшего унтер-офицера.

Выходя в 1906 году в запас, Кочкин не поехал в Читу. Его привязали к Харбину голубые глаза и длинные русые косы Наташи — дочери токаря механических мастерских.

Степан устроился в Харбине слесарем в механические мастерские и сыграл свадьбу.

Жили молодые Кочкины дружно, душа в душу. И старик токарь, отец Наташи, частенько, поглаживая свои седые усы, говоривал, что о лучшем зяте он и не мечтал.

Но иногда Степан, обычно всегда весёлый, жизнерадостный,

достный, становился мрачным. Это случалось, когда харбинское жандармское управление начинало проявлять к нему особое внимание. В жандармском управлении находилось на него целое дело, в котором значилось, что «старший унтер-офицер железнодорожного батальона Степан Кузьмич Кочкин, срока службы с 1903 года, вёл в 1905 году революционную агитацию среди солдат означенного батальона и был членом батальонного комитета». С такой характеристикой Степан не был бы, конечно, принят на работу в механические мастерские КВЖД, если бы не георгиевский крест. Однако за ним было установлено постоянное негласное наблюдение, и, кроме того, жандармы время от времени делали в его квартиру неожиданные визиты, производя иногда даже обыски. Закрывая за жандармами двери, Кочкин разражался ожесточённой бранью:

— И когда она меня в покое оставят, ищёйки проклятые?!.. Чего ищут?!.. Всё равно не найдут того, что в душе у Степана Кочкина скрыто...

Наташа родила Степану троих ребят, Но двое младших — девочки — были не долговечны. Одной исполнилось два года, другой — четыре, когда в дом Кочкиных забралась скялатина, и, через три дня после похорон одной дочки, Кочкины увезли на кладбище вторую. Старший ребёнок — мальчик — выжил, и вся любовь Степана и Наташи перешла на него.

Звали его в честь отца Степана — Кузьмой.

— Я, Кузька, из тебя,— лаская сына, говорил отец,— такого работника сделаю — во! Первой руки слесарем станешь. Будешь мне помогать. Вдвоём-то мы с тобой, сынок, горы свернём!..

Илистая Сунгари унесла эти мечты Степана. Девятилетний Кузя, купаясь в реке со сверстниками, утонул. Труп мальчика выловили только на следующий день.

Степан обезумел. Всю ночь просидел он около лежавшего в гробу сына, гладил дрожащей рукой его русые волосы, пристально вглядывался в дорогие, теперь безжизненно спокойные черты лица Кузи, и казалось Степану, что мальчик сейчас откроет свои голубые, как у матери, глаза, обнимет его, как бывало, своей ручонкой за шею, заберётся к нему на колени.

— Эх, Кузя, Кузя!.. — срывающимся голосом шептал Степан.— Кузя, помощник ты мой дорогой...

Две недели после смерти сына Степан не выходил на

работу, и когда вышел, товарищи его не узнали. Он осунулся, почернел... Прежней, привычной весёлости в нём как не бывало.

Оживился Степан только тогда, когда до Харбина дошли вести о восстании в Петрограде, о революции, о свержении царя.

— Братцы! Товарищи! Николашке, значится, того, коленком дали по мягкому месту...— возбуждённо говорил Степан Кузьмич на цеховом митинге.— Теперь наше дело не допустить, чтобы оно, того, не обернулось, словом, как в девятьсот пятом. Родзянко тоже... хрен редьки не слаще. Одно слово — буржуй. В рабочие руки власть брать надоно. Во!..

И Степан Кузьмич сжимал в крепкие кулаки свои наруженные пальцы.

Он не разбирался в сущности программ всех политических партий, но рабочим чутьём угадывал правоту дела большевиков, шёл за ними, голосуя на митингах за их предложения и призывая к этому товарищей по цеху.

В эти дни жена мало видела его дома. Товарищи избрали слесаря Степана Кочкина председателем цехового комитета.

Много крови цеховому начальству испортил Степан Кузьмич своими настойчивыми требованиями об улучшении условий работы и быта своих рабочих.

— До каких пор народ в цехе калечить будете?— горячился он в кабинете начальника цеха.— В прошлом году двоим руку станком отхватило. Нынче одного пришибло... Сколь терпеть можно? Безопасную технику налаживать надо,— настаивал он, выражая по-своему понятие о технике безопасности.

И... частично добился. Точно так же, как добился и того, чтобы мастера не обманывали рабочих при расчётах.

Когда Хорват задушил революцию на КВЖД, Степан Кузьмич затаился. Но профсоюзной работы не бросил. В его квартире часто собирались товарищи по цеху, бывал народ из других цехов—«поиграть вечерком в лото». А наутро решения этой подпольной группы говорили рабочим о том, что революционные силы на дороге только временно отступили, но не сдались.

С женой Степан Кузьмич делился своими думами:

— Ничего, Наташа,— уверенно говорил он.— Ниче-

го... Наша всё равно возьмёт. Никак это невозможно, чтобы рабочий человек вечно на буржуя работал. Вон в Рассее как оно дело-то обернулось. И здесь этого не миновать.

Разгром Колчака придал Кочкину ещё большую уверенность в справедливости его затаённых дум. Да и не только он, Кочкин, но и большинство рабочих механических мастерских начали открыто высказывать свои взгляды, радуясь успехам большевиков в России.

Говорили не страшась, бояться было некого. Жандармов смела революция, хорватовская контрразведка не могла полностью развернуть своей работы — мешали китайцы.

А китайской полиции вообще не было дела до того, о чём говорят русские, лишь бы они не нарушали в городе порядка.

И когда Остроумов произвёл чистку дороги от «большевистской заразы», Кочкин одним из первых был уволен из мастерских. Это было в 1921 году.

Для Степана и Наташи наступили трудные дни. Но слесарь не пал духом.

— С моим рукомеслом не пропадём,— успокаивал он жену.— Пробьёмся!..

Кочкины переехали из железнодорожной квартиры в Нахаловку, сняв комнату у беженца Токмакова.

Сам Илья Игнатьевич Токмаков, в прошлом почтово-телеграфный чиновник в Чите, торговал теперь на базаре старым железом. А жена его, Зинаида Ильинична,— её-то и видел Кедров, когда снимал у Кочкина угол,— брала на дом стирать бельё.

Перебравшись к Токмаковым, Кочкин стал работать дома: принимал в починку примусы, кастрюли, починял замки... Главным образом он имел работу от Токмакова, который скупал старые железные изделия и, после почивки их Кочкиным, продавал на базаре.

К Кочкину Кедров переехал на следующий день.

— Это весь твой багаж?— кивнул слесарь на небольшой чемодан, когда Кедров появился на пороге его комнаты. — Да ты проходи, проходи, чего стоишь.— И, показывая на доски, положенные на два ящика, добавил:— Я уж тут тебе логово соорудил. Располагайся... Эх, парень, да у тебя и тюфячка-то нет!.. Как же ты спать-то мечтаешь?

Кедров растерянно посмотрел на голые доски.

— Да, действительно... Тюфяка у меня, Степан Кузьмич, нет...

— Эх ты, голова садовая! — усмехнулся слесарь. — Не завёл ещё? Но ничего, ничего... Как-нибудь наладим... Сообразим что-нибудь... Найдётся тюфячок. Покойница-то моя, царство ей небесное, любила спать на мягком.

Он вытянул из своей постели большой тюфяк и протянул его Кедрову:

— На, бери!.. Да берё, бери, говорю, не валяй дурака. Устраивайся, а потом обедать будем. Я тебя поджидал. Щи у меня на плите стоят, горячие. Вот хлеба-то, ка-жись, нет. Придётся, парень, тебе в лавочку сбегать. Щи мои, а хлебушко-то, значит, твой. Да помидорки штуки две прихвати...

Когда Кедров вернулся из лавки, Степан Кузьмич уже хлопотал с обедом.

— Ну вот, — подмигнул он Кедрову, нарезав больши-ми кусками хлеб, — теперь можно и подхарчиться. Бери ложку. Постой, постой, совсем забыл — у меня ещё вод-чонки немного осталось, как раз на двоих хватит. Сейчас мы с тобой по стопочке пропустим, для аппетита. Не пьёшь? — удивился слесарь. — Да ну? Плохо твоё дело, парень! Какой же ты есть после этого человечек, коли не пьёшь? Курица, браток, и та пьёт. А ты, значит, хуже ку-рицы выходит! Хэ-хэ-хэ... Ну твоё дело, не неволю. Воль-ному — воля, спасённому — рай, как говорится... Тогда я один, за твоё здоровье...

Слесарь выпил и аппетитно крякнул:

— Хорошо! Водка, она кровь разгоняет. Покойница жена всегда мне к обеду стопочку подносила...

— У вас давно жена умерла, Степан Кузьмич? — спро-сил Кедров.

— Жена-то? — переспросил слесарь и умолк. Рука его с ложкой дрогнула, и капли расплескавшихся шей посыпали на бороде. Молчал и Кедров, почувствовав нетактичность своего вопроса.

— Жена-то? — заговорил, вздохнув, слесарь. — Жена-то у меня после нового года померла.

И, помолчав, Степан Кузьмич опять заговорил. Каза-лось, ему хотелось высказать, излить всё то большое горе, которое его наполняло и которое он старался скрыть от людей своей наигранной весёлостью.

— Эх, Колька, не баба у меня была, а золото. Никакая работа у неё из рук не валилась. Когда попёр меня Остроумов из мастерских, и перебрались мы в эту конуру,— трудновато стало жить. Пришлось Наталье тоже за работу браться. Где бельё постирает, где полы помоет. Подённо работать ходить стала... Может, от того и скрутило её. Я так думаю — надорвалась баба. Утром ей на работу идти, а она разогнуться не может, криком кричит. Не то в боку, не то в животе колотье приключилось. С лица аж почернела вся. Сволок я её в городскую больницу. А там доктора: «немедля, говорят, резать надо, а то помереть может». У меня и руки опустились: как это живого человека резать? Доктора меня уговаривать — пока жива, дескать, и резать надо, чтобы не померла. И бояться нечего — такие операции — плёвое дело. Гнойную кишку, «пицциндит» по-ихнему, за пятнадцать минут вырезывают...

— Так у неё, значит, гнойный аппендицит был? — понял Кедров.

— Во-во!.. Он самый, «пицциндит». Слепая кишка какая-то загноилась. Махнул я рукой. Что ж, говорю, режьте. С раннего утра баба мается, а уж пятнадцать-то минут как-нибудь перетерпит. Повели меня в контору и требуют тут же платить шестьдесят долларов за операцию. А у меня хоть шаром покати, во всём доме ни копейки. Христом-богом прошу, режьте, говорю, пока не померла баба, за Степаном Кочкиным не пропадёт, всё до копеечки выплачу. Куда тут — и слушать не хотят. Я и так и эдак. Сами же, мол, говорите, что дело срочное. Жизни человек лишиться может. Очень даже просто, отвечают, что лопнет кишка, и погреёт баба, а всё же без денег резать не можем... Что тут будешь делать? Побежал я деньги добывать. А перед тем к Наталье завернул. Жива, спрашиваю, покедова? А она слова вымолвить не может. Еле-еле дышит, лежит. Собрал я дома — какие вещишки получше были — шубу свою драповую, Натальину шубу, брошка у неё была золотая, кольцо с себя снял обручальное, часы свои карманные прихватил — и в ломбард. Получил за всё сорок долларов — и прямым ходом в больницу. На-те, говорю, а остальные двадцать потом выплачу, паспорт в залог оставил.

Голос Степана Кузьмича сорвался:

— А мне и говорят: — «Без надобности теперь. Оставь

деньги себе. На похороны пригодятся». Пока я, значит, хлопотал насчёт денег, лопнула эта самая слепая кишка, и померла моя Наташа...

## 11. ЧЕТЫРЕ СТАКАНА ЗА ДЕНЬГИ, ПЯТЫЙ—ДАРОМ

Кедров усиленно искал работу. Оперный сезон закончился. Статисты, в том числе и Кедров, лишились своего грошевого, но всё-таки заработка. Правда, одно время работа как будто бы подвернулась. Подрядчик, копавший поглащающий колодец во дворе Гонконг-Шанхайского банка, нанимал чернорабочих. Но радость Кедрова была преждевременной: в первую же неделю подрядчик заплатил рабочим только половину обещанной зарплаты и в ответ на их возмущение коротко заявил:

— Берите что дают. И за это спасибо скажите. А кому не нравится,— может в суд подавать...

— Ну что, парень,— почёсывая бороду, ухмылялся слесарь.— Значит, за что боролся, на то и напоролся!...—И уже серьёзно добавил:— А в суд подавать без надобности. У подрядчика деньги! Сунет судье и драгоману, и ни черта вы с него не получите!

Положение у Кедрова становилось тяжёлым. Последние деньги подходили к концу. Ночная работа от редакции могла кое-как обеспечить дней десять в месяц, не больше.

Помог случайно попавший в руки календарный листок. На нём Кедров прочитал рецепт приготовления хлебного кваса. Мелькнула мысль:

«А что, если попробовать... Варить и продавать квас?»

И хотя в первый момент эта затея показалась дикой и бессмысленной, он всё же подсчитал расход и возможную прибыль: смысл как будто бы был.

Робко посоветовался со слесарем, опасаясь, что Степан Кузьмич поднимет его на смех. Но, к удивлению Кедрова, слесарь отнёсся к его затее сочувственно.

— Валяй!— серьёзно ответил он.— Дело не плохое. Сейчас как раз лето. Ишь, какая жара стоит. Вынесешь на барахолку — в один момент расхватывают!

Ильинична тоже одобрительно отнеслась к плану Кедрова и обещала даже первое время помочь и дать бутылки.

Затратив свои последние деньги на сухари, дрожжи и

сахар, Кедров через два дня рано утром шёл на бараходку, неся в перекинутых через плечо мешках тридцать бутылок кваса.

На Пристани, на углу Пёлевой и Новогородней, высилось большое трехэтажное здание. Это — японская гостиница «Хокуман-отель». Дом, имеющий свою историю. Когда-то он принадлежал русскому харбинцу. Осенью 1919 года, позарившись на деньги, этот харбинец продал его японцам за семьдесят пять тысяч сибирскими колчаковскими деньгами, которые через несколько месяцев потеряли всякую ценность, превратившись в бумажную макулатуру. Японцы приобрели дом фактически даром, а его бывший владелец разорился.

Рядом с «Хокуман-отелем» — публичный дом, рассчитанный на клиентуру из японской гостиницы. А ещё дальше, до угла Водопроводной, тянулись мелкие ресторанчики-кабаки, где пропивали свои последние гроши загулявшие беженцы, кутили воры и куда забегали выпить стопку водки бояки.

Напротив «Хокуман-отеля» и всех этих кабачков, на большой площади — бараходка. Здесь сходились пути всей беженской бедноты, продававшей остатки взятых с собой при бегстве вещей. Бараходка была местом, где торговцами-китайцами скапалось краденое. О чём, найти краденную вещь здесь было почти невозможно. Намётанный глаз китайца-торгаша безошибочно определял продавца и происхождение продаваемой им вещи, она немедленно переправлялась в китайскую часть города — в Фудзядян, и там следы её терялись на многочисленных базарах.

Были на бараходке ларьки и русских торговцев из беженцев. Они торговали старыми книгами, электрочастями, железным ломом.

У Токмакова ларька не было. Весь его товар был разложен на большой цыновке, разостланной на земле. В строгом порядке на цыновке лежали ключи, замки, кастрюли, примусы, чайники, молотки, старые гвозди и многое другое, что скапалось Токмаковым за бесценок, на вес, и затем, отремонтированное Степаном Кузьмичём, получало ценность как товар.

Токмаков выпил у Кедрова стакан квасу и заплатил два цента. Кедров не брал деньги, но Иван Игнатьевич настоял:

— Как можно не брать? Надо по-деловому — вы торгуете квасом, значит, получите. Подойдёте ко мне, я вам тоже старого гвоздя даром не дам...

До обеда Кедров распродал весь квас и возвращался домой в хорошем настроении.

Его чистый доход составил один доллар. Временный выход из трудного положения был найден.

Четыре часа утра... Ещё темно, только-только начинают меркнуть звёзды, в доме все спят, но Кедров уже ча ногах. Он наспех завтракает хлебом с квасом и торопится на барахолку. Надо успеть занять бойкое, проходное место. До полдня квас распродавался. Кедров обедал здесь же, на барахолке, — шёл за второй партией кваса. Уже смеркалось, когда он возвращался домой, ужинал и принимался за варку кваса. Рабочий день его кончался около полуночи. И так — каждый день.

Отыхал Кедров только в дождливые, ненастные дни. И только тогда он чувствовал, как уставал от ежедневной двадцатичасовой работы. Спать, спать... Никаких больше желаний. Разморённый сном, ещё не совсем проснувшись, он обедал со Степаном Кузьмичём и снова заваливался в постель.

Но результаты работы оправдывали её напряжённость. У Кедрова появился уже покупатели, которым он разносили квас дом целыми четвертями. Это было как раз кстати, так как торговцев квасом появилось слишком много. Приходилось придумывать различные способы, чтобы вести с ними конкуренцию. Нахваливая по-русски и по-китайски свой квас, Кедров кричал:

— Настоящий русский хлебный квас! Две копейки стакан! Четыре стакана за деньги, пятый — даром.

Это давало свои результаты. Выпьет человек один-два стакана. Больше ему не хочется, но он пьёт ещё и ещё, чтобы выпить, в конце концов, пятый стакан даром.

Когда Кедров рассказал об этом Степану Кузьмичу, слесарь долго смеялся.

— На жадности людской, значит, свою выгоду строишь, — говорил он. — Хитро придумал. Жадный человек всегда в дураках остаётся. Что верно, то верно!

С раннего утра на барахолке — не протолкнёшься. Из общего гула голосов вырываются выкрики:

— Брюки, брюки диагональевые...

— Кому шаль кашемировую? Кому? Не угодно, господин?

— Не до кашемиров, барыняка. Проходи, не вертись перед глазами...

— Часики замечательные! «Павел Бурэ»... Призовые от нужды продаю...

— Гаржетка лисья...

— Кому надо?.. Кому надо? — деловито протискиваешься по толпе китаец, держа в руках пиджак.

— Ручка дверная... Чистая медь!

— Деньги, деньги вытащили! Батюшки, да что же это?

— Ботинки мужские!.. Ботинки!..

— Кваску, господа, пожалуйста,— повторяла сидевшая рядом с Кедровым пожилая женщина, тоже торговавшая квасом.

— Две копейки стакан! Четыре стакана за деньги, пять — даром! — заглушал её Кедров.

— А ну-ка, любезный, принеси мне своего квасу!

Кедров оглянулся на голос.

На дороге остановился извозчик и махал ему рукой:

— Тащи, тащи! Оглох что ли?!

Извозчик выпил стакан квасу и протянул Кедрову пятак:

— Сдачи не надо! — и понукнул лошадь: — Н-но! Тройтай, застоялась!

— Полковник Урняж, — кивнув на извозчика, сказала Кедрову соседка. — Мой-то покойный муж командиром полка был, а полковник Урняж у него помощником. Всё бывало, ручки мне целовал. А теперь не узнаёт. Недавно встретила его, здравствуйте, говорю, Павел Иванович. А он глаз прищурил, извините, говорит, мадам, не имею чести. И пошёл себе дальше. Богатый стал, своя лошадь экипаж. Хорошо зарабатывает.

Питаясь хлебом, квасом да китайской лапшой, Кедров немного приоделся, купил на барахолке поношенный костюм и кое-что из белья. Приобрёл даже тюфяк, свой собственный тюфяк. Степан Кузьмич не упустил случая побалагуриТЬ:

— Ну вот! С тюфяком, значит. Теперь дело за бабой!

В конце июня уезжала в Америку группа беженской молодёжи. Кедров ходил на вокзал провожать Троицкого и встретил там в группе отъезжающих своего бывшего сослуживца по полку Мунгалова.

Оба — и Вася, и Мунгалов — обещали писать.

С вокзала Кедров пошёл к Троицким. Увела его с собой мать Васи.

— Для меня вы, Коленька, — сквозь слёзы говорила она по дороге, — как родной. Друг ведь вы Васеньке-то моему. Проводили мы нашего соколика... Каково-то ему будет на чужой стороне...

— Плохо не будет, — успокаивал жену сам Троицкий.

— Васька парень с головой, пробьётся. Там таким, как он, дорога широкая... С божьей помощью!..

Однако у слесаря на это был тоже свой, особый взгляд. Когда Кедров рассказал ему об отъезде молодёжи в Америку, Степан Кузьмич только сплюнул и сказал:

— Ну и пусть их катятся... С попутным ветерком... Баба с возу, кобыле легче. Такие нам без надобности.

Время отсчитывало месяцы знакомства Кедрова с Степаном Кузьмичём. Ему всё больше и больше нравился этот простой человек, резкий и подчас смелый в своих суждениях. Понравился и Кедров слесарю.

На первых порах Кузьмич осторожно расспросил своего квартиранта, как он попал в Харбин. Кедров ничего не скрыл.

Слесарь задумчиво покрутил головой:

— Мда... Драпанул, значит, из Расеи-то? Жалеешь теперь, поди? У тятки с мамкой-то легче жилось...

Кедров пожал плечами. Слесарь вздохнул:

— Так-так... Оно всяко в жизни бывает. А ты, самое главное, не унывай. Оправишься ещё. Годы твои не ушли.

Кедров впервые так близко столкнулся с простым рабочим человеком. Бывало, раньше, ещё в гимназии, он, слыша разговоры о восстаниях рабочих, о революции девятьсот пятого года, искренне удивлялся:

— Что этим людям надо! Чего они хотят, чего добиваются. Каждому своё — царь всеми управляет, чиновник служит, купец торгует, учитель учит, а рабочий работает. Как же может быть иначе?

Теперь Кедров с интересом слушал сердитую воркотню Кузьмича, когда тот, занятый ремонтом токмаковского товара, честил на все корки проклятых буржуев.

Иногда Степан Кузьмич, ожесточаясь от своих слов, витиевато ругался, и тогда из кухни слышался голос Ильиничны, призывающий его к порядку.

— Буржуй — он того... — сердито ворчал слесарь.— Ра-

бочему человеку с ним не по пути. Он норовит выжать из тебя все соки и дать тебе за это гроши, чтобы ты только с голоду не сдох. Потому, невыгодно ему, если ты сдохнешь — кто же тогда на него работать будет? Вот, к примеру, сделал я эту кастрюлю. Буржуй,—кинулся он на комнату Токмакова,— мне за неё двугривенный дал, а сам её звёзда целковых продал! Вот и смекай — для кого я спину гнул. Нет, ты мне отдай всё сполна, что я заработал, — в том и правда человеческая... Почему это я или ты, скажем к примеру, должны работать и жить впроголодь, а буржуа не работает, а жрёт и пьёт до отвала?..

— Погоди, Степан Кузьмич,— путался в мыслях Кедров,— но ведь если бы не было фабрикантов,— не было бы и фабрик. Где бы тогда рабочие работали?..

Степан Кузьмич насмешливо смотрел на Кедрова и сплёывал.

— Дурак ты, вот что я тебе скажу. А ещё студентом прозываешься! Учился, учился, а ума не набрался. Фабриканты!.. Им вон в Рассее всем враз шею свернули, и ничего — фабрики, заводы не в бездействии, да ещё новые строят, лучше старых. А кто строит? Вот эти руки строят... — Кузьмич вытянул свои мозолистые, жилистые руки — Вот эти рабочие руки строят! Понял? Сколько ты от своей редакции получал за то, что газеты на вокзал таскал? Пять долларов? А можешь ты на эти деньги прокормить ся? То-то и оно. Вот и смекай — давали их тебе, потому знают, что всё равно тебе деваться некуда. Возьмёшь, даещё шапку снимешь, благодарить будешь — спасибо, мол вам, отцы-благодетели.

Вечера иногда коротали у Токмаковых за картами. Играли в «дурачка».

Кроя королей мелкими козырями, Степан Кузьмич неизменно приговаривал:

— А вот мы его сейчас прикончим! Чтобы и духу его не было.

— Без королей, Степан Кузьмич, люди не живут, — наставительно говорил Токмаков. — Без королевской и царской власти разруха на свете получается.

— Ничего,— подмигивал слесарь.— А вот мы как-нибудь проживём. У нас теперь все козыри в руках. Вот накось, получи! Нечем крыть, принял? Получи ещё! Ну вот и остался в дураках... с королями-то!..

Степан Кузьмич смеялся и хлопал Токмакова по плечу.

— Так оно и в жизни получается — кто за королей-то держится, тот в дураках остаётся. У рабочего человека сейчас все козыри в руках,— значит, ему и первое место!..

— Ох, Степан Кузьмич! — вздыхала Зинаида Ильинична. — Больно прыток ты... Не споси тебе головы!

— Как-нибудь уцелеем... Бывали в переделках. В случае чего, за правду и помереть не страшно. Как ты тумаешь, Колька?

Кедров неопределённо улыбался.

Будто и прав был Кузьмич, а в то же время не во всём Кедров мог с ним согласиться. Бывало в рассуждениях слесаря иногда такое, что заставляло Кедрова крепко задумываться.

## 12. «ЗОЛОТЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»

Прислонившись к палисаднику одного из домов на Артиллерийской улице, короткими затяжками дымит папиросой человек средних лет, в сильно помятой выцветшей шляпе, в старом, местами залатанном костюме, в давно нечищенных потёртых ботинках. Весь его вид не вызывает сомнения в том, что это беженец и притом безработный.

Действительно, человек с папиросой — беженец, но не безработный. Он работает, и работает неплохо. За три года беженства он на свой заработок выстроил в Новом Городе на Зелёном Базаре четырёхквартирный двухэтажный дом, около парадной двери которого, на приколоченной к стене белой дощечке, зелёными буквами чётко выведено:

«Дом Фёдора Степановича Могилёва».

Час утренний. Могилёв присматривается к прохожим, останавливая свой взгляд, главным образом, на домохозяйках, спешивших на базар. Но вот, кажется, он находит, что ему нужно и... принимается за работу.

Он быстро перегоняет женщину, проходит ещё несколько шагов впереди её, наклоняется, делая вид, будто что-то поднимает, и радостно-удивлённо вскрикивает:

— Вот так находка! Кто же это потерял?

В руке у Могилёва блестит кольцо.

— Нашёл! — обращается он к женщине. — Посмотри-

те,— золотое! Проба есть! И какое тяжёлое — золотника два, не меньше...

Намётанный глаз Могилёва безошибочно определил объект «работы» — женщина заинтересована.

— Подумайте,— сокрушённо говорит она.— Ведь я не дошла до него всего несколько шагов. Если бы вы меня не обогнали, я бы его нашла...

— Моё счастье, мадам, моё счастье, — поддерживает разговор Могилёв.— Что называется, повезло... И так кстати. У меня жена, трое детей, а в доме со вчерашнего дня ни крошки хлеба. Сейчас пойду продам свою находку... За полцены отдам, лишь бы на хлеб было...

Могилёв опять показывает женщине кольцо:

— Массивное! Такое в магазине пятнадцать-двадцать долларов стоит. А если за десятку продам, и то хорошо. Могу и ещё уступить.

— Послушайте,— решает женщина.— Зачем вам ещё куда-то ходить, искать покупателя. Я вам дам за кольцо семь долларов, больше у меня с собой нет.

Идут некоторое время молча. Могилёв думает. Затем машет рукой:

— Берите! Бог с вами! Носите себе на здоровье... Разрешите, я вам кольцо на пальчик надену...

Семь долларов переходят в карман Могилёва, и он, вежливо попрощавшись с покупательницей, направляется на другую улицу, где опять выбирает подходящий объект для «работы», опять «находит» и опять продаёт «золотое» кольцо. И так раз пять-шесть в день. Запас колец в кармане у Могилёва достаточный.

Районы для своей «работы» он всё время меняет, чтобы избегать неприятных встреч с покупательницами, так как «золотые» кольца через два-три дня зеленели, проявляя характерные свойства настоящей меди.

Но если даже Могилёву иногда и случалось встречаться со своими «объектами», то он на их упрёк сокрушённо разводил руками:

— Кто бы мог подумать! Не сам же я это кольцо сделал... Вы же видели, как я его нашёл. Деньги обратно? Да где же я возьму? Работы нет, дома жена, трое детей — голодные сидят... Я сам сейчас хотел попросить у вас копееек двадцать на хлеб, по-старому знакомству...

И действительно,— что с такого взять. Сама виновата, что позарилась на дешёвку. Тем дело и кончалось.

В прошлом, владелец небольшого ювелирного магазина в Иркутске, Могилёв учёл специфические особенности харбинской жизни и занялся выделкой медных колец, обрабатывая их так, что для неопытного глаза они ничем не отличались от золотых.

Но на всякий случай в кармане у Могилёва всегда было настоящее золотое кольцо — по наружному виду точная копия медного.

Это настоящее золотое кольцо пускалось в ход, когда покупатель хотел убедиться,— действительно ли золотую вещь он покупает.

— Что вы, что вы! — воскликнул в этих случаях Могилёв. — А проба-то на что? Даже если вы пробе не доверяете, — можем сейчас пройти в любой ломбард. Я сделаю вид, что хочу заложить кольцо. Там его кислотой проверят, и вы убедитесь...

Испытание настоящего золотого кольца кислотой давало положительные результаты. Нет сомнения — золото!

Но при выходе из ломбарда Могилёв ловко подменял золотое кольцо медным, которое и вручал обманутому покупателю с обычным пожеланием:

— Носите на здоровье!

Дело у Могилёва было поставлено на широкую ногу. В квартире, которую он занимал в своём доме на Зелёном Базаре, — три другие он сдавал, — была оборудована настоящая мастерская, в ней работало несколько китайцев, выделяя из меди «золотые» кольца, серьги, браслеты, нательные крестики, брошки...

Сеть агентов-продавцов, которых Могилёв постепенно подбирал из безработных беженцев, распространяла этот «товар» в Харбине и, главным образом, на линии дороги среди китайского населения придорожных посёлков и даже городов. Работали эти продавцы на половинных началах. Могилёв сдавал им свой «товар» за половину из предлагаемой продажной стоимости. Однако и при таких условиях каждая партия «товара» приносила ему прибыль до... двух тысяч процентов! Игра стоила свеч.

С этим «золотых дел мастером» Кедров познакомился на барахолке. Могилёв несколько раз пил у Кедрова квас и однажды, подсев к нему, завязал разговор о трудности жизни в Харбине.

— Вот вам, например, — спросил он, — что-нибудь даёт это ваше квасное дело?

— Живу,—неопределённо отвечал Кедров.

Могилёв покачал головой.

— Все мы живём. Для того и на свет рождены. Но как живём, надо спросить!. Вот, к слову сказать, ваше дело сезонное. Кончится лето,—закрывать вам свою лавочку придётся...

— Что же,—пожал плечами Кедров.—Там опять что-нибудь придумаю. Может, на работу куда-нибудь устроюсь.

Могилёв пододвинулся к нему ближе.

— Я могу вам предложить одно дельце,—заговорил он.—Месяц-два поработаете, сразу оперитесь...

Он вкратце рассказал Кедрову о своём предприятии

— Товарец я могу вам на первый случай в кредит дать,—уговаривал он.—Спасибо скажете. Многие черемяна на ноги встали, из нужды выбились...

Предложение на первый взгляд показалось Кедрову заманчивым, и он обещал подумать.

Дома он рассказал обо всём слесарю.

— Ах ты...—обрушился на него Степан Кузьмич потоком непечатаной браны.—Да ты что это, жуликом задалась захотел, так твою растак...

— Степан Кузьмич, опять материшься?—ахнула кухне хозяйка.—Сколько раз я тебя просила не выражаться.

— А ты не лезь не в своё дело, Ильинична,—огрызнулся слесарь.—Не мешай. Я тут Кольку уму-разуму учу. А тебе, парень, скажу,—обратился он опять к Кедрову,—ты в это жульническое дело не лезь. Ты что, о тюрьме соскучился что ли, сучий сын?

— Да ты чего ругаешься, Степан Кузьмич,—оправдался Кедров.—Я с тобой, как с родным посоветоваться хотел, а ты меня из матери в мать кроешь!

— Мало крыть, мало,—кипятился слесарь.—За такие дела бить тебя надо. Ты на жульничество не зарься. На нём далеко не уедешь. Ты честным трудом живи. По честному зарабатывай, тогда в глаза людям не стыдно смотреть будет. Ты лучше какое ни на есть рукомесло изучай. С ним ты, брат, в любой момент жизнь за рога ухватишь!.. Что голову повесил? Не по нраву тебе мои речи?

— Не то, Степан Кузьмич, не то. Прав ты, ничего не скажешь... Но когда учиться-то, сам посуди? С четырёх

утра до полночи каждый день, как проклятый, работаю...  
без отдыха...

Слесарь поскрёб в бороде:

— Да оно, конечно... Но, ничего... Может, оно, потом  
как-нибудь легче будет... Тогда беспременно учись, приоб-  
ретай рукомесло. Но только смотри, парень, если ты вти-  
каря от меня снюхаешься с этим жуликом,— пеняй на себя  
Всю тебе морду в кровь разобью, и дружба наша врозь

Кедров давно уже хлопотал на кухне, приготавливая  
очередную партию кваса, но слесарь всё ещё продолжал  
ворчать у себя в комнате, и до слуха Кедрова долетали  
отдельные слова:

— Жулики... мошенники...

— Что это наш Степан Кузьмич расходился? — спро-  
сила Кедрова хозяйка.— За что он вас так?

— За дело, Зинаида Ильинична, за дело,— виновато  
улыбнулся Кедров.— Ругать, говорит, мало, бить меня  
надо.

И он рассказал ей о предложении Могилёва и про  
свой разговор со слесарем.

— Что ж,— поддержала Зинаида Ильинична слеса-  
ря.— Кузьмич дело говорит. Лёгкие заработка до добра  
не доводят. Вы уж за это, Коля, не беритесь! — Зинаида  
Ильинична зевнула.— О-ох-ох... Я, пожалуй, пойду лягу.  
Мой-то спит уж, сегодня рано завалился, нездоровится  
ему что-то. Вы тут, как управитесь, прикройте поддувало  
покрепче. А то как бы уголёк не вывалился, пожара бы  
не натворил.

На следующий день Могилёв опять заговорил о прода-  
же своего «товара», но Кедров ответил ему решительным  
отказом.

А в конце лета в газетах появилось сообщение, что  
шайка «золотых дел мастеров» во главе с Могилёвым бы-  
ла накрыта полицией и упратана за решётку. Сначала  
где-то на линии дороги была арестована женщина с моги-  
лёвским «товаром». На неё пожаловался в полицию обма-  
нутый китаец. Этот арест оказался нитью, потянув за  
которую, китайские власти и распустили весь клубок.

Читая подробности задержания могилёвской шайки  
Кузьмич посмеивался:

— Допрыгались, сучьи дети!.. Всё одно — сколь ни во-  
руй, тюрьмы не миновать,— и, свернув газету, добродушно  
подмигнул:— Ну, что ты теперь, Колька, скажешь?

Кедров благодарно взглянул на слесаря:

— Да что тут скажешь? Одно скажу — большое спасибо тебе за науку твою. Не ты,— сидеть бы мне теперь вместе с ними.

### 13. «ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Наступила осень — лучшее время года в Харбине. Золотая маньчжурская осень.

Дни стояли теплые, но утром и вечером было уже прохладно.

Торговля квасом пошла на убыль, и перед Кедровым опять встал вопрос о заработке. На этот раз ему удалось устроиться быстро и, как ни удивительно, даже по газетному объявлению: домовладелец Шевченко искал русских плотников. Взяться за эту работу уговорил Кедрова Степан Кузьмич.

— Мало что никогда в руках топора не держал,— говорил он.— Валяй, не бойся — привыкнешь. Ничего в этом деле хитрого нет...

Разговаривая с домовладельцем, Кедров вдохновенно врал:

— Помилуйте... Да я с малых лет на этом деле. У отца плотницкая мастерская была. Дед всю жизнь плотником работал.

И вспомнив, что Степан Кузьмич называл себя потомственным слесарем, добавил:

— Я, можно сказать, потомственный плотник!

— Добре, доброе,—погладил Шевченко свои седые свисавшие книзу усы.— Иди во двор, спросишь там десятника. Он укажет тебе что делать. Скажешь — я послал. Получать будешь... Положу я тебе рубль двадцать в день...

Один доллар двадцать центов! О такой зарплате Кедров даже и не мечтал. Только бы как-нибудь удержаться, привыкнуть поскорее к незнакомой работе...

В плотницкой артели, работавшей у Шевченко, было человек двенадцать, главным образом бывшие солдаты и офицеры белой армии. Среди них — только несколько настоящих плотников, остальные, как и Кедров, брались от нужды за любую работу. Десятник Пётр Афанасьевич Рогов — коренной харбинец, обосновавшийся в Маньчжурии после русско-японской войны,— служил у Шев-

ченко давно,— сначала на лесной ксицессии, которую Шевченко имел на линии КВЖД, а затем в Харбине, руководя ремонтом домов своего хозяина. Добросердечный по натуре человек, Пётр Афанасьевич снисходительно относился к промахам неумелых плотников и терпеливо учил их:

— Во всякую работу вникать надо,— наставительно говорил он.— Наша плотницкая работа чистая и здоровая, потому как лесной дух — он для человека полезительный. Но без уменья тут невозможно — враз или руки портишь, или лесину приведёшь в негодность...

Дав Кедрову работу, Пётр Афанасьевич недоверчиво спросил:

— Сумеешь?

— Сумею! — уверенно отвечал Кедров, взяв рубанок и ожидая, пока десятник отойдёт. У него была надежда, что посмотрев, как работают другие, он всё же с делом справится.

Но Петра Афанасьевича провести было трудно. Видя, что Кедров медлит приниматься за работу, он отошёл от него и присел на доски, незаметно поглядывая на нового плотника. Кедров взял рубанок и долго прилаживал его к доске.

— Ну, что? — подошёл к нему Пётр Афанасьевич.— Ты мне лучше, господин хороший, правду говори: плотничал ты когда-нибудь или нет?

Кедров молчал, опустив голову.

— Молчишь? — заговорил опять десятник.— Стыдно, небось, что похвастал? Ну, так я тебе скажу — никакой ты не плотник. Меня, брат, не проведёшь!..

«Всё! — мысленно решил Кедров.— Кончена здесь моя работа. И чёрт меня дернул браться за то, чего не умею»...

Пётр Афанасьевич тем временем говорил, кивая на других рабочих:

— Вон они почти наполовину такие же мастера были, как и ты. А теперь —приноровились, работают на полный ход. Ничего тут хитрого нет. Дай-ка сюда рубанок, смотри. Веди его по тесине ровно, прямо, — тогда и стружка у тебя будет ровная Ну-ка, теперь сам пробуй... Ничего, ничего, браток, ты не смущайся, спокойно действуй. Постепенно приспособишься, будешь работать не хуже других-прочих...

Кедров ожил — значит, не выгонит!

Пётр Афанасьевич ещё несколько раз показал ему, как действовать рубанком, и работа начала понемногу налаживаться.

Домой Кедров возвращался весёлый и довольный. Наконец-то, кажется, устроился более-менее прочно. И дел какому-то учится...

Был доволен за него и Степан Кузьмич.

— Рукомесло, какое оно ни есть, — говорил он, — а всё же всегда человека прокормит. И другим от него польза...

Через неделю Кедров довольно уверенно действовал плотницкими инструментами, и теперь уже только изредка Пётр Афанасьевич делал ему некоторые указания, сопровождая их добродушным ворчанием.

— Ты во всяку мелочь в работе вникай, — учил он Кедрова. — Старайся, чтобы с каждым разом лучше было. Тяп-ляп — это, брат, не годится. Поспешишь — людей насмешишь. А выучишься ремеслу как следует, тебе же самому от этого польза в жизни будет.

В обеденный перерыв Пётр Афанасьевич часто рассказывал о своей работе на лесной концессии.

— Люблю я, братцы, в тайге работать, — говорил он, — Посмотришь кругом — красота! Стоит лесина — не обхватишь... Взглянешь наверх — шапка валится. Только работа там без привычки и без приспособлений — опасная для человека. Сколько за моё время на нашей концессии людей покалечило и на смерть забило — страсть... То деревом придавит, то при перевозке что-нибудь приключится Железнодорожную ветку на концессию провели. Накидало кое-как шпалы, рельсы к ним приколотили. Состав с лесом идёт — всё ходуном ходит. Того и гляди, загремит с рельс всё это хозяйство. Особенно, когда под уклон. Платформы с лесом из стороны в сторону кидает. Брёвна как живые, ползут на скрепах. Иной раз не выдержат скрепы, лопнут, и тогда брёвна, словно горох, с платформы под откос. У меня вот случай был. Еду с лесом, на площадке платформы... Разогнался состав под уклон, раскачало брёвна. Вижу, ползут на меня, вот-вот раздавят. Давай я карабкаться наверх. Не успел. На правую ногу бревно наехало, ступню придавило. Я и так, и эдак — не могу освободиться. Кое-как выдернул ногу из валенка. залез наверх. А ехать ещё километров двадцать. При-

крыл разутую ногу полушубком, чтобы не обморозить  
Так без валенка и доехал...

Время отсчитывало дни. Прошёл сентябрь. В конце октября Кедров получил почти одновременно два письма из Америки — от Троицкого и Мунгалова. Письма были безрадостные. Никто из уехавшей туда беженской молодёжи не учился. Многие мыли окна на этажах выше двадцатого: взглянешь вниз — дух захватывает.

Мунгалов работал ремонтным рабочим на железной дороге, проходящей через пампасы. Тяжёлые условия этой работы отпугивали коренных американцев, и кадры рабочих комплектовались из эмигрантов.

Троицкий в своём письме сообщал о Грачёве и Панкратове. Оба они работали чернорабочими в ассенизационном обозе. О себе Троицкий сообщал, что пока он присматривается к новой обстановке. Отцовские деньги давали Васе возможность жить не работая, а также заниматься детальным изучением американских баров и заводить знакомства с *dance girls*<sup>1</sup>, которых он восторженно описывал в своём письме.

Мунгалов писал, что все харбинские «американцы» должны отдавать половину своей зарплаты на покрытие всех расходов по их переезду в Америку. По подсчёту Мунгалова, расплачиваться за «блестящие американские перспективы», как он иронически выражался, придётся года три, не меньше.

В первый же выходной день Кедров пошёл с этими письмами к «братьям Аяксам».

— А, святая душа на костылях! — радостно встретил Кедрова Поспелов. — Где пропадал? Раздевайся, сейчас Павлик придет, — обедать будем. Рассказывай, как жизнь?..

— Как в сказке о рыбаке и рыбке, — шутливо ответил Кедров, снимая пальто.

— Что так? У разбитого корыта? Без работы, что ли?

— Да нет, работа есть. Но особенно похвастаться «онечно, нечем».

И Кедров рассказал о своём квасном деле, о теперешней работе в плотницкой артели. Вошёл Павлик.

Женя засуетился:

— Павлик, давай-ка беги за обедом. Возьми лишний —

<sup>1</sup> Dance girls — партнёры для танцев в американских барах

для Коли. Мы здесь столуемся, при собрании,— рассказывал он Кедрову.— Берём дежурные обеды. Дёшево и сердито.

После обеда читали вслух оба письма из Америки. Друзья часто прерывали чтение репликами:

— Вот так учиться поехали!

— Наобещали ребятам семь вёрст до небес, а на деле шиши показали...

— Нет, каковы американцы!.. Прирождённые рабовладельцы!

— А Грачёв-то с Панкратовым! Вот тебе и блестящие перспективы... в ассенизационном обозе!..

— Ну, Троицкий-то крутится. Папаша помогает...

— Что я говорил?— ораторствовал Поспелов, когда чтение писем было закончено.— Белые негры в натуральном виде!..

Выйдя от «Аяксов», Кедров не спеша шёл по Большому проспекту. День выдался тихий. Лишь изредка налетавший ветерок ворошил на асфальте мостовой сухие опавшие листья.

Кедров думал о письмах из Америки, думал о себе и радовался, что не поддался на уговоры Васи и не уехал за океан... Правда, первое время ему жилось трудновато, но теперь ничего. Легче стало... Вот научился немного плотничать... Это уже ремесло... Степан Кузьмич говорит, что с ремеслом человек всегда проживёт. А он жизнь знает. Всегда как-то получается, что по его выходит... Надо обязательно изучить автомобильное дело. Шоффёры хорошо зарабатывают. Вот за автокурсы дорого — сто долларов... Семьдесят у него уже есть. Накопил... Ещё надо тридцать... Придётся где-то опять искать работу... У Шевченко ремонт скоро кончается... Артель едет к нему на концессию. Нет, он не поедет, иначе — как же автокурсы? Ничего, работа и здесь найдётся — специальность теперь есть...

Из раздумья Кедрова вывел окрик догнавшего его извозчика:

— Садись, подвезу!..

— Да нет, я пешком,— отказался Кедров.

— Садись, садись,— настойчиво повторил извозчик.

— Не узнал, что ли?

Кедров взглянул на извозчика и радостно вскрикнул:

— Андрюша! Какими судьбами?!

На козлах пролётки сидел его однополчанин, бывший командир сотни Таскаев.

— Тпrr... Стой... — остановил Таскаев лошадь и протянул Кедрову руку. — Здорово! Какими судьбами, спрашивала? Судьба у нас у всех одинаковая. А меня она, вон, извозчиком сделала. Садись, поехали ко мне. Как раз домой еду. Посидим, поговорим, старинку вспомним. «Бойцы вспоминают минувшие дни»... Откуда это? Что-то я забыл...

— Кажется, из «Песни о вещем Олеге», — напомнил Кедров, садясь в пролётку.

— Во-во! Правильно. Только наша песенка-то уже спета. Ты как живёшь?..

За разговором незаметно доехали до Модягоу, где Таскаев занимал на окраине небольшую квартиру.

— Ну вот и добрались, — говорил он, въезжая во двор. — Ты проходи, жена дома. А я пока лошадь уберу.

С женой Таскаева Кедров был мало знаком. Он встречался с ней раза два, когда в двадцатом году дежурил в беженском эшелоне. С тех пор прошло больше трёх лет, однако Таисия Ивановна его сразу узнала.

— Вот нежданно-негаданно, — радостно встретила она Кедрова. — И вы, значит, тоже здесь?

— А куда же мне деваться? — поздоровался с ней Кедров. — Все наши пути-дороги в Харбине сошлись...

И, отвечая на просьбу Таисии Ивановны, он начал рассказывать о своём бегстве из Владивостока, о переходе границы, о своих мытарствах в Харбине.

Слушая его рассказ, Таисия Ивановна вздыхала:

— Мучаются как люди-то! Я иной раз думаю, не better бы нам лучше, сидеть бы на месте...

Вошёл Андрей. Таисия Ивановна накрыла на стол.

— Тарелочку щей, — предложила она Кедрову, — скучайте с нами, Николай... Николай... Вот ведь память-то, забыла, как вас величают...

— Георгиевич.

— Николай Георгиевич! Хотите? Ужин-то у нас не по времени ранний. Извозчика моего кормить надо.

От ужина Кедров отказался.

— Спасибо, недавно обедал. У приятелей был. А вот чайку выпью с удовольствием. Заморозил меня Андрей, пока сюда довёз. Свежо на улице становится.

За ужином разговор шёл на болезневые темы — о настоя-

щем, которое было безотрадным, и о будущем, в котором никто из собеседников тоже не видел для себя ничего светлого.

— Чёрт бы задрал всех наших генералов,—горячился Таскаев.—Втянули они нас в грязное дело. Не мобилизуй меня белые, жил бы я спокойно в станице, пахал бы, сеял.. Хотел остаться во Владивостоке — побоялся. Расстреляют как белого офицера. А надо было остаться... Может, и не расстреляли бы...

— Наскитались по Китаю, пока сюда добрались, — говорил дальше Таскаев, — а теперь здесь мыкаемся. С этими «поросятами» не легко было,—кивнул он на двух копошившихся на полу ребятишек. Погодки (старшему было три года, а второй, девочке — два), они родились в эшелоне. «Урождённые беженцы», —шутливо называл их Таскаев.

— Так-то вот, Коля!.. До точки, стало быть, дошли,—криво усмехнулся он. — Довоевались. Хорошо ещё, что жено удалось кое-какие вещички сохранить, загнали, купил двух лошадёнок да пролётку у китайца в долг взял. Недавно выплатил и хочу ещё лошадь купить да вторую пролётку в долг взять. Надо как-то моих «поросят» расстить... Да, между прочим, Коля, нет ли у тебя паренька хорошего, честного — работника мне на биржу надо. Одни ведь на двух пролётках сразу не уедешь. Буду платить, как и все,—семь долларов в месяц на всём готовом. Курево, баня — тоже за мой счёт...

Кедров неожиданно для себя решил:

— Возьми меня, Андрей... Да ты что так удивлённо смотришь? Я совершенно серьёзно говорю. Через несколько дней работа у меня кончается... Всё равно куда-нибудь устраиваться надо...

Таскаев почесал затылок:

— Так-то оно так, но всё-таки неловко.

— Да что тут неловкого. Сам же говоришь, что хочешь работника брать.

— Неловко... Тебя — и вдруг на извозчики козлы...

— Да почему же неловко? Ты же работаешь извозчиком?

— Ну, я — другое дело,—подбирая слова, заговорил Таскаев.—Я из простых казаков... В офицеры на германской войне пролез. А ты человек образованный, студент.. Полковым адъютантом у нас был...

— Да ты что, — перебил его Кедров, — за белоручку меня считаешь? Меня никакая работа не страшит. Я вон сейчас в плотницкой бригаде работаю. Никогда топора в руках не держал — научился. А лошадей я знаю, ухаживать за ними умею. Город тоже более-менее мне знаком...

— Не знаю, как жена... — начал сдаваться Таскаев. Таисия Ивановна не протестовала.

— В самом деле, Андрюша, — поддержала она Кедрова, — Николай Георгиевич человек свой. Твой однополчанин...

Таскаев сдался:

— Что ж, по рукам! Только смотри, — не тяжело будет? Надо ведь и навоз за лошадьми убирать...

— Ничего, — успокоил его Кедров. — Для меня, как для кавалериста, лошади — основная специальность. Справлюсь...

Договорились, что Кедров переедет к Таскаевым через неделю. К этому времени Андрей рассчитывал приобрести третью лошадь и взять пролётку.

На радостях Кедров рискнул двухгривенным и добирался домой не пешком, а, первый раз в Харбине, ехал в автобусе.

#### 14. ИСТОКИ ЖИЗНЕННОЙ ПРАВДЫ

Через неделю Кедров, получив расчёт у Шевченко и сердечно попрощавшись со слесарем и Токмаковыми, перебрался к Таскаевым.

Провожая его, Степан Кузьмич загрустил.

— Скучно мне без тебя будет, — говорил он, привычным жестом почёсывая бороду. — Не с кем путного слова сказать... С ними, — кивнул слесарь в сторону кухни, — много не наговоришь. Не те они люди. У них своё направление жизни... Ты того... часом заходи, когда время будет... Не забывай... А, может, иной раз я тебе что обидного сказал, так ты... ты, браток, не сердись. Я ведь к тебе всей душой... Эх, Коля, Коля...

Слесарь неуклюже обнял Кедрова за плечи.

— Один я... Никого у меня не осталось — ни Наташи ни тебя... Пosoшок на дорогу не выпьешь? Ну, ну, не неволю. Я один... за твоё здоровье!..

Первые два дня Кедров работал только до обеда на

одной лошади. После обеда на биржу выезжал сам Таскаев. Но когда Андрей привёл третью лошадь, для Кедрова началась работа почти без отдыха. Он вставал в четыре утра, кормил и чистил лошадей, убирал в конюшне, смазывал пролётку, приносил воду, растапливал плиту. В пять часов вставала Таисия Ивановна и готовила завтрак. В шесть Кедров уже выезжал на работу. Возвращался он к обеду, часам к двум. Пообедав, запрягал другую лошадь и опять выезжал на биржу — до двенадцати часов ночи. А утром — снова надо было вставать в четыре. И так каждый день. Лошади посменно отдыхали, а у него отдыха не было.

Единственный день в неделю, когда Кедров работал только до обеда, была пятница. В пятницу на вторую смену выезжал Таскаев, а Кедров шёл в баню.

Зима в этом году выдалась суровая. Морозы начались с первых чисел декабря и упорно держались до конца января. Редко было меньше двадцати пяти градусов, перед рассветом доходило до сорока. Сухой, колючий мороз обжигал лицо, забирался под добротный тулуп, который дал Таскаев Кедрову для работы, студил ноги в валенках — тоже хозяйских. И поэтому баня была для Кедрова большим наслаждением. Забравшись на полок, он, в клубах горячего пара, ожесточённо нахлестывал себя веником. От жары становилось трудно дышать, но настывшее за неделю тело просило — ещё, ещё!.. Отдохнув в предбаннике, он снова шёл париться, и только после трёх-четырёх раз начинал чувствовать, что наконец прогрелся.

Он работал на бирже уже около двух месяцев, хорошо за это время освоил все навыки професионала-извозчика: изучил в городе все места, где лучше всего можно было брать пассажиров-седоков. Он чутко ловил окрик — «извозчик» — и лихо подкатывал к пассажиру, натянув вожжи, круто осаживал лошадь, перегибался с козел к сиденью, отстёгивая застёжку мехового одеяла, и предупредительно говорил:

— Пожалуйста. Куда прикажете?

Теперь он со смехом вспоминал первые дни новой для него работы, когда, находясь всё ещё под влиянием предрассудков, берущих начало в среде, в которой он рос, чувствовал себя на козлах извозчичьей пролётки, как на эшафоте. В те первые дни, около недели, ему казалось, что все прохожие смотрят на него и смеются:

— Смотрите, смотрите! Кедров-то! Сын полковника, сам офицер, к тому же ещё студент — извозчик! Какой позор!..

Кедров стыдливо надвигал на глаза шапку и прятал лицо в воротник тулупа. Напрасно он старался переубедить себя, вспоминая слова Степана Кузьмича, что никакая работа — не позор, если человек честным трудом корчится, — всё же первые дни работы на бирже были для него нравственной пыткой.

Прошло такое состояние незаметно и как-то сразу. Помогло этому, может быть, и то, что признакомившись с биржей, Кедров увидел, что почти все русские извозчики в Харбине были из «бывших» — бывшие студенты, бывшие офицеры, даже бывшие генералы белых армий, бывшие чиновники старой России различных рангов и ведомств... И Кедров повеселел, перестал прятать лицо в воротник тулупа.

Больше того, он стал гордиться, даже бравировать своим положением рабочего человека. И когда однажды швейцар ресторана, в швейцарскую которого он, ожидая пассажира, зашёл погреться, погнал его вон, заявив, что «извозчикам» здесь не место, Кедров зло огрызнулся:

— А что извозчики, по-твоему, не люди? Мы работаем, а ты, холуй, спину перед гостями гнёшь, за чаевые готов им все места своим холуйским языком лизать!..

— Гад! Паразит! — ругался он в адрес швейцара, выйдя из ресторана и смахивая метёлкой снежную изморозь с закурженевшей лошади. — Подумаешь — извозчик для него не человек!

Кедров поймал себя на мысли, что ещё не так давно он думал о простом рабочем люде иначе, даже сторонился его. Теперь он всё чаще вспоминал слова Степана Кузьмича:

— Рабочего человека, браток, сама жизнь учит, как надо её правильно понимать!..

В фешенебельном харбинском ресторане «Модерн» блестящий бал по пригласительным билетам. Длинной веерицей протянулась очередь извозчичьих пролёток, ожидая разъезда гостей. Извозчики толпятся около подъезда, заглядывают в ярко освещённые окна. Через зеркальные стёкла в зале ресторана ясно видны богато сервированные столики, смокинги мужчин и нарядные, бальные туалеты женщин.

Извозчики, работающие на бирже по несколько лет, называют фамилии гостей. Здесь собралась вся харбинская коммерческая и домовладельческая знать, присосавшиеся к КВЖД концессионеры, подрядчики и прочие дельцы.

— Жрут-то как! — не выдерживает один из извозчиков. — А тут приедешь домой, — и не знаешь с какого конца кусок хлеба начать, одинаково не хватит!..

— А ты этот кусок каждый раз на завтра оставляй, тогда надолго хватит! — слышится шутливый совет, поддержанный общим смехом.

— Чего ржёте, как жеребцы стоялые? — с напускной серьёзностью заговорил первый извозчик. — Я дело говорю. Вот ты, к примеру, мантулишь день и ночь, как проклятый и, можно сказать, впроголодь живёшь, оглядываешься, как бы лишнего не сожрать, чтобы ещё на завтра осталось. А вот они ходят ручки в брючки, а денег у них куры не клюют.

— Умеют значит... — неопределённо проговорил пожилой извозчик.

Заговорили и другие:

— То-то что умеют... Чужими руками жар загребать.

— На них дядя работает...

— Не дядя, а племяннички, наш брат — голоштанник.

— Это верно: гнут спину да ещё спасибо говорят, что не дают им окончательно с голоду подохнуть...

Дальше Кедров не слушает. Из ресторана выходят гости, и он спешит к своей пролётке, которая стоит у него на первой очереди.

Усадив пассажиров, он разбирает вожжи. Застоявшаяся лошадь берёт с места крупной рысью.

Около магазина «Чурин» в Новом Городе обосновалась биржа лихачей — около двадцати кровных и полукровных рысаков, запряжённых в новенькие пролётки, сверкающие лаковой полировкой. Эти лошади и пролётки принадлежали бывшим высшим чинам белой армии — генералам и полковникам. Такие «чины» только некоторые сидели на козлах сами. Большинство же держали рабочих — тоже из «бывших», но уже из мелкоты.

О генеральской бирже извозчики говорили с нескрываемой злобой.

Чаще всего такие разговоры можно было слышать около железнодорожного собрания, к которому перед

концом спектаклей обычно съезжались извозчики со всех стоянок.

Повод к этим разговорам давали «лихачи» с генеральской биржи, имевшие в собрании постоянных пассажиров и стоявшие в отдельной очереди.

— Головка-то знала, за что боролась,—слышалось среди толпившихся извозчиков.—Награбили, сукины сыны, и живут теперь в ус не дуют. Да что там — лошади, пролётки! Вон забайкальский генерал Бакшеев какой себе домишко отхватил да ещё биржевую автомашину завёл. А на какие деньги, спрашивается? С германского фронта без штанов пришёл. А послужил у Семёнова — оперился. Говорят, Семёнов-то целый вагон русского золота хапнул. Ну, сама собой, и помощникам его ближайшим кое-что отломилось...

— Пирожки горячие... Пирожки...—пронеслось по бирже. Проходил торговец пирожками — беженец, тоже, как и все, бравшийся за любую работу. Он ходил по извозчичьим биржам всю ночь, продавая мясные пирожки и водку.

— Я думаю, господа...— выпив стопку водки и пережёвывая пирожок, говорил один из извозчиков, бывший гусарский ротмистр Павлищев.—Я думаю иногда, что все мы представляем собой образно говоря, бурелом старого, векового, дремучего леса. Именно таким лесом мне почёму-то представляется наша старая дореволюционная Россия. Бурелом, как вам известно,— деревья, поваленные бурей. Вот мы и есть такой бурелом. Налетела буря и сломала, повалила наземь вековые деревья. С прогнившими от старости корнями и стволами, они не выдержали напора урагана и, падая, давили, ломали собой более мелкие, молодые деревья. Одни молодые деревья были сломлены, другие выворочены с корнями, третья просто повалены, но ещё продолжают цепляться корнями за землю. Бурю принято называть стихийным явлением. Является ли революционная буря стихией или, как некоторые говорят, она есть непреложный ход истории,— я не берусь судить. В политике я профан. Но факт остаётся фактом — эта буря оставила после себя бурелом больше, чем достаточно. И, думается мне, пройдут года, старые деревья склонят, и прах их разнесется ветром. Возможно, что погибнут вывороченные с корнями молодые деревья. Но только сломленные и те, которые ещё цепляются корнями

за землю, — оживут. А рядом с ними зазеленеет молодая лесная поросль. Пережив бурю, наш русский лес будет расти краше прежнего...

Конца слов гусарского ротмистра никто не дослушал: спектакль закончился, из собрания выходила публика. Извозчики один за одним снимались со стоянки, развозя по домам развлекающихся харбинцев. Разъездом из театра заканчивался двадцатичасовой рабочий день Кедрова.

В новогоднюю ночь Кедров работал до утра.

Перед рассветом он вёз с Пристани в Новый Город двух пассажиров. Один из них был присяжный поверенный Иванов: его Кедров хорошо помнил по Владивостоку, видел, как он однажды выступал на митинге в саду За войко.

Другой, как уловил Кедров из разговора пассажиров, — профессор Гинс...

— Чудесная зима, совсем как русская! — говорил Иванов. — Вы не находите, Георгий Константинович?

— Да, зима на редкость снежная, — отозвался профессор.

— Люблю такую зиму! — продолжал восторгаться Иванов. — Правда, морозец под тридцать, а все-таки хорошо. Между прочим, Георгий Константинович, как ваша книга?

— Скоро должна выйти, — отвечал профессор. — Решил я, Василий Фёдорович, назвать её «Сибирь, союзники, Колчак».

— Название многозначительное. Успех книги можно считать обеспеченным. Тем более, что автор — профессор Гинс.

— Ну, моя фамилия ещё ничего не говорит. Просто мне посчастливилось. Как главноуправляющий делами совета министров Омского правительства и председатель государственного административно-экономического совещания, я знал всё. Многие документы мне удалось вывезти и сохранить.

— Светлая личность Колчак, — прочувственно сказал Иванов. — В полном смысле слова — рыцарь без страха и упрёка!

— С последним я не согласен, — возразил Гинс. — Упрёк ему можно бросить, и очень большой. Он был, безусловно, ставленник Антанты и являлся пешкой в её руках. Впрочем, не мне об этом вам говорить. Вы сами были

правительственном аппарате Омска и знаете все омские дела не хуже меня. Начать хотя бы с так называемого омского переворота, когда Колчак ликвидировал дирекцию. Переворот, как вы знаете, был бескровным. Ночью английский Хемпширский полк занял все учреждения, в утром Колчак объявил себя верховным правителем. С этого момента хемпширцы заняли охрану Колчака и его ставки, изолировав, таким образом, «верховного» от всех других союзников.

— Хемпширцами командовал полковник Уорд. С ним я был лично знаком,— донеслись до Кедрова слова Иванова. Чтобы лучше слышать разговор пассажиров, Кедров, несмотря на мороз, откинул воротник своего тулупа.

— Да... Полковник Уорд...— сухо звучал голос Гинса.  
— А вы помните супругов Франк?

— Как же! Сам Франк был переводчиком у полковника Уорда, а мадам Франк — близкая приятельница возлюбленной адмирала госпожи Темерёвой.

— Всё это их, так сказать, официальное положение, — отвечал Гинс.— На самом же деле они играли в Омске другую роль. Мне, по моей должности, была подчинена вся наша разведка и контрразведка. Поэтому, о политической игре наших «милых союзников» вокруг Омска я был исчерпывающе осведомлён. Мне было достоверно известно, что супруги Франк являлись английскими шпионами, и через них начальник английской военной миссии в Омске генерал Нокс всегда до мельчайших подробностей знал не только все мероприятия и намерения адмирала, но даже его мысли.

Некоторое время пассажиры Кедрова ехали молча.  
Затем Иванов заговорил:

— Но всё же адмирал был большой патриот. С этим нельзя не согласиться.

— Не спорю, не спорю, Василий Фёдорович,— отозвался Гинс.— Но если бы успех оказался на нашей стороне и этот «патриот» во главе со своей армией дошёл бы до Москвы, то, поверьте мне, иностранный капитал, а в первую очередь и главным образом капитал английский закрепился бы в России прочно и очень надолго.

— Так вы что же... неужели пишете об этом в вашей книге?— встревожился Иванов.

Но Гинс успокоил:

— Я? Нет, Василий Фёдорович, я об этом не пишу...

Светлая память адмирала должна оставаться незапятнанной предательством русских интересов. Хотя бы для того, чтобы сохранить за рубежом белую идею. Иногда, как говорится, ложь бывает во спасение.

Кедров выехал на Почтовую улицу.

— Остановитесь здесь, около этого подъезда, любезный,— дотронулся Гинс до его плеча.— Я — дома!

Высадив через некоторое время Иванова, Кедров вернулся на стоянку и под свежим впечатлением от только что слышанного разговора рассказал о нём Павлищеву.

Ротмистр задумчиво молчал.

— Ну, так что ты на это скажешь? — спросил Кедров.

— Слышал, что делалось? Колчак продавал Россию, а мы...

— Признание профессора откровенное... — зло проговорил ротмистр. — Теперь, дорогой сотник, надо нас с вами спросить: на чью мельницу мы лили воду, подставляя свой лоб под большевистские пули?..

## 15. РОТМИСТР ПАВЛИЩЕВ

С ротмистром Павлищевым Кедрова сдружили морозные зимние ночи на стоянках около ресторанов, кабаре и других «злачных мест» ночного Харбина.

Эти долгие стоянки в ожидании очереди давали время для разговоров, и Кедров любил слушать острые, а порой насмешливые и злые суждения ротмистра.

Как-то раз, подъехав к стоянке и подсев к Кедрову, ротмистр проговорил:

— Катал сейчас американского консула.

— Хэнсона?

— Его, — ответил ротмистр, устраиваясь на заднем сидении около Кедрова.— С Добровольской. Знаешь, певица...

Кедров припомнил эту высокую, стройную блондинку. Однажды он отвозил её из театра домой; иногда её портрет появлялся на театральных афишах.

— Но позволь... Ты говоришь — Добровольская?.. Но ведь она замужем, я читал про неё в газете... Её муж работает секретарём ХСМЛ. Причём тут Хэнсон?..

— Хэнсон нипричём... Причём — американские доллары, которые звенят в кармане у Хэнсона,— обернулся

к нему ротмистр. — Все они, бабы, по одной мерке скроены...

— Уж будто все? — усомнился Кедров.

— Всё! — закуривая, убеждённо сказал ротмистр.

Кедров снял рукавицы и тоже полез в карман тулупа за папиросами.

— Из всех женщин можно верить только матери и сестре, — говорил ротмистр, жадно глотая табачный дым. — Эти не обманут и не оставят в беде. Даже дочь уже не то. В лучшем случае на старости лет даст угол за печкой. Все же остальные женщины... — и ротмистр выплюнул вместе с окурком папиросы грубое циничное слово.

— Ну, уж это ты слишком, — усмеялся Кедров.

— Слишком, говоришь? — Ротмистр достал вторую папиросу и, пряча от ветра огонь спички в пригоршне ладоней, прикурил. — А ты проживи с моё — другое запоёшь. Когда я в четырнадцатом году закончил Николаевское кавалерийское училище, наш сменивший офицер на прощальном ужине говорил... Никогда не забуду его слов... Господа, говорил он, смерти не бойтесь. Смерть — это миг. Пуля в лоб — и всё. Больше ты ничего не чувствуешь. Но в жизни вас подстерегают три опасности, которых надо бояться. Это — лошади, женщины и дно бутылки. Подойдёшь к лошади неосторожно — она тебя может лягнуть, изуродовав или зашибить насмерть. Будешь заглядывать в дно бутылки — сольёшься, пропадёшь. А женщина... Она наверняка обманет. От таких сюрпризов редко кто не спивается... или не пускает себе пулю в лоб. Если, конечно, он эту женщину любит... Особенно страшны для нас женщины сейчас, когда мы не в состоянии дать им жизненного комфорта...

Ротмистр замолчал и начал раскуривать ещё одну папиросу.

— Ты что это, одну за другой дымишь? — Заметил Кедров.

— Злость! — Повернулся к нему ротмистр. — А, может быть, нервничаю. Возможно, впрочем, то и другое вместе. Эта стерва Добровольская царапнула у меня старую рану. Знаешь, Кедров, я никогда никому ничего об этом не рассказывал. А тебе, пожалуй, расскажу. Нравишься ты мне своей искренностью. Видишь ли... был я когда-то женат...

— Ты?

— Что ты удивляешься? Если я говорю был, значит

был. Встретил я её в офицерском госпитале в Петрограде когда лежал там в шестнадцатом году после второго ранения. В то время у светских девушек была мода носить косынку сестры милосердия, а в офицерских госпиталях обычно работали те, которым хотелось во что бы то ни стало выйти замуж. Сам понимаешь: уход за раненым,дежурство около него — всё это невольно сближает. Народ чито нечаянное прикосновение руки... Добавь ко всему этому, что народ на фронте изголодался по женщине. Но Ксения не казалась мне такой. Скорее всего, конечно, я её просто идеализировал. Хотел видеть не такой. На свадьбе друзья желали нам большого счастья.

В гражданскую она ехала в беженском эшелоне, и встретились мы уже в Чите.

В двадцатом году я ушёл из армии и уехал с Ксенией в Шанхай. Надо было, конечно, остаться в Харбине, но в Шанхае, я думал, легче устроиться. Город огромный, международный, портовый. Возможности казались широкими.

Однако, ожидания мои не оправдались. Службы найти я не смог, существовали моими случайными заработками. Жили, как говорится, «часом с квасом, порой с водой». И вот тут-то задумала моя Ксения идти работать в бар партнёршей для танцев. Нашлись добрые люди, чёрт бы их душу побрал, которые уговорили её на эту работу, наговорили с три короба... Как я ни протестовал — ничего поделать не мог. Ходил встречать её к закрытию бара. Часто приходил раньше и сквозь зеркальные окна видел, как лапают и прижимают её к себе в танце захмелевшие мистеры, и...

Ротмистр, помолчав и хрустнув пальцами, заговорил снова:

— Не пускал её в бар, делал скандалы. И в конце концов сбылось предостережение моего воспитателя — сменного офицера. Ударила по мне баба... Больно ударила. Ушла от меня Ксения к богатому американцу. А мне оставила короткую записку: «Надоело жить в нищете».. И — всё. Больше ни слова. Как будто бы ничего у неё, кроме этого, от нашей жизни не осталось...

— Ну... И как же потом? — осторожно спросил Кедров.

— Потом?.. Потом, милый друг, я запил. Не столько с горя, сколько от обиды. Да, к счастью, вовремя остановился. Одумался... А ещё потом... До жгучей боли возне-

навидел я всю эту американскую сволочь, которая считает, что может купить за доллары всё, даже человека. И ещё есть «потом»... Научился я, Кедров, презирать тех наших русских, которые, забыв, что они русские, готовы лизать иностранцам все места — приличные и неприличные. На таких подхалимов я насмотрелся в Шанхае более чем достаточно. Шибко «ностранными» заделались. Даже обычай перенимат начали. Помню, вскоре после того, как приехали мы в Шанхай, узнаю я, что живёт там мой бывший сослуживец по гусарскому полку. Он предумыштительно смылся в Шанхай в первые же месяцы революции и довольно прилично там устроился. Узнал его адрес, прихожу. На звонок открывает мне дверь вертлявая горничная.

— Мистер Сквирский? Дома, пожалуйте...

Вот, думаю, штука. Как это гусарский поручик вдруг мистера превратился?

Проводит меня горничная в гостиную, а вскоре появляется и сам «мистер». Смотрю — в натуральном виде Сашка Сквирский. Расцеловались с ним, всё как полагается, как старые друзья. Вышла его жена. Знакомит: разреши, говорит, Кэт, представить тебе моего друга. Улучил минуту, когда Кэт вышла распорядиться по хозяйству, спрашиваю Сквирского: жена-то, мол, не русская? Англичанка?

Тот удивился: — Почему так думаешь?

— А как же, — говорю. — Ты её Кэт называешь.

Рассмеялся Сквирский. «Неудобно же, говорит, её по-русски Катей звать. Не забывай, что мы за границей живём».

В это время горничная доложила, что обед подан. Я хотел было, по простоте душевной, подняться с кресла чтобы идти в столовую, но в это время вошла Кэт и, мило улыбаясь, проговорила:

— Извините нас, мистер Павлищев, мы оставим вас на некоторое время. У нас сейчас обед. А вы пока посмотрите журналы...

— Да, да, — поддержал жену Сквирский. — Ты пока посиди... Мы скоро пообедаем. А потом можем до ужина беседовать... Столько лет не виделись. Есть о чём поговорить!..

Видал, как по-иностранныму принимают гостей, а тем более друзей?..

Да приди кто ко мне, я последнюю тарелку щей предложу. Сам не съем, а гостя накормлю... Потому что я понастоящему русский человек.

А то вот ещё был случай.

Помню, иду я раз по Авеню Жоффр<sup>1</sup>. Это было уже после того, как ушла от меня Ксения. Дали мне адрес конторы, где нужен был сторож. Останавливаю одного господина. По роже видно—наш, русский. Скажите говорю, пожалуйста, не знаете ли вы, где здесь находится такая-то контора? А он, понимаешь... Смерил меня взглядом и процедил сквозь зубы: „*I don't speak Russian*“<sup>2</sup>. Не выдержал я, засучил рукав и говорю ему: «В морду хочешь, так твою растак!». Помогло, заговорил сукин сын по-русски. Не то что заговорил—завопил: «Вы что, с ума сошли? Пьяный?» И — ходу от меня...

Кедров рассмеялся. Он вспомнил почти такой же случай, который произошёл недавно около ресторана Яхт-Клуб.

На пролётке к ресторану подъехал сухопарый длинный паренёк. Сойдя с пролётки, он протянул извозчику монету в 20 центов.

— Что вы, господин,— слез с козел извозчик.— Разве можно за 20 копеек? Я вас из Нового Города вёз... По таксе и то пятьдесят копеечек следует...

Паренёк что-то бормотал не по-русски и продолжал совать извозчику двадцатицентовую монету.

— Не пойму я тебя,— замотал головой извозчик.— Одним словом, пятьдесят надо, понимаешь? Пятьдесят...

— И извозчик растопырил перед пареньком свою широкую пятерню.

— *No, no... Only twenty...* — сердито заговорил паренёк.

— Что он там лопочет, не пойму — обернулся возница к столпившимся вокруг извозчикам.

— Он говорит — только двадцать,— перевёл Кедров.

— Э, нет, шалишь, не хочет по таксе платить,—больше отдаст. Я его сейчас в полицию увезу.— И извозчик сгрёб паренька за шиворот:— А ну-ка, ты, нехристъ, пойдем в полицию...

Паренёк рванулся, но вырваться из крепких рук извозчика было невозможно. И вот тогда:

<sup>1</sup> Авеню Жоффр — название одной из улиц Шанхая.

<sup>2</sup> „*J don't speak Russian*“. (англ.)—Я не говорю по-русски.

— Дяденька, пустите,— заговорил вдруг «иностраник» на чистом русском языке.— Получите сколько следует...

Когда Кедров рассказал ротмистру про этот случай, тот усмехнулся:

— Явление естественное. Таких мерзавцев можно заставить заговорить по-человечески только тогда, когда окрешишь их святым кулаком по окаймленной шее.

Однажды Кедров и ротмистр сидели в третьяразрядной столовой, посетителями которой были, главным образом, извозчики. Кормили в столовой скверно, и работники биржи заходили в неё больше для того, чтобы обогреться.

В грязном зале пахло прелыми щами, подгорелым маслом, овчинными тулурами.

Ротмистр брезгливо ковырял вилкой котлету подозрительной свежести и ворчал:

— Чёрт знает, что за гадость!... А ты жри, да ещё деньги за это плати...

— Чем это ротмистр Павлищев недоволен?— послышался рокочущий басок, принадлежавший коренастому, невысокого роста человеку, в длиннополом, подбитом мехом тёмно-синем кафтане, подпоясанном красным кушаком — узаконенная в Харбине неписанными законами форма извозчика-лихача.

Ротмистр вскинул голову и приподнялся:

— Здравия желаю, ваше превосходительство! Присаживайтесь. Разрешите представить: сотник Кедров.

Однако «их превосходительство» присесть отказалось и, спрятавшись у ротмистра — как жизнь? — заторопилось уходить:

— На улице лошадь... Как бы кто что-нибудь не стянул с пролётки...

— Генерал? — спросил Кедров, когда «превосходительство» вышло из столовой.

— Да,— мотнул головой ротмистр.— Нечаев. В гражданскую я в его дивизии был.

— Тоже, значит, извозчиком стал. Как и мы грешные.

— Так, да не так. В его кармане до Харбина вся дивизионная касса доехала, а мы с тобой одни только рваные штаны из России вывезли.

Ротмистр пододвинул к себе стакан чаю и, помолчав, заговорил:

— Ты, Николай, никогда не задумываешься о своём положении?

— То-есть?

— Что значит «то-есть»? Ну, скажем, о том, как дошёл ты до жизни такой?

— Бывает иногда... Думаю.

— До чего же ты додумался?

— Ни до чего. В голове какой-то сумбур. Понимаешь. Анатолий, за тринадцать месяцев жизни в Харбине я увидел здесь много такого, о чём раньше не задумывался... Не задумывался, может быть, просто потому, что не сталкивался с этим, с такой жизнью... Есть вопросы, которые очень трудно сразу разрешить...

— Это ты правильно говоришь,— круто повернулся к нему ротмистр.— Над такими неразрешимыми вопросами я думаю всё время. Ты понимаешь, я всю германскую войну, с начала до конца, пробыл на фронте, имею три ранения. И вот после революции распропагандированные большевиками солдаты сняли меня с командования эскадроном. За что, спрашивается? Да за то, видишь ли, что я хотел довести войну до победного конца, а им вдолбили в голову — мир. Всё пошло наスマрку. Добытые кровью чины, ордена... Всего этого лишили меня большевики, в у меня были все основания не пойти за ними. Когда восстали чехи, я пошёл в белую армию. Дрался честно. В моём послужном списке три конных атаки, я проделал весь ледяной поход, с гордостью носил орден за него — терновый венец с обнажённым мечом,— ты, конечно, знаешь... Несмотря на явный тогда<sup>4</sup> крах белого движения я до конца был убеждённым антибольшевиком.

— Был? — спросил Кедров.— А теперь?

— Теперь — не знаю,— отвечал ротмистр.— Во всяком случае трещина в моих убеждениях появилась в те дни, когда красные гнали нас из Забайкалья. Поймала наша контрразведка большевистского шпиона. Впрочем, первое время разведка не знала, что это шпион. Просто человек показался ей подозрительным. Обыск учинили тщательный. Распороли по швам всю его одежду и обнаружили какой-то мандат на крошечном куске шёлка. Ясно — комиссар.

Я видел, как его расстреливали. Он уже не скрывал, что большевик, и в последнюю минуту крикнул:

— Стреляйте, гады! Всех нас не перестреляете! Правду не убьёте! Она будет жить вечно!

Это были его последние слова.

И вот они, Кедров, царапнули меня, надломили веру в то, за что я дрался. Не могут люди умирать за выеденное яйцо так, как умер этот большевик.

Кончилось тем, что, перейдя границу, я ушёл из армии.

Вот я сейчас извозчик. Работаю, существую, не запускаю руку в чужой карман, живу честно. Но честен я только перед своей совестью. А — перед Россией? Ведь я же русский, чёрт возьми, русский! Был, есть и останусь русским!..

Я не большевик, ты это знаешь. Но... по правильной ли дороге я пошёл? Обиделся за то, что большевики сняли с меня ордена, погоны, и — расплевался с Россией... А ведь русскому без России, милый друг, не прожить!..

— Но... что же делать? — спросил Кедров, втайне налеяясь, что ротмистр сейчас просто и ясно разрешит вставший перед ним снова вопрос о жизненной правде, но ротмистр только махнул рукой:

— Что делать? В том то и дело, что этого я сам не знаю. Можешь считать, что боевой офицер гусарский ротмистр Павлищев на этот раз растерялся. Вся надежда на то, что, может быть, сама жизнь подскажет. Со временем..

После рождества Таскаев купил ещё одну лошадь, и теперь они оба с Кедровым работали на две смены.

Андрей настойчиво расширял свою биржу. Он мечтал, расплатившись с долгами, взять второго работника в поступить учиться на автокурсы, а закончив их, продать лошадей, пролётки, купить в рассрочку автомашину и начать работать на автомобильной бирже.

Об автокурсах теперь вплотную подумывал и Кедров. К началу весны он накопил уже те сто долларов, которые надо было заплатить за учёбу на курсах, и к концу марта решил расстаться с биржей. На автокурсах занятия очередной группы должны были начаться с первого апреля.

Расставаться с биржей надо было ещё и потому, что Кедров чувствовал, что начинает выдыхаться от такой работы. Три-четыре часа отдыха в сутки было мало. Правда, с наступлением оттепелей работать стало легче. На стоянках можно было полуприлечь на сидении пролётки и почремать, — привычные лошади сами продвигались в очередь, — но это всё же был не отдых.

Теперь, когда морозы уже сдали, Кедров, возвращаясь с работы домой, каждый раз мирно спал на сидении пролётки. Лошадь хорошо знала дорогу к дому и мерно ша-

гала по пустынным улицам. Глубокой ночью не было даже постовых полицейских на перекрёстках. Просыпался Кедров только тогда, когда лошадь останавливалась около знакомых ворот.

## 16. «ВАША ПОСИДИ, НАША ПОДУМАЙ» .

Надумав уходить от Таскаева, Кедров случайно обнаружил, что его китайский паспорт просрочен почти на два месяца. Это открытие было неприятным — за просрочку паспорта грозил штраф.

Но Таскаев успокаивал:

— Ничего не будет. С китайцами можно сговориться. Упираясь, говори, что безработный, денег нет. И — всё. Не бойся, не посадят. Это им себе дороже стоит — кормить тебя в кутузке придётся...

Не выехав утром на работу, Кедров отправился в главное полицейское управление. Народу там было уже много, и все, главным образом, с просроченными паспортами. Это несколько приободрило Кедрова: не он один! Посетители, ожидая приёма, сидели на большой застеклённой веранде.

— Кто тут с паспортами принимает? — спросил Кедров у одного из посетителей.

— Старший драгоман. Он тут с нами расправляется. Вредный китаец. С ним приходится долго рядиться...

— Это насчёт штрафа за просрочку? — понял Кедров.

— Ну да, запрашивает много,—рассказывал собеседник,— но если поторговаться, можно ни копейки не заплатить.

Подошла очередь Кедрова. Он прошёл в большую комнату — канцелярию, где за письменными столами сидело много китайцев — чиновников полиции. Некоторые из них что-то писали, некоторые считали на китайских счётах.

Пальцы считавших с невероятной быстротой перебирали маленькие косточки счётов. Можно было подумать, что они просто играли, забавлялись этими косточками. Но вот косточки останавливались, чиновник записывал подсчитанное в книгу и опять — та-та-та-та... Снова косточки начинали выщелкивать частую барабанную дробь.

Кедров первый раз видел работу на китайских счётах.

Дивясь поразившей его быстроте, он даже задержался около одного из столов.

— Ваша чего надо? — напомнил ему о его деле вопрос на ломаном русском языке.

Спрашивал китаец, сидевший за большим письменным столом в углу комнаты, — старший драгоман.

— Пролонгация, — подошёл к нему Кедров. — Срок паспорта закончился.

— Пролонгировать нельзя, — взял у него паспорт старший драгоман. — Надо менять. Каждый год менять. Вы понимаете?

— Понимаю. Если полагается менять, значит, надо менять...

— Вы должны уплатить два рубля и ещё надо три фотокарточки...

Драгоман взялся было за перо, чтобы написать на паспорте резолюцию, но рассмотрел, что он просрочен.

— Ваш паспорт просрочен два месяца. Надо ещё платить пятьдесят рублей штрафа...

— Сколько? — не веря своим ушам, переспросил Кедров.

— Пятьдесят рублей. Вы понимаете?

Кедров понял. Пятьдесят долларов — это его полуторовая зарплата на бирже. Как он мог забыть про паспорт? На автокурсы пока надо поставить крест... Придётся ещё полгода просидеть на козлах...

— Что вы молчите? — прервал его раздумье драгоман. — Можете платить пятьдесят рублей?

Кедров решил бороться:

— Не могу. Денег нет.

— А сколько можете? Сорок рублей можете?

— Я же вам говорю — нет у меня денег.

— Ну тогда окончательно — двадцать пять рублей...

— Ни копейки нет, — уже более твёрдо упёрся Кедров.

— Иди! — сердито сказал драгоман. — Ваша там посиди, наша подумай...

Кедров вышел на веранду.

— Ну, что? — обратился к нему его прежний собеседник. — Сговорились?

— Пятьдесят долларов запросил, на двадцать пять съехал.

— Неужели вы отдали?

— Откуда у меня такие деньги! Сказал, что ни копейки не могу заплатить.

— Правильно. Упирайтесь. Посидите до вечера — на чолларе сойдёtesь. Я здесь порядки знаю, не первый раз эту веранду караулю. Сейчас у меня больше года паспорт просрочен. Второй день хожу торгуую...

Часов около четырёх Кедрова вызвали к драгоману.

— Ну как? — спросил его драгоман. — Чего надумали?

— Да чего тут думать? Думай, не думай — от этого деньги в кармане не появятся...

Драгоман внимательно, с ног до головы, осмотрел Кедрова и, постукивая по столу ногтём мизинца — ноготь был сантиметра на два длиннее пальца, — спросил:

— Вы где работаете?

— Нигде не работаю. Безработный.

Драгоман недоверчиво взглянул на Кедрова:

— Вы не обманываете?

— Как же обманываю? На хлеб иногда денег нет...

Откуда же я возьму штраф платить...

— Ну, ладно,—решил драгоман.—Работы нет, можно платить пятнадцать рублей.

Кедров не сдавался:

— Ни копейки у меня нет.

— Ладно,—махнул рукой драгоман.—Окончательно десять рублей. Вы знаете, если вы не уплатите штрафа, вас посадят в тюрьму. За один рубль — один день тюрьмы. Десять рублей — десять дней тюрьмы.

— Ну, что ж, тюрьма так тюрьма,—пожал плечами Кедров.—Откуда я возьму, раз нету. Воровать что ли идти?

— Пять рублей. Можете уплатить...

— Один доллар дам,—согласился Кедров.—Последний. Больше ни копейки нет.

Драгоман протянул руку:

— Давай! За паспорт два доллара надо уплатить в кассу. Фотокарточки есть?

— Нет. Можно потом принести?

— Можно. Вы знаете где надо фотографироваться?

Кедров улыбнулся:

— Конечно. Я здесь все фотографии знаю.

Однако, драгоман, пряча в карман полученный от Кедрова доллар, разъяснил, что для паспорта можно фото-

графироваться не во всех фотографиях, а именно только в одной, определённой. Называлась она «Фотопас».

Владелец этой фотографии армянин Арутинянц построил своё материальное благополучие на полицейском корыстолюбии.

Добившись приёма у начальника полиции (старший драгоман полиции получил за это двадцать пять долларов), Арутинянц предложил градоначальнику платить ему лично по десять тысяч долларов в год. За это просил немного — всего лишь только монопольное право на изготовление фотокарточек для паспортов и других, входящих в компетенцию полиции, документов.

От десяти тысяч долларов в год начальник полиции не отказался, и паспортный отдел получил приказ — принимать только те фотокарточки, у которых на обороте будет печать фотографии Арутинянца.

Предприимчивый делец тотчас же оборудовал фотографию, назвал её «Фотопас», что в расшифровке означало — паспортная фотография, — нанял двух служащих-фотографов и через год с удовлетворением подсчитывал барыш. Он был не плох. За вычетом взноса начальнику полиции и всех других расходов «Фотопас» за год работы позролил Арутинянцу положить в карман около двадцати тысяч чистого дохода.

Китайская полиция в Харбине того времени считала город своей вотчиной. Крупные и мелкие полицейские сатрапы, от начальника полиции до рядового полицейского включительно, брали с населения всё, что только можно было взять, драли с живого и с мёртвого. Даже — с мёртвого, так как без разрешения полиции хоронить покойника было нельзя, а за разрешение на похороны полицией взималась не определённая сумма, а с кого сколько удастся, в зависимости от имущественного положения покойника, его родственников или наследников.

Должность начальника полиции покупалась. Стоила она двести тысяч долларов, сроком на два года. Через два года начальник полиции мог возобновить с центральной властью договор о своей должности, опять заплатить двести тысяч и продолжать ещё в течение двух лет править городом.

В первые же дни вступления нового начальника полиции в должность эти двести тысяч возвращались к нему с избытком в виде щедрых подарков, с которыми являлись

к нему китайские купцы. А затем начинался чистый доход от должности: увеличивались старые и придумывались новые налоги, увеличивалась плата за паспорт, за права всех видов городского транспорта. Обыватель кряхтел, стоал, но не протестовал... Скориться с полицией было невыгодно.

В зависимости от иерархической лестницы полицейских чинов соответственно менялись размахи узаконенного грабежа ими населения, но даже рядовой полицейский, регулирующий уличное движение, на жизнь не жаловался. Он всегда имел возможность придраться к шоферу или извозчику, обвинив их в нарушении правил уличного движения, и оставлял их в покое, любовно нащупывая в кармане полученную монету.

Русские, работавшие в китайской полиции, не отставали от своих китайских сослуживцев по части вымогательства и взяточничества.

Работая на бирже, Кедров хорошо познакомился с одним русским полицейским. Пост этого блюстителя порядка находился неподалёку от обычной стоянки Кедрова. Как только на бирже появлялся торговец пирожками, полицейский подходил к извозчикам и, как должное, принимал от них угощение. Выпив стопку водки и закусив пирожком, полицейский не спешил идти на пост, — на народе было веселее. Иногда Кедров усаживал его к себе в пролётку и, когда был хороший заработка, повторял угощенье. Подвыпив, полицейский любил поговорить.

— Служба у нас ничего, — рассказывал он. — Жить можно. Опять же всё от начальства зависит. Иной только о себе заботится, а иной и о подчинённом думает. У нас вот надзиратель — Пётр Богданович Манучаров — душа человек. Сам живёт припеваючи и другим жить даёт. И население его уважает. В любой магазин в своём околотке придёт, наберёт что надо и к нему на квартиру отослать велит. И чтобы хозяин у него за это деньги взял — ни боже мой!.. Из уважения дают. Ну, конечно, если какой — другой хозяин магазина — забудет про уважение и деньги попросит, Пётр Богданыч беспрекословно всё сполна заплатит. А утром туда с санитарной комиссией — и такой протокольчик настрочит, согласно закону, что хозяин только ахнет. А после того опять начнёт уважать Петра Богданыча ещё пуще прежнего. Нам тоже перепадает. К

праздникам каким, или просто так, на перепутье забе-  
жишь, тоже уважение оказывают.

Кедров всегда с интересом слушал словоохотливого  
полицейского. Его рассказы обнажали закулисную сто-  
рону харбинской полиции, живущей законно и незаконно  
за счёт населения.

— Я вот, к примеру, — рассказывал полицейский, —  
получаю двадцать пять долларов в месяц. У меня жена,  
четверо ребятишек. Всех кормить, одеть, обуть надо. Сами  
подумайте — хватит ли этих денег? А ничего, благодаре-  
ние богу, живу, не жалуюсь...

— Ещё бы жаловаться! — прервал его один из извоз-  
чиков. — Ты и с нас-то не стесняешься шкуру драть.  
Сколько я тебе гривенников переплатил!

Полицейский обиделся:

— А за дело! Не нарушай движения!..

— «Не нарушай», — передразнил его извозчик. — Я и  
не нарушаю, да ты скажешь нарушаю. А коли виноват —  
веди в полицию, а не тяни гривенники себе в карман. Зае-  
лись вы все. Лет пять-шесть назад ты бы мне козырял как  
офицеру, а теперь нос кверху передо мною задираешь.  
Фараон несчастный!..

Разговор начал переходить в перебранку. Полицей-  
ский, сплюнув, уходил на свой пост.

## 17. ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ КЕЛЬНЕРШИ

Весной Кедров расстался с извозчицей биржей. Рот-  
мистру, по его выражению, тоже надоело сидеть с кнутом  
у хвоста, и он уговорил Кедрова поступить музыкантами  
в один из пристанских ресторанчиков.

— Ты, — говорил ротмистр, — играешь на мандолине,  
у меня гитара из рук не валится... Я уже почти догово-  
рился с хозяином одного из кабаков. Проживём...

Друзья сняли небольшую комнату в Нахаловке: угол у  
слесаря был занят, и Кедров поселился вместе с ротмист-  
ром. Затем купили на бараходке инструменты, и нача-  
лась их новая жизнь, жизньочных ресторанных музы-  
кантов.

Ресторан — небольшой полутёплый зал, в котором  
даже днём светло только при электрическом свете. Рядом  
с залом, через узкий коридор, три маленькие комнаты.

Это — отдельные кабинеты, где официантки, или, как их называли в Харбине, кельнерши, не отказывали загулявшим гостям в своих продажных ласках.

Оживлённо становилось в ресторане обычно под вечер, и в пьяном угаре встречалась здесь ночь с утренним рассветом.

Работа Кедрова устраивала. До обеда он был свободен и в эти часы ходил на занятия в автошколу. Материально игра в ресторане также устраивала друзей. Обед и ужин они получали бесплатно от хозяина. А подгулявшие гости не скучились платить музыкантам, заказывая сыграть что-нибудь «душепитательное» или весёлое, — смотря по настроению.

Кельнерши Валя и Зина работали в ресторане с прошлого года. Третья девушка, Маруся, поступила в него недавно: месяца за два до того, как хозяин, договорившись с ротмистром и Кедровым, повесил у входа объявление: «Ежедневно играет струнный оркестр».

В ресторане, обслуживая гостей, Маруся ничем не отличалась от обеих своих подруг. Она бесшабашно кутила с гостями, могла выпить много вина, не отказывалась от водки. Развлекая захмелевших гостей, она ловко подменивала только что начатые бутылки пустыми и требовала ещё вина. С каждого счёта кельнерши получали от хозяина десять процентов.

Размахивая рукой с дымящей сигаретой, она, сидя с гостями за столиком, разухабисто подпевала мандолине с гитарой:

Эх, ты, Трошка,  
Длинь гармошку,  
Жарь, жарь, жарь...  
А девчонки  
В громкий бубен  
Вдарь, вдарь, вдарь  
Есть ли счастье,  
Нет ли счастья —  
Всё равно  
Были бы лишь деньги на вино

Иной выглядела Маруся, когда столики в ресторане пустовали и она не была выпивши. Тогда сидела она какая-то пришибленная, жалкая, беспомощная... Такой, во всяком случае, она казалась Кедрову, и он, подсаживаясь к Марусе, старался, насколько мог, рассеять её грустное настроение.

Постепенно он рассказал ей о себе, о своём детстве, о юношеских мечтах, о том, как революция разбила эти мечты и, в конце концов, оторвав от родных, выкинула его на чужую сторону.

Во время этих рассказов глаза Маруси грели Кедрова теплотой искреннего к нему сочувствия.

— Вот вы, Коля, рассказываете о себе, — заговорила однажды Маруся, когда Кедров умолк. — Вы мужчина... Вам легче... А вот мы... Я...

И, запинаясь, подбирая слова, как бы стараясь, чтобы Кедров лучше, правильно её понял и не осудил, Маруся рассказала ему о себе.

Ей только что исполнилось пятнадцать лет, когда она с отцом и матерью в конце двадцатого года приехала в Харбин с первыми беженскими эшелонами. Отцу Маруси, бывшему горному исправнику золотых приисков в Читинской области, в Харбине посчастливилось. Он почти сразу же устроился на службу в полицию.

Но благополучие семьи Черновых было недолговечно. Через год Чернов умер от воспаления лёгких. Для Маруси с матерью наступили чёрные дни.

Софья Ивановна, мать Маруси, привыкла жить широко. Должность горного исправника хорошо оплачивалась. Кроме того, у него были побочные доходы от управления приисков и от хищников-золотоискателей. Революция пошатнула материальное благосостояние семьи Черновых. Но всё же, хотя лежавшие на сберегательной книжке деньги пропали, им удалось вывезти в Харбин значительную часть вещей.

После смерти мужа Софья Ивановна, никогда не работавшая, умевшая только распоряжаться прислугой, первое время даже и не думала о работе, рассчитывая пока что прожить, продавая вещи.

— А там, — говорила она Марусе, — даст бог, ты выйдешь замуж за богатого человека, и опять заживёшь по-хорошему...

Однако, вещей хватило не надолго. Жить становилось труднее. Перейдя в последний класс, Маруся вынуждена была бросить гимназию. — нечем было платить за обучение, — принялась за поиски работы.

Тщетно пытаясь куда-нибудь устроиться, Маруся каждый день возвращалась домой усталая и разбитая. У девушки начали опускаться руки. В одной из белошвейных

мастерских ей предложили место ученицы, но Софья Ивановна категорически запротестовала:

— Да ты в своём уме? Ещё недоставало, чтобы ты у меня швейкой была! И не думай!

Но жизнь подпирала. Однажды Маруся пошла на барахолку продавать оставшийся после отца костюм — последнюю вещь, которая имела ещё некоторую ценность.

Зажимая в руке полученные за костюм шесть долларов, Маруся вышла с барахолки и, проходя по Полевой улице, заметила в окне одного из ресторанчиков объявление:

«Требуются интеллигентные кельнерши».

Сколько дней она бесплодно искала работу! Как же можно пропустить такой случай?

Девушка, не задумываясь, зашла в ресторан, над входом в который на тёмно-синем фоне вывески жёлтыми буквами было написано: «Палермо».

Внешность Маруси произвела, по-видимому, на хозяина ресторана впечатление.

— Что ж, — довольно потёр он руки, — я думаю, барышня, что работать вы у нас сможете. А насчёт зарплаты — от вас самих зависит. Будете стараться — зарабатываете хорошо. У нас кельнерши на чаевых. Уважите гостя, и он вас не обидит. Обед и ужин — это уж от меня полагается. Вот то, что у вас мамашенька имеется, это, конечно, немного помеха. Будь вы одинокая, я бы вам комнатку при ресторане приспособил. А с мамашенькой здесь неудобно. У меня ещё две девушки служат, — обе здесь живут...

— Когда можно выходить на работу? — боясь, что хозяин передумает, поторопилась спросить Маруся.

— Да хоть завтра, — решил хозяин. — С утра, часиков с девяти. Диём-то у нас тихо, присмотритесь пока. Гости, обычно, к вечеру подходят...

Софья Ивановна была недовольна, но Марусе удалось её переубедить.

— Ничего неприличного, мама, в этой работе нет, — успокаивала она мать. — Уж одно то, что требуются именно интеллигентные кельнерши, говорит о том, что ресторан вполне приличный, и гости тоже, конечно, люди интеллигентные. И хозяин мне сказал, что можно хорошо заработать...

В первый же день работы Маруси в ресторане жена

хозяина купила ей шёлковое платье и лакированные туфли.

— Берите, берите, — говорила она Марусе. — Поти-хоньку выплатите. Нельзя же работать в ситцевом платье и в стоптанных башмаках. Гости любят, чтобы женщина была одета красиво...

Хозяйка так убедительно уговаривала, что отказаться было неудобно.

Дома Маруся рассказала матери, какие у неё хорошие, добрые хозяева и показала ей свою обновку. Но Софья Ивановна была другого мнения. Доброта Марусиных хозяев показалась ей подозрительной.

Мать не обманулась. Это Маруся поняла в первые же несколько дней своей работы в ресторане. В обязанности кельнерш входило не только подавать на столики, но и сидеть с гостями «делать счёт», то-есть просить у посетителей ресторана, чтобы они их угощали, и требовать на столик возможно больше вин и закусок. Надо было ходить с гостями в отдельные кабинеты и там... безотказно удовлетворять их похоть.

— Будешь строить из себя невинность в чепчике, ни черта не заработаешь, — рассказывали Марусе две другие кельнерши—Зина и Валя. Обе жили при ресторане и часто уводили в свои комнаты подгулявших гостей—до утра.

Однажды гость пригласил Марусю в отдельный кабинет. Через некоторое время она выбежала оттуда вся в слезах. Вслед за ней вышел гость и ушёл из ресторана.

— Ты чего это ревёшь? — сердито спросил у Маруси хозяин (теперь он говорил ей «ты»). — Почему гостя упустила?

— Не буду я больше у вас работать, — давясь от слёз, говорила Маруся. — Безобразие... Хватает, платье растёгивает... Что я ему... За кого меня принимает...

— А ты не фордыбачься! — прикрикнул хозяин. — Убудет от тебя что ли? Такого гостя упустила! В убыток меня ввела...

— Я сейчас ухожу... Не могу больше работать! — решительно заявила Маруся.

Хозяин зло улыбнулся:

— Уйдёшь? Ну, что ж, иди... Уходи... Но ты мне предъяле за платье и туфли заплати, семнадцать долларов.

— Возьмите свои вещи обратно. Не надо мне!

— Обратно? Ишь, какая умная выискалась! Сколько

дней носила, — кому они теперь нужны? Не заплатишь, уйдёшь — через полицию вытребую. Да ещё убытки присчитаю, что гостя упустила!

Маруся похолодела:

«Пропала! Где же взять такие деньги? И дома нечего продать...»

Хозяин между тем говорил:

— Ты лучше, Маруська, не фасонь. Подумаешь, беда какая, что гость обнимет... Не съест же он тебя. Вон Зинка с Валькой тоже сначала слезами заливались, а теперь работают как полагается...

Дома Маруся ничего не сказала матери и утром вышла на работу.

Однажды в «Палермо» зашёл загулявший мясной подрядчик и пригласил Марусю в отдельный кабинет. Маруся «делала счёт». Пришлось выпить несколько рюмок вина. Голова кружилась. Подрядчик делался всё назойливее и увлекал Марусю на кушетку...

— Пустите, слышите, вы... — рвалась Маруся. — Я кричать буду.

Подрядчик зажал ей рот потной, горячей рукой...

...Растерзанная, неподвижная лежала Маруся на кушетке. Подрядчик сидел у стола и курил.

— Ты того... Маруська, оправься, — сказал он. — Возьми-ка вот пока себе на чулки...

Он зажал ей в руку пять долларов и налил вина:

— Выпей-ка лучше...

В этот вечер хозяин был доволен работой Маруси: её отдельный кабинет дал хороший счёт...

— Да разве я одна, Коля, — говорила девушка, присасаясь своей рукой к руке Кедрова. — Сколько нас... таких... И те девушки, которые здесь работают, и во всех других ресторанах...

Губы Маруси дрогнули. Её грустные глаза заволоклись слезами.

Слова Маруси «да разве я одна такая» не выходили из головы Кедрова весь вечер.

Заставляя мандолину звучать мелодиями фокстротов и танго, он думал о судьбе этой девушки, об участии всех «этих» девушек... Расплачивались они жестоко — за грехи, а может, просто за глупость своих отцов.

Возвращаясь под утро с работы, Кедров рассказал ротмистру грустную историю Маруси.

— Мэрзавец! — возмущённо говорил о хозяине ресторана Кедров. — Таких пауков давить надо.

— Всех не передавиши, — охлаждающим тоном заметил ротмистр.

— Но что же делать? — продолжал кипятиться Кедров. — Это даже не безобразие... Это... преступление. О таких делах нельзя молчать. Об этом надо кричать во весь голос.

— Ну, что ж, кричи, — опять спокойно проговорил ротмистр. — Выйди на людную улицу и кричи. Но только ни к чему всё это. Никто не поможет. А в полицию попадёшь наверняка. За нарушение общественной тишины и порядка.

— Что же ты предлагаешь?

— Иди поскорее домой и ложиться спать, — усмехнулся ротмистр.

— Я с тобой серьёзно говорю, а ты...

— И я тоже не шучу: пора спать. А насчёт хозяев и Марусь — ничего ты, друг, не сделаешь. Против рожна не попрешь.

Разговор с ротмистром не удовлетворил Кедрова. Пусть даже ротмистр прав: всем помочь он бессилен, но вырвать из этого омута хотя бы только Марусю, — сделать это он постараётся.

Как помочь Марусе, как вырвать её из той зловонной трясины, которая засасывает девушку в ресторане, Кедров знал. Вернее, он думал, что знает. Для этого надо устроить Марусю на другую работу. Но куда? У девушки нет никакой специальности. Прислугой в хорошую семью? Самата она, может быть, и пошла бы на такую работу, но мать... Эта «барыня» ни за что не согласится...

Кедров усмехнулся своим мыслям.

— «Барыня»... Хороша барыня, у которой дочь торгует своим телом!.. Это мать не считает позором, а честный труд прислуки — для неё позор...

Днём, когда ресторан пустовал, Маруся иногда подсаживалась к обедающим Кедрову и ротмистру.

— Ничего вы, музыкантики, не понимаете в жизни, — говорила она. — В омут мне головой — одна дорога!..

Было тогда в грустных глазах девушки что-то такое, что заставляло Кедрова с ротмистром ниже наклоняться над тарелками с борщом.

Ротмистр, хмурясь, особенно тщательно вытирал салфеткой свои пышные усы, искоса бросая на Кедрова проницательные взгляды и затем снова пряча их за длинными ресницами своих карих глаз. От гусара не ускользнула перемена, происшедшая в его товарище за последние несколько недель. Кедров начал бриться каждый день, хотя при его слабой растительности в этом не было особой надобности. Уходя на работу, он подолгу стоял перед зеркалом, расчёсывая на косой ряд и настойчиво приглаживая свои непокорные, тёмные, слегка вьющиеся волосы. И даже брюки Кедрова, старые, потёртые, заштопанные на коленках брюки, были теперь всегда отутюжены в стрелочку.

Ротмистр не ошибался. Причиной перемены, которая произошла в Кедрове, была действительно Маруся.

Однако, если бы кто-нибудь сказал Кедрову, что он проявляет к Марусе особенный интерес и, может быть, даже влюблён в неё, — Кедров, безусловно, только бы рассмеялся:

— Влюблён. Конечно, нет.

И, подумав, добавил бы:

— Просто... мне её жаль.

Но всё же, возвращаясь с работы и под сочный храп ротмистра ворочаясь на своей жёсткой постели, Кедров невольно думал о Марусе.

И тогда она представлялась ему обязательно нежной, хрупкой. Вот он берёт её на руки и уносит из этого вертепа. Девушка доверчиво прижимается к нему, ласково обнимает за шею. Он несёт её... Куда? Конечно, домой, в их квартиру. Они снимают комнату с кухней... Нет, две комнаты: Марусина мама тоже живёт с ними. У них так же скромно и уютно, как у Таскаевых... Вечерами они вместе читают, Кедров готовит Марусю за среднюю школу.

Вопрос, как помочь Марусе, разрешался сам собой, легко и просто: жениться на ней. В том, что Маруся согласится выйти за него замуж, Кедров не сомневался: девушка относилась к нему дружески, сердечно.

Не задумывался Кедров и о том, — как и на что она будет жить с Марусей, на какие деньги содержать её мать... Одно было для него ясно — Маруся не должна работать...

На рассвете Кедров провожал Марусю домой.

Ранняя весенняя заря багрянила восток. Город ещё спал. И только китайцы, торговцы овощами, уже несли на норомыслах корзины с луком, шпинатом, редиской да топливо проносились по улицам такси, развозя по домам посетителейочных кабаре и клубов.

— Хорошо! — проговорил Кедров, слегка прижимая к себе руку девушки.

— Да! — взглянула на него она. — Весна...

— Я тоже люблю весну, — подтвердил Кедров.

Некоторое время шли молча. Утренняя свежесть ласкала лицо.

— Я вам хочу кое-что сказать, Маруся, — решившись, заговорил, наконец, Кедров, когда они подходили к её дому. — Только вы, ради бога, не подумайте чего-нибудь такого. Я, честное слово, совершенно искренне... честно... Вы бы... Вы пошли бы за меня замуж?

Маруся от неожиданности отшатнулась от Кедрова.

— Что-о?.. За вас... замуж?

— Ну, да... Я совершенно серьёзно, Маруся... Вы только не подумайте, что я...

— Нет, нет! — быстро перебила его девушка. — Ни за что! Хороший вы человек, Коля... Но — ни за что...

И она быстро взбежала на крыльце своего дома.

— Но почему же, Маруся? — попытался остановить её Кедров.

— Почему? — Девушка раскрыла дверь, и с порога у неё стоном вырвалось:

— Да потому, Коля, что на таких, как я, не женятся! Понимаете?..

— Маруся! — кинулся к ней Кедров.

Но она уже скрылась за громко хлопнувшей дверью.

Прошло два дня. Маруся явно избегала Кедрова.

На второй день до обеда гостей в ресторане не было, и ротмистр предложил Кедрову сходить в городской сад подышать свежим воздухом.

— У тебя, Николай, давно мозги не в порядке? — заговорил ротмистр, когда они расположились на скамейке в одной из широких аллей горсада.

— Мозги? — не понял Кедров.

Ротмистр усмехнулся:

— Не дошло? Ну, тогда иначе спрошу: ты давно с ума спятил?

— То-есть, как так?

— Очень просто. Нормальный человек сам в петлю голову толкать не будет.

— Что ты хочешь этим сказать? — опять не понял Кедров.

Ротмистр, не спеша, раскурил папиросу и вместо ответа спросил:

— На Марусе жениться решил?

— А тебе откуда это известно? — удивился Кедров.

— Маруся рассказала.

— Она? Тебе?

— Совершенно правильно: она — мне.

— Но почему именно тебе?

— Потому, что она умная женщина. Вот почему.

— Ты не можешь толком рассказать? — загорячился Кедров.

— Могу, — ответил ротмистр. — Она рассказала мне, что ты объяснился ей в любви, и просила поговорить с тобой, чтобы ты эту дурь о женитьбе выбросил из головы.

— Врёшь! — вскочил со скамейки Кедров. — Не могла она так сказать.

— Да ты сядь, не прыгай, — усадил его ротмистр.

— А к тому же учти, что твой тон становится неприличным. Я всё-таки старше тебя и по возрасту и по чину. Это, во-первых. Во-вторых, я никогда не вру. Это тоже тебе хорошо известно. А, в-третьих, Маруся действительно хочет, чтобы ты оставил её в покое.

— Но почему же всё-таки, почему? — нетерпеливо спросил Кедров.

— Ещё раз повторяю, — потому, что Маруся умная женщина.

— Не понимаю.

— А ты пойми. Маруся совершенно справедливо рассуждает, что отдельных кабинетов ты ей не забудешь. При каждой размолвке напомнишь...

Кедров криво усмехнулся:

— Какая глупость! Она разве виновата... Жизнь на это толкнула... Погоня за куском хлеба... Что ж, по-твоему — падающего толкни? Так что ли?

Однако сбить ротмистра с его позиции было трудно.

— Толкать не рекомендуется, — спокойно возразил он. — Наоборот, следует поддержать, если это возможно. А если невозможно, то зачем же самому кидаться вслед за ним в пропасть?..

— Это я кидаюсь в пропасть?

— Ты.

— Опять ничего не понимаю,— пожал плечами Кедров.

— Сейчас поймёшь,— успокоил его ротмистр.— Если, конечно, захочешь понять. Мужчины, милый друг, никогда не прощают женщинам такого прошлого, какое у Маруси. Вот, допустим, поженитесь вы, и начнёшь ты при каждом удобном и неудобном случае упрекать её отдельно-кабинетными похождениями...

— Не начну.

— Начнёшь, поверь моему опыту. Поскандалите несколько раз, и уйдёт она от тебя опять в кабак. А ты или сопьёшься, или пришибёшь её сгоряча,—в тюрьму сядешь.

Кедров угрюмо молчал. В глубине души он чувствовал, что ротмистр, пожалуй, прав. Но разве он, Кедров, не прав в своём порыве вырвать Марусю из кабака?

Ротмистр, дружески похлопывая Кедрова по плечу, говорил:

— Ты «Яму» Куприна, надеюсь, читал? Помнишь студента Лихонина? Этого тухлого интеллигента? Прекрасно. Так вот, мой тебе совет — не будь Лихониным. Не повторяйся. Придумай что-нибудь попроще...

Кедров снял с плеча руку ротмистра и хмуро проговорил:

— Это не аргумент... И... не пример.

— Знаешь, что я тебе скажу,— медленно заговорил ротмистр,— весна на тебя действует,— и процитировал слова модного фокстрота: — «Тягнется душа моя за ласками!..» Так что ли? В таком случае пригласи Марусю к себе на часок-другой. а я на это время выйду погулять...

— Слушай,— вскочил со скамейки Кедров.— Ты... не забывайся. Я не позволю... Маруся не такая, как ты думаешь!

— Ну, не Марусю,— другую пригласи,— примиряюще проговорил ротмистр.— Поверь старому гусару — после этого начнёшь рассуждать более здраво...

Последних слов Павлишева Кедров не слышал. Он быстро шагал к выходу из сада.

Вечером Маруся делала в своём кабинете счёт.

Ротмистр, бравурными аккордами аккомпанируя фокстротной мелодии, которую выводил на мандолине Кедров, тревожно присматривался к своему другу.

Кидая взгляды на двери Марусиного отдельного кабинета, Кедров, то краснея, то бледнея, хмурил брови. Его медиатор запинался о струны.

Ротмистр не досмотрел. Когда Маруся, пошатываясь от сильного опьянения, вышла из кабинета, Кедров резко поднялся и подошёл к ней.

— Иди домой! — взял он её за руку. — Хватит тебе здесь...

— Что?.. — вырвавшись от него, заплетающимся языком проговорила Маруся. — Ты что за указчик? Кто ты? А... жених... — и Маруся с пьяным смехом хлестнула Кедрова грязным, циничным словом. — Катись-ка ты лучше...

— Николай, уходи! — кинулся к Кедрову ротмистр. — Идём домой. Я тебя провожу.

По дороге ротмистр молчал. Решил, что так лучше: пусть Кедров сам соберётся с мыслями. Но дома всё же сказал:

— Видишь, как получилось? Мужская гордость в тебе заговорила. А ведь вы ещё не женаты. Понимаешь теперь, что будет, когда ты на ней женишься?

Ротмистр решил — в «Палермо» не возвращаться.

— Была бы шея, ярмо найдётся, — уговаривал он Кедрова. — Нас знают, в любой кабак примут... Пока денька три отдохнём, отоспимся...

Когда через несколько дней ротмистр пришёл в «Палермо» за гитарой и мандолиной, хозяин и не пытался уговаривать его остаться. На ресторатора свалились другие заботы, поважнее ухода музыкантов.

— Маруська-то наша слышал что натворила? — встревоженно говорил он ротмистру.

— Нет, а что?

— Отравилась, дура. В больницу увезли. Но, кажется, ничего, должна выжить. Одно только беспокойство надеяла. Полиция недавно была, допрос снимала. Почитай, долларов на двадцать наели-напили.

Об этом ротмистр ничего Кедрову не сказал, а на утро повёл его в один из мелких ресторанчиков на Зелёном Базаре — подальше от «Палермо».

Кельнерши в этом ресторане уже не казались Кедрову хрупкими и нежными.

Маруся выжила. И опять вернулась в «Палермо». Надо было отрабатывать те двадцать долларов, которые хозяин потратил на угощение полиции.

## 18. «ТИМОШКА»

К осени Кедров сдал экзамены на автокурсах и начал подыскивать работу по вновь приобретённой специальности. Но это оказалось не так-то просто. Владельцы биржевых автомашин неизменно встречали его вопросом — где он раньше работал. И, услышав ответ, что он недавно закончил автокурсы и нигде ещё не работал, говорили:

— Как же вам можно доверить машину. Да вы её в первый же столб влепите, — что потом с вас взять?

Против такой аргументации спорить не приходилось, взять с него, действительно, было нечего!

Кончался месяц бесплодных поисков работы.

Правда, жить пока было на что — игру в ресторане Кедров не бросил, — но через несколько дней «струнный оркестр» распался: ротмистр устраивался на ипподром жокеем.

В один из этих дней, после обеда, Кедров завалился на кровать и сосредоточенно курил, пуская густые клубы дыма.

Ротмистр, насвистывая, чистил свои сапоги.

Шевровые, недавно сшитые по заказу лучшим в Харбине сапожником, эти сапоги были гордостью гусара. Он несколько месяцев, отказывая себе во всём, копил на них деньги.

— Видал? — поворачивая на руке начищенный до блеска сапог, говорил ротмистр. — Игрушка. Хорошая обувь — моё больное место.

— У каждого своё, — не поворачивая головы, мрачно проворчал Кедров. — У меня сейчас больное место — найти работу... Подожди, никак кто-то стучит?.. Кто там? Можно, — крикнул он в сторону двери.

Дверь распахнулась, и на пороге появился Кузьмич. Он был слегка навеселе.

— Здорово! — прикрывая за собой дверь, заговорил он. — Принимай гостя. Не идёт, думаю, сучий сын, дай-кося, смекаю, сам к нему зайду. Как живёшь-то?

Слесарь долго не выпускал руку Кедрова:

— Автомобильную-то школу закончил? Ну, молодец! Добивайся, браток, в жизни своего пути!

— Познакомься, Кузьмич! — показал Кедров слесарю на ротмистра. — Павлищев, Анатолий Петрович. Мы

вместе живём. В ресторане тоже вместе играем. А это, Анатолий,— Степан Кузьмич Кочкин, мой первый друг в Харбине. Помнишь, я о нём тебе рассказывал. Как родного пригрел меня...

— Ну уж, это ты, парень, того... как его... загибаешь, — смущённо забормотал слесарь.— Он парень ничего... правильный парень... — подмигивая в сторону Кедрова, говорил Кузьмич, протягивая руку ротмистру.— Только вот старых друзей забывать начал... Сколько времени глаз не казал...

— Некогда было,— уклончиво проговорил Кедров и снял с вешалки фуражку.— Вы посидите тут. Я сейчас...

Он вышел и через некоторое время вернулся с закусками и водкой.

— Ну, это ты совсем напрасно, Колька, израсходовался,— смущился слесарь.— Я ведь не гость какой-нибудь... Я просто по старой дружбе попроводывать тебя зашёл. Жду-пожду, не идёшь ты... Дай-кося, думаю, я к нему...

— Что ты, Кузьмич,— усадил его за стол Кедров.— В кои-то веки зашёл. Не обессудь — чем богат, тем и рад...

— По старой дружбе полагается выпить! — наливая две рюмки, проговорил ротмистр.

— А ты что, всё ещё не пьёшь? — взглянул Кузьмич на Кедрова.

— Не научился,— улыбнулся Кедров.

— Плохо твоё дело! Ну, ну, не неволю. Твоё здоровье! Мы тогда с твоим приятелем... Как вас величать-то, запамятаю...

— Анатолий Петрович..

— Будем, значится, знакомы, Анатолий Петрович!..

Выпив, он аппетитно крякнул:

— Хорошо! Водка, она человеку на пользу, кровь разгоняет...

— Умные речи приятно слушать,— подтвердил ротмистр, наливая по второй.

. После третьей, Кузьмич от выпивки наотрез отказался:

— Хватит! А то, браток, домой не доберусь.

— Эка важность! — успокоил его Кедров.— У нас заночуешь...

— Нет, нет... И не думай... Хозяйка,— помнишь Ильинишну-то? — тревогу забьёт. Я тоже свой порядок соблюдаю...

Кедров не настаивал. Ротмистр налил себе одному. Закурили.

— Как живёшь-то, друг? — спросил Кузьмич у Кедрова. — Автокурсы-то свои закончил, говоришь?

— Закончил, но... без толку всё это...

— «Экзамента» что ли не сдал?

— И экзамен сдал, Кузьмич, и шоферскую книжку получил, а на работу никуда не берут.

И Кедров рассказал Кузьмичу про свои неудачи в поисках работы.

— Напрасно деньги загубил и время потерял, — говорил Кедров, комкая в пепельнице недокуренную папиросу.

— Ну это ты зря говоришь, — замотал головой слесарь. — Ты что, парень, думаешь — тяп-ляп да и корабль готов? Вот возьми, к примеру, наше слесарное дело. Ученик — он тебе и инструмент в руках держать умеет, и знает что к чему, — а всё равно сразу самого простого ключа как следует не сделает. Вот и смекай.

— Всё загадки загадываешь, Кузьмич! — криво усмехнулся Кедров.

— А ты отгадывай! За руль сразу не лезь, ты опреж в мастерской поработай, где автомобили чинят. Мастером станешь — хозяева сами тебя к себе звать будут...

— А ведь Степан Кузьмич прав! — хлопнул ротмистр рукой по столу. — Вот оно: «глас народа — глас божий»! Видал, как правильно рассудил человек? А мы с тобой, два умника, месяц голову над этим ломаем! У простого человека оказывается гораздо больше сметки, чем у нашего брата, интеллигента. Помнишь, я как-то рассказывал тебе, что встретил здесь генерала Депрерадовича?

— Помню.

— Это — друг моего отца. С сыном Депрерадовича я вместе кончал кадетский корпус, затем Николаевское училище. Он погиб в первые месяцы войны. А сам Депрерадович в войну ушел. И когда солдаты повтыкали штыки в землю, драпанул в Маньчжурию. Я бывал здесь у него несколько раз. И — что же? Человек он разносторонне образованный, закончил академию генерального штаба, а здесь не мог найти лучшего применения своих знаний, как открыть на базаре букинистический ларек. Старыми книгами торгует. Обе его дочери работают автобусными билетершами. Между прочим, одна из них, года два назад,

вышла замуж за вашего семёновского генерала Артамонова. Ты его знаешь? Тимофеи... Тимофеи...

— Иннокентьевич,— подсказал Кедров.— Но его за глаза проще называли — Тимошка.

И Кедров вспомнил один случай. Было это летом 1920 года. Семёнов при помощи японцев и каппелевцев делал последнюю отчаянную попытку очистить Забайкалье от красных партизан. Артамонов командовал тогда конной группой из восьми казачьих полков. Кедров находился при штабе группы как связной от своего полка.

В станице Олочинской в штаб привели пленного.

Это был боец еврейской роты, перешедшей на сторону партизан несколько месяцев назад.

Артамонов присутствовал при допросе пленного и, когда выяснилось, что он сын богатого купца Мошковича из Сретенска, приказал содержать его в самых хороших условиях.

Через день Кедров передал Артамонову записку, полученную от начальника дивизии барона Унгерна.

На клочке бумаги барон писал:

«Тимошка! Отдай мне жидёнка. Даю взамен бронированный автомобиль».

Предложение Унгерна не соблазнило Артамонова. Когда конная группа вышла в Сретенск, он передал пленника его отцу и положил в карман увесистый мешочек с золотыми монетами. Этих денег «Тимошке» хватило не надолго. За две недели, пока группа отдыхала в Сретенске, он их прокутил.

— Узнаю Артамонова,— проговорил ротмистр, когда Кедров кончил свой рассказ.— Депрерадович мне много о нём порассказал. Когда Артамонов в конце двадцатого года появился в Харбине, у него было около тридцати тысяч золотом! Представляешь, какое это состояние?

— Ого-го!— вскрикнул Степан Кузьмич.— На такие деньги можно с умом всю жизнь прожить, да ещё внукам останется.

— Грабанул не мало,— подтвердил ротмистр.— Познакомился он с семьёй Депрерадовича. Отец позарился — богатый жених,— и выдал за него старшую дочь. Спопхватали старик, да поздно. Тимошка все деньги сумел прокутить в год и теперь сидит на шее у тестя и жены.

— Видал, Степан Кузьмич, какие дела на белом свете творятся?— подмигнул ротмистр слесарю.— Вы тут бесе-

дуйте, а я пойду пройдусь немножко. Голова что-то отяжела — лишнюю рюмку выпил.

Когда ротмистр вышел, слесарь спросил:

— Он что, тоже из офицеров будет?

— Тоже, Кузьмич, тоже.

— Верно, вместе служили?

— Нет, здесь познакомились. Хороший человек он.

— Человек, видать, душевный. Правильный человек,— проговорил слесарь и тоже поднялся уходить.

— Да ты куда, Кузьмич, посиди,— всполошился Кедров.— Сейчас я насчёт чаю соображу.

— Э, нет,— чай не водка — много не выпьешь. Пора мне,— упёрся Кузьмич.— Ты того, забегай часом. Да в Петрович пущай заходит, коли не побрезгует. А насчёт мастерской ты подумай — это дело стоящее...

На следующий день Кедров решил попытать счастья в авторемонтных мастерских. Обошёл их все. Место находилось только в одной из них — в гараже Башкирова,— но только место ученика, за 15 долларов в месяц.

Кедров подумал и... согласился — жил же он на девять долларов в месяц, на пятнадцать прожить легче!

## 19. СОВЫ, КИТЫ и КВИТЫ

Наступившая зима даёт себя чувствовать крепкими морозами. Колючий ветер пронизывает насквозь.

Кедров торопливо шагает с работы домой: его старое демисезонное пальто — не по харбинской зиме. Надо бы что-нибудь потеплее. Хотя бы ватную куртку. Но... всё это пока недоступно. Правда, теперь Кедров не ученик, он уже автослесарь, получает один доллар двадцать центов в день — но разве мало других расходов? Квартплата, питание, папиросы, баня, парикмахерская, кино...

Может быть, кино — лишние расходы? Но тогда можно дойти до того, что начнёшь даже на спичках экономить! Хватит и того, что сам по-прежнему своё бельё стирает...

Город окутали ранние зимние сумерки. В морозном тумане расплывчатыми пятнами тускло светились уличные фонари.

За переездом, выйдя в Нахаловку, Кедров увидел Степана Кузьмича.

Слесарь стоял около парикмахерской и, размахивая газетой, что-то оживленно говорил плотному, высокого роста человеку.

— А, Колька! — заметил он Кедрова. — Здорово, браток! Домой?

— Домой, с работы...

— Так, так... Вот познакомься: Силантьич. Пётр Силантьевич Топорков. Вместе в мастерских работали, в одном цехе. А он, — слесарь кивнул на Кедрова, — тоже, вроде, как наш брат... Мастеровой... В гараже работает.

Поздоровавшись с Кедровым, Силантьич проговорил:

— Ну, я пошёл, Степан... А ты, значит, как договорились, завтра утром — прямым ходом в мастерские.

— Голова человек, — сказал слесарь про Силантьича, когда тот отошёл. — Несмотря, что простой рабочий. Нас с ним вместе Остроумов-то попёр из мастерских. А теперь вот обратно работать начнём. Читал, как опо обернулось? Остроумова-то с Гондатти за решётку упрытали! Я по этому случаю даже постричься решил. А то космы-то как у попа отросли. Неловко в таком виде к верстаку становиться.

— Зайдёшь ко мне? — предложил Кедров.

— Можно, — согласился Кузьмич. — Только погоди чуток, я сейчас в лавку забегу. Надо вспрыснуть такое дело. Закусить-то у тебя есть чем?

— Найдётся.

Ротмистр был уже дома и хлопотал с ужином.

Увидев входившего слесаря, он радостно проговорил:

— Хорошие люди всегда вовремя приходят: у меня как раз щи греются. Что долго не бывал, Степан Кузьмич?

— Да ведь и ты тоже не заходишь, Петрович, — прищурил на него глаза слесарь. — Колька как-то забегал, а вот ты, смекаю, гнишаешься нашим братом.

— Что ты, Кузьмич! Напрасно так думаешь. Работа засела. Готовимся к весеннему сезону бегов и скачек. С утра до вечера на ипподроме. В воскресенье и то отдыха нет. Подсаживайся-ка лучше к столу.

— А я вот тут, того... принёс... По Остроумову поминки справить надо! Хе-хе-хе... — засмеялся Кузьмич своей шутке, ставя на стол бутылку с водкой.

— Я так полагаю — за дело их китайцы в тюрягу засадили, — подвигаясь к столу, продолжал он. — Почудили — хватит.

Однако, на этот раз Кедров не был согласен с Кузьмичём:

— По-моему, напрасно ты на Остроумова несёшь. Дорогу он всё-таки подтянул, институт открыл, курорты устроил...

Но слесарь стоял на своём:

— Эх, Колька, посмотрю я на тебя — как был ты несмышлёнышем, так им и остался. Институты открыл, курорты наладил... А ты мне скажи — для кого он старался. Для нас с тобой? Ты учишься на инженера?..

Кедров молчал. Опять, как всегда, выходило, что Степан Кузьмич прав. Плата за правоучение в институте была установлена Остроумовым сто золотых рублей в год. Не каждому, даже сравнительно обеспеченному железнодорожнику, эта сумма была под силу.

— Вот то-то и оно,— говорил между тем Степан Кузьмич.— А курорты? Для кого они, ну-ка ответствуй. Для рабочих? Кто-нибудь из рабочих хоть раз ездил на эти курорты? Ты об этом подумай! Туда от безделья отыхать ездят те, кто с жиру бесится. Так-то вот, друг милый.

— Остроумов сделал для дороги, конечно, много,— высказал своё мнение ротмистр.— Николай по-своему прав. Но и Степан Кузьмич прав, может быть, даже больше, чем ты, Коля. Я понимаю так: дорога построена русскими на китайской территории. Поэтому она должна служить обоим государствам: Китаю и России, а не кучке акционеров, ставленником которых был Остроумов. Следовательно, подписанное теперь между Китаем и СССР соглашение о дороге и приход к её управлению советской администрации — самое верное решение вопроса о КВЖД.

— Во, во! В самую точку, Петрович! — подхватил слесарь.— Силантьич в аккурат то же говорил!

— Кто это, Силантьич?

— А тут товарищ мой один. Его Колька сегодня видел. С ним я около парикмахерской встретился. Остроумов, мол, за акции продался.

Вскоре Степан Кузьмич справлял новоселье. Теперь он работал в своём цехе в железнодорожных мастерских и снова переехал на казённую квартиру в один из железнодорожных домов на 10-й Линии.

Перед тем он несколько раз забегал к Кедрову с ротмистром и предупреждал их «беспременно приходить».

Когда друзья пришли к слесарю, у него было уже

шумно. Люди для них были всё незнакомые, и только одни из гостей, здороваясь с Кедровым, проговорил:

— Кажется, знакомы?

Кедров узнал. Это был Силантьич.

Слесарь хлопотал с угощением, приговаривая:

— Эх ты, мать честная! Вот оно как, без хозяйки! Вы, товарищи, того... Сами приспособливайтесь... А для тебя. Колька, я парного-то молочка и не приготовил,— подмигнул он Кедрову,— не прогневайся!

— А что? Не пьёт что ли товарищ?— обернулся к Кедрову Силантьич.

— Не пью,— как-то даже виновато улыбнулся Кедров.

— Ну, хоть маленьку?

— И маленькую не могу. Вы извините, я не ломаюсь, но я действительно не пью.

Силантьич взглянул на слесаря.

— Не пьёт он, Силантьич,— подтвердил Кузьмич.— Я за это порукой.

Силантьич взялся за свою рюмку:

— Ну, тогда другое дело. Непьющего неволить не положено.

За столом завязался оживлённый разговор.

В общем гуле голосов ухо Кедрова улавливало отдельные фразы.

— Почитай, три года без работы болтались. И всё— благодаря Остроумову...

— Зажал, гад, рабочего человека.

— Хорват «конгру» поддерживал, а этот ещё того чище...

— На чьи денежки-то дорогу строили? Русский человек над ней горбатился!

— Хорват что! Он на русские денежки атаманов содержал...

— Остроумов тоже свою линию гнул. На дядю старался...

— Товарищи,— заглушал общий говор бас Силантьича,— рабочему человеку надо свои права закреплять. В цеховой комитет обратно Степана Кузьмича выдвинуть... И чтобы работа — как положено, без браку... Теперь она, работа-то, для своего государства пойдёт...

— Вот оно, как дело-то, братцы, обернулось,—подсев к Кедрову и ротмистру, заговорил Кузьмич.— Обратно, значит, Степан Кочкин нужным человеком становится. Не

без пользы жизнь свою снова коротать начнёт. Для Расев работать будет. А всё потому, что управляющий-то дорогой теперь наш человек, советский! Чуете?

Когда друзья возвращались домой, ротмистр сосредоточенно молчал. А дома, укладываясь спать, сказал:

— Видал, Николай, люди-то?.. Знают, для чего живут! А мы?..

— Хороший человек Кузьмич,— задумчиво проговорил Кедров, закуривая на ночь папиросу.— И те, другие — тоже...

— Хорошие люди, говоришь? — резко повернулся к нему ротмистр.— «Хорошие» — это мало для них. Это, Николай, настоящие люди, понимаешь... Они нашли для себя верный путь в жизни.

В марте 1925 года на дороге вышел, наделавший много шума в Харбине, приказ № 94, согласно которому на КВЖД могли работать только советские и китайские подданные. Почти все рабочие дороги оформили своё советское гражданство. Часть беженцев, устроившихся на КВЖД, также возбудили через консульство СССР в Харбине ходатайство о приёме их в советское гражданство. Квитанции, полученные этими беженцами из консульства, давали им право работы на дороге.

Другая часть работавших на дороге беженцев, а также многие инженеры дороги и значительная часть управлениев принял китайское подданство.

На харбинском жаргоне советские граждане получили название собы, китайские подданные — кйти, а возбудившие ходатайство о приёме в согражданство — квйти.

Собы, кйти и квйти образовали три обособленные группы кавежедеков, жившие каждая своей собственной внутренней жизнью: собы вошли в возобновивший свою работу на дороге профсоюз; в противовес профсоюзу, кйти организовали союз беспартийных; квйти, учитывая неопределенность своего положения, держались пока в стороне и от собы и от кити.

Степан Кузьмич усиленно уговаривал Кедрова сходить в консульство и возбудить ходатайство о гражданстве.

— Не век же тебе болтаться, как навоз в проруби,— доказывал он.— Набегался и хватит. Сходи, покайся — голову не снимут. Получишь квитанцию, на дорогу поступишь. Жизнь свою по-настоящему устроишь.

Со Степаном Кузьмичём Кедров был согласен только

наполовину. Действительно, болтается он в жизни, как на-воз в проруби. Это верно. Но в консульство он всё-таки не пойдёт. Уж если во Владивостоке его могли расстрелять за то, что он был в белой армии, то теперь ему могут приписать ещё одно преступление — бегство, переход границы... Страшно... Жить хочется! Как бы тяжело ни жить, но всё же — жить! Если он пережил в Харбине первые трудные для него годы, то теперь-то уж проживёт. Специальность есть. Недавно опять прибавку получил. И владельцы автомашин сейчас иначе на него смотрят, сколько раз переманивали из гаража к себе — работать на биржевых автомашинах и на автобусах....

Не убедили Кедрова и «братья Аяксы», которых он встретил в эти дни в магазине Чурина.

— Только что в консульстве были, анкеты сдали,— здороваясь с Кедровым, восторженно проговорил Женя.

— Вы? — удивился Кедров.

— Ну, да. Оба, — подтвердил Павлик. — Что ты так удивляешься? И не мы одни. Нашего брата, эмигранта, в консультской приёмной — не протолкнёшься. А Женя вот сначала боялся идти.

— И совсем я не боялся.

— Но ведь ты говорил — «как-то нас там встретят» и всё такое прочее.

— Говорил, потому что мы эмигранты. Белые.

— Ну и как же приняли? — спросил Кедров.

— Замечательно! — отвечал Женя. — Первый раз, когда мы пришли за анкетами, секретарь подробно объяснил, как их надо заполнять. А сегодня, когда сдавали, прощаясь, даже товарищами назвал. На радостях я уговорил Павлика зайти сюда — купить к чаю пирожного. Пошли к нам?

Кедров отказался:

— Как-нибудь другой раз. Сегодня у квартирной хозяйки день рождения. Просила не опаздывать к обеду. Не верите? Вот доказательство: подарок сейчас купил.

— Ну, в воскресенье приходи. От «математика» письмо получили.

— А он разве не в Харбине? — удивился Кедров.

— В Бухэду. Полгода уже там. Устроился учителем в железнодорожную школу. Живёт лучше всех нас, — рассказывал Женя. — Женился, хозяйством обрастает. Сейчас тоже советское гражданство хлопочет.

Рас прощавшись с «Аяксами», Кедров подошёл к автобусной остановке. Среди ожидающих автобус слышались разговоры:

— Не подашь на советский паспорт — с дороги прут.

— Не китайское же подданство брать...

— Я тоже, знаете... Подумал, погадал и решил пойти в консульство. Всё же лучше, чем на эмигрантском положении без работы болтаться...

Покачиваясь на мягким сидении автобуса, Кедров думал об «Аяксах» и о «математике».

— Ясное дело. У ребят тоже шкурный вопрос. Не возбуди они ходатайства о советском гражданстве, пёрли бы их с дороги — и опять клади зубы на полку. У меня другое дело,— старался убедить он себя.— Я от дороги не завишу... Вот и ротмистр тоже... У него тоже независимое положение, как и у меня.

Харбинская молодёжь разделилась на два лагеря.

Около депо и механических мастерских группировались отмольцы — молодые рабочие и дети старых рабочих железнодорожников. На Пристани обосновался штаб эмигрантской молодёжной организации — мушкетёров, или, как их иначе называли, чёрнорубашечников.

Между отмольцами и мушкетёрами участились драки-побоища, кончавшиеся иногда поножовицей. Полиция, расследуя эти побоища, как правило, принимала сторону мушкетёров, строго карая отмольцев.

С наступлением сумерек по улицам стало опасноходить. Наткнувшись на толпу молодёжи, прохожий оставлялся стереотипным окриком:

— Ты кто — красный или белый?

Рискуя быть избитым, приходилось гадать. Скажешь — «красный», а вдруг перед тобой мушкетёры? Назовёшься «белым» — а, может быть, тебя остановили отмольцы? И в том и другом случае прохожий, ответивший невпопад, рисковал очнуться в больнице с переломанными ребрами или с пробитой головой.

Возвращаясь с работы, Кедров всегда, на всякий случай, носил с собой большой газовый ключ, купленный им на бараходке. Счесть этот ключ за оружие полиция не могла — Кедров работал в гараже и мог иметь при себе инструмент. В действительности же, это было для него орудием самозащиты. И один раз этот ключ сослужил ему

верную службу. Проходя после работы по Полевой улице, он около угла Диагональной заметил две быстро направляющиеся к нему фигуры.

— Стой! Ты кто — белый или красный?

Кедров замялся с ответом.

— Да чего тут спрашивать,— решила одна из фигур.— Бей его. Сразу видно, что красная сволочь!

Не ожидая нападения, Кедров отскочил и ударом ключа по голове сбил одного из хулиганов с ног. На обратном взмахе ключ врезался в плечо второго нападавшего, взвывшего от боли.

Кедров бросился бежать по Диагональной в сторону Второй Линии, ведущей с Пристани в Нахаловку. Не успел он завернуть за угол, как наткнулся на толпу молодёжи, человек в пять-шесть.

— Стой! — остановили они его.— Ты красный, белый?

— Вон там, — вместо ответа быстро проговорил Кедров, определив по кепкам, что перед ним отмольцы,— там, говорю, мушкетёры. Еле вырвался.

— Где, где?

— Там... На Полевой, около Диагональной...

Огмольцы кинулись по указанному Кедровым направлению, а он, пробежав Вторую Линию, перешёл железнодорожную насыпь и уже более спокойно зашагал домой по улицам Нахаловки.

После одного из побоищ, во время которого с обеих сторон было по несколько убитых и тяжело раненых, полиция решила, наконец, принять крутые меры. На улицах были усилены полицейские посты, места возможных столкновений молодёжи патрулировались крупными полицейскими нарядами. В городе стало спокойнее.

Если первые три-четыре года эмиграции беженцы-эмигранты заботились только о том, чтобы как-нибудь найти работу, создать для себя лично минимум материального благополучия,— то затем, несколько оперившись, опять заговорили о «борьбе за Россию». Белые генералы, объединяя вокруг себя распылённых в первые годы беженства эмигрантов, создавали антисоветские организации. Попы с амвонов многочисленных харбинских церквей в своих проповедях призывали русских людей к борьбе с «антихристами» большевиками. На уроках закона божия в эмигрантских школах попы нравственно калечили ребят, стараясь внушать им понятия лженационализма, ос-

нованного на «воле божией», и стремясь воспитать в рабствах непримиримость к советской власти.

Беженский комитет — это была единственная организация, в которой Кедров, как все другие эмигранты, состоял на учёте. Кроме того, ротмистр посоветовал ему вносить каждый месяц по одному доллару в Общество Русских инвалидов. Обе эти организации носили чисто благотворительный характер. Беженский комитет содержал в Модягоу большое общежитие, где жили и кормились за счёт комитета безработные, а также престарелые одинокие беженцы. На средства Общества русских инвалидов существовал в Госпитальном Городке дом инвалидов, в котором нашли себе приют около пятидесяти ветеранов русско-японской и первой империалистической войн — безрукие, безногие, слепые — бывшие солдаты и офицеры царской армии, невинные жертвы захватнической политики царской России.

Как-то, проходя около Чурина в Новом Городе, Кедров увидел сидевшего на скамейке генерала Артамонова, о котором несколько месяцев назад он разговаривал с ротмистром.

Генерал оживлённо с кем-то беседовал,— тоже, как будто бы, военным. Кедров решил подойти и, козырнув, проговорил:

— Здравия желаю, ваше превосходительство! Узнёте?

Артамонов взглянул на Кедрова и протянул руку:

— Ба! Сотник Кедров? Так, кажется?

— Так точно. Разрешите присесть?

— Да, да, конечно. Между прочим, сотник, вы курите?

Понимаете, второй день без денег,— папирос не на что купить.

Кедров раскрыл портсигар.

— Кстати, и генерала угостите,— указал Артамонов на собеседника. — Познакомьтесь, господа,— генерал Косьмин... сотник Кедров.

Кедров, привстав, козырнул и пожал снисходительно протянутую ему генеральскую руку.

— Разрешите предложить, ваше превосходительство. — раскрыл он портсигар.

Косьмин не отказался.

— С удовольствием. Я, пожалуй, у вас парочку возьму. Можно?

Закурили. Генералы продолжали прерванный Кедровым разговор.

— В успехе такой операции сомневаться не приходится,— горячо говорил Артамонов.— Генерал Вержбицкий произведёт диверсию в Приморье, оттянет на себя силы красных. Вы в это время ударите с дивизией на Хабаровск...

— С дивизией ничего не сделаешь,—перебил его Косьмин.

— Мало дивизии — возьмите корпус,— согласился Артамонов.— Я тоже с корпусом выйду в Забайкалье, подниму казачьи станицы, и Амурская область в течение месяца будет в наших руках!

— Было бы хорошо через Монголию выйти на Иркутск,— развил план Косьмин,— а затем через Синьзян ударить на Алтай и выйти к Омску, установив таким образом контроль над всей Сибирской железнодорожной магистралью.

— Безусловно,— согласился с ним Артамонов.— Но в том направлении будут действовать другие корпуса...

Кедров с удивлением слушал этот генеральский бред. И, решившись, наконец, спросил:

— Виноват, ваше превосходительство, но эти дивизии и корпуса уже сформированы?

— Пока нет. Это не имеет значения,— авторитетно отвечал Артамонов.— Сейчас важно подобрать высший командный состав. И, кроме того, необходимо ещё назначить губернаторов в области, которые будут освобождены... Да, да! что вы так удивлённо смотрите? В таком большом деле надо, батенька мой, всё предусмотреть. Мы должны войти в Россию с готовыми кадрами!

Кедров поднялся уходить.

— Торопитесь?— не задерживал его Артамонов.— Вы только того... оставьте нам с генералом ещё по папироске. Вот так, благодарю. Счастливого пути!..

Распрощавшись с генералами, Кедров не пошёл домой, а, обождав автобус, поехал в Модягоу, к ротмистру. В конце зимы друзья разъехались: администрация и подрома дала ротмистру комнату неподалёку от конюшен. Кедров остался один в прежней комнате: было ближе ходить в гараж.

— Понимаешь, Анатолий,— говорил Кедров ротмистру.— Я сначала думал — они шутят. Нет, смотрю,

совершенно серьёзно кидаются дивизиями и корпусами. При этом оба — ни в одном глазу, абсолютно трезвые...

Ротмистр долго и весело смеялся над рассказом Кедрова:

— Ой, не могу, брат... Уморил! Неужели, они это... серьёзно?!. Ха-ха-ха... Впрочем, знаешь, Николай, всё это не так смешно, как грустно... Для нас. Для меня, для тебя, для всех нам подобных. Почему мы раньше были такими наивными?

Впрочем, не все генералы в Харбине только бредили, подобно Артамонову и Косямину. Были и такие, которые действовали.

Возглавлявший Русский общевоинский союз генерал Вержбицкий проводил организацию военного училища для подготовки кадров командного состава для будущей «освободительной армии».

Генерал Кислицин возглавлял организацию легитимистов, которая была связана с бесшабашно кутившим во Франции бывшим великим князем Кириллом Владимировичем и готовилась возвести его на царский престол «освобождённой от большевиков России».

Семёновский генерал Бакшеев, по инструкции Семёнова, вовлекал всех казаков в Казачий союз на Дальнем Востоке и организовывал из молодого казачьего поколения молодёжные ячейки — казачьи станицы по названиям казачьих войск — Забайкальская станица, Уссурийская, Амурская, Сибирская и т. д.

В этих «станицах» казачья молодёжь проходила военную подготовку.

Легитимисты шефствовали над молодёжной организацией мушкетёров, в которой также шло военное обучение. В дни казни Николая II и Колчака харбинский собор заполнялся членами этих организаций, и попы, густо кадя ладаном, гнусаво провозглашали вечную память «умученной большевиками царской семье» и «верному борцу за русское дело — безвременно погившему болярину Александру».

## 20. МАГАЗИНЁРЫ

В стороне от политики держались харбинские коммерсанты, в большинстве беженцы-купцы, сумевшие вывезти из России ценности и взявшиеся затем в Харбине за привычное для них дело.

Для этих дельцов политика была лишь ветром, мутившим обывательскую воду, в которой они руками своих служащих пока что успешно ловили золотую рыбку.

С такими «рыболовами» случай свёл однажды Кедрова, когда он в начале лета решил, паконец, пополнить свой гардероб.

К этому времени он дослужился в гараже до помощника механика, зарплату получал шестьдесят долларов в месяц, и ему захотелось купить красивую и обязательно шёлковую сорочку. Такую, какую по праздникам надевал механик гаража.

В один из выходных дней, в воскресенье, Кедров пошёл по магазинам — в первый раз за три года своей жизни в Харбине. До того он имел возможность покупать необходимые вещи только на барахолке — старые, с чужого плеча.

На витрине магазина «Братья Бент» он увидел то, что искал, и зашёл в магазин.

Услужливый продавец выложил перед ним на прилавок груду сорочек, красноречиво нахваливая качество товара. Глаза разбегались, но сорочка механика всё же нравилась Кедрову больше других, и он остановил свой выбор на такой же шёлковой, нежно голубого цвета.

Но продавец не успокоился до тех пор, пока не уговорил Кедрова купить ещё и галстук.

— Будем знакомы, господин,— напутствовал он Кедрова, передавая ему свёрток с покупкой.— Заходите. Лучше нашего товара вы нигде в Харбине не найдёте.

Не успел Кедров отойти от прилавка, как к нему быстро подошёл продавец из другого отдела, юркий кучерявый брюнет.

— Пссс!..— остановил он Кедрова.— На минуточку. молодой человек... Что я вам скажу...

Кедров остановился.

— Слушаю.

— Ну, так что же мы здесь стоим,— засуетился брюнет.— Вы думаете, что я могу себе позволить, чтобы такой образованный молодой человек, как вы, стоял на ножках и слушал, что я ему скажу? Вы сейчас пройдёте в мой отдел готового платья, сядете себе на стульчик, будете курить папироску...

Говоря это, продавец вёл под руку Кедрова в другой

конец магазина, где в остеклённых шкафах висели пальто, костюмы и другие готовые вещи.

— Итак, что же вы мне хотите сказать? Какое у вас ко мне дело? С вами мы не знакомы.

— Ай-яй-яй!.. — всплеснул руками продавец. — Ну что такое «не знакомы»?! Были не знакомы, ну-таки теперь будем знакомы. И кто в Харбине не знает Яшу Циперовича? Чтоб я так жил, если Яша Циперович, то есть это я, кого-нибудь обманул.

— Хорошо, — улыбнулся Кедров. — Будем знакомы. Но я всё-таки не понимаю...

— Ну-таки, я вам сейчас скажу. Когда вы покупали сорочку, я смотрел на вас и думал: и почему этот... такой интересный молодой человек не обновит свой костюмчик? Накажи меня бог, если я так не думал.

— Всё это правильно, — согласился Кедров. — Но пока воздержусь. Денег нет.

— А я разве про деньги говорю? Да чтоб я так жил, если я вам хоть одно слово про деньги сказал! Я же говорю про костюмчик... Абраша! Абраша! — крикнул продавец другого брюнета. — Покажи господину костюмчик, серый в полоску... Вы какой размер носите?

— Да не нужен мне костюм!

— Не помните размерчика? Ну так я вам скажу — сорок восьмой. Абраша! Сорок восьмой...

Не успел Кедров опомниться, как Яша уже стягивал с него пиджак, а Абраша натягивал на него пиджак другой — серый в полоску.

— Мне не нужен костюм, — протестовал Кедров. — У меня нет денег.

— Вы, господин, таки-себе, примерьте, — расправляя на Кедрове пиджак Яша. — А о деньгах мы будем говорить после. Поднимите ваши ручки. Попрошу вас, будьте ласковы, — поднимите ваши ручки. Не жмёт под мышками? Ну, конечно, не жмёт. У нас такой закройщик... Мм!.. — Яша причмокнул. — Такой закройщик!.. Чтоб я так жил... А спинка! А талия!.. Мамочка моя!.. Будто специально для вас сшит, ей-богу. Да чтоб мне ни жены, ни детей своих не видеть, если я вру... Да вы сами посмотрите! Вы сами посмотрите!.. Да в таком костюмчике вас даже ваша собственная жена не узнает, подумает, что вы это не вы и сразу же расцелует вас в обе щёчки! — говорил Яша, ворочая Кедрова перед большим зеркалом. — Ей-богу! На-

кажи меня бог, если не расцелует! Что? Вы не женаты? Ну, я же так и думал! Да в таком костюмчике с вами каждая девушка с удовольствием будет ходить под ручку по Китайской, и все ей будут завидовать... Чтоб я так жил, если вру. Ах, как он на вас сидит, как сидит! Нигде ни морщинки!.. Абраша, посмотри, ей-богу же, как на заказ!

Пиджак, действительно, сидел на Кедрове, как будто бы хорошо.

Яша уловил этот довольный взгляд Кедрова и засуетился около него ещё больше.

— Картинка, ей-богу, картинка! — рассматривал он Кедрова, отойдя от него на несколько шагов и прищурив глаз.

— Что ж, костюм мне нравится, — проговорил Кедров. — Но...

— Что я говорил? — восторженно сказал Яша. — Что я говорил? Разве Яша Циперович когда-нибудь кого-нибудь обманул? Да чтоб я так жил! Абраша, Абраша! Положи костюм в коробку и передай господину. И где вы, молодой человек, купите такой костюмчик за восемнадцать долларов? Нигде! Накажи меня бог.

— Слушайте, — решительно заговорил Кедров. — У меня нет денег. Вы просто напрасно теряли со мной время.

— Боже ж ты мой! — покачал головой Яша. — Вы говорите я напрасно потерял время? Ну, так я вам скажу, что вы плохо знаете Яшу Циперовича! За всю свою жизнь я ни минутки даром не потерял, видит бог. И кто вам сказал, что я хочу получить с вас сразу восемнадцать долларов? Вы, таки-себе, дадите сейчас пять долларов, а потом будете платить по три доллара в месяц. Вы где служите?

— В гараже, у Башкирова.

— Ну, так я же там свой человек! — ещё больше обращался Яша. — Сам господин Башкиров у меня берёт... Абраша, позови сюда бухгалтера... Заведующий берёт, старший механик тоже мой клиент... Как ваша фамилия, молодой человек?

— Кедров.

— Исаи Григорьевич, — встретил Яша подошедшего бухгалтера. — Вот господин Кедров берёт у нас костюмчик. Первый взнос пять долларов.

— Слушайте, — перебил его Кедров, — да у меня сейчас даже пяти долларов нет. Всего два осталось...

— Может, три доллара есть?

— Говорю вам — два доллара осталось, и больше ни копейки нет.

— Постойте, постойте, господин Кедров, куда же вы уходите? — Яша схватил Кедрова за рукав. — Исаи Григорьевич, запишите — первый взнос два доллара. Вы где живёте, господин Кедров?

— В Нахаловке, Тверская 17.

— В Нахаловке? — опять обрадовался Яша. — Да что вы говорите. Мамочка моя! Да ведь мы, таки-себе, с вами соседи. Только я на Болотной. Так вы говорите, Тверская, какой номер?

— Семнадцать.

— Исаи Григорьевич, запишите адресок: Тверская 17. Абраша, заверни коробку! Передай господину. Вы здесь распишитесь в книге, господин Кедров. Ну, вот, таки-себе, носите на доброе здоровье... Будем знакомы!

Вошли покупатели. Яша кинулся к ним:

— Костюмчик? Пальто? Пыльничек?.. Вы говорите — костюмчик? Так я вам сейчас покажу. Накажи меня бог, если вы где нибудь найдёте такой костюмчик... Абраша!..

Однако, бог, по-видимому, благоволил к Яше и его не наказывал. Несмотря на то, что неожиданно купленный Кедровым костюм очень скоро потерял свой вид и износился задолго до того, как Кедров его окончательно оплатил, Яша продолжал быть живым и здоровым. Во всяком случае, таким он казался своим покупателям. Но не таким живым, жизнерадостным, и не таким здоровым он выглядел, когда, уже вечером, возвращался из магазина домой в свою небольшую тесную квартиру в Нахаловке. Это был не человек, а выжатый лимон, выжатый до последней капли ежедневной, без выходных дней, двенадцатичасовой работой.

Китайская улица — главная улица Пристани, этого торгового центра Харбина — была сплошь увешана вывесками различных магазинов, большинство из которых принадлежало беженцам-евреям, сумевшим заблаговременно вывезти сюда свои капиталы и теперь увеличивавшим их за счёт жестокой эксплуатации своих служащих-продавцов и путём беззастенчивого обмана покупателей.

Вся торговля была построена на нездоровой конкуренции. О качестве товара владельцы магазинов, или, как их

называли, «магазинёры», не беспокоились. Важно было привлечь покупателя ценой, продать и... заработать.

Магазинёры установили непосредственную связь с Японией, скрупая там по дешёвке брак. Себестоимость таких закупок была так низка, что, даже при заманчивых для покупателя продажных розничных ценах в Харбине, процент заработка позволял магазинёрам подсчитывать хорошие барыши.

Так, владельцу магазина «Дешёвый Базар» Кантору удалось по баснословно дешёвой цене купить в Осака, в Японии, огромную партию мануфактуры и галантереи, подмоченных при тушении пожара большого осакского универмага. Эта коммерческая комбинация обогатила Кантора. «Дешёвый Базар» из маленькой лавки вырос в большой, богатый магазин.

Были, однако, и такие магазины,— в меньшинстве,— которые давали покупателю полноценный товар. Но как в тех, так и в других, принцип торговли был один и тот же — не отпустить покупателя без покупки.

Отсюда, при наличии конкуренции, магазинёры привлекали к себе покупателя кричащей рекламой, системой долгосрочного расчёта, причём, покупателю не надо было даже беспокоиться ходить в магазин выплачивать свою задолженность, к нему приходил инкассатор из магазина.

Этим кредитом магазинёры привязывали покупателя к себе: при погашении покупателем задолженности за купленную вещь — ему всучалась другая, тоже в кредит.

Владельцы магазинов строго следили за тем, чтобы продавцы действительно не отпускали покупателей с пустыми руками.

Разговор магазинёров с нерадивыми продавцами был короткий. На первый, в лучшем случае на второй раз,— соответствующее внушение, а затем—увольнение, обрекавшее человека на длительную безработицу. Понятно поэтому, что продавцы лезли вон из кожи, атакуя покупателей и увеличивая тем самым хозяйские капиталы.

В Харбине упорно и настойчиво внедрялись японские товары, вытесняя китайские. Щупальцы японских магнатов промышленности настойчиво тянулись к Харбину, а через него ко всей Маньчжурии через японскую торговую-промышленную палату в Харбине. Японские банки в Харбине осторожно начинали прибирать к своим рукам

как русскую, так и китайскую торговлю. Имея непосредственную коммерческую связь с Японией и производя расчёты через японские банки, харбинские магазинёры, незаметно для самих себя, подпадали под их экономическую кабалу.

## 21. «СТРЕЛКИ» И «ХАПАЛЫ»

Кедров медленно ведёт машину по Китайской улице, прижимая её к бровке тротуара и зорко шаря глазами по сторонам и впереди.

Он — «стреляет».

Увидев впереди женщину, Кедров прибавляет газу, тормозит около неё и предупредительно открывает дверцу:

— Пожалуйста! В Новый Город!

Усадив женщину, он так же медленно едет дальше.

Обогнав Кедрова, вперёд вырываются другая машина — тоже «стрелок» — и ползёт перед ним. Кедров хочет обогнать конкурента, но тот жмёт его к середине улицы.

Далеко впереди Кедров замечает стоящих на углу двух харбинцев, и его намётанный глаз безошибочно определяет — пассажиры!

Нажав на акселератор, он быстро обгоняет зазевавшегося конкурента и останавливается около пассажиров:

— В Новый Город!

Взяв так ещё одного пассажира, Кедров, теперь уже не останавливаясь, полным ходом гонит машину в Новый Город, к Чурину.

Там Кедров высаживает пассажиров и... опять «стреляет».

— На Пристань! Пожалуйста...

В следующий рейс Кедрову не повезло. Взяв двух пассажиров и доехав до Мостовой улицы, он только начал её пересекать, как из-за спины постового полицейского перед машиной неожиданно появился перебегавший улицу китаец — торговец цветами.

Кедров стремительно нажал на тормоз, но — поздно! Правда, сам китаец успел отскочить, но его корзины, подшибленные буферами, летят на панель.

Полицейский подходит к Кедрову, предлагает пассажирам выйти из машины, усаживает в неё злополучного китайца, сам садится рядом с Кедровым и командует:

— В участок!

— Почему в участок? Ведь если разобраться, то тебя надо штрафовать, а не меня. Даёшь сигнал, что можно ехать, а не видишь, как человек дорогу перебегает.

— Вот в участке и разберутся, — стоит на своём полицейский. — Поезжай!

Кедров включает скорость, но, проехав с квартал, останавливается и протягивает полицейскому полтинник.

— Сговорились?

Полицейский колеблется.

— Больше не могу, — твёрдо говорит Кедров. — Работа сегодня плохая.

Полицейский молча берёт монету и высаживает из машины китайца.

Разворачиваясь, Кедров видит, как китаец, низко кланяясь, сует что-то в руку блюстителя порядка.

Кедров усмехается.

— И с ним тоже... разобрался. Паразит!..

Когда через несколько минут он снова «обстреливает» Китайскую улицу, полицейский уже стоит на своём посту.

За руль Кедров сел около месяца назад, поддавшись настойчивым уговорам одного из автовладельцев. Соблазнился зарплатой в 75 долларов в месяц.

С работой биржевого шоффера-«стрелка» он освоился быстро.

Кадровый извозчик, как шутливо говорил о себе Кедров, полгода просидевший на козлах извозчичьей пролётики, он хорошо знал в городе все места, где и когда лучше всего ждать пассажиров. Утром его можно было видеть на окраинах города, откуда харбинцы ехали на службу. В три часа дня он неизменно стоял с машиной около управления дороги. В этот час управленицы кончили занятия, и Кедров развозил по домам своих постоянных пассажиров. В часы прихода поездов машина Кедрова всегда стояла около вокзала, откуда он никогда не уезжал пустым.

Он точно знал время окончания сеансов в кинотеатрах и успешно «обстреливал» выходившую оттуда публику. После окончания спектаклей в железнодорожном собрании Кедров ехал к «Фантазии» — одному изочных кабаре, где денежные харбинцы кутили до утра.

Днём Кедров глушил машину только на обед. В эти полуденные часы около шофферских ресторанов вытягивались длинные вереницы биржевых автомашин.

Кедров обедает неспеша. Обед — это для него в то же время и отдых от беспрерывной езды по городу.

— Можно? — подсаживается к его столику немолодой уже шофер.

— Садитесь, Семён Семёнович, — кивает ему Кедров.  
— Как сегодня дела?

— Скверно, дорогой мой, очень скверно! — заказав обед, вздыхает Семён Семёнович. — Вообще, дела мои ни к чёрту. Горю. Никогда не прощу себе, что связался с этим проклятым представительством, взял у него машину. Как же! Хозяином быть захотел! Работал бы как, скажем, вы, шофером — никакого горюшка бы не знал.

— Но зато у вас будет своя машина, когда вы её оплатите...

— Вот именно «когда оплачу», — криво усмехнулся Семён Семёнович. — Да никогда я её не оплачу. Вы понимаете, как у них, в этих американских автомобильных представительствах всё хитро продумано. Давая машину в долг, они тут же, сразу себя страхуют, назначая за неё двойную цену. Затем вы обязуетесь покупать у них же запчасти, покрышки, делать в их мастерских ремонт.

Кончается тем, что вы ещё не выпутились из долга, как ваша машина доходила до того, что годна только на слом.

— Вы сколько накручиваете за сутки?

— Километров двести. Это минимум. Обычно — больше.

— Ну и я так же. Это больше шести тысяч километров в месяц. Шутка сказать! А для того, чтобы вы смогли полностью рассчитаться за эту уже пришедшую в негодность машину, «американский дядюшка» навязывает вам другую — опять в долг, окончательно запутывая вас в своих сетях.

Рассказ Семёна Семёновича не был для Кедрова новостью. Он уже раньше, работая в гараже, много слышал от шоферов о кабальной системе, на которой наживались в Харбине представительства различных американских автомобильных фирм.

Америка захватила автомобильный рынок в Китае в свои руки. В частности, в Харбине весь многочисленный автотранспорт состоял исключительно из автомашин различных американских марок.

Кредит был заманчивой приманкой для стремившихся

встать на ноги беженцев. На эту приманку они охотно клевали и затем беспомощно трепыхались на американском крючке.

После обеда Кедров обычно ехал на вокзал.

Только что пришёл пассажирский поезд. Из вокзала выходят в сопровождении носильщиков пассажиры. И здесь на них набрасывается ватага вихрастых парней в кепках. Они наперебой, отталкивая друг друга, рвут из рук носильщиков чемоданы, выхватывают вещи у пассажиров. Оторопевшие пассажиры не успевают рассмотреть, кто и куда унёс их багаж. Через несколько секунд парни появляются снова и теперь хватаются за самого пассажира. Они тянут его за рукава, каждый в свою сторону.

— Сюда, господин, сюда! — запыхавшись, говорит ему один из парней. — Здесь наша машина.

— Ничего подобного, — тянет его к себе другой. — Я ваши вещи первый взял... Сюда, сюда... Вот в эту машину...

— Врёшь, — огрызается первый. — Вещи в нашей машине! — И, отталкивая другого парня, увлекает пассажира к одной из машин и командует шоферу:

— Петька, заводи мотор!

— Стойте, стойте! — приходит, наконец, в себя пассажир и осматривает машину. — Да здесь не все вещи. Где ещё чемодан и корзина?

Парень сдвигает на затылок кепку:

— Вот же черти! Из рук рвут. Сейчас найдём. — И он бежит по машинам. Слышится опять перебранка, и недостающие вещи победоносно водружаются парнем около сидящего в его машине пассажира. Парень садится рядом с шофером и, оборачиваясь к пассажиру, спрашивает:

— Куда прикажете?

Шофер выворачивает машину из очереди и спешит по указанному адресу, чтобы успеть вернуться к вокзалу, пока не разъехались все пассажиры.

Такой же паренёк работает около вокзала и с Кедровым. Это — сын его квартирных хозяев, семнадцатилетний юноша, закончивший в этом году гимназию.

Уже почти половина машин разошлась с пассажирами, а Кедров всё ещё стоит в очереди.

— Растворя! — ворчит он на своего помощника. — Чего он там зевает! Самому пойти что ли?

Но в это время паренёк, наконец, показывается на широком крыльце вокзала.

— Где пропадаешь, Сашка? — подходит к нему Кедров. — Смотри, уж полбиржи разъехалось. Ворон ловишь.

— Давай скорей машину сюда, к подъезду, — не слушает его Сашка. — Тут наш знакомый комиcсионер из «Орианта», с пассажирами...

Кедров бежит к машине, и через минуту Сашка уже нагружает её чемоданами.

Сашка и все другие, атакующие пассажиров, парни в кепках — «хапалы», своеобразный вид профессии, порождённый харбинской автобиржей.

Они работали бесплатно, получая от шофёров только обед и ужин. Кроме того, они постепенно учились управлять машиной и впоследствии, сдав экзамен по езде и получив шофёрскую книжку, сами садились за руль.

Зимой наочных стоянках около кабаре, пока шофёры ужинали и грелись в специально отведённых для них в каждом из таких увеселительных мест комнатах, — «хапалы» прогревали машины и старались перехватить друг у друга проходивших по улице случайных пассажиров.

Но если даже шофёр работал без «хапалы», он всё равно мог упинать и отдыхать спокойно. Прогреть машину его звал сторож. Это — безусловно беженец, сам придумавший себе работу ночного сторожа автомашин. Получал он немного — шофёры платили ему по 10 центов с машины в ночь, — но зарабатывал не хуже любого шофёра: около ресторанов съезжались по двадцати и больше машин. И не было случая, чтобы кто-нибудь из шофёров не угостил его ужином и стопкой водки.

Глядя на него, Кедров припоминал свои первые месяцы жизни в Харбине.

— Вот ведь не мог додуматься до такой простой работы. Пожалуй, было бы куда лучше «оперных выступлений» и квасного дела!

Кедров добросовестно обучал хозяйствского сына управлять машиной.

— Учись, Сашок, овладевай ремеслом, человеком будешь, — говорил он ему и улыбался, чувствуя, что невольно повторяет слова Степана Кузьмича. — Тебе легче учиться, у отца с матерью живёшь. Мне, браток, потруднее пришлось.

Часов около шести утра Кедров развозил по домам че-

тырёх знакомых кельнерш. Делал он это бесплатно. За это кельнерши часто уговаривали своих гостей ехать кататься и брали для этого машину Кедрова. Иногда какая-нибудь из них просила гостя проводить её домой, — и тогда Кедров опять подавал машину к подъезду кабаре — вне очереди.

Развезя кельнерш по домам, Кедров ехал в гараж и приготовлял машину к сдаче своей смене. Он мыл её, тщательно осматривал и до прихода второго шоферя устраивал все мелкие неисправности.

На биржевых машинах шоферы работали посменно, на две смены: сутки за рулём, сутки отдыха, получая... шестьдесят долларов в месяц. Шоферы, умеющие сами делать ремонт — одним из таких был Кедров, — получали зарплату на пятнадцать долларов больше.

Через год работы «стрелком» Кедров пересел на концевую машину, приняв только что вышедшую из представительства новую машину-карету (лимузин).

Работать стало легче.

Теперь он уже не «стрелял», курсируя непрерывно с Пристани в Новый Город и обратно, собирая суточный заработок двадцатицентовыми монетами, а ожидал пассажиров на определённой стоянке. Для таких машин существовала такса — доллар и выше, в зависимости от расстояния.

Сашок тоже изменил вид работы — из «хапалы» он сделался шофером-«стрелком».

## 22. ПУСТЬ МЕДВЕДЬ РАБОТАЕТ!

Три часа ночи. В большом зале «Фантазии» заняты все столики. Кельнерши — здесь они называются партнёршами для танцев — старательно «делают счёт». Джаз воет американские фокстроты и танго. Русская и английская речь сливается в общий аккорд весёлого гама.

На потолке крутится мозаичный шар-фонарь. От него по всему залу скользят, догоняя друг друга, лучи всех цветов радуги. Ловко лавируя среди столиков и танцующих пар, по залу снуют, обслуживая гостей, китайцы-официанты в белоснежных шёлковых халатах.

Джаз смолкает. Снова вспыхивает яркий свет. Медленно расползается по сторонам занавес эстрады. В зал

летят слова модной шансонетки. Однако, певицу никто не слушает, и через несколько минут она уже сидит за столиком: в её обязанности тоже входит — развлекать гостей, «делать счёт».

В шоферской комнате — не протолкнёшься. Шоферы греются, ужинают, некоторые, разморённые теплом, дремлют.

На пороге появляется сторож.

— Номер 926, идите машину прогревать. Радиатор чуть тёплый.

Один из шоферов толкает Кедрова под бок:

— Николай, вставай машину греть!

Кедров вскидывается:

— Что, а? А, да... Сейчас иду.

Он нехотя поднимается со стула: из такого тепла да на мороз... Бррр...

В машине от его дыхания переднее стекло моментально оттачивает.

Прогрев мотор, Кедров идёт обратно в кабаре и в отеплённом тамбуре задерживается около прижавшегося к радиатору отопления парнишки лет восьми. Парнишка приник к радиатору всем своим маленьким тельцем. Ему холодно. Дырявая женская вязаная кофта, в которую кутается малыш, греет плохо. На голове — натянутая на уши потёртая кепка.

— Что, орёл, замёрз? — спрашивает его Кедров. — Шёл бы ты лучше домой.

Парнишка ёжится и недоверчиво смотрит на Кедрова.

— Шёл бы, говорю, спать, — повторяет Кедров.

— Не-е... — отрицательно тресёт головой парнишка. — Ещё гостей много... Работать надо...

Из швейцарской слышатся голоса. Кто-то из гостей собирается уходить. Сторож бежит вызывать шофера очередной машины.

Парнишка кидается к выходящим гостям и заученно жалобным голосом тянет:

— Дяденька, подайте на хлеб... Дома мамка большая... Тётинька, подайте... Дяденька...

Зажав в ручонке серебряную мелочь, парнишка затихает.

На улице гостей атакует несколько бояков, дежурящих около «Фантазии» каждую ночь.

— Господин, не откажите безработному...

— Сделайте милость... Дома жена, дети голодные.

— Господин, не откажите на бедность...

Один из них просит более откровенно:

— Господин, подайте на похмелье. За ваше здоровье стопочкой согреюсь...

Отказа, обычно, не бывает. Подгулявшие гости наделяют бояков мелочью. Те, пропив её в соседнем кабачке, снова возвращаются к «Фантазии».

Когда выдавались ночи потеплее, шофёры, поужинав, выходили на улицу, и тогда бояки заговаривали с ними, как со старыми знакомыми, тем более, что у каждого шофёра всегда найдётся закурить.

О себе бояки говорили каждый одно и то же: до боячества их довела длительная безработица.

— Я пью, друг, с горя, — хрипло выдыхал один из них, раскуривая предложенную Кедровым папиросу. — Выпьешь, и на душе легче станет. Всё равно пропадать, — так уж лучше с весёлыми мыслями под забором сдохнуть. Они вот, — кивнул бояк на кабаре, — на водку-то всегда дадут... А попробуй у них работу попросить... — И бояк помянул похабным словом чью-то мать.

— Вон парнишка тут по ночам болтается, — рассказывал он дальше. — Видали? В Нахаловке живёт. Отец недавно помер, мать больная лежит... Жизнь, чтоб её...

Кедров ежедневно видел на улицах города эти потрёпанные фигуры, останавливавшие прохожих просьбами о подаяниях.

Все эти попрошайки — «бывшие» люди, не подозревавшие в прошлом о том, что им когда-нибудь придётся беспомощно баражаться на дне харбинской жизни.

Их можно было разделить на две категории — бояки и нищие. Бояков выдавали их опухшие от ежедневного пьянства лица. Эти окончательно опустившиеся беженцы, останавливая прохожих, сиплым голосом просили:

— Не откажите, господин. Подайте несколько пенсов... российскому интеллигенту — на похмелье...

Бояки не хотели... и уже не могли работать.

Нищих гнала на улицу действительно безработица и её неизбежная спутница — нужда.

Каждую субботу нищие и бояки обходили подряд все магазины и contadorы и, как должное, получали там приготовленную для них мелочь.

Вечерами, в канун церковных праздников, и утром,

в дни этих праздников, они шпалерами выстраивались на папертях многочисленных харбинских церквей. Они были всегда хорошо осведомлены о всех богатых похоронах и шли за похоронными процессиями на кладбище, получая там от богомольных родственников покойного щедрые подаяния:

— На помин души новопреставленного раба божия...

Около японских киосков и мелких магазинов постоянно маячили фигуры наркоманов. Правда, китайские власти карали торговцев наркотиками, но Япония пользовалась в Китае правом экстерриториальности, и полиция не имела доступа в дома под японским флагом. Героин и кокаин был у японских торгаших ходовым товаром.

Однажды, проезжая по Китайской, Кедров увидел, что около гостиницы «Модерн» происходит какая-то суматоха. Несколько человек гнались за убегавшим босяком. Слышались крики:

— Держи его!..

Босяк свернулся на Корейскую улицу. С поста сорвался полицейский и побежал за ним.

Кедров притормозил машину:

— Что случилось?

Полицейский вывел с Корейской улицы задержанного босяка и, заметив машину Кедрова, скомандовал:

— А ну-ка, давай, живо. В участок.

По дороге Кедров узнал от полицейского, что босяк выхватил у какой-то женщины сумочку с деньгами.

— На кокаин денег не было, — рассказывал полицейский. — Вот и додумался, сволочь. Известно — наркоман.

— А вы не ругайтесь, не хамите, — холодно обрезал полицейского босяк. — Ваше дело доставить меня в участок, только и всего...

Голос босяка показался Кедрову знакомым. Он посмотрел в контрольное зеркальце и... узнал Власова.

Иногда около «Фантазии» можно было видеть «босяцкого аристократа» Адольфа, в прошлом драгунского поручика.

Адольф не был безработным. Первоклассный биллиардист, он попав в Харбин, сделал игру на биллиарде своей профессии. Целые дни он проводил в биллиардных, где ловил доверчивых игроков.

Около «Фантазии» Адольф появлялся только в тех

случаях, когда несколько дней в его сети не попадались очередные жертвы и бывшему драгунскому поручику было не на что выпить. Но и здесь Адольф не мелочился. Он, козырнув выходящим из кабаре гостям, бесцеремонно заявлял:

— Разрешите, господа, с вас получить целковый на ужин бывшему драгуну!

Получив доллар, Адольф, насвистывая, отправлялся в соседний кабачок.

Как-то раз Кедров заговорил с ним:

— Послушайте, Адольф, почему вы не работаете?

— Я? — приподнял бровь драгун. — А зачем?

Кедров опешил:

— Как зачем? Ну... Хотя бы для того, чтобы жить, существовать.

— Я живу. Сыт, пьян, независим. Главное — независим. А работать? — Адольф усмехнулся и неожиданно спросил: — Вы, надеюсь, читали Горького?

— Конечно. И не раз. Прекрасный писатель.

— Не сказал бы, — поморщился Адольф. — Плебейский борзописец. Мыслишки у него наивные. Вот, например, Сатин в пьесе «На дне» говорит у него... Угодно процитирую? Когда труд удовольствие, говорит он, жизнь хороша... Да разве труд может когда-нибудь быть удовольствием? Работа — это печальная необходимость. Жизнь тогда прекрасна, когда имеешь средства жить, не работая. Для меня здесь хватит людей, которым некуда деньги девать, поэтому — пусть медведь работает, а я подожду...

На утро, дома Кедров вспомнил этот ночной разговор с Адольфом и решил:

— Лодыры, опустившийся человек. А Горький прекрасно сказал: «когда труд удовольствие — жизнь хороша!» Вон тогда, на своём новосельи, как радовался Кузьмич, что получил возможность вернуться в мастерские к любимой работе! Однако, почему Кузьмич видит счастье жизни в любимом труде? Горького он, конечно, не читал... Тогда, значит, Горький подсмотрел это у подобных Кузьмичей.

В дверь его комнаты постучали, и послышался голос хозяйки:

— Ещё не спите, Николай Георгиевич?

— Сейчас ложусь.

— Тогда я закрою квартиру на замок. На базар пошла. А то уснёте — не достучишься.

Однако, спать Кедров не лёг. Он взял один из томов Горького и нашёл «На дне». Горький — это были единственныи книги, аккуратно стоявшие на самодельной полке. Купил их Кедров на барахолке у букиниста, у того самого генерала Депрерадовича, о котором ему когда-то рассказывал ротмистр.

Он раньше много раз читал эту пьесу, но теперь впервые задержался на словах скорняка Бубнова: «Ниточки гнилые». Да... действительно гнилыми нитками была шита жизнь, которая довела этих людей до ночлежки. Грязнула революция, и ниточки не выдержали, лопнули, затрещала Россия по всем швам...

Но всё же, где ответ на то, как надо жить и работать, чтобы труд был удовольствием и жизнь прекрасна?

Вот тот же Сатин говорит, что человек живёт для лучшего, человек — это звучит гордо. А здесь люди для чего живут? Чтобы как-нибудь заработать на кусок хлеба, а насчёт гордости.. Какая тут, к чёрту, гордость, когда каждый полицейский тебе кулак к морде сует, а ты молчишь!

Но всё же, в чём же удовольствие труда? В частности, он, Кедров, был доволен своей работой только раз, когда его ученик Сашка успешно сдал экзамен на шофера. Выходит, что радость труда определяется его результатами. Опять вспомнились слова Кузьмича:

— С рукомеслом и свою жизнь устроишь, и людям от него польза.

Значит, счастье труда в его пользе для людей...

Получается, что Адольф правильно делает, что не работает. Значит, он, Кедров, поступает неверно, что работает... Какая чушь!..

Мысли безнадёжно путаются. Книга вываливается из рук. Кедров начинает торопливо раздеваться.

В конце этого же года женился Степан Кузьмич.

Приглашая Кедрова на свадьбу, он, привычно почёсывая бороду, говорил:

— Без бабы в доме, Колька, невозможно. Конечно, какой я жених — сорок шесть годков минуло... Но уж больно подходящая баба подвернулась. Который год вдовой ходит, двоих ребят расти. Старшему-то семнадцать, в токарном учеником работает. Тебе бы вот тоже бабой обзавестись надо,—давно тебе говорю. А то изба-

луешься около своих кельнерух... Чего там нет?.. Сказывай!.. Живой же ты человек, а живому живое и снится...

На свадьбу бывшие палермовские музыканты захватили с собой гитару с мандолиной, и этот импровизированный оркестр ещё более оживил свадебное веселье. Но особенно растрогал Степана Кузьмича сверкающий никелированный самовар — свадебный подарок Кедрова и ротмистра.

— Вот уж, действительно, удружили, — радостно обнимал он друзей. — Будет теперь около чего с бабой да с ребятами вечера коротать...

### 23. ЖИВОЙ ТОВАР

Зима была на переломе. Приближался китайский Новый год — старинный народный праздник, который китайцы справляли широко.

К этому празднику китайцы обычно заканчивали все денежные взаиморасчёты. И горе было тому, кто к Новому году не мог рассчитаться с долгами — он навсегда терял своё лицо и больше нигде не мог пользоваться кредитом.

Китайские лавочники, поставщики на дом различных продуктов — хлеба, молока, овощей, — в течение целого года охотно снабжавшие своих клиентов в кредит, — перед этим праздником настойчиво требовали уплаты долга полностью.

Кедров от кого-то слышал, что в древнем Китае существовал такой обычай: кредитор, не сумевший получить к Новому году долг от своего должника, приходил с верёвкой к его дому, покрепче привязывал её за сук дерева, накидывал себе на шею петлю и... вешался. Делал он это для того, чтобы должника всю жизнь мучили угрызения совести, как виновника смерти кредитора.

Теперь кредиторы не вешались, но устраивали своим неисправным должникам скандалы, доводя дело до полиции.

После китайского Нового года потеплело. Незаметно подошла пасха.

Кедров работал на второй день праздника. Отвезя пассажиров в Новый Город, он порожняком возвращался

на Пристань, на свою обычную стоянку. Около Нового театра машину остановили две девушки.

Кедров скользнул по ним взглядом и безошибочно определил — проститутки.

Профессию девушек выдавали ярко накрашенные лица, губы, густо подведённые брови. Об этом же говорили и их манеры.

— Шофферик, — обратилась одна из девушек к Кедрову, — вы нас покатаете?

— Бесплатно — нет, — пошутил Кедров. — Как-нибудь в другой раз.

— Да нет, нет, — заговорила другая девушка, — мы заплатим. Вот — за два часа хватит?

И она протянула Кедрову две десятидолларовые кредитки. Это было вдвое больше против даже праздничной таксы, но Кедров отказываться не стал: если им не жаль денег, пусть платят!

И он усадил девушек в машину.

— Куда сначала?

— Куда хотите, — распорядилась одна из девушек. — По всему городу. Сегодня мы кутим! А вы что, не узнаёте меня, Коля?

Кедров поправил перед собой контрольное зеркальце, и в нём отразились лица сидевших позади его девушек. Одно из лиц показалось ему знакомым.

— Неужели я так изменилась? — в голосе девушки послышались знакомые нотки, и Кедров вздрогнул.

— Маруся!

Первым его движением было — остановить машину и высадить из неё девушек: вспыхнула обида на Марусю за то, что она тогда, в ресторане, так грубо надсмеялась над его искренним порывом.

Но затем он взял себя в руки: всё равно... Он уже вырвал из своей жизни эту страницу.

Между тем, Маруся, улыбаясь, говорила:

— Узнали, наконец. Впрочем, немудрено и забыть. Вы уже больше двух лет в «Палермо» не работаете.

— А вы всё ещё там?

— Я? — девушка замялась. — Я... нет. Я сейчас... я в другом месте.

— Да ты, Маруська, не скромничай, — подсказала ей подруга. — Говори прямо, что живёшь в... — и девушка назвала собственным именем публичный дом.

Хлесткое словечко резануло ухо, и Кедров, чувствуя неловкость, молчал.

— Стой, миленький, стой! — остановила Кедрова Марусина подруга около одной из китайских лавочек. Ты обожди, мы на минутку забежим с Маруськой, кое-что купим...

Из лавочки девушки вышли со свёртком.

— А теперь, — скомандовала Марусина подруга, — вези нас куда-нибудь за город. Пикник устроим, пасху справим.

— Давайте, Коля, лучше за Чинхэ, — предложила Маруся, — к Сунгари.

Но пикник у девушек начался раньше. В контрольном зеркальце Кедров наблюдал, как обе они, поочерёдно, пили прямо из горлышка, закусывая конфетами.

Девушки быстро пьянили. Нагнувшись к Кедрову, Маруся обнимала его за шею и, обдавая запахом водки, наговаривала:

— Ты меня, Коля, не презирай. Из нашего кабака только одна дорога и была, что в это место. Там я за полтинник с гостями оставалась, а здесь дешевле, чем за три доллара, не иду. Мама-то у меня... — Маруся всхлипнула. — Умерла мама-то... После неё я и совсем на всё рукой махнула. Всё равно пропадать... Кому я нужна такая-то...

— Брось, Маруська, нюни распускать, — одёрнула её подруга. — Давай ещё выпьем.

Когда Кедров остановил машину в поле за Чинхэ, обе девушки были совершенно невменяемы.

Они, сильно шатаясь, вышли из машины и сели на траву. Марусину подругу рвало.

— Где вы обе работаете? Куда вас отвезти? — осторожно спросил Кедров у Маруси.

— Интересуешься? — пьяно отвечала Маруся. — Где, говоришь? В «Ницце»<sup>1</sup>... Знаешь? Заходи... Угощу ночкой... Даром. Денег не надо. По-старому знакомству... Сама за тебя хозяйке заплачу.

С трудом уговорив девушек погрузиться в машину, Кедров довёз их до «Ниццы» и, разбудив (по дороге обе заснули), сдал с рук на руки хозяйке дома.

<sup>1</sup> Такое название носил публичный дом, находившийся в центре Пристани.

Сев за руль, Кедров закурил. Он всё ещё не мог прийти в себя от этой встречи с Марусей. Сейчас он смотрел на женщинин проще, чем три года назад: работа на автобирже научила. Но всё же... Маруся. Она не была «такой». Об этом он и сейчас бы мог поспорить с ротмистром. А вот всё-таки докатилась до...

И Кедров бросил взгляд на длинное одноэтажное здание «Ниццы».

— Эх! — вздохнул он. Были в этом вздохе и жалость к Марусе, и радость за себя, что тогда, в «Палермо», послушался ротмистра.

Он бросил окурок и, включив мотор, резко рванул с места.

До этой встречи с Марусей проститутки были для Кедрова просто падшими женщинами, с которыми здороваться на улице считалось неприличным. Теперь же он, как-то неожиданно для себя, увидел в них — тоже людей, которых загнала в такие заведения — кого нужда, кого другие, также невесёлые обстоятельства.

Пристань в Харбине была районом публичных домов. Школы на Пристани размещались на боковых улицах, но зато публичные дома занимали особняки в её центре. Большой такой особняк находился напротив Нового театра. Другой — около японской гостиницы «Хокуман отель». Много публичных домов было в нескольких десятках метров от главной улицы Пристани — Китайской. Три больших квартала были заняты этими домами на окраине Пристани, подходившей к китайской части города — к Фудзядяну.

Русские, китайские, японские, корейские женщины густо населяли эти дома.

Это был живой товар, которым торговали тёмные дельцы.

В Харбине поставщиком русских женщин в публичные дома был Белоусов. Лично ему принадлежало несколько таких особняков с женщинами.

Беженская беднота явилась богатым рынком для Белоусова. Он сначала «бескорыстно» помогал нуждающимся девушкам и женщинам, давал и деньги в долг, под расписку, конечно, а затем, опутав их долговыми обязательствами, скалил зубы хищника и цинично-откровенно предлагал выбор: или тюрьма за неуплату долга, или публичный дом, где намеченная жертва, снова,

теперь уже хозяйкой дома, опутывалась тенётами новых долговых обязательств — ей покупались в долг платья, туфли, пальто... И — выхода назад не оказывалось.

Вербовщики женщин рассылались Белоусовым в другие города Китая, где жили русские, и торговец живым товаром с удовлетворением смотрел на рост в банке своего текущего счёта, не теряя аппетита и хорошего настроения от появлявшихся время от времени в газетах хроникёрских заметок о самоубийствах проституток — погубленных им женщин.

Кедров часто возил китайцев-пассажиров в Фудзян на улицу Ши-У-да-цзе, где осторожно, непрерывными гудками расчищая себе дорогу, въезжал через широкие ворота-арку на большую площадь, окружённую замкнутым кругом длинных двухэтажных домов, крытых черепичными, в китайском стиле, крышами с вычурно изогнутыми гребнями. По второму этажу этих домов тянулись снаружи узкие балконы с низкими деревянными перилами, выкрашенными тёмно-красной краской... Мозаичные, разноцветные стёкла окон, резные двери этих домов, огромный дракон посредине площади, из задранной кверху пасти которого била фонтаном вода, на балконах, похожие на кукол фигуры молоденьких китаянок в красных шёлковых штанах и кофтах с оригинально накрученными причёсками, — всё это придавало площади какой-то сказочный вид.

Но если это и была сказка, то сказка страшная, рассказывающая о тяжёлых страданиях несчастных китайских девушек, попавших во власть злого дракона.

Здесь был, как называли китайцы, квартал любви. За мозаичными окнами на этой площади жили около десяти тысяч китайских проституток.

Среди них было много девочек в возрасте десяти-двенадцати лет. Это были дети многодетных родителей-бедняков, проданные ими в публичные дома из-за нужды. Ожидая в квартале любви своих пассажиров, Кедров часто видел проходивших по площади этих несчастных малолетних рабынь человеческой похоти, с ярко накрашенными детскими личиками, но уже с недетским выражением чёрных, раскосых миндалинок глаз.

Кедрову не верилось, чтобы родители могли продаивать своих детей, но один китаец-пассажир, которого Кедров часто привозил в квартал любви, рассказал ему.

что в Китае это практикуется и что в этом нет ничего особенного.

— Девочки, — рассказывал он, — не мальчики. Мальчик вырастет и будет кормить родителей. А девочка всё равно уйдёт из дома, когда выйдет замуж. Почему же её не продать, если этим можно выбиться из бедноты. Здесь за неё хорошо заплатят...

И, действительно, детский живой товар был, по-видимому, на самом деле ценным, так как малолетние проститутки привлекали в квартал любви богатых китайских «гостей».

Китайские купцы, имевшие по несколько законных ён, проводили здесь дни и ночи, пресыщённо лаская ещё не сформировавшееся тело маленьких женщин-детей.

В конце двадцатых годов в Харбине было свыше двенадцати тысяч зарегистрированных проституток, — почти в два раза больше, чем школьников всех харбинских школ, вместе взятых!

А сколько было ещё незарегистрированных! Кедров, работая первое время шофером-«стрелком», часто видел их, фланнирующих вечерами по Китайской улице и предлагающих себя встречным мужчинам.

Живой товар, зарегистрированный и незарегистрированный имел в Харбине широкий сбыт.

## 24. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

В бензинке накурено. Дверь открыта настежь, но это помогает мало. Курият шоферы концевых машин, ожидая вызова по телефону. Торговец бензином тоже расстаётся с папиросой только для того, чтобы выйти на улицу и накачать из колонки бензин в бак подошедшей машины.

В углу, склонясь над шахматной доской, дымят Кедров и Миша Пономарёв, их очередь не скоро.

— Завтра воскресенье, — говорит Пономарёв, делая ход, — хотим всем семейством за Сунгари поехать. Едем с нами?

Кедров не отвечает. Он задумывается над ходом своего партнёра и затем, подвинув, наконец, пешку, говорит:

— За Сунгари? Конечно. Кто-нибудь ещё будет?

— Шишгин хотел поехать, с женой.

— Ну что ж, прекрасно. Где собираемся?

— Приходи к нам часикам к двенадцати. Отоспишься до этого?

— Что ты? Безусловно. Сейчас не зима. Можно около «Фантазии» часа два-три в машине вздремнуть.

В бензинку торопливо вошёл «архиерей» — молодой шофер, с лицом, горевшим сочным юношеским румянцем. «Архиереем» его на бирже прозвали потому, что он был сыном священника. Солидных церковных доходов священнослужителю показалось мало. Он купил машину. Вместо института отдал сына в автошколу и затем посадил его за руль.

— Машина остановилась, — с порога заговорил «архиерей». — С квартал отсюда. Полчаса бьюсь — ничего не могу поделать. Помогите кто-нибудь.

Несколько шоферов поднялись со скамейки.

— Где стал-то? — не отрываясь от игры, спросил Кедров.

— На углу Кавказской.

— Ладно. Сейчас мы с Мишой тоже подойдём. Только вот выпутаюсь из пикового положения. Припёр меня Миша...

Однако, отразить атаки Пономарёва Кедрову не удалось. Через несколько ходов он должен был примириться с полученным матом, и они оба вышли из бензинки.

На углу Китайской и Кавказской шоферы уже копались в моторе «архиерейской» машины.

— Ну-ка, Николай, смотри, что у него, — заметив подошедшего Кедрова, проговорил один из шоферов. — Ты ведь у нас механик. Как будто всё в порядке, а вспышки нет. Может, пересосали, пока крутили?

— А бензин-то у тебя есть? — спросил Кедров «архиерея».

— Полный бак.

— А ну-ка, крутни ещё. — И Кедров, сняв с одной свечи провод, проверил искру. Её не было.

— Проводка не в порядке, — решил он.

От свеч до распределительной доски и дальше — к аккумулятору провода не вызывали сомнений.

— Посмотрим аккумулятор. Подними-ка доску...

— Аккумулятор новый, — самоуверенно проговорил «архиерей». — На прошлой неделе поставили.

— А ты делай, что тебе говорят, — одёрнул его Кедров и шутливо добавил: — Слушайся папу с мамой...

Нагнувшись над аккумулятором, Кедров присвистнул:

— А ну-ка, ты, ваше преосвященство, иди-ка сюда. Видишь?..

Болт, зажимавший на раме заземление, ослаб, и провод безнадёжно свисал под машиной.

Заведя машину, «архиерей» протянул Кедрову руку:

— Спасибо.

— Ну, чего там... Не за что... Поезжай давай.

По дороге в бензинку Пономарёв говорил:

— Молодой ещё, неопытный. Поработает—научится. Я сам сначала на машину, как барац на новые ворота, смотрел. Помнишь, рассказывал тебе...

Пономарёв тоже со школьной скамьи был мобилизован в белую армию. Но ему, как он рассказывал, посчастливилось: он попал ординарцем в штаб дивизии, и там шофёр начальника дивизии научил его управлять машиной.

В Харбине он забрал из беженского эшелона мать, двух сестёр и сразу же устроился шофером на автобус. Его мечты о продолжении образования, так же, как и у Кедрова, остались мечтами. Но читал он много, и это сблизило с ним Кедрова.

Пономарёв познакомил его с матерью, с сёстрами, и Кедров сделался частым гостем этой дружной семьи.

Ему нравилась одна из сестёр Миши—Гаяля. Иногда, когда собирались молодёжь, пели, танцевали. Кедров всегда предпочтительно танцевал с Галей. Иногда он приглашал девушку в кино. Мамаша присматривалась к Кедрову и в уме прикидывала:

— Что ж, человек он как будто бы хороший... Скромный, воспитанный, работящий... Не пьёт... Может, с ним бог Гале счастье пошлёт... Да и пора ей—двадцать пятый годок пошёл... Где тут других женихов-то искать...

Но Кедров в своих отношениях к Гале был далёк от того, о чём мечтала её мать. Правда, Гаяля ему нравилась. Она была остроумна, с ней можно было весело и не-принуждённо поболтать... Она легко танцевала... Но—жениться?! Об этом он пока ещё не думал.

На следующий день Кедров пришёл к Пономарёвым даже раньше двенадцати и передал матери Миши два свёртка:

— Мой пай, Ольга Андреевна... Здесь — кое-какие закуски. А тут — яблоками соблазнился...

Из кухни показалась сестра Гали — Вероника — и сообщила Кедрову:

— А мы с Галей пирожки жарим. Идите помогать...

Через минуту Кедров с пирожком в руке вышел из кухни.

— Хорош помощник! — улыбнулась Ольга Андреевна.

— Пробу снимаю, — пояснил Кедров, откусывая пирожок.

Вскоре подошёл Шишкин с женой. Ему было за сорок, но к его добродушному виду как-то не шло полное имя, и все шофёры называли его или дядя Гриша или просто Гриша.

Лодку решили нанять на целый день.

Кедров и Пономарёв сели на вёсла.

На реке было оживлённо. Лодки перевозили на левый берег отдыхающих харбинцев и порожняком торопливо возвращались обратно.

— Хорошо! — ни к кому не обращаясь, проговорил Миша. — Ни бензином, ни асфальтом не воняет.

— И не так жарко, — поддержал его Шишкин.

— Не жарко? — отозвался Кедров. — А вот садись за вёсла. Посмотрю, как тебе не жарко будет.

— Стойте, стойте, братцы! — закричал вдруг Шишкин. — Смотрите, никак Павел Иванович с женой!

И он указал на шедшую неподалёку лодку.

Кедров и Миша подняли вёсла. Они узнали пожилого шофёра, работающего с ними на одной стоянке, — бывшего полковника царской армии Злобина. В двадцатом году он остался в Харбине и, не найдя подходящей для себя работы, избрал профессию шофёра.

— Павел Иванович! — закричал Миша. — Куда? На Солнечный остров? А вы, может быть, к нашей компании присоединитесь? Мы на Зотовскую протоку, на пески...

Лодка с супругами Злобиными подошла ближе. Договорились ехать вместе на протоку.

Расположились в тени, связав ветки кустов шалашом, и сразу же пошли купаться. Только Шишкин, отойдя в сторону от купальщиков, развернул захваченные с собой удочки.

Купались долго. Кедров учил Галю и Веронику плавать. Затем все, даже Ольга Андреевна, играли в воде с волейбольным мячом.

Лежали на горячем золотистом песке. Снова купались.

За обедом Злобин рассказывал о своей сегодняшней встрече с шофером Пляскиным:

— Помните, невысокого роста, коренастый... Шутник такой, балагур...

— Ну, ну!.. Шрам у него, на левой щеке.

— Правильно! Шрам от ранения. Он у меня в полку был, прaporщиком. Под Читой ему пуля в щёку попала. Наизлётё была. Выплюнул её с парой зубов. Но не в этом дело. Помните, он года полтора назад уехал в провинцию. Работал там на грузовике. А сегодня я его встретил—только что из тюрьмы вышел.

— Как так? За что он это?

— За что нашего брата, шофёра, садят—известное дело. Но у него вообще нелепо получилось. Ехал он с грузом в Цицикар. Не доехая до города вёрст десять, догнал гружёные арбы. Ясное дело—надо обгонять. Не плестись же за ними. Дорога узкая. Начал давать гудки, но китайцы разве свернут? Да и сложно это для тяжёлых арб: по обе стороны дороги—пахота. Решил он их всё же обогнать. Выбрал место, где пахоты не было, и газанул. В провинции, как вы знаете, машины без глушителей ходят—мотор лучше тянет. Загудел у него мотор, как самолёт. Лошади испугались, кинулись в сторону. И случись тут, что на одной арбе, на мешках с зерном китаянка сидела. Свалилась она—и под арбу. Сразу на смерть. Дали рабу божьему за такое дело три года.

— Безобразие!—вырвалось у Кедрова.—Чем же он виноват? Не он же задавил?

— А виноват он был, по мнению судьи, тем что испугал лошадей,—усмехнулся Злобин.—Спорить не пришлось. Правда, Пляскин подал на апелляцию, в Харбине не нашёлся сердобольный адвокат, который бесплатно повёл его дело,—и человека оправдали. Но пока суд да дело, год он всё-таки просидел. Сейчас я временно приютил его у себя. Будет устраиваться на работу...

Наступившее молчание прервал Шишкін.

— А сколько, братцы, в нашей жизни таких случаев! Вот со мной тоже... Еду я недавно днём по Новоторго-

вой улице. Везу инспектора автомобильного отдела полиции Ли. Знаете его?

— По-русски хорошо говорит,—подсказал Миша.

— Да. Только сворачиваю на Мостовую, — откуда ни возьмись—рикшач, и сует свою коляску прямо под машину. Успел я отвернуть, но всё же—буфером по колесу. Коляска на бок, из колеса—восьмёрка. Рикшач запопил, моментально собралась толпа китайцев, с поста полицейский бежит. Ну, думаю, влип. Да, спасибо, Ли помог. Видел он всю эту историю. Подал полицейскому свою визитную карточку, залопотал что-то по-своему, и полицейский не меня, а рикшача потащил в участок.

— Счастливо отделался, Гриша,—проговорил Кедров.—Не будь Ли, пришлось бы тебе платить за ремонт коляски. У рикшачей это излюбленный приём. Как только коляска приходит в негодность—подставлять её под машину.

Ольга Андреевна вздохнула.

— Я каждый раз места себе не нахожу, если Миша задерживается и вовремя не приходит с работы. Не дай бог, думаю, что-нибудь случилось.

— Такая уж у нас работа,—проговорил Злобин. — Одной ногой в машине; другой в тюрьме.

Кедров, опершись локтем о колено, задумчиво потирал лоб рукой. Он тоже многое мог бы рассказать о том, например, как полицейские прижимают шофёров, о столкновении с хозяевами из-за плохой выручки, — бывают иногда такие неудачные дни, когда до обеда стоишь без почина. О том, как бензинщики обмеривают шофёров при заправке... Но всё это — мелочи жизни, с которыми можно мириться...

— У меня есть один хороший знакомый, — заговорил он, решив высказать пробудившуюся у него в голове мысль, — рабочий механических мастерских. Я жил когда-то у него. Простой человек, малограмотный. Но рассуждает обо всём так, что нельзя с ним не согласиться. Вот, например, о рабочих... Он говорит, что рабочие сами должны свои права отстаивать. У них есть профсоюз, который защищает их права, помогает им. Я вот думаю... Я хочу сказать, что если бы мы не жили каждый только для себя, а как-нибудь объединились... Можно организовать общество шофёров или что-нибудь в этом роде. Словом, как-то организованно помогать друг другу... Отстай-

вать свои человеческие права... Я не знаю, поняли ли вы меня?

Кедров смущённо замолчал.

Но Злобин поддержал его:

— Мысль ваша хорошая. Правда, защита прав рабочих и тому подобные речи — всё это советские установки. Профсоюз — тем более. Но в нашей шкуре, нам приходится об этом задуматься... Конечно, о каких-то правах нам и мечтать не приходится: эмигрант вообще существование бесправное. Но о материальной взаимопомощи поговорить следует. Это в наших силах.

Возвращались домой поздно вечером.

На реке, точно звёзды на ночном небе, светились фонари лодок, отвозивших харбинцев на городской берег.

Плескались вёсла, мерно поскрипывали уключины. На одной из лодок занялась и поплыла над рекой песня. Сочный женский голос пел:

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...

— Хорошо! — мечтательно проговорил Шишкин. — Очень хорошо! Но всё-таки... не у нас на Ангаре. Наша Ангара лучше. Я ведь коренной иркутянин. Акцизным чиновником до революции был. Чёрт меня дёрнул умочтать оттуда. Юнкера, можно сказать, подвели. Когда в декабре семнадцатого года было у нас юнкерское восстание, у меня в доме целый угол снарядом отворотило. А потом опять началось — то белые, то красные. Того и гляди на чью-нибудь пулю наскочишь. Ну и решил я пробираться в Харбин. Слух был, что здесь спокойно. Вообще, конечно, большую глупость спорол... Теперь уж, как говорится, сама себя раба бьёт, коль нечисто жнёт...

Начинала опадать с деревьев листва, когда ночью в городской больнице умер шофёр Белокопытов, бывший забайкальский есаул.

Кедров хорошо знал умершего. В гражданскую войну Белокопытов служил с ним в одной дивизии, командовал сотней. После отхода из Забайкалья в Китай он остался в Хайларе, некоторое время работал там конюхом, затем перебрался в Харбин и закончил здесь автотехнику.

У осиротевшей семьи, — жены и трёхлетнего сынишки, — не было денег даже на похороны.

Эту печальную новость Кедрову сообщил остановив-

шнийся около его стоянки Таскаев, который уже давно работал на своей машине.

Он же и предложил:

— Надо пустить подписной лист среди его сослуживцев по дивизии. Нас здесь не мало.

Слушавший этот разговор Злобин дополнил:

— Не только среди сослуживцев. По всей бирже собирать надо...

Кедров и Таскаев решили съездить ещё к председателю казачьего союза, к генералу Бакшееву.

Генерал принял их в передней и, выслушав, коротко заявил:

— Белокопытов не был членом союза, поэтому союз ничем помочь ему не может.

— Но тогда, может быть, вы лично, ваше превосходительство, — решился спросить Кедров. — Есаул Белокопытов — забайкальский казак. Вы были у нас войсковым атаманом.

— Всё это было... — сказал Бакшеев. — Хотя... если уж так необходимо... У вас есть подписной лист?

Бакшеев ушёл в комнату и, пошептавшись там с женой, через некоторое время вышел.

— Вот, — протянул он двадцать центов. — Возьмите. Напишите в листе — «от неизвестного».

Кедров и Таскаев переглянулись и поняли друг друга без слов. Не взяв деньги, они круто повернулись и молча вышли из генеральского дома.

— Видал?.. — зло говорил Таскаев, — где нужны мы им больше. Как милостыню подаёт...

— Просто-напросто сволочь! — согласился с ним Кедров.

Отказался дать на похороны и хозяин машины, у которого последнее время работал Белокопытов, — инспектор КВЖД Яковенко.

Он заявил:

— Когда он заболел, у меня три дня машинаостояла, не работала, пока я нашёл ему замену. Не мог же я посадить за руль первого попавшегося человека!..

Шоферы возмущались:

— Вот жмот! Такого в газете надо продёрнуть как полагается.

— В «Рупор» написать! Там недавно специальная автомобильная страница открылась...

— И про Бакшеева не мешало бы, — проговорил Злобин. — Откровенно сказать, господа, мимо таких вещей спокойно проходить нельзя.

— Давай, Николай, напиши заметку, — предложил Кедрову Миша Пономарёв.

— Я? — опешил Кедров.

— Ну да... Ты.

— Что ты, Миша. Это тебе не в школе сочинение писать. Там в худшем случае тебе двойку поставят — и всё. А ведь это газета. Её тысячи людей читают.

— Брось, не ломайся, — настаивал Пономарёв. — Ты же как-то сам рассказывал, что в гимназии был редактором школьного журнала. Пиши, пиши!..

Дома Кедров долго сидел над заметкой. Писал, рвал, снова писал. И каждый раз ему казалось — не то. Фразы получались или слишком короткими, отрывистыми, или он запутывался в длинных периодах.

Писал и про Яковенко, и про Бакшеева.

Наконец, заметка была готова, и на следующий день Кедров завёз её в редакцию «Рупора» и, краснея от смущения, вручил редактору.

Большой, застланный ковром кабинет, массивный письменный стол, заваленный газетами, журналами, рукописями, этот важный лысый человек в кожаном кресле за столом — всё вызывало у Кедрова чувство какой-то невольной робости.

«Чёрт меня дернул сунуться, — думал он, жалея, что поддался на уговоры шофёров. — Осмеёт, и пойдёшь отсюда, как оплётанный...».

Кедров тревожно посматривал на редактора, читавшего его заметку: — Нет... Кажется, ничего, не смеётся...

Дочитав заметку, редактор взглянул на Кедрова:

— Ну что ж, хорошо. Написано живо, грамотно. Пойдёт. Правда, кое-что немного подчистим, но напечатаем. А теперь давайте поговорим о вас. Вы шофёр?

— Да.

— И, конечно, беженец?

— Беженец.

— А в прошлом?

— В прошлом офицер белой армии, потом учился во Владивостокском университете.

— Так, так... — провёл редактор рукой по своей лысице. — Заметка ваша мне понравилась, и, я думаю, мы с

вами сейчас договоримся. Видите-ли, господин... — редактор взглянул на подпись, — господин Кедров, мы начали выпускать автомобильную страницу. Раз в неделю. И нам нужны грамотные корреспонденты. Так сказать, с низов, из шоферской массы. Я уверен, что вы сможете быть нам полезным. Ну и мы вам, конечно. Мы платим по два цента за строчку.

Предложение было для Кедрова неожиданным:

— Не знаю, смогу ли... — неуверенно проговорил он.

— Сможете! — решил редактор. — Пишите о работе, о нуждах автобиржи, попробуйте делать зарисовки, описывайте интересные сценки, случаи. Вообще описывайте все мелочи вашей жизни.

Прощаясь, редактор шутливо проговорил:

— Итак, значит, договорились. Не робейте. Антон Павлович Чехов тоже с небольших газетных заметок начинал!

Выйдя из редакции и сев за руль, Кедров довольно улыбался: результат превзошёл все его ожидания. Конечно, он не Чехов, но... почему бы не попробовать свои силы, если представляется возможность?..

В понедельник он купил «Рупор» и прежде всего раскрыл «Автомобильную страницу». В ней была помещена его заметка, но «подчищенная»: о генерале Бакшееве в ней ничего не упоминалось.

На стоянках он как бы случайно заводил с товарищами разговор об «Автомобильной странице» и деланно протестовал, когда те хвалили его за заметку:

— Ну какой я писатель!

На деле же эти разговоры щекотали его самолюбие.

Заметки Кедрова в «Рупоре» стали появляться каждую неделю.

Он писал об всём, что видел и слышал на автобирже, обо всех мелочах шоферской жизни, но не всё, однако, подходило для газеты. Из трёх-четырёх заметок в «Автомобильной странице» проходили одна-две, но это радовало Кедрова: его печатают!

## 25. КРУПИЦЫ РАДОСТИ ТРУДА

Павел Иванович прятал ухо в поднятом воротнике тёплого пальто:

— Поджимает к ночи, господа.

— Пора... Осень!.. — отозвался кто-то из шоферов.

— Да... Как это есть у Пушкина: «Приближалась довольно скучная пора, стоял октябрь уж у двора».

— Ноябрь, Павел Иванович, — поправил Кедров.

— Что?

— Ноябрь, говорю, — не октябрь. «Стоял ноябрь уж у двора».

— Всё возможно. Не спорю, — согласился Злобин. — Давно учил, пора забывать. Недавно пятьдесят исполнилось.

К стоянке подъехал Шишкин и, поставив машину в очередь, подошёл к шоферам:

— Что, загораем? Мёрзни, мёрзни, волчий хвост! Кто компанию составит на стопочку?

Не найдя компаньона на выпивку, Шишкин один направился в столовую.

Посмотрев ему вслед, Злобин укоризненно покачал головой:

— Не доведёт Гришу водочки до добра! Частенько он начал прикладываться...

Кедров бросил докуренную папиросу. Ветер покатил окурок по обледеневшему тротуару.

Передний шофер взял пассажира и снялся со стоянки. Кедров подтолкнул в очереди свою машину и опять подсел к Злобину.

— Помните, Павел Иванович, летом за Сунгари мы разговаривали о шоферском объединении. Не выходит эта мысль у меня из головы. За это время я со многими переговорил. Есть, правда, против, но таких мало, единицы. И то, я бы даже не сказал, что они против, а просто отнеслись безразлично.

— Ну что ж, действуйте, в добный час.

— Я думаю, Павел Иванович, статью по этому поводу в «Рупор» написать. Вроде обращения ко всем шоферам... Как вы думаете?

Злобин одобрил и это, но оговорился:

— Только если создавать шоферское общество или союз, — назвать можно как угодно, — то во всяком случае совершенно аполитичное. Целью его, по-моему глубокому убеждению, должна быть только взаимопомощь. Довольно с нас и тех политических экспериментов, которые, в конце концов, выкинули нас из России и сделали бывшими людьми.

Редактору «Рупора» мысль об объединении работников автотранспорта также понравилась.

Выслушав Кедрова, он снял телефонную трубку и вызвал заведующего конторой редакции.

— Как у нас тираж по понедельникам, Илья Васильевич?

По-видимому, ответ был удовлетворительным. Редактор угостил Кедрова дорогой сигаретой и проговорил:

— Ну что ж, ваша затея — не плохая. Для нас это тоже будет полезно. Это поможет нам ещё больше увеличить тираж газеты по понедельникам.

Редактор обещал даже помочь Кедрову договориться с Беженским комитетом о помещении.

В первый же понедельник в «Рупоре» появилась статья Кедрова с призывом к шоферам об организации общества работников автотранспорта, а через две недели в Беженском комитете состоялось их общее собрание.

Выбирая председателя, шоферы единогласно голосовали за Кедрова.

Материальная взаимопомощь и повышение квалификации — это было всё, чего хотели шоферы.

Поэтому в первую очередь они решили создать кассу взаимопомощи.

Членских взносов для развертывания работы кассыказалось недостаточно, и Кедров уговорил товарищей устроить бал, первый в истории Харбина шоферский бал.

Большие залы Коммерческого собрания ярко освещены. В открытые форточки доносятся на улицу звуки оркестра, гул веселящейся публики.

В залах собрания — половина автобиржи: все свободные в этот день от работы шоферы со своими женами, сёстрами. Много посторонней публики — бал открытый, и билеты для входа на него может приобрести каждый желающий.

По особым пригласительным билетам на балу — сотрудники харбинских газет, руководители автомобильных представительств, председатель Беженского комитета...

Балльная комиссия, которую возглавляет Кедров, сделала всё для того, чтобы придать этому первому балу работников автотранспорта празднично-нарядный вид.

В одном из фойе собрания — выставка плакатов. Это реклама представительств. За неё балльная комиссия получила от каждого представительства от пятидесяти

до ста долларов — в зависимости от количества данных на выставку плакатов.

В другом фойе — киоски: крюшон, конфетти, серпантин. В киоске «Русский трактир» хозяйки — жёны шофёров — бойко торгуют чаем с пирожками, бражкой, хлебным квасом.

В зале гремит оркестр.

Только около шести часов утра, приняв билетную кассу и выручку всех киосков, убрав вместе с другими устроителями бала плакатную выставку, Кедров торопится домой.

В восемь часов он должен принимать машину и выезжать на работу, а до этого надо успеть ещё написать заметку о бале «Рупор» выходил после обеда, и редактор просил Кедрова сдать заметку не позднее одиннадцати часов.

Доход от устройства бала составил около трёх тысяч долларов.

Был доволен и редактор «Рупора» — номер газеты с подробным описанием бала раскупался работниками автотранспорта нарасхват.

Прошло полгода.

Жизнь автобиржи постепенно налаживалась.

Над дверью одной из комнат Беженского комитета красовалась вывеска: «Автоклуб».

Так работники автотранспорта назвали своё объединение.

Здесь каждый день можно было встретить свободных от работы шофёров. Приходили — кто прочитать свежую газету, журнал, кто подать в кассу взаимопомощи заявление о ссуде или заплатить по ссуде очередной взнос. У некоторых были другие дела — шофёр жаловался на хозяина или наоборот.

Правление «Автоклуба» заседало раз в неделю и разбирало много вопросов — мелких и крупных.

Миша Пономарёв внёс предложение — установить нормы для сугочной выручки — за минимум предлагал: для «стрелка» — десять центов на километр пробега, а для концевых машин — двадцать. Нормы эти утвердили и вывесили во всех бензинках.

Жалоб в правление поступало много, особенно от шофёров.

И вот однажды...

— Сделано нами, конечно, мало, — горячо говорил на заседании правления Миша Пономарёв. — Поэтому к предложению Кедрова надо отнестись особенно серьёзно. Арбитражная комиссия необходима. А то что у нас делается? Не понравился хозяину шофёр — выгонит его и всё. Или наоборот, прогуляет шофёр день — и ничего с него не возьмёшь. А тут — арбитражная комиссия!.. Спорный вопрос у хозяина с шофёром — пожалуйте в комиссию!

Павел Иванович Злобин, которого шофёры единогласно выбрали председателем арбитражной комиссии, был, и по мнению Кедрова, самым подходящим для этого человеком.

Спокойный, выдержаный, всегда корректный, не кидавшийся словами, он пользовался среди всех работников автобиржи большим авторитетом.

Даже Таскаев, которому первому из хозяев пришлось явиться в эту комиссию, не возражал против её решения — выплатить шофёру зарплату за неделю его болезни.

После этого первого заседания арбитражной комиссии, выходя вместе со Злобиным из Беженского комитета, Кедров удовлетворённо сказал:

— Помните, Павел Иванович, вы как-то говорили о безнадёжном, бесправном положении эмигранта? Оказывается, что права рабочего эмигранта всё же защитить можно!

— Внутри своей эмигрантской среды — да. С этим я согласен, — не возражал Злобин.

— Хотя бы так... Хотя бы пока так... — как бы всё ещё стараясь что-то доказать, говорил Кедров. — Согласитесь, что лучше пока что-нибудь, чем ничего...

И часто теперь, сидя над очередной заметкой для «Рупора» о работе объединения, Кедров думал:

«Вот оно, когда труд удовольствие. Когда от него польза окружающим тебя людям...».

И, подмигивая, произносил вслух:

— Понимаете вы это, господин Адольф, презирающий работу драгунский поручик?

## 26. ШАВКИ ТЯВКАЮТ ИЗ ПОДВОРОТНИ

Шёл 1929-й год.

Эмигрантские газеты уделяли большое внимание вопросу о КВЖД.

Происходившие в Пекине между Советским Союзом и Китаем переговоры о дороге заходили в тупик.

Свободные от работы вечера Кедров проводил в «Автклубе» и всегда в первую очередь брался за газеты. Их тон с каждым днём становился всё развязнее. В стремлении Советского Союза урегулировать положение на КВЖД эмигрантская пресса усматривала «тайные замыслы Москвы» распространить в Китае большевизм.

Главным «очагом большевистской заразы» в Китае газеты считали КВЖД и требовали изгнания с дороги всех советских.

Другое слышал Кедров от своего постоянного пассажира — советского кинооператора Калабухова, которого он часто возил в механические мастерские делать киносъёмы.

— Хотите знать, что происходит? — отвечая на вопрос Кедрова, говорил Калабухов. — Только поезжайте немножкотише, а то мы так растрясём всю аппаратуру. Происходит, дорогой мой, то, что и следовало ожидать. О гражданской войне в России вы, конечно, знаете? Вы давно в Харбине живёте?

— Я?

Кедров замялся. Сказать, что он эмигрант, белый офицер? Но как посмотрит ча это его пассажир, советский человек?.. Может быть, вообще тогда прекратит брать его машину, и он лишится выгодного постоянного пассажира. Было и другое, что заставило Кедрова смутиться: ему вдруг стало стыдно, мучительно стыдно признаться в том, что он эмигрант.

Выручили Кедрова пересекавшие улицу китайские арбы. Он резко затормозил и затем, включив опять скорость, придумал ответ:

— Я здесь с детства. Мой отец построекник. Теперь на пенсии.

— Но всё равно о гражданской войне вы, вероятно, слышали? — повторил вопрос Калабухов.

— Да.

— Прекрасно, — усевшись поудобнее, продолжал Калабухов. — И, конечно, слышали о том, что белым генералам старательно помогали иностранные государства. Была у нас в России так называемая интервенция. Всё это мы пережили. Выкинули вон и бе-

лых, я интервентов. Но империалисты не успокоились. Советский Союз стоит им поперёк горла. Они, видите ли, хотели нашей гибели, а мы благополучно живём и здравствуем. Мало того — крепнем ещё с каждым днём.

Миновали проходную.

— Давайте сюда, к этому цеху, направо, — указал Калабухов. — А разговор продолжим на обратном пути. Не надоело слушать?

— Нет, нет, что вы! — поспешил заверить Кедров, подворачивая машину к указанному цеху.

В обеденный перерыв к машине подошёл Кузьмич:

— Здорово! Опять киносъёмщика привёз? Кажись, теперь он сюда долго не наездит.

— Что так?

— А то... — Кузьмич сплюнул. — Заваруха, браток, начинается. Читал, поди, как ваши газеты китайцев на нас науськивают. Вот и смекай. Словно шавки из подворотни тявкают — тяв, тяв!. Сами себя пужают, хе-хе-хе!..

— Их другие государства подзадоривают, империалистические. Им Советская Россия поперёк горла стоит, — вспомнив слова Калабухова, авторитетно проговорил Кедров.

Кузьмич, смеясь, хлопнул его по плечу:

— Ишь ты, какой грамотный стал! Ну, ну... Набираясь ума, пригодится. Кто бы там ни подзадоривал, а только мы за свою, за Рассию, ни своих, ни чужих зубов не пожалеем. С нами они не совладают.

На обратном пути Калабухов продолжал прерванный разговор.

— В двадцать шестом году, — рассказывал он, — в Китае началось национальное движение за освобождение страны от иноземного гнёта. Был выкинут лозунг — «Рычи Китай!» Движение естественное, закономерное, но вся беда в том, что этот лозунг подхватили гоминдановцы, во главе с Чан Кай-ши. Но этот политический авантюрист, в своём стремлении освободить Китай от иностранного гнёта, опирается на помощь иностранцев и, в первую очередь, на Японию, которая добивается выхода на материк, в Китай. Вы понимаете, какое запутанное положение создаётся?..

Кедров молча кивнул головой, хотя ясно понимал не всё.

— Рост Советской России не нравится империалистам, — продолжал Калабухов, — и поэтому они руками Чан Кай-ши направляют лозунг «Рычи Китай» против Советского Союза, чтобы вызвать вооружённое столкновение. Отсюда — самоуправство китайских властей на КВЖД и тупик, в который зашли переговоры о ней в Пекине. Вы читали, конечно, что обо всём этом пишут харбинские газеты? Пишут чушь! Учтите, дорогой мой, что Советскому Союзу чужого не надо.

В конце мая, подъехав ночью к своей стоянке и выйдя из машины, Кедров к своему удивлению заметил Кузьмича и Силантьича.

Увидев Кедрова, Кузьмич обрадовался:

— Ну вот, приехал наконец... Здорово!.. А я уж, признаюсь, думал — понапрасну мы тут с Силантьичем тебя поджидаем... Дело у нас к тебе... Может, в машину сядем, там поговорим? Дело-то, оно, того... Сурьёзное дело-то...

Захлопнув поплотнее дверцу машины, Кузьмич наклонился к Кедрову.

— Такое дело, браток... Я про тебя Силантьичу сказывал — Колька, мол, свой парень, надёжный... Понял?

— Пока что ничего не понял, — мотнул головой Кедров.

— Да чего тут не понять-то? Я к тому это, что на тебя положиться можно... Не проболтаешься...

— О чём?

— Об этом самом... О деле нашем, то-есть...

— О каком деле?

— Тыфу ты, мать честная! — заёрзal на сиденьи Кузьмич. — Заладил одно да потому — о чём, о каком...

— Подожди, Кузьмич, — перебил слесаря Силантьич. — Надо парню толком рассказать. Ты, Николай, типографию «Полиграф» знаешь?

— На Биржевой улице? — спросил Кедров.

— Ну да. Перевезти надо оттуда в одно место кое-какие книжонки. Только мы хотим, чтобы ты отвёз их и... забыл про это. Понятно?

— Понятно-то оно понятно, — нерешительно проговорил Кедров. — Но... какая это литература?

— А ты этим, парень, не интересуйся, — усмехнулся Силантьич. — Одно только могу сказать, — нужные для рабочих книжки.

— Да ты не опасайся, Колька, — вмешался Кузьмич. — Что я... сговаривал тебя когда-нибудь на грязное дело?

Кедров молча включил мотор.

Через полчаса его машина, груженая связками книг и брошюров, остановилась около квартиры Силантьяча.

Выгрузив с Кузьмичём книги, Силантьич подал Кедрову два доллара:

— Держи!

Кедров отстранил деньги.

— Не надо. Я... так.

Силантьич не настаивал. Спрятав доллары в карман, он протянул руку Кедрову и просто, по-дружески проговорил:

— Ну, тогда — спасибо тебе, браток!

Через несколько дней после этого случая к машине Кедрова поспешил подошёл высокий, худощавый пассажир. Большие чёрные усы как-то особенно подчёркивали худобу его лица. Он заскочил в машину и, сам захлопнув дверцу, коротко скомандовал:

— На Гиринскую! К советскому консульству. Скорее!

Слегка притормаживая только на перекрёстках, Кедров развел такую скорость, с которой рисковал ездить по городу только ночью, когда улицы были безлюдны, — и через несколько минут выехал уже на Гиринскую.

Его глазам представилась необычайная картина. Квартал, где находилось советское консульство, был оцеплен полицией, отгонявшей толпы любопытных. Из консульства полицейские выносили связки книг, бумаг и грузили в автомашины.

«Пожар что-ли в консульстве, — подумал Кедров. — Но почему же так долго не едут пожарные команды?!»

Полиция остановила машину Кедрова, но его пассажир показал русскому полицейскому свою визитную карточку, и тот разрешил проехать к консульству.

Ожидая своего пассажира, Кедров силился понять, — что в конце концов произошло? Почему здесь сам начальник полиции? Вон стоит его машина. Из консульства вышел начальник учебного отдела Чжан Го-чен. Кедров хорошо его знал — он несколько раз отвозил его домой из «Фантазии». Чжан Го-чен в совершенстве, без акцента, говорил по-русски. Он окончил в Харбине русское коммерческое училище, но был большим китайским национа-

листом и не скрывал своей неприязни к Советской России.

К Кедрову подошли двое шофёров, так же, как и он, ожидавшие здесь своих пассажиров.

— Что случилось, не знаешь? — спросил один из них Кедрова.

— Я сам хотел спросить тебя об этом.

— Ты кого привёз?

— А вон стоит высокий, с усами, — кивнул Кедров на своего пассажира, разговаривавшего около дверей консульства с русским полицейским и что-то записывавшего в записной книжке.

— А, — взглянул на усача шофёр. — Рясенцев. Репортёр из «Русского Слова». Бывший полковник. Завтра, значит, из газет всё узнаем...

Однако, Кедрову хотелось узнать всё раньше. Налёт полиции на советское консульство — это был из ряда воин выходящий факт. Значит, разрыв дипломатических отношений и, следовательно, возможная война между СССР и Китаем?..

Но Рясенцев, которого Кедров пытался расспрашивать на обратном пути, ничего ему толком не рассказал.

— Всё в порядке, дорогой мой! — говорил ему этот репортёр монархической газеты. — Большевикам крышка! Сейчас их из Китая выпрут, а потом и из России. Скоро все домой, на родину вернёмся...

На следующий день Кедров узнал из газет, что налёт полиции был не только на советское консульство. Китайская полиция, произведя обыски, закрыла железнодорожный профсоюз, редакцию советской газеты «Герольд Харбина», большую, прекрасно оборудованную советскую типографию «Полиграф». Эмигрантские газеты, захлебываясь от злорадства, красочно описывали все подробности этих событий и восторженно оповещали своих читателей, что «большевистская зараза в Китае вырывается с корнем».

В газетах Кедров прочитал, что СССР хотел захватить КВЖД полностью в свои руки, но Китай, отстаивая свои суверенные права, ответил на эту попытку «мощным отпором» и устанавливает над дорогой полностью свой контроль.

После разговора с Калабуховым, разухабистый, не-

серъёзный тон газет уже не внушал Кедрову доверия. Но факт оставался фактом — назревали крупные события. Но какие? Во что они могли вылиться?..

— Может быть, Калабухов расскажет? — раздумывал Кедров на стоянке, поджиная телефонного вызова от кинооператора.

Но Кузьмич был прав — Калабухов больше в мастерские не ездил.

— Тогда, может быть, Кузьмич... Он профсоюзный работник... Должен, конечно, кое-что знать...

Сменившись с машины, Кедров, не заходя домой, отправился к слесарю.

Однако, Степана Кузьмича не было дома.

— Не вижу его с раннего утра до поздней ночи, — вздохала слесарша. — Совсем замотался человек...

— Что так? — присел Кедров на предложенный стул.

Настасья Петровна прикрыла поплотнее дверь и вполголоса заговорила:

— И не спрашивайте... Боюсь я за Стёпу... Время-то сейчас какое... Уж если китайцы консульство наше разгромили — чего же нам ждать?.. А он и слушать ничего не хочет... Забастовку сейчас с товарищами затеял... Си-лантьич у них там всеми этими делами верховодит. Сня со всех этих его делов лишилась...

— Вы, Настасья Петровна, — передайте ей, что я заходил, — попросил Кедров слесаршу. — Дыху меня к нему есть... Может, он ко мне заглянет...

Но Степан Кузьмич к нему не заглянул. Вместо слесаря первого августа к Кедрову, вся в слезах, прибежала Настасья Петровна.

— Стёпушку-то, — с плачем рассказывала она, — китайцы забрали. И сына тоже... Сколько народу в механических позабирали — страсть... Увезут, говорят, невесть куда...

Из газет Кедров узнал, что советские рабочие дороги организовали забастовку, но она не была поддержана «китами» и «квятами».

Китайцы арестовали больше тысячи забастовщиков и второго августа увезли их в концлагерь, в небольшой городок Сумбей, на левом берегу Сунгари, в непосредственной близости от Харбина.

Бесчинства китайских властей перешли все границы. Начался советско-китайский конфликт.

## 27. КРЕПКАЯ ОПОРА

Через Харбин на запад шли эшелоны с «серыми», — так русские называли чанкайшистских солдат по цвету их формы.

С запада к харбинскому вокзалу подходили поезда с русскими беженцами со станции Маньчжурия, из Чжайлайнора, Хайлара, из Трёхречья.

В Беженском комитете кипела горячая работа. В первую очередь надо было обеспечить всех этих людей хотя бы крышей: на улице ночевать не оставишь, не лето. Помещения не хватало. Общежитие Беженского комитета в Модягоу было уже переполнено. Срочно оборудовались новые общежития на окраинах города. Народ с по jitkami по несколько суток грудился в комнатах и коридорах комитета.

Приходя, как обычно, через день в «Автоклуб», Кедров не упускал случая поговорить с этими людьми, уже второй раз в их жизни бежавшими с насиженных мест. В большинстве это были казаки-забайкальцы.

— Жить-то, она, паря, дороже шмутья,— рассказывал один из них Кедрову, едко дымя цыгаркой-самокруткой. — Домашность-то — её, жив будешь, наживёшь... А вот жизни лягнуться — тут уж пропащее дело, не воротишь...

— Советы, стало быть, расправляются? — наводил Кедров свое собеседника на откровенность.

Этого нет. Не пожалуемся, — отвечал казак. — И мы, можно сказать, не видали. До них ещё с места поснимались. От «серяков» житья не было. Вояки из них, прости господи... — и казак, сплюнув, завернул крепкое словечко. — А вот насчёт пограбить — на это они мастера. К тому же девкам да бабам проходу не дают — охальничают, насильничают. А вояки из них...

И казак, смеясь, рассказал:

— Советские-то бомбы на них с «эропланов» не кидают. А вместо этого — валенки старые с пеплом да мешки с золой скидывают. Упадёт эдакая диковина на землю, зола клубом летит в разные стороны. «Серяки» покидают винтовки — и врассыпную.

Казак засмеялся и потом уже серьёзно добавил:

— Что там ни говори, а против наших им не устоять.

— Против кого это «наших»?

— Ну, против этих самых... советских. Народ-то там какой у них? Наш, ведь, русский. Может, какие в мои сродственники в Красной армии ходят. Мы вот все тут — кто в восемнадцатом году, кто попозже на китайскую сторону перекочевали. Вроде как заново жисть на лаживать стали, а за Аргунь-то всё-таки поглядывали, Рассея-то, она к себе тянет...

Харбинская пресса утеряла свой самоуверенный тон и уже больше «не выкидывала» советских из Китая. Теперь газеты запестрели сообщениями о вредительствах на дороге: о случаях, когда валились под откос товарные поезда и воинские эшелоны, в механических мастерских выходили из строя новые станки.

Все эти действия газеты приписывали подпольным отмольским боевым группам, которые, «к сожалению, остаются неуловимыми».

Однажды под вечер, когда только что начало смеркаться, к Кедрову пришёл Силантьич.

— Я, браток, к тебе... По дружбе... — протягивая Кедрову широкую ладонь, проговорил он.—Ночевать пущишь? Понимаешь, с бабой поругался, погнала меня из дома. Вся надежда на тебя. Может, утром образумится...

Однако утром Силантьич не ушёл. Когда Кедров стал собираться на работу, он попросился остаться ещё на сутки.

— Ты только вот что, Николай, — протянул он Кедрову деньги, — не в службу, а в дружбу — сбегай-ка сначала, купи мне чего-нибудь на обед и ужин. Да и хозяевам скажи — знакомый, мол... Приезжий с линии...

Деньги Кедров не взял:

— У меня тут в шкафу хватит. Хлеб, сыр, колбаса... Огурцов солёных несколько штук осталось...

Кедров возлагал на Силантьича большие надежды — этот человек мог, конечно, многое рассказать ему о конфликте и, вероятно, даже о том, чем эти события могут закончиться.

Но Силантьич всякий раз сводил разговор на свою жену, которая «словно белены объелась, житья последнее время ему не даёт».

А когда Кедров заговорил о Кузьмиче и высказал радость, что Силантьичу удалось избежать концлагеря, — Силантьич уклончиво ответил:

— Не всех же забрали... Кое-кто остался...

Переночевав у Кедрова ещё одну ночь, Силантьич ушёл, горячо поблагодарив за приют:

— Век не забуду такой услуги.

Советские войска подходили к станции Бухэду.

Автобиржа по-разному обсуждала углублявшийся конфликт.

Часть шофёров поддалась панике, которая исходила из таких активных антисоветских организаций, как обще-воинский союз, легитимисты, союз казаков на Дальнем Востоке. Другие решали:

— Будь, что будет!

Сидя в машине Кедрова, Злобин говорил:

— Вы слышали о том, как наши стратеги из обще-воинского союза разрабатывают план организованного отхода эмигрантов в Корею? Это — на тот случай, если советские войска будут подходить к Харбину.

— Ну, и... как вы на это смотрите, Павел Иванович? — взглянул на него Кедров.

— Как я смотрю? Отрицательно.

Злобин помолчал и затем, как бы найдя нужные слова, заговорил:

— Видите-ли, Николай Георгиевич, я часто думаю о том, что произошло за последние десять-одиннадцать лет. Германскую войну я закончил в чине полковника, командовал бригадой. Когда в июле семнадцатого года провалилось задуманное Керенским наступление, я понял — война катастрофически проиграна. Солдаты не хотели воевать. А когда в октябре большевики издали свой первый декрет, декрет о мире,—о продолжении войны вообще нечего было думать. Вся наша много-миллионная армия ринулась по домам. Проигранная война, стоявшая России много крови, позорный для нас, как тогда я считал, Брестский мир—этого было достаточно для того, чтобы я пошёл в белую армию. И вот теперь, когда я задумываюсь над всем, что было, у меня крепнут другие убеждения. Вы пытались когда-нибудь задавать себе вопрос — почему белое движение потерпело фиаско?

— Пытался.

— И к каким пришли выводам?

Не ожидая ответа, Злобин опять проговорил:

— Я эти выводы сделал. Против народа мы шли. А

уверен я теперь в этом потому, что народ нас не поддержал. А большевиков — поддержал. Против народа, Николай Георгиевич, не пойдёшь. Значит, правда-то — она там, на той стороне, у большевиков. И это доказывается не только крахом белого движения, но и последующими годами: несмотря на то, что Антанта готова утопить большевиков в ложке воды, Советская Россия существует и крепнет. Поэтому я никуда бежать не собираюсь. Голову не снимут...

Под впечатлением этого разговора, Кедров, отвозя пассажиров в Модягоу, завернул на ипподром к ротмистру.

Проскачка только что закончилась, и Кедров нашёл Павлищева в конюшне.

— Ты что это в неурочное время? — поздоровался с ним ротмистр.—Привёз что-ли кого?

— Нет. Просто был пассажир в Модягоу, ну и решил по пути тебя попроводывать. Как жизнь?

— Процветает! Недавно опять приз взял. Хозяин доволен. Прибавку дал.

— Уезжать никуда не собираешься?

— Куда? Зачем? — удивился ротмистр.

— А если советские займут Харбин?

— Вот ты к чему это! — понял ротмистр. — Нет, браток, довольно, набегался. Я, Николай, так решил — будь, что будет. В крайнем случае, отсижу положенное за все мои былые прегрешения, вольные и невольные. А потом я найду себе место под солнцем, но зато уже под своим, русским. Оно, знаешь, теплее греет...

Однажды, в эти дни конфликта, Кедров порожняком проезжал по Соборной площади. Машина что-то капризничала. Мотор работал с перебоями. Из выхлопной трубы раздалось несколько выхлопов:

— Паф!.. Паф!.. Паф!..

Ясно. Засорился карбюратор.

Кедров остановил машину и только поднял крышку капота, чтобы устранить дефект, как машину окружили около десятка полицейских с маузерами в руках.

— Тебе чего стреляй? — наперебой кричали они на Кедрова. — Куда есть это — паф, паф?

— Никуда паф, паф нету,— в тон им отвечал Кедров, продувая карбюратор.

— Тебе врёшь! Говори, куда есть?

— Да нет у меня пистолета. Паф, паф мей-ю<sup>1</sup>. Осмотрите машину...

Полицейские обшарили машину, но пистолета, конечно, не нашли. Кедров, продув карбюратор, сел за руль.

— Всё? — спросил он полицейских. — Можно ехать?

— Полиция ходи!

Двое полицейских вскочили на подножки машины и, наставив на Кедрова маузеры, приказали ехать в полицейский участок.

Прошло часа три. Кедров сидел в участке и терпеливо ждал, пока придёт полицейский судья. Прошло ещё два часа. Судья, наконец, пришёл, и Кедрова повели на допрос.

— Куда ваша есть пистолет? — перевёл драгоман вопрос судьи.

Кедров объяснил — никакого пистолета у него нет, стреляла машина, от неисправности.

— Неправда, — перевёл опять драгоман слова судьи. — Машина не может стрелять!..

— Хотите, я вам сейчас покажу — может или не может, — предложил Кедров. — Пусть господин судья пройдёт со мной к машине и убедится сам...

Кедрова отвели к машине. Он сел за руль и включил мотор. Машину плотным кольцом окружили полицейские. Дав полный газ, Кедров на несколько секунд выключил мотор, затем снова включил. Раздался оглушительный выхлоп. Полицейские и судья с драгоманом бросились от машины врассыпную.

В кабинете судьи Кедрову объявили:

— Пять долларов штрафа!

— За что? — удивился Кедров. — У меня и так больше полдня пропало. Ни в чём я не виноват. Почему же штраф?

— Судья вас допрашивал и поэтому всё равно надо штраф, — авторитетно разъяснил драгоман.

Кедров хотел было поторговаться, но махнул рукой — время стоило дороже денег. И он отсчитал судье пять долларов.

В Харбине появилось много китайских солдат.

Недисциплинированные, разнужданные, «серые» безо-

<sup>1</sup> Мей-ю (по-китайски) — нет, не имею.

бразничали в городе, особенно на окраинах. Они раздевали прохожих, приставали к женщинам, ловили биржевые машины и заставляли бесплатно отвозить их в казармы за городом...

Как-то вечером Кедров вёз пассажиров в Старый Харбин. На Старо-Харбинском шоссе машину пыталась остановить толпа «серых», но он дал полный газ, и «серые» отскочили в стороны. Проскочил!..

На обратном пути фары машины Кедрова осветили на том же месте протянувшуюся поперёк шоссе цепочку «серых». Они стояли, взявшись за руки, по-видимому, твёрдо решив всё-таки машину — захватить.

В Кедрове закипело бешенство — пусть на себя пеняют.

Он выжал из машины предельную скорость. Стрелка спидометра подходит к ста километрам. Машину от цепочки отделяют секунды. «Серые» не выдержали. Цепочка разорвалась, но... поздно... Один из «серых», сшибленный концом буфера, отлетел в сторону.

Вслед машине загремели беспорядочные выстрелы.

На стоянке Кедров внимательно осмотрел машину... Всё было в порядке. Никаких подозрительных следов. Если лаже и насмерть подшиб «серого» — не найдут виноватого...

Об этом случае Кедров никому из шофёров не хотел рассказывать: ребята могли случайно проболтаться, и дело могло кончиться для него печально. Всё же, Мише Пономарёву рассказал, не вытерпел.

— Машину осмотрел? — забеспокоился Миша. — Может, кровь где...

— Осмотрел. Всё в порядке.

— Всё-таки, давай ещё раз проверим. Дело не шуточное.

Тщательно осмотрев вместе с Кедровым машину, Миша удовлетворённо проговорил:

— Никаких следов. Между прочим, ты знаешь, что мне про этих вояк говорил наш лавочник-китаец?

И потряхая ломаному русско-китайскому языку, Миша сказал:

— «Наша не боится советска люди. Наша солдаташибко много. Одни помираят — десять приходи. Наша — посуда нету». Какой посуды нет, спрашиваю. «Такой, говорит,

посуда: «у-у-у»... И он провёл рукой над головой. Понял я — он это мне про самолёты толмачил...

В свою очередь Кедров передал Мише рассказ казакабеженца о валенках и мешках с золой.

— Наш «Иван» шутки шутит, — засмеялся Миша. — Между прочим, это очень показательно. Значит, «Иван» уверен в своей силе. В русской силе...

Советско-китайский конфликт закончился Хабаровским протоколом, по которому Китай принял все условия, выдвинутые Советским Союзом, согласившись признать на КВЖД положение, предусмотренное соглашением 1924-го года.

Первого января тридцатого года кончилось сумбейское сидение советских рабочих дороги. Все они были, согласно хабаровскому протоколу, возвращены на свои прежние места и получили компенсацию за всё время сидения в концлагере.

Была возобновлена работа железнодорожного профсоюза, вместо закрытой в начале конфликта советской газеты «Герольд Харбина» была открыта советская же газета «Новости жизни».

Кедров поспешил к Степану Кузьмичу. Хотелось поздравить старого друга.

В квартире слесаря было оживленно. Настасья Петровна хлопотала с ужином. Сам Степан Кузьмич радостно, возбужденно рассказывал Кедрову о концлагере.

— Пять месяцев, браток, отчубутили, — говорил он. — И ничего. Не устрашились. Своего достигли. Потому, как опора у нас крепкая — Советская власть. Есть на что опереться!

Подошли Силантьич и еще несколько рабочих.

Кузьмич радостно кинулся к ним навстречу:

— В аккурат подошли, товарищи. Моя Настасья с пельменями хлопочет. А о тебе, Силантьич, народ в Сумбе каждый день вспоминал, когда газетки твои читали... Слыши, Колька, — обернулся он к Кедрову, — Силантьичто... Редактором тут без нас был!..

— Да?.. — взглянул Кедров на Силантьича.

— Ну, какое там редактором, — улыбнулся Силантьич. — Бюллетени, оно, конечно, печатали. Дело прошлое, теперь и Николаю рассказать можно, тем более, что он тут много помог...

— Я? — удивился Кедров.

— А помнишь я у тебя две ночи ночевал? Про бабу-то я тебе наплёт. От полиции я хоронился. Выследили меня, гады. А тем временем баба другую квартиру для меня подыскала.

О газете Силантьич рассказал:

Когда китайцы закрыли «Герольд Харбина», профсоюз договорился с англичанином по фамилии Флит, и на его квартире стали печататься информационные бюллетени. За это Флит получал крупную сумму, а британский флаг, над его домом служил надёжной защитой от китайской полиции: Англия пользовалась в Китае правом экстерриториальности. Ночью отмольцы доставляли бюллетень по назначению, и утром советские граждане находили его в дверных ручках своих квартир. Нашёл Силантьич возможность аккуратно отправлять бюллетень и в концлагерь.

За ужином слесарь, подмигивая в сторону Настасии Петровны, весело говорил:

— Сегодня я лишнюю стопку выпью. За Советскую власть. Да ты и Кольке, Настя, налей. Чего его обносишь?

— Да ведь он не пьёт.

— Не пьёт... Не пьёт... Водку не пьёт, так ты ему вина налей. Выпьешь, Коля, с нами? За Советскую Родину?..

— Известно выпьет. С нами,—уверенно проговорил Силантьич и выжидательно взглянул на Кедрова.

Кедров молча протянул руку к рюмке.

## 28. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕССЫ

Возвращаясь в этот вечер домой, Кедров крепко призадумался над словами Степана Кузьмича:

— Опора у нас крепкая. Советская власть. Есть на кого опереться...

«У Степана-то есть опора,— думал Кедров.— А вот у меня... Степан простой, малограмотный человек, знает для чего он живёт. А я?.. Для чего я, Николай Кедров, образованный человек,—для чего я живу?.. Кому я нужен? А слесарь — нужен!..».

Кедров уже не искал правду. Он уже знал, понимал, где она.

Нет, хватит так жить. Надо строить жизнь по-иному, чтобы и у него была такая же крепкая опора, как у Кузь-

мы Силантыча и у их товарищей. «Голову не снимут», — говорил Кузьмич... Пускай он судит по-своему, но.. Павел Иванович Злобин? Он мог бы думать иначе, но всё равно говорит то же самое, что и Кузьмич!

Жизнь Кедрова действительно скоро изменилась, но не так, как он решал, возвращаясь от Кузьмича.

Вскоре после Нового года редактор «Рупора» предложил ему перейти в редакцию постоянным сотрудником газеты.

— Сколько вы получаете на машине? — говорил он Кедрову. — Семьдесят пять? У нас вы будете за сто долларов вести «Автомобильную страницу», плюс построчные за другой репортаж. Перо у вас бойкое, читателю ваши заметки нравятся, и из вас, я уверен, выработается хороший журналист.

Предложение было заманчивое, и Кедров, не задумываясь, согласился.

В сотруднической комнате редакции вечерней газеты «Рупор» трещат пишущие машинки. Сотрудники-репортеры спешно готовят к сдаче в набор очередной материал.

Секретарь газеты сегодня расстроен: нет «верхушки» или, как выражается секретарь, нет боевого, бьющего в нос материала, который можно было бы поставить на первое место.

Стрелки редакционных часов показывают половину одиннадцатого. Газета должна быть на улице в час дня. Последняя надежда секретаря — на Кедрова... Может быть, он принесёт что-нибудь из суда. Кроме автомобильной страницы. Кедрову был поручен суд, где он бывал каждый день и затем писал отчёты о судебных заседаниях.

Но вот, наконец, торопливо входит Кедров и, разворачивая свой блокнот, садится за машинку.

— Есть что-нибудь боевое? — нетерпеливо спрашивает его секретарь?

Кедров виновато пожимает плечами:

— Ничего. Всё мелкие дела. Две кражи да драка двух магазинёров.

— Что? Драка? — оживляется секретарь. — Каких магазинёров?

Кедров вкратце рассказывает:

— Владелец шляпного магазина Гуревич и хозяин магазина обуви Каскальян повздорили из-за денежных расчётов, и Гуревич ударил Каскальяна по лицу.

Каскальян подал в суд, и Гуревича приговорили к пяти долларам штрафа.

— Но всего интереснее то, — рассказывает дальше Кедров, — что Гуревич тут же передал драгоману десятку и сказал, что ему сдачи не надо. Я, говорит, всё равно буду ещё раз бить Каскальяна, так уж разрешите, чтобы лишний раз не беспокоить суд, внести штраф вперед. Но драгоман лишнюю пятёрку не взял. Надо, говорит, по закону. Когда подерёшься, тогда и заплатите...

— Эх, вы! — обрадовался секретарь. — Мелочь, говорите! Да ведь это же конфетка, а не материал. Давайте, пишите поскорее да покрасочнее, посочнее. Каскальян нам рекламу не даёт. После этой заметки с ним легко будет разговаривать...

В час дня, развернув свежую, ещё пахнущую типографской краской газету, Кедров с удовлетворением увидел на верхушке свою заметку. Над ней, на все семь колонок красовался набранный жирным шрифтом заголовок:

«Физиономия Каскальяна оценивается в пять долларов!»

Заметка «была в нос». Красок Кедров не пожалел.

Под вечер в редакцию прибежал взбешённый Каскальян. Но секретарь привык к таким визитам и спокойно посоветовал ему... поговорить с заведующим конторой.

Каскальян понял. Со следующего дня в «Рупоре» появились объявления его обувного магазина. И когда, вскоре, Гуревич привёл в исполнение свою угрозу, и оба эти магазинёра снова подрались — судебного отчёта о их драке в «Рупоре» не было.

«Рупор», как и все другие эмигрантские газеты в Харбине, был газетой бульварного характера. Харбинские газеты в руках их хозяев (редакторов-издателей) являлись для них средством наживы и шантажа. Политический курс газет? Он был, но очень гибкий и гнулся в зависимости от настроений читательской массы, а поскольку основным читателем был эмигрант, то редакторы-издатели придавали своим газетам направление антисоветское, временами усиливая его или ослабляя — опять-таки в зависимости от того или иного поворота в настроениях читателя.

Впрочем, харбинский читатель мало интересовался политикой. Просматривая за утренним завтраком свежие газеты, он главным образом интересовался — кто с кем

и почему поскандалил, кто и с чьей женой изменил своей жене, кто и как ловко кого обмошенничал. Обыватель с интересом вчитывался в заметки о кражах, убийствах, самоубийствах, смакуя красочно расписанные репортёром существовавшие, а по большей части несуществовавшие подробности.

И чем глубже, ярче, пикантнее вскрывала газета личную жизнь харбинцев, тем большей популярностью пользовалась она у читателей. Дешёвая, скандальная сенсация создавала для газеты успех, а следовательно упрочивала материальное благосостояние редактора-издателя.

— Репортёр должен уметь пролазить во все щели, — поучал Кедрова редактор «Рупора». — Образно говоря, если вас гонят с парадного хода, не смущайтесь — заходите с чёрного. Гонят с чёрного — лезьте в окно. Заводите знакомства, связи... Иной раз случайно схваченное слово может натолкнуть опытного репортёра на блестящую информацию, дать ему возможность раскрыть крупное скандальное, сенсационное дело.

Присмотревшись к новой работе, Кедров увидел, что харбинские репортёры действительно лезли во все щели и, добираясь до спален харбинского обывателя, обогащали свои газеты скандальными сенсациями.

В «Рупоре» на этом, на таком репортаже, особенно специализировались два сотрудника — Пиненко и Гринштейн, или, как они себя называли, Пин и Грин.

Пин — флегматичный, медлительный украинец, насыщенный присущим украинцам юмором. Грин — еврей. Юрий; подвижной, всегда в курсе всех городских дел и сплетен. Он, как хорошая ищёйка, казалось, нюхом улавливал, где пахнет скандальной историей и, узнав её подробности, бежал в редакцию, где его поджидал Пин с неизменной душистой сигаретой в зубах.

Выслушав Грина, Пин, не спеша, садился за пишущую машинку и облекал очередной городской скандалчик в такие формы, что секретарь редакции, прочитывая перед сдачей в набор это «творчество» Пина, несколько раз прерывал свою работу неудержимым смехом. Пин и Грин дружно работали на половинных началах. Сам Грин не писал. Он был... малограмотный...

Редактор ценил Грина не только за его способность узнавать в городе то, что казалось невозможным для других репортёров. Часто бывало, что заметки Пина — Грина

в газете не печатались, и Грин шёл с ними к героям описанных в них скандальных историй и цинично ставил условие:

— Или заметка будет напечатана, или вы заплатите редакции определённую сумму — за молчание!

Размеры такого вымогательства определялись редактором, в зависимости от имущественного положения героев скандала.

Пин и Грин получали свои построчные, а остальное шло в карман редактора.

Всё же основную роль в жизни харбинских газет играли коммерческие объявления. Поэтому Исаи Соломонович Мазурчик, агент газеты «Рупор» по сбору объявлений, знал себе цену. Этого пожилого человека с барскими манерами знал и боялся весь коммерческий Харбин. Скориться с ним, отказавшись от рекламы, было опасно. В таких редких случаях Исаи Соломонович сухо прощался с предпринимателем и выразительно щедил сквозь зубы:

— Ну что ж, как вам угодно-с... Не смею настаивать. Вам виднее, рекламироваться у нас или нет...

Дня через два Грин приносил в редакцию «дущистый материальчик», про отказавшегося от рекламы коммерсанта; Пин этот материальчик обрабатывал, и секретарь редакции с удовлетворением писал хлесткий заголовок к очередной «верхушке», которая била в нос читателю и бросала в холодный пот героя её сюжета. На следующий день после этого в «Рупоре» появлялось новое объявление: отказавший Мазурчику рекламодатель сам приезжал в редакцию и подписывал договор о постоянной рекламе.

Если раньше, работая на извозчикей и автомобильной биржах, Кедров мог наблюдать харбинскую жизнь только издали, со стороны, то теперь, перейдя на газетную работу, он получил неограниченные возможности подойти к ней вплотную, сам вошёл в неё. Визитная карточка газетного репортёра открывала перед Кедровым двери во все учреждения, организации, конторы, банки... Репортёр — представитель прессы. А жить в мире с харбинской прессой было выгодно даже для власти имущих.

Через несколько месяцев работы в «Рупоре», Кедров получил в газете, так называемый, административно-общественный отдел и стал постоянным посетителем всех городских учреждений и харбинских эмигрантских общественных организаций. А таких организаций к тому

времени в Харбине накопилось больше... ста! Кроме 4-х основных эмигрантских организаций — Беженского комитета, Общевоинского Союза, Союза казаков на Дальнем Востоке и легитимистов, — как грибы после дождя, вырастали многочисленные мелкие организации — различные землячества, объединения, союзы, общества. Не довольствуясь членскими взносами, правления этих организаций предпринимали походы на обывательский карман, устраивая благотворительные балы и вечера. Доход от таких балов попадал по прямому назначению только в студенческих организациях и в родкомах эмигрантских школ, где действительно оказывалась помощь неимущим студентам и школьникам. В большинстве же других организаций деньги, вырученные от устройства таких балов, шли частью на угощение после бала его устроителей, а оставшиеся — распылялись по карманам членов правлений. Кедров об этом знал, но об этом не писал: перед такими балами в «Рупоре» несколько дней подряд всегда печатались широковещательные объявления, которые обязывали газету поддерживать такую «плодотворную» работу эмигрантских общественных «деятелей».

Редактор поучал Кедрова:

— Каждому приятно прочитать свою фамилию в газете. Пишите подробно о всех устроителях бала, обязательно отмечайте туалеты дам — тоже поимённо. Перечисляйте и старайтесь не пропустить наиболее известных в городе лиц, посетивших бал. Это делает тираж. Каждый, о ком вы упомяните в своем отчёте, газету обязательно купит....

Осенью в Харбине обычно начинался сезон бегов и скачек. Как представитель «Рупора», Кедров сделался постоянным посетителем ипподрома. Каждое воскресенье, в дни бегов и скачек, его всегда можно было встретить или в ипподромских конюшнях, или среди многочисленной публики, толпившейся около трибун и касс. Он впитывал в себя разговоры о только что кончившемся очередном заезде и заносил в свой блокнот наиболее меткие выражения. В судейскую ложу, где были отведены места для представителей газет, Кедров заходил только во время заездов — оттуда было лучше видно всю беговую дорожку. И — опять раскрытый блокнот. Но теперь уже подробные заметки о всём ходе заезда.

Кедров быстро перезнакомился со всеми коневла-

дельцами, жокеями, наездниками и узнал закулисную сторону жизни ипподрома, о существовании которой публика даже не подозревала.

Однажды, когда Кедров толкался в конюшнях, к нему подошёл ротмистр и, отозвав в сторону, сказал:

— Слушай, Николай, на пятом заезде ставь на «Дон-Жуана». И для меня тоже прихвати парочку билетов. Он под девятым номером идёт. Яшка Гоберник скакет...

— Что ты? — удивился Кедров. — «Дон-Жуан»! Да ведь это бросовые деньги. Прошлые три раза он последним приходил. Вчера я на проскачке его видел — тоже время дал не блестящее. Я хотел на твоего «Альказара» ставить. Он фаворитом идёт...

— А ты делай, что я говорю, — улыбнувшись, проговорил ротмистр. — Риски десяткой — не обеднеешь... — Ещё возьми вот тридцать долларов, на всю нашу жокейскую братию билеты купи, на него же...

Перед пятым заездом Кедров пошёл к кассам. Перед кассой с номером два — под этим номером скакал «Альказар» — невозможно было протолкнуться. Билет на фаворита хотелось купить многим. Перед кассой номер девятъ никого не было...

— 20 билетов — протянул Кедров кассирше сорок долларов. — Много билетов продано на «Дон-Жуана»?

— Кроме вас, ещё жена жокея Гоберника три билета взяла. Больше никто не рискует, — улыбнулась кассирша.

Зазвенел колокол — дины!.. дины!.. Сигнал к началу заезда. Кедров поспешил в судейскую ложу.

На беговой дорожке жокеи сдерживали подходивших к старту горячивающихся лошадей. Публика шумными аплодисментами встретила «Альказара». Ротмистр, как влитый, сидел в седле, на коротких стременах. На нём была голубая куртка-блузка с большой двойкой на спине. Гоберник на горячившемся «Дон-Жуане» был в ярко-красной блузке — с девяткой.

Взмахнул флагок. Лошади взяли старт. Но опять дины!.. дины!.. дины!.. Отбой. Одна из лошадей на старте вырвалась вперёд — и стартер повторяет заезд.

Но вот опять взмах флага. Колокол на этот раз отрывисто звенит — дины!..

«Альказар» с места идёт впереди. За ним тянутся остальные десять скакунов. «Дон-Жуан» скакет шестым. Но

что такое? «Альказар» сдаёт. На полкруге он уже на четвёртом месте. Заезд ведёт «Красотка». За ней метрах в пяти — «Дон-Жуан». Гoberник не нажимает. Даже, кажется, чуть сдерживает скакуна Бережёт его силы? Может быть... До прямой... На трибунах поднимается невероятный шум. Фаворит подвёл. Перед прямой видно, как Гoberник посыпает «Дон-Жуана» коротким ударом нагайки. Расстояние между ним и «Красоткой» становится всё меньше. На прямой некоторое время обе лошади идут голова в голову, и только перед финишем Гoberник коротким посыпом вырывается вперёд и на полсекунды раньше «Красотки» рвёт ленту. «Альказар» пришёл без места — шестым.

Выдача за «Дон-Жуана» на билет была по сто долларов!

— Ну? — встретил Кедрова ротмистр. — Кто прав?..

— Но... как же так? — недоумевал Кедров. — Никто не ожидал, чтобы «Дон-Жуан»... Возьми, как он раньше... Да и проскачку я видел... Не понимаю!..

— Молод ёщё, поэтому не понимаешь... Едем вместе ужинать, вспрыснем выигрыш — расскажу, поймёшь...

За ужином в популярном в Харбине ресторане Ошепкова ротмистр рассказал:

— Публика — дура! Она старательно записывает, какая лошадь какое время показывает, и делает ставки на фаворитов. Но мы, жокеи, играем наверняка. Мы даём сначала публике возможность выбрать фаворитов, а потом просто напросто договариваемся между собой, кому придти первым, и делаем на него ставки. Обычно выбирается лошадь, по мнению публики, безнадёжная, как сегодня «Дон-Жуан». Чем меньше на эту лошадь покупается билетов, тем больше выдача. Понял?

— Да, но ведь на проскачке «Дон-Жуан» также показал плохое время? — заметил Кедров.

— Не «Дон-Жуан» показал, — поправил Кедрова ротмистр, — а Гoberник. Не раскрывать же карты раньше времени. Хозяева наши тоже охуяки на руку не кладут. Тоже договариваются и — делают деньги!..

— Но ведь это нечестно, — пытался протестовать Кедров.

Ротмистр прищурил глаз:

— Не честно? Может быть. Не спорю. Но ипподром — это тоже своего рода коммерческое дело. А в коммерции,

сам знаешь, не обманешь — не продаешь. К тому же — «Цыплёнок тоже хочет жить!».

— Это ты что ли цыплёнок? — засмеялся Кедров.

— И ты! — в тон ему ответил ротмистр, наливая вино. — Выпьешь?

— Можно. Вино научился пить.

— А водку?

— Не могу. Не лезет.

— Ничего, научишься, — успокоил его ротмистр. — Время ещё не ушло. Твоё здоровье!..

«Цыплёнок тоже хочет жить». Это Кедров видел и на других примерах. Однажды, когда он работал в редакции над очередной заметкой, из кабинета секретаря до него донёсся знакомый голос.

Он оторвался от работы и прислушался. Голос будил какие-то далёкие воспоминания... Авторемонтные мастерские... Первый, купленный в магазине костюм...

Ну, конечно, это — Яша Цыперович!..

Кедров прошёл к секретарю.

Перелистывая альбом с образцами материалов, юркий человек с начинаящими редеть кучерявыми волосами наговаривал:

— Накажи меня бог, если вы где-нибудь найдёте такой матерьяльчик, господин Петров. Мечта, че матерь-яльчик...

Сомнений не было. Это был Яша Цыперович.

Увидев Кедрова, он оставил на некоторое время секретаря в покое:

— Господину тоже надо обновить костюмчик. Угодно взглянуть — чистая английская шерсть. Накажи меня бог, если вы где-нибудь найдёте такой матерьяльчик...

Материал у Яши был действительно прекрасный. Кедров смял образец в руках и стряхнул — ни одной морщинки.

Яша тем временем уже раскрыл свою книгу заказов.

— Вы ведь получаете гонорар каждую неделю? Ну, я-таки себе так и думал. Вы будете платить по пяти долларов в неделю, и у вас будет такой костюмчик, такой костюмчик! Мамочка моя!

— Да, но... — замялся Кедров. — Надо ещё найти хорошего портного...

Яша от удивления даже всплеснул руками:

— А зачем вам искать портного? У меня есть такой портной, такой портной!.. М-м! Мечта, а не портной. И вам даже не надо будет утруждать ваши образованные ножки. Он сам к вам придёт, снимет мерочку... Платить вы будете ему тоже по пяти долларов в неделю. Что? Не можете? Платите по три. Будьте ласковы, распишитесь здесь...

Секретарь тоже взял у Яши отрез на костюм.

А когда за Яшем закрылась дверь, смеясь, проговорил:

— Видали? Вот как надо работать! Каждый знает, что этот жук обманывает его, а всё-таки у него берёт. За наличные такой отрез можно купить за пятьдесят долларов, а Яша дерёт за него сто. И мы у него берём, потому что, во-первых, в рассрочку, а, во-вторых, не думать о портном. Это тоже Яша-обдумает.

— Я его когда-то у Бента видел, — отозвался Кедров.

— Правильно. А года два назад он додумался продаивать матерьял вразнос. Первое время он брал материалы у Бента в кредит и платил ему за это львиную долю барыша. Теперь оперился — стал работать через банк.

Секретарь шутливо добавил:

— Видали! Как говорится — хочешь жить, умей крутиться.

## 29. «НУЖНЫЕ» ЛЮДИ

Шагая через ступеньку, Кедров быстро взбегает по устланной ковровой дорожкой лестнице Международного клуба.

Передавая швейцару пальто, он спрашивает:

— Ну как, Федя, у вас сегодня?

— Пожалуйте, пожалуйте, господин Кедров! — радостно встречает его Федя. — Съезд в полной комплектации-с! Вот номерочка-то, кажется, нет — вся вешалка занята. Но ничего, я ваше пальтецо в аккуратной индивидуальности скомплектую. Не извольте беспокоиться...

Федя, он же Фёдор Николаевич Рудаков, любил непонятные ему слова и сыпал ими при каждом случае. В прошлом фельдфебель одного из полков царской армии, он всю первую империалистическую войну провёл на германском фронте. В бою под Варшавой он до

последнего патрона поливал наседавших немцев свинцовым ливнем из пулемётного гнезда. Израсходовав последнюю ленту, Федя вынул из пулемёта замок и пополз под огнём к своим. По дороге его зацепила в руку немецкая пуля, но Федя нашёл в себе силы не только выползти самому, но ещё прихватить по дороге и вынести из-под обстрела тяжело раненого командира своего полка.

После второго ранения он получил отпуск, и революция захватила его в родном селе под Пермью. На фронт он не вернулся, а в восемнадцатом году был мобилизован в белую армию. С ней он докатился до Харбина, где так же, как и все беженцы, брался за любую работу на любых условиях. Одарённый природной, кондовой русской смёткой, си, несмотря на свою малограмотность, быстро освоился в Харбине, долго работал на харбинских дровяных складах, а около года назад устроился швейцаром в Международный клуб, и теперь его заработку могли позавидовать многие харбинцы.

— Игра идёт на полный ажиотаж, — рассказывает Федя Кедрову, пока тот приглаживает перед зеркалом волосы. — Все постоянные гости в конкретном квартуме.

Кедров проходит в зал. За большими столами, обтянутыми зелёным сукном, идёт карточная игра.

Кедров не играл. Этот игорный дом, носивший громкое название Международного клуба, интересовал его как репортёра и как журналиста, пробующего свои силы в рассказах и очерках. Как репортёру, ему нужна была нить для разработки очередного, «бьющего в нос» газетного материала. Как журналист вообще — он искал здесь интересных, характерных типов. И здесь он, конечно, мог рассчитывать найти нужных ему людей.

За каждым карточным столом около десятка игроков. Как они непохожи друг на друга по характеру и по общественному положению! Одни спокойно выигрывают и с таким же кажущимся спокойствием проигрывают. Другие остро, болезненно переживают каждую карту, и перемена счастья в игре немедленно отражается на их лицах, в их жестах, в нервном дрожании рук.

Крупье с бесстрастными, холодными лицами ловко тасуют карты и, подрезав колоду, вставляют её в деревянную колодку:

— Банк замётан. В банке десять долларов...

Игроки кладут напротив себя чибсы<sup>1</sup>.

— Пять долларов.

— Два...

— Один...

— Два...

Рука крупье тянется к колоде.

— Даю карту.

Понтирующий<sup>2</sup> берёт карты и нервно говорит:

— Ещё... Прикупаю...

Банкомёт не прикупает. Он уверенно открывает свои карты:

— Семь!..

Понтирующий раздражённо бросает карты:

— Ч-чёрт!.. Вот не везёт!..

Банк удваивается.

— Игра продолжается, — бесстрастно говорит крупье, придвигая к банку чибсы проигравших. — Прошу делать ставки...

На этот раз не везёт банкомёту. Банк сорван. Крупье отсчитывает от размера банка десять процентов и спускает чибсы на эту сумму в прорезанную в столе щель. Чибсы глухо падают в приделанный под щелью ящик. Эти десять процентов с каждого банка — доход клуба. Таким образом, в течение ночи почти все деньги, принесённые игроками в клуб, переходят в его кассу и только незначительная их часть уносится из клуба редкими выигравшими игроками.

Азарт привлекал к зелёному столу людей самых разнообразных по их общественному положению. Игры ради игры здесь не было. Каждый хотел непременно выиграть. Но выиграть и уйти не хватало воли. Хотелось выиграть ещё и ещё... И в результате многие уходили домой пешком, не имея денег даже на извозчика.

Сегодня Кедров опять видит за одним из зелёных столов кассира крупной транспортной конторы «Бринер и К°». Кассир играет подряд четвёртую ночь и проигрывает крупные суммы.

<sup>1</sup> Чибсы — небольшие, обычно круглые, сделанные из металла или из другого материала ярлыки, заменяющие деньги, каждый обусловленной ценности. Они покупались в кассе клуба и по окончании игры обменивались там же на деньги.

<sup>2</sup> Понтирующий — играющий против банкомёта.

«Надо будет узнать, — думает Кедров, незаметно наблюдая за кассиром. — Откуда у него могут быть свои деньги? Наверняка запустил руку в хозяйскую кассу, пытается отыграться и вязнет всё глубже и глубже...».

— Николай Георгиевич! На минуточку!

Кедров оглядывается. За одним из карточных столов сидит знакомый адвокат.

— Играете? — подошёл к нему Кедров. — Удачно?

— Какое там удачно! Не везёт сегодня. Продул всё, что принес. Вот что, голубчик, займите пятёрку. Сейчас моя рука, хочу последний банк метнуть. На ваше счастье... Выигрыш пополам...

Адвокат — нужный человек, и Кедров, не задумываясь, протягивает ему пять долларов. Начав метать и убив четыре руки, адвокат снимает банк. И было вовремя. Пятая рука была бы бита.

— Вот извольте получить — протягивает он Кедрову тридцать пять долларов. Или, может быть, хотите дальше, на половинных началах? Нет? Ну, как угодно. Тогда я один... С вашей лёгкой руки.

Засунув деньги в карман, Кедров проходит в комнату, где была ruletka. Около двух больших столов с ruletkой толпятся, тесня друг друга, русские и китайцы. Много знакомых Кедрову лиц.

— Добрый вечер, господин Сун! — здоровается он с драгоманом полиции. — Как дела?

— Сегодня ничего, — жмёт драгоман руку Кедрова. — Небольшой фаций<sup>1</sup> есть.

— Делайте ваши ставки! Делайте ваши ставки! — слышится в сплошном гаме русско-китайской речи голоса крупье.

Кедрова интересует не игра, а игроки.

Вот, например, эта пожилая дама, Анна Фёдоровна. Кедров познакомился с ней недавно здесь, в клубе, но уже успел узнать, что она беженка, бывшая саратовская помещица, сумела вывезти много драгоценностей и теперь не спеша, экономно их проживает.

Она страстный игрок, но хочет играть только наверняка и именно поэтому не играет, а с открытия клуба и до его закрытия сидит около ruletki и терпеливо записы-

<sup>1</sup> Фаций — китайское слово. По-русски имеет смысл — доход, прибыль.

вает все номера. Она решила разработать систему игры, которая должна её обогатить.

Анна Фёдоровна интересует Кедрова, как яркий тип, для его очерков «Бывшие люди», которые он готовит для печати.

Сегодня Кедрову везёт не только в карточной комнате. Жена пристанского домовладельца мадам Осетинская, расстроенная, отходит от рулетки и, нервно смеясь, говорит:

— Всё проиграла! До копеечки!..

Она снимает с пальца обручальное кольцо и протягивает его китайцам:

— Кто хочет купить? Дёшево отдам.

Получив за кольцо три доллара, мадам Осетинская снова покупает чибы.

Карандаш Кедрова быстро бегает по блокноту.

Время близится к полуночи. Пора домой. Но... может быть, поужинать?

В ресторане Кедров выбирает столик в углу — отсюда удобнее наблюдать публику, — просматривает меню.

— Закуску? Можно, — говорит он подбежавшему к нему китайцу-официанту. — Балычок, ветчинки и салат. Вина? Пожалуй... Дайте бокал вермута. Что у вас на горячее? Давайте-ка московскую солянку!...

Ухо ловит отрывки разговора за соседним столиком:

— Бланкман вчера огромный банк сорвал! Однаждать рук бил и снялся. Мог бы ещё две руки бить!

— Везёт человеку!

— Не сказал бы — жена на него в суд подала, развод требует.

— Как так?

— Любовницу завёл. А жена пронюхала...

Кедров делает заметку в блокноте: добыть в бюро переводов жалобу в суд жены Бланкмана...

Он, прихлёбывая душистый вермут, заранее предвкушает впечатление, которое будет произведено в городе этой сенсацией.

Кончив ужин, Кедров подписывает счёт и, оставив официанту на чай, направляется в швейцарскую.

Теперь — домой!

Подавая Кедрову пальто, Федя восторженно рассказывает:

— Чуточку опоздали, господин Кедров! Такая здесь баталия была — настоящая вулканическая проблема!

— Кто кого?

— Да тут Киров, фельдшер, к нам ходит. Каждый день у него карточный ажиотаж... А сегодня супруга его явилась. Вызовите, говорит, фельдшера Кирова по срочному делу. Ну, я думаю, может, к больному требуют. Поншёл, вызвал. Она его тут же, в швейцарской, конкретно по физиономии отчесала и домой дисциплинарным порядком увела... Просто никакой психологической возможности не было без смеха смотреть!..

Блокнот Кедрова заполняется ещё одной заметкой. Редактор будет доволен — Киров теперь не отвертится: его объявление все-таки в «Рупоре» будет.

— Вот ведь какие иной раз «сурьёзные» жёны бывают, — тараторит между тем Федя. — Вот у меня Глаша не такая. У неё на скандалы принципа не имеется.

— Да вы разве женаты, Федя? — спрашивает Кедров. — А я вас почему-то всё время холостым считал.

— Я недавно женился, — подсаживается к нему Федя. — Этот абонемент мне моя кума спроектировала. Одним словом, к швейке меня одной с Зелёного Бараза в индивидуальном порядке приспособила.

— А свадьбу какую справил! — продолжал Федя. — Сплошное умопомрачение в весёлости было. Я когда на дровяном складе работал, то всему духовенству дрова поставлял. Иной раз кому и лишнего подкинешь — хозяин от этого не обднеет. Вот кума меня и надоумила — пригласить всё почётное духовенство на свадьбу-то. И что тут было! Нанесли они мне подарков столько, что всю свадьбу оправдали. А песни как пели! Голосища — красота! Протодьяконы все были. Сам владыка... А подвыпили, поскакали конкретно рясы и в пляс пустились. И владыка с пами... Три дня пировали... Так вот и женился я на Глаше. Машину ей швейную купил. Я здесь работаю, а она дома.

В швейцарскую выходит адвокат:

— А я вас по всему клубу искал, — говорит он Кедрову. — Хотел с вами поужинать, вспрыснуть выигрыш. С вашей лёгкой руки не только полностью отыгрался, но и выиграл около двухсот долларов.

— Спасибо, только что поужинал, — отказывается Кедров. — С Федей вот беседуем...

— Ну, тогда я домой... Давай-ка, Федя, пальто. Да вот, кстати, получи. Прошлый раз я у тебя на извозчика целковый занимал.—Держи пятёрку. С процентами... Вы не идёте, Николай Георгиевич?..

Кедров остаётся. Ему ещё хочется послушать Федю. О нём он будет писать в своих очерках.

— Занимает на извозчика, когда проиграет, — говорит Федя про ушедшего адвоката. — Я, конечно, не протестую ассигнованием, потому знаю, что с выигрыша всегда больше отдаст. Да и многие так. Продуются, к примеру, — ко мне. Дай, Федя, пятёрку на отыгрыш. Ну и даёшь. На нашей работе живые деньги в кармане всегда крутятся. И чтобы не отдать — такой оказии не бывает. Всегда вдвоем, втрое получишь... Уходите? Счастливо, господин Кедров. Многовато вы мне за вешалку-то даёте... Неловко мне с вас...

— Ничего, ничего, Федя... Берите, вы теперь женатый человек, расходы прибавились...

— Да, оно, конечно, конкретно говоря... — И Федя прячет в карман полученные от Кедрова два доллара.

На чаевые Кедров не скучился. Швейцары, официанты, кельнерши для газетного репортёра — нужные люди. Они много видят, много слышат и могут всегда рассказать немало интересного для репортёра бульварной харбинской прессы.

Кедров идёт домой пешком. Теперь он живёт на Пристани, неподалёку от Международного клуба. Но, пройдя с квартал, вспоминает:

— Надо ведь ещё заглянуть сегодня в «Фантазию». Кельнерша Мария Витольдовна, жена бывшего полковника, обещала узнать кое-что о банке «Взаимного Кредита». Директор банка — её постоянный гость. А в банке как-будто не всё благополучно.

Кедров останавливает машину. Шофер — знакомый.

— За целковый до «Фантазии» подкинешь? — предлагаёт он и садится с ним рядом.

На одном из перекрёстков из боковой улицы выворачивает извозчик. Шофер резко тормозит:

— Дьявол! Под самую машину лезет!

Кедров тоже быстро нажимает ногами воображаемые педали конуса и тормоза и говорит:

— Пятилетняя привычка старого шофёра сказывается. Не скоро отвыкнешь...

В «Фантазии» Кедров заказывает кофе с ликёром и приглашает Марию Витольдовну к своему столику. Она сегодня свободна. Гостей у неё нет.

— Мой директор два дня глаз не кажет, — рассказывает она Кедрову. — Последний раз был сильно расстроенный. У них член правления Щёлоков требует ревизию всех банковских дел. Ссуды какие-то что ли они там незаконные давали...

Больше Мария Витольдовна о банке «Взаимного Кредита» ничего рассказать не могла. Но и этого было достаточно. Нить поймана. И Кедров делает пометку в блокноте: поужинать со Щёлоковым...

Теперь действительно пора домой. Около трёх часов ночи, он гасит в своей комнате свет. Его рабочий день закончился.

### 30. ПЕСКАРИ И ЩУКИ

Кедров бывал не только в различных учреждениях, организациях, клубах, театрах и ресторанах. Его можно было часто видеть ещё в одном месте, которое являлось центром всех городских сплетен и куда репортёры обязательно заходили каждый день. Это было кафе Зазунова на Пристани, или иначе — «Зазуновка».

Здесь находилась своего рода «чёрная биржа», на которой продавалось и покупалось всё, что имело какую-нибудь ценность.

Вдоль больших зеркальных окон кафе — медные перила. Около перил — фигуры. В знойные летние дни они — в апашках, соломенные шляпы сдвинуты на затылок. Фигуры вытирают пот с разгорячённых от солнца лиц... Зимой они прячут от холодного, колючего ветра лица в подбитые воротники пальто...

Но зимой и летом фигуры терпеливо подпирают перила, перекидываясь время от времени короткими фразами:

- Требуется телефон с номером...
- Есть партия иголок...
- Нужен компаньон в пекарню...
- Продаю мягкую мебель...

Иногда одна из фигур, пошептавшись с подошедшим к ней харбинцем, на два-три часа отрывается от перил,

и тогда её можно встретить во всех концах города. Фигура — работает. Не бесцельно стоят около медных перил «Зазуновки» и другие. Все они работают. Это — комиссионеры. При их посредничестве можно купить, продать всё, что угодно. И не важно, что сегодня у комиссионера нет нужного товара или нет покупателя на тот или иной товар. — завтра, можно быть уверенным, он их найдёт!

Около перил — дельцы мелкого пошиба. Более крупные комиссионеры, или иначе — брокеры, сидят в кафе за столиками. Проворачивая крупные коммерческие сделки, они могут позволить себе эту роскошь. Пусть стынет в стакане кофе. Брокер с покупателем, склонившись над столиком, договариваются о сделке.

— С продавцом у меня свои условия, — говорит покупателю брокер. — Вы же, как полагается, платите мне пять процентов сразу же по заключении сделки...

Знакомство с комиссионерами держит Кедрова в курсе всей закулисной стороны коммерческой жизни города. «Зазуновцы» хорошо осведомлены о делах всех коммерсантов, и от них всегда можно своевременно узнать о приближающемся крахе той или иной коммерческой фирмы. «Зазуновцы» не менее хорошо знают и личную жизнь своих клиентов, — а для репортёра харбинской прессы это тоже большая ценность.

Кедрова интересовало не только то, что могли рассказать комиссионеры о харбинацах, но и сами комиссионеры — как типы. Особенно один.

Это был поклой, по ещё очень подвижный человек.

Все офицантки кафе почтительно называли его — Семёна Яковлевич, а комиссионерская мелкота — господин Соколов.

Он не гнался за количеством проводимых им коммерческих сделок. Его интересовало их качество. Такие две-три сделки в месяц позволяли Семёну Яковлевичу иметь комфортабельную квартиру, одевать жену в меха и регулярно пополнять в банке свой текущий счёт.

Обедал он в кафе Зазунова, причём делал это каждый раз на чужой счёт.

Семён Яковлевич мог бы, конечно, платить сам, но зачем расходоваться, когда это могли сделать другие...

Однажды, сидя за соседним столиком, Кедров внимательно прислушивался к разговору, который Семён Яковлевич вёл с молодым шатеном в потёртом костюме.

— Я уверен, что вы это дельце провернёте, — говорил он. — С первого взгляда узнаю делового человека. У меня есть покупатель на двадцать вагонов муки, вы находите продавца, и комиссионные мы делим пополам. Тысяча долларов вам не помешает.

У шатена от волнения пересыхает в горле:

— Тысяча долларов! Это целое состояние! И — так легко их можно заработать!

Он наливает из графина воды, жадно пьёт.

— Вы обедали? — между тем говорит Семён Яковлевич. — Нет ещё? Ну, вот и прекрасно. Значит, вместе пообедаем. Псс... Барышня!..

Он долго советуется с официанткой о меню обеда.

— Прихватите ещё небольшой графинчик... Со слезинкой, холодненький...

Между первым и вторым блюдами Семён Яковлевич достаёт из кармана большой блокнот и вырывает из него лист:

— Подойдём к вопросу по-деловому, — говорит он, встряхивая автоматическую ручку. — Я сейчас напишу вам куртажную расписку, чтобы у вас на руках был законный документ на ваши проценты. Я так здесь и пишу — «должны быть уплачены немедленно по заключении сделки»...

Шатен берёт расписку. Он уже чувствует в кармане хрустящие доллары.

До конца обеда Семён Яковлевич небрежно говорит о проведённых им крупных сделках, кидается тысячами, а шатен, смотря на него восторженными глазами, потеет от волнения.

Наконец, выпит кофе, и Семён Яковлевич, взглянув на часы, спохватывается:

— О, уже третий час. Извините, тороплюсь. Я уже опаздываю. Бегу. Вы тут... рассчитайтесь за обед.

И, схватив свой портфель, он поспешно направляется к выходу.

Шатен, под впечатлением куртажной расписки, охотно платит за обед три-четыре доллара — деньги, на которые он скромно смог бы пропитаться неделю.

На деле же, услугами таких помощников Семён Яковлевич никогда не пользовался. Если даже они и находили товар или покупателя, — он сводил заинтересованные стороны сам, один.

Познакомившись с Семёном Яковлевичем поближе, Кедров как-то обмолвился:

— Знаете, Семён Яковлевич, вы меня извините за откровенность, но...как бы вам сказать...ваш метод работы нельзя назвать... вполне добропорядочным.

— Да вы не стесняйтесь, говорите прямо: мошеннический, вы хотите сказать?

Кедров смущённо молчал.

— Видите-ли, дорогой мой,— дотронулся до его плеча Семён Яковлевич. — Есть старая побасёнка. Один хохол удивлялся: что такое, говорил он, если царь царя обманет, то это называется политика; если купец купца находит — это коммерция. А когда мужик мужика нагреет, то все кричат, что это мошенничество, и беднягу тащат за шиворот в кутузку. Я коммерсант. Те, кто кормят меня обедами и по наивности рассказывают, где и какой есть товар, — тоже хотят считать себя коммерсантами. Поэтому то, что я кушаю за их счёт и не делюсь с ними процентами, — это коммерция.

— Но, согласитесь, что это всё же нечестно, — уже более смело проговорил Кедров.

— Нечестно,— охотно согласился Семён Яковлевич.— Но разве иначе в наше время проживёшь? Я хорошо знаю жизнь: люди все жадны. Одни в большей, другие в меньшей степени, но безусловно жадны. Я тоже жаден, но я умнее многих, и это даёт мне преимущество. Умный человек, дорогой мой, всегда строит своё благополучие за счет глупости своих близких!

Уговорить продавца дешевле продать, а покупателя — дороже купить, положив разницу себе в карман,— таков был основной принцип работы комиссионеров и брокеров.

Эти дельцы хорошо знали рынок, и более крупные из них, имевшие свои свободные деньги и кредит, часто приобретали партию того или иного товара на своё имя, выдерживали его некоторое время, пока на него не обострялся спрос,— и затем продавали, назначая цену, не стесняясь. Они хорошо знали — такого товара на рынке в данное время больше нигде нет, спрос же на него большой. Магазинёр-коммерсант всё равно его купит, не счи-таясь с ценой. и — в убытке не будет. Он накинет на него ещё свой процент, и весь этот спекулятивный заработок комиссионера и магазинёра оплатит в конечном счёте потребитель, которому данный товар нужен.

Никакими рамками закона торговля в Харбине не нормировалась, и это предоставляло широкий простор для хищнических комбинаций тёмных дельцов всех калибров.

Китайский закон того времени служил на пользу и другим хищникам-ростовщикам, с которыми Кедрова столкнула газетная работа. Крупных, известных всему Харбину, ростовщиков было несколько человек. Все они в прошлом построечники-железнодорожники. Как пауки, они опутывали липкой паутиной долговых обязательств свои жертвы и, опираясь на закон, раздевали их донага.

Обычно деньги ссужались ростовщиками под залог недвижимого имущества на таких условиях, что через пять-шесть лет эта недвижимость по судебному исполнительному листу неизменно становилась их собственностью.

— Я к людям по-божески, по-христиански подхожу, — рассказывал однажды Кедрову известный в городе ростовщик Степанчиков. — Никогда в помощи не отказываю. И за всё про всё *всего* лишь только три процента в месяц взимаю. А вместо благодарности — ни проценты в срок не платят, ни долга не выплачивают. Сколько хлопот с ними принимаешь по судам ходить... Это вместо спасибо-то за доброту мою!..

Три процента в месяц! Это меньше, чем в три года капитал ростовщика удваивался. Подобрав материал о ростовщиках, Кедров написал разоблачительную статью. Но... она в «Рупоре» напечатана не была.

— Это всё — почтенные, уважаемые в городе люди, — разъяснил Кедрову редактор. — Они и на школы иногда жертвуют, и на церкви... К тому же все они наши постоянные подписчики... Это тоже надо принять во внимание!

Но если ростовщики были хищники-единоличники, то ломбарды являлись уже организованными, узаконенными коммерческим патентом хищническими конторами, снимавшими с харбинской беллоты последнюю рубашку. Их, ломбардов, было много. Почти на каждом квартале. И почти все, в основном, японские.

Сюда гнала людей нужда, призрачная надежда, заложив вещь, как-то обернуться. Но, получив за вещь не больше четверти её действительной стоимости, закладчик, в большинстве случаев, расставался с ней навсегда: не каждый мог аккуратно выплачивать «три процента» в месяц, а через три месяца неуплаты процентов владелец ломбарда на законном основании оставлял заложенную

вещь в свою собственность и выставлял на продажу. В этом случае оценка вещи была уже другая, значительно выше той суммы, которую закладчик получил за неё в виде ссуды. Ломбард спекулировал на людской нужде.

Иногда крупные ломбарды устраивали аукционы вещей, по которым были просрочены проценты. И тогда, на таком аукционе, закладчик мог купить свою собственную вещь, но уже заплатив за неё вдвое, а иногда и больше против того, во сколько эта вещь была оценена при закладе.

Хищники более крупного масштаба сидели в банках и из застланных коврами кабинетов с мягкой мебелью опутывали Харбин паутиной экономической кабалы. Метод тот же, что и у более мелких хищников,— широкие ссуды, «божеские процентики» и... мёртвая хватка на законном основании.

Много интересного об истинном лице харбинской коммерческой жизни рассказывал Кедрову секретарь биржевого комитета Доброхотов.

Это был прогрессивно настроенный человек с широким кругозором.

Поговорить в биржкоме удавалось не всегда—мешали посетители. В этих случаях Кедров шёл ужинать в ресторан «Модерн», постоянным посетителем которого был Доброхотов.

Там Доброхотов за чашкой кофе после ужина рассказывал:

— Наши эмигрантские банки правильнее назвать «акционерным обществом ростовщиков». Что вы так удивленно смотрите? Я не шучу. Вы, конечно, знаете Пригородный банк. Он широко даёт ссуды для постройки домов в пригородах. Но эти вновь испечённые домовладельцы едва ли когда выпутаются из тенёта этих банковских дельцов. Их душат непомерно высокие проценты по ссудам. То же самое представляет собой и «Банк домовладельцев». Такая же ростовщическая организация.

У Кедрова возник вопрос:

— Что же смотрит биржевой комитет?

И Доброхотов спокойно разъяснял:

— Биржком смотрит, но старается ничего не замечать. Ведь почти все члены биржевого комитета — пайщики этих банков. Одно утешение, что вкладчики этих двух банков могут быть более-менее спокойны за свои вклады:

ссуды банками даются под реальную ценность, под недвижимость. Вам ведь известна история с банком «Взаимного кредита»? Вы писали о нём...

Кедров утвердительно кивнул головой. С делами этого банка он хорошо знаком. Правление банка, с ведома пайщиков, занималось спекулятивными операциями и на одной из них потерпело фиаско.

Намёк на это Кедров получил в «Фантазии» от кельнерши за кофе с ликёром. А подробности узнал от члена правления Щёлокова, во время ужина с ним у «Гидуляна».

Статья Кедрова о растрате денег вкладчиков увидела свет. Редактор «Рупора» напечатал её охотно — он сам был вкладчиком этого банка.

Статья произвела в городе большой шум, вкладчики кинулись к властям, и на остававшиеся в кассе банка деньги пайщиков власти наложили арест. Претензии вкладчиков были удовлетворены полностью.

Рассказывал Доброхотов и об иностранных банках:

— Это уже мошенники международного масштаба, — говорил он. — Во всяком случае и здесь тоже о здоровой финансовой поддержке, о здоровом кредите не может быть и речи. Это видно из того, что многие магазинёры уже потеряли надежду вырваться из цепких лап иноземных банковских дельцов, а около домов харбинских домовладельцев всё чаще и чаще начинают появляться бланочки с надписью: дом такого-то банка.

Домовладельцы безропотно подписывают под своим разорением, прощааясь с забираемыми банками домами, но магазинёры пытаются ещё баражать. Они страхуют свои магазины по повышенной оценке в страховых обществах и затем... поджигают их!

— Начало этому положили братья Бент, — вспомнил Кедров о первом большом пожаре на Китайской улице.

— Правильно. А после этого — что ни день, то пожар. Магазинёры поправляют свои дела, а страховые общества трещат и лопаются...

— Хорошо, Николай Михайлович, — ухватился Кедров за пришедшую ему в голову мысль, — но ведь должен же быть в Китае какой-то закон, который регулировал бы коммерческую жизнь?

— Закон, конечно, есть но...

— Но? — пытливо взглянул Кедров на своего собеседника.

— Но дело в том, дорогой мой,— закурив сигарету, продолжал Доброхотов,— что законы в Китае пишутся правителями, которые или сами купцы, или опираются на них. Они, *volens-nolens* должны охранять интересы тех, кто гонится за большими барышами.

— Чёрт знает что такое!— пожал плечами Кедров.

— Да, положение не весёлое,— подтвердил Доброхотов.

Некоторое время за столиком царило молчание.

Затем Кедров, отвечая на свои мысли, спросил:

— И неужели нет выхода, Николай Михайлович?

Доброхотов слегка улыбнулся:

— Выход, конечно, есть... Бернее, должен быть когда-нибудь. Но для этого надо в корне ломать общественный строй.

То же самое, только другими словами, говорили Кузьмич и Силантьич.

Кедров не был у Кузьмича около года и, направляясь к нему, чувствовал себя неловко: заелся, забывать начал старых друзей...

Чтобы хотя как-нибудь загладить свою вину, он зашёл по дороге в магазин и купил водки, вина и большой свёрток закусок.

Он медленно шёл по Диагональной улице к кварталам железнодорожных домов, где жил Кузьмич.

Вымощенная каменными кубиками, Диагональная нисколько не походила на ту изрытую ухабами и выбоинами улицу, какой видел её Кедров восемь лет назад. Но разве сам он, Кедров, не изменился за эти годы? За это время он сделал большой скачок в своей жизни — от торговца квасом до газетного репортёра, до «представителя прессы»... Карьера — американская! Его ценит редактор: очерки Кедрова о «бывших людях» увеличивают тираж газеты по воскресным дням вдвое. Его хорошо знает почти весь Харбин. Но почему у него нет удовлетворения от этой работы? Бывало, прежде он с искренним уважением смотрел в Харбине на газетных работников — репортёров, журналистов,— которых, как своих пассажиров, называли Кедрову его товарищи по работе — извозчики и шофёры.

— Вот они — писатели! — с почтением смотрел на них Кедров. Они казались ему необыкновенными людьми,

---

<sup>1</sup> *Volens-nolens* (латинск.) — Хочешь-не хочешь.

сверхчеловеками. Именно поэтому он не решился сразу же по приезде в Харбин попробовать свои силы в газетной работе.

Редактор «Рупора», Пин, Грин и многие им подобные харбинские, так называемые, «журналисты» разбили этот идеал Кедрова, спустили его, сверхчеловека, с высоты недосягаемости в зловонную тину харбинского обывательского болота.

Кедров увидел, что харбинский журналист тоже спекулянт. Тоже — тёмный делец, спекулирующий своим положением представителя прессы, своими широкими связями во всех слоях харбинского населения — от верхов до низов.

Кто он, Кедров? И что он? Журналист?.. Едва ли. Просто — репортёр скандальных историй. И если он сам не спекулирует своим положением представителя прессы, не занимается вымогательствами, — то, безусловно, невольно помогает в этом своему редактору.

Кедров несколько раз перечитывал Салтыкова-Щедрина и сборник фельетонов известного в дореволюционной России фельетониста Дорошевича.

— Вот, — убеждал он себя, — как и о чём надо писать. Вскрывать гнойники, ломать общественный строй, который порождает эти гнойники... Кричать, критиковать, разоблачать беззаконие... А не подхалимничать, не преподносить читателю будущие сенсации...

Но... секретарь «Рупора» неизменно требовал «душестый матерьяльчик», а с кем выгодно — газета должна была жить в мире...

Так работать больше нельзя... Может быть, перейти в другую газету? У него уже есть газетное имя, и его с удовольствием возьмут в любую редакцию. Но это тоже не выход из положения. Харбинские газеты все одинаковы.

— Хрен редьки не слаше, — вслух ответил Кедров на свои мысли. Сказал он это так громко, что встречный прохожий даже остановился и спросил:

— Простите, вы ко мне обращаетесь?

— Нет, нет, — смущаясь Кедров. — Это я так... Сам с собой...

Вспыхнула новая мысль:

— Не бросить ли вообще газетную работу?

Вспыхнула и сразу погасла:

— Потерять с таким трудом завоёванное жизненное

благополучие?!. Нет, нет... Ни в коем случае! Да и работа даже такого репортёра всё же интересная—видишь жизнь со всех её сторон...

У Кузьмича Кедров застал Силантьяча. Они играли в шашки.

— Ты что это — богатый стал, глаз не кажешь?— встретил его Степан Кузьмич.— Ишь, каким фраером вырядился! Забыл, сучий сын, как на толкучке квасом торговал? Тогда и Степан Кузьмич был хорош! А как забота—так и Степана Кочкина к чёртовой матери можно?..

— Да ведь и ты, Степан Кузьмич, давно у меня не был,—оправдывался Кедров.

— Я, я!..— кипятился слесарь.— Я — другое дело. Я к тебе сколь раз заходил, да всё вашего благородия дома не было. По театрам да собраниям изволят гулять. А потом плюнул. Не хочет, мол, старых друзей знать, ну и чёрт с ним.

— Ты погоди, Степан Кузьмич, не ругайся раинше времени. Ей-богу некогда было. Работа такая — с утра до полуночи. На-ка лучше вот. За мою провинность. Подружески, от чистого сердца.— И Кедров протянул слесарю свёрток.— Вино здесь... А это водочка — специально для тебя. Никитинская, твоя любимая. Закусочки прихватил... Не сердись, Степан Кузьмич. Верь слову — замотался...

— Бить ебя некому,— уже добродушнее заговорил слесарь.— А я уж и правда думал — загордился человек. Настасья! — закричал он женс.— Накрути-ка пельменей, я этого сучьего сына пока пьяным не напою, не выпущу!..

В то время как Настасья Петровна с дочерью готовили ужин, Кедров рассказывал Кузьмичу с Силантьичем о газетной работе.

Кузьмич не всё понимал, что говорил Кедров, но главное уловил:

— Так, так... Не нравится, говоришь, тебе, как с людей последние штаны стягивают? Не знаешь, что тебе делать? Мда... Оно, конечно, бывает... А ты плюнь и много не думай. Работай, пока работается... Люди здесь, как пескари да щуки в озере. Житья пескарям от щук нет. Так и будет, не переделаешь, пока всех щук не изничтожишь.

— Одному тебе с этим делом не управиться,— подсказал Силантьич.— За это дело надо всем народом браться, тогда только толк будет.

— Невод, стало быть, на щук закинуть? — шутливо проговорил Кедров.

— Во, во!.. — подмигнул ему слесарь. — Дело Силантьевич говорит — мотай на ус. А до времени — терпи. Работай, как работается... До случая...

За ужином засиделись до поздней ночи, и Кедров остался у слесаря ночевать.

Утром он уходил от Степана Кузьмича успокоенным... Начинался его обычный рабочий день.

Однако с этого дня в его кармане всегда был второй блокнот, куда он заносил всё, что не должен был видеть редактор, а тем более, — китайская цензура. Дома, в ящиках его письменного стола, хранились рукописи, в которых тщательно подобранные факты выворачивали наизнанку всю закулисную сторону харбинской жизни.

Всё это подбиралось Кедровым ыпрок — когда-нибудь пригодится. При удобном случае.

### 31. В ИЕРУСАЛИМ, НА БОГОМОЛЬЕ

Закончилась масленица, наступил великий пост.

В первый день поста, в «чистый понедельник» газеты пестрели скандальными историями. В «прошёное воскресенье» Харбин весело и разгульно проводил масленицу.

Просматривая в понедельник утренние газеты, Кедров натолкнулся на заметку, красочно повествующую о лебовше, учинённом в шашлычной «Иверия» пристанским коммерсантом Поликарповым, владельцем обувного магазина.

С ним Кедров был хорошо знаком.

Бывший богатый пермский купец, Поликарпов приехал в Харбин в 1920 году и, осмотревшись, открыл сначала сапожную мастерскую, потом — обувной магазин.

Когда Кедров торговал квасом, Поликарпов частенько заглядывал на бараходку: у беженцев иногда можно было по дешёвке купить ценные вещи.

Грузный, уже в те годы немолодой человек, Поликарпов разомлевал от жары и, останавливаясь около Кедрова, выпивал по несколько стаканов кваса. Платил он щедро — по пятаку за стакан, — каждый раз приговаривая:

— Это тебе на разживку, сынок... С моей лёгкой руки...

И, разгладив бороду, щёл опять толкаться среди наводнявших бараходку беженцев.

Потом Кедров стал носить ему квас на дом и там познакомился с его женой, подвижной словоохотливой Надеждой Васильевной.

Она никогда не отпускала Кедрова, не накормив.

Кедров не отказывался от угощения. Есть ему всегда хотелось. Он доиста опоражнивал тарелки, не отказывался от прибавки, ел с аппетитом и усиленно расхваливал кулинарные способности хлебосольной хозяйки.

Эта простота умиляла Надежду Васильевну, и она, сидя около Кедрова, наговаривала:

— Кушай, милый... Кушай на доброе здоровье. Люблю, когда люди не кобенятся, а попросту живут, по-нашему, по-русскому... Дай-кося, я тебе ещё подложу...

Оперившись, Кедров не забывал стариков и, правда, редко, но всё же к ним заглядывал. У них он так же, как у Степана Кузьмича, чувствовал себя особенно хорошо, как в родной семье. Просто и уютно у них было.

Однако здесь Кедров никогда не заводил разговора о своих противоречиях, как он это делал у Кузьмича. Не те люди — не поймут. Слишком прочно держались они за старое, отжившее.

Жили Поликарповы в своём доме, в Модягоу. Дом был выстроен на старинный купеческий лад. В первом этаже — жилые комнаты. Здесь помещались сами старики да их дочь с мужем и двумя ребятишками. На втором — кабинет самого Поликарпова да большой зал для приёма гостей. Не было только присущего стариным купеческим домам торгового лабаза под первым этажом. Магазин Поликарпова находился на Пристани.

Дом стоял в глубине двора. Над калиткой — дощечка с надписью: «злые собаки». Кедров дёрнул за ручку звонка. На крыльце вышла Надежда Васильевна и, прикрыв рукой глаза от солнца, крикнула:

— Кто там? Входите! Собаки на цепи.

Кедров вошёл во двор и, приподняв шляпу, поздоровался:

— Здравствуйте, Надежда Васильевна!

— А, Николай Георгиевич! — радостно заулыбалась Надежда Васильевна. — Проходи, проходи... Давненько не был, с самого рождества глаз не кажешь. Совсем нас, старииков, забывать стал. Кушать хочешь?

— Спасибо, откажусь. Только что позавтракал...

— Ну нет, отказываться нельзя, не годится это...

И Надежда Васильевна усадила Кедрова за стол.

— Грех отказываться,— говорила она, доставая из буфета тарелки. — Капустники у меня сегодня, великопостные. Хочешь, не хочешь, а скушай.

— Степан Трофимович дома? — спросил Кедров, принимаясь за капустник: умела их делать Надежда Васильевна!

— Сам? — переспросила хозяйка и, наклонившись к Кедрову, таинственно прошептала:

— На богомолье ушёл, в Иерусалим!..

Кедров от неожиданности едва не подавился пирогом.

— Как вы сказали? Куда ушёл?

— В Иерусалим этот самый, на богомолье.

— И давно ушёл?

— Сегодня утром. Часа три, как отправился.

— Так, так... — вздохнул Кедров. — Ну что ж... Трудно ему будет дойти. Далеко уж очень...

— Ничего... Дойдёт, если терпенья хватит,— проговорила Надежда Васильевна, наливая Кедрову третий стакан чаю.

— Нет, довольно,— взмолился Кедров. — Хоть убейте — больше не могу. Сами-то вы почему не кушаете? Зубы что ли болят? Правая щека у вас завязана. Да и глаз тоже...

— Зубы? — как-то смущилась Надежда Васильевна. — Ах, это... Ну, да... зубы... Разболелись, проклятые. И глаз от них... дёргает...

— Да,— машинально, принимая стакан с чаем, проговорил Кедров, — жаль, что нет Степана Трофимовича. Хотел я его повидать...

— А ты капустник-то, капустник ещё возьми,— приединула к нему блюдо с пирожками Надежда Васильевна... — А о Степане-то Трофимовиче не печалься. Вот будет у него скоро привал — и свидишься с ним...

— Но позвольте,— удивился Кедров. — Как его теперь догонять-то? Он с утра километров двенадцать наверное прошёл.

— Не бойсь, далеко не ушёл,— улыбнулась Надежда Васильевна. — Сколько сейчас время-то? Без пяти двенадцать? Ну, пошли к нему. У него в двенадцать привал.

— Сейчас, оденусь.

— Да не надо. Это здесь, недалёко.

И Надежда Васильевна повела окончательно сбитого с толку Кедрова на второй этаж.

Там, в зале, Кедрову представилась необычайная картина.

Зал был пуст. Вся мебель вынесена. А посредине, на полу, поджав под себя ноги, сидел Степан Трофимович и доставал из дорожного мешка осетровый балык, баночку с кетовой икрой, маринованные грибы, резал хлеб, раскладывал перед собой на бумаге солёные огурцы, пирожки с капустой. Из кармана стыдливо выглядывала бутылка с водкой.

— А, Коля! — увидев Кедрова, обрадовался Степан Трофимович. — Вот, друг, кстати... У меня как раз привал. Закусим вместе, выпьем... А, да, подожди... Я и забыл, что ты водочку-то не вкушаешь... Принеси-ка, мать, нам вишнёвочки...

Надежда Васильевна покачала головой, но вишнёвку всё-таки принесла.

— Степан Трофимович, — заговорил Кедров. — Объясните мне толком. Вы здесь пикником расположились, а Надежда Васильевна мне наговорила, что на богомолье ушли, в Иерусалим... Трудно было, конечно, этому поверить, но...

— Старуха права, — подтвердил Степан Трофимович. — На богомолье иду. И не ближе, как в Иерусалим.

— Ничего не понимаю, — замотал головой Кедров.

— Да ты выпей, друг, выпей. Тогда лучше понимать начнёшь. Мозги прояснятся...

Выпили. Степан Трофимович сразу же налил по второму стакану.

— Накуролесил я позавчера здорово, — начал рассказывать он, хрустя огурцом. — Сам-то я, признаюсь, ничего не помню. Утром уж мне про все мои художества рассказали.

— А, знаю, — перебил его Кедров, — в газете сегодня про это было. В «Иверии» вы дебош устроили. Посуду перебили, офицантку физиономию горчицей вымазали...

— Да неужто? — обрадованно удивился Степан Трофимович. — Здоро! Про этот случай мне не сказывали! В газете, говоришь, было? В какой?

— В «Заре».

— Ишь ты... Пронюхали репортёры... Дошлые. И... подходяще расписали? Со всей моей фамилией?

— Со всеми подробностями.

— Ты того... — подмигнул Степан Трофимович. — Ты мне эту газету принеси. Сохраню для интереса. Это мы, значит, от Свистунова туда закатились, не иначе. Знаешь Свистунова-то? Магазин у него на Китайской. До него-то кое-что помню. А вот у него так настыпался, что только утром очухался. Тут мне и порассказали... Видал, у старухи-то щека завязана?

— Зубы болят?

— Кой чёрт, зубы... Это я её... с левши. Я ведь левша... Как звезданул — глаз заплыл, и во всю щёку синячище — во! Но это ещё полбеды. Люди свои... Зятю полбороды выдral. Тоже левой схватил — тут уж верное дело. Но это тоже ничего... Помирились уж. А вот в бого родицу плонул... Это, брат, такой грех, такой грех. Тут без покаяния не обойтись. Вот я и решил сразу же, не медля, на богомолье собираться. Но куда, спрашивается? Здесь невозможно. Здесь попы, как узнают, что человек каяться пришёл — вмиг, как липку, обдерут. Вот и надумал я податься в Иерусалим. Погоди, не перебивай. Дай доскажу всё по порядку. Кличу я к себе Сашку, внучёнка, и спрашиваю:

— Есть, говорю, у тебя карта такая, чтобы на ней Харбин был и Иерусалим.

— У меня, говорит, нету, а купить можно.

— Валяй, говорю, покупай!

Дал ему трёшницу. И ведь нашёл парнишка, принёс.

Ну, а теперь, говорю, кажи мне, где тут Харбин, где Иерусалим. Показал. А смерить, говорю, можешь по этой карте сколь верстов от Харбина до Иерусалима?

— Могу!

— Мерь!

Взял он линейку, смерил.

— А вёрсты в сажени перевести можешь?

— Могу,

— Валяй!

А потом заставил его сажени в аршины перевести.

А там уж просто. Сам справлюсь — что ни шаг, то аршин. По-настоящему-то в Иерусалим идти — дело не бросишь. Приказчики-то — они, знаешь, какой народ... За ними не присматривай — без штанов по миру пустят.

А я тут дома. Вокруг зала хожу да шаги считаю. Да и с привалом способнее. Сколько времени?

— Час.

— Ну, я пошёл дальше. Может, вместе пойдём? Следующий привал у меня в три часа. Торопишься? Ну, тогда, прощай пока...

И Степан Трофимович, поправив за плечами мешок, зашагал вокруг зала.

Вернулся Степан Трофимович с богомолья скоро. Через несколько дней Кедров встретил его в ресторане Ощепкова.

— Виденье мне было: простила меня богородица, — хитро щуря глаза, говорил старик. — Только, говорит, не дерись больше... Ну, я и то... Старухе своей на платье купил, зато часы золотые подарил. С официантам потруднее было: в суд на меня хотел подавать. На полсотне помирись...

Если купец Поликарпов куролесил в пьяном виде, а затем испытывал какие-то признаки раскаяния и пытался как-то искупить свою вину, то бывший полковник Бородин куролесил трезвый и ни в чём не каялся.

Полковнику Бородину лет тридцать пять. Когда он стал полковником и был ли он вообще им — трудно сказать. Во всяком случае, когда он в двадцатом году появился в Харбине, ему было не больше двадцати пяти лет.

Впрочем, выпрека у него подчёркнуто военная, манеры барские, замашки — тоже.

Приехав в Харбин, «полковник» не пережил тех мытарств, с которыми встретились Кедров и многие ему подобные эмигранты.

Он снял комнату в доме вдовы одного железнодорожника и через месяц уже солидно говорил:

— Мы с Дусей... Наш дом...

Дуся имела свой доходный дом, получала за мужа, погибшего при крушении поезда, хорошую пенсию и переживала вторую молодость.

Поэтому она не разрешала Вите, так звали «полковника», не только работать, но даже ходить куда-либо без неё.

Вите скоро заскучал, но терпеливо продолжал сохранять к Дусе нежные чувства, нашивая себе костюмы и подкладывая деньги.

Через несколько лет, когда у него на книжке скопилось денег достаточно, чтобы не работая, прожить скромно

с год, он, приревновав Дусю к соседу, перевёз свои чемоданы в гостиницу.

Летом Бородин все дни проводил на пляже, купался, загорал и... присматривался.

Вниманье его привлекла одна молодящаяся дама. Она также почти каждый день бывала на пляже.

Бородин выяснил, что дама — разведённая жена одного крупного коммерсанта. Получая от неё согласие на развод, бывший муж обязался оплачивать её квартиру и, кроме того, выдавать ежемесячно крупную сумму денег.

Этих сведений было вполне достаточно, чтобы вскоре лонгшез Бородина очутился рядом с лонгшезом скучающей дамочки.

Незаметно они разговорились, и Бородин стал её верным пажем. Он учил её плавать, приносил ей мороженое, провожал с пляжа до лодки, затем в лодке до городского берега и дальше в такси — до дома в Модягоу.

Впрочем, особенной напористости со стороны Бородина и не требовалось. Даме, несмотря на её бальзацковский возраст, всё ещё хотелось жить, Бородин ей определённо нравился своей внешностью, манерами, — и перед закрытием пляжного сезона чемоданы «полковника» переехали в особняк на одной из улиц Модягоу.

В тридцатом году беззаботная жизнь Бородина закончилась. Коммерсант умер, приток денег у его бывшей жены прекратился. «Полковник» переехал в гостиницу и решил немного поработать — до новой улыбки судьбы.

Об этой улыбке он и говорил однажды Кедрову, когда они обедали вместе в новогороднем ресторане «Спорт».

— Жениться, батенька мой, надо с умом, — развивал свою мысль Бородин. — Связывая себя узами Гименея, вы снисходите до женщины с высоты своего мужского величия, и за это она должна вас компенсировать материально — обязательно...

— Но, Виктор Александрович, — пытался возражать Кедров, — неужели вы отрицаете любовь, не ищете в женщине верного друга, хорошего товарища?

— Любовь? — насмешливо говорил Бородин. — Она бывает только у аркадских пастушков. А в действительности — это мираж. Любовь вспыхивает и гаснет. А деньги всегда имели и будут иметь реальную ценность...

Бородин работал чертёжником в городской управе на Пристани, но завтракал, обедал и ужинал каждый день

в «Спорте». Здесь он — свой человек. Хозяйка «Спорта» Зинаида Ивановна изучила вкусы Виктора Александровича и каждый раз даёт указания на кухне готовить для него только его любимые блюда.

Бородин не только столулся здесь в кредит. Он даёт авторитетные советы Зинаиде Ивановне в её делах. Однажды как-то чертил проект дома, который строит Зинаида Ивановна, и раз даже выезжал, как консультант, на место постройки.

И всё это потому, что у Зинаиды Ивановны есть дочь Люба. Девушке уже двадцать шесть, возраст критический, а такой солидный человек, как Виктор Александрович, — чем же ей не пара?

Бородин знает эти тайные замыслы Зинаиды Ивановны и поэтому его совершенно не интересует — сколько же он, в конце концов, должен ресторану.

Однажды Бородин встретил Кедрова на улице и объявил:

— Поздравьте, женюсь!

— На Любे?

— На какой Любे?

— Ну, естественно, на какой. На дочери хозяйки «Спорта». У вас, по-моему, там дело налаживалось.

— Причём тут «Спорт» и Люба? На домовладелице женюсь. Правда, мордоворот сверхестественный. При встрече с ней грузовые автомобили от испуга пятиться начинают. Но в Чинхе у неё собственный двухквартирный дом, десять дойных коров, свиньи, куры, гуси, утки. К чёрту службу, займусь хозяйством. Пора иметь свой угол...

Вскоре назрел скандал. Зинаида Ивановна пронюхала про коварные замыслы Виктора Александровича и предъявила ему счёт — девятьсот пятьдесят долларов, на которые он у неё наел.

— Откуда я вам, почтеннейшая, возьму такие деньги, когда я всего на всего получаю сто долларов? — возмутился Бородин. — Вот, если угодно, по пятёрочке в месяц могу платить.

Зинаида Ивановна кинулась в технический отдел городской управы, где работал Бородин.

Начальник отдела китаец удивился:

— Что? Вы доверяете своим клиентам на такую большую сумму? Да вот я — если накучу в ресторане на пять-

десят долларов, в получку хозяин уже караулит меня около кабинета. Не выпустит, пока не заплачу. Извините, мадам, но ничем вам помочь не могу. Это дело частное, не служебное...

Кто-то подсказал Зинаиде Ивановне обратиться в арбитражный суд Беженского комитета.

— Алло, Николай Георгиевич, — позвонил Бородин Кедрову. — Хотите побывать на весёлом спектакле?

Кедров заинтересовался:

— На каком?

— Приходите завтра в четыре часа в Беженский комитет. На меня Зинаида Ивановна в арбитражный суд подала. Я ей там спектакль готовлю...

В арбитражном суде Бородин не отрицал своего долга:

— Совершенно правильно. Девятьсот пятьдесят долларов сорок центов.

— Значит, будете платить?

— Конечно, я не оспариваю своего долга.

— Он по пять долларов в месяц хочет платить. Я не согласна! — загорячилась Зинаида Ивановна.

— Не волнуйтесь, мадам, — успокоил её Бородин. — Я вам уплачу весь свой долг полностью.

— Вот и прекрасно, — удовлетворённо проговорил судья. Распишитесь, пожалуйста, здесь, господин Бородин.

— Да, но... Я уплачу только тогда, когда хозяйка ресторана заплатит мне свой долг.

— Какой долг?

— А вот, разрешите вас ознакомить: я составлял проект её дома, делал чертежи, выезжал для консультации. Итого, извольте взглянуть, тысяча пятьсот долларов. По государственным нормам. Когда она мне заплатит эти деньги, я немедленно, полностью отдаю ей свой долг.

— У вас нет никаких доказательств, — возмутилась Зинаида Ивановна. — Нет моей подписи. Это вы всё сами написали.

Однако, Бородина трудно было смутить. Спектакль он отрепетировал тщательно:

— Извините, мадам, но в вашей тетради тоже нет моей подписи, однако я не говорю, что в ней вы всё сами написали. Я порядочный человек и признаю свой долг. А вы отрицаете свой. Но у меня есть свидетели. Тогда прошу господина судью вызвать моих свидетелей.

Прибегать к этой мере не пришлось. Зинаида Ивановна отказалась от своих претензий к Бородину.

— Умный человек всегда живёт за счёт глупости окружающих его людей, — авторитетно говорил Бородин, когда они вышли из комитета.

Кедров молчал. Где он слышал нечто подобное?... Ах, да... Брокер Соколов. Тоже мошенник. Почему «тоже»?... Разве Бородин мошенник? А чёрт его разберёт! Во всяком случае — неприятный человек.

И когда Бородин предложил зайти в ресторан вспрыснуть удачное окончание дела, Кедров отказался.

Больше Кедров не встречал Бородина.

«Полковник» растворился в зловонном эмигрантском болоте среди многих, себе подобных.

## 32. КОТ ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТЬ!

Наступил роковой для Северной Маньчжурии 1931 год.

Первого января Кедров, вместе с репортёрами других газет, был в японском консульстве на новогоднем приёме.

Сильно подвыпивший секретарь консульства, с необычной для японцев откровенностью, провозгласил тост:

— За Великую Восточную Азию!

— Скоро, — говорил он, — все народы Восточной Азии будут объединены Японией в одну братскую семью. Япония установит контроль над Индией, Индонезией, над всем Китаем, Монгoliей... А затем...

Что будет «затем» японский дипломат не договорил: его взгляд упал на сотрудника советской газеты «Новости жизни», и он замялся.

— А затем, — поднимая бокал и деланно улыбаясь, заговорил он снова, — я прошу вас, господа, осушить бокалы до дна. За ваше уважаемое здоровье!..

Возможно, что секретарь японского консульства разоткровенничался не от излишне выпитого саке<sup>1</sup>, а просто потому, что не было больше смысла скрывать истинных намерений Японии в отношении стран Восточной Азии.

В 1931 году Япония начала экспансию Северной Маньчжурии. Этому акту предшествовал ряд провокаций,

<sup>1</sup> Саке — японское вино, приготовляемое из риса.

которые должны были оправдать «необходимость» для Японии ввода в Северную Маньчжурию своих вооружённых сил. Одной из таких провокаций было убийство в горах Хингана японского капитана Накамура. Вместе с ним харченами<sup>1</sup> были перебиты все члены его исследовательской партии. Создавая мировое общественное мнение, японские правители не щадили даже своих людей.

«Инцидент Накамура», как официально называлась эта японская провокация на Хингане, был раздут до огромных размеров и послужил одним из главных оправдательных поводов для последующего захвата Японией всей Северной Маньчжурии.

Надо было устраниТЬ лишь препятствие в лице правителя трёх Северо-восточных провинций — маршала Чжан Цзо-лина, который, заигрывая перед тем с японцами, понял, что доигрался, и начал договариваться с Пекином о противодействии японской агрессии.

4 июня японцы взорвали под Мукденом поезд марша-ла. Вместе с Чжан Цзо-лином взлетел в воздух цицикарский губернатор У Цзы-шень, сторонник национального объединения Китая.

Японцы упорно полезли на север, подавляя сопротивление китайцев вооружённой силой и совершенно игнорируя Лигу Наций, которая к тому времени уже начинала терять свой призрачный мировой авторитет. Создавшаяся в Маньчжурии обстановка ярко характеризовала остроумная карикатура на тему крыловской басни «Кот и повар», помещённая в газете «Новости жизни». На карикатуре японский военный в образе кота с аппетитом пожирает окорок, на котором написано «Маньчжурия». Повар — Лига Наций — грозит коту пальцем, но кота это мало смущает, он спокойно продолжает своё дело. Под карикатурой подпись:

«Кот Васька слушает да ест!..»

Осенью того же года управлением Южно-Маньчжурской железной дороги была создана в Харбине газета на русском языке «Харбинское Время».

Остальные русские газеты, эмигрантские, осторожно выжидали, во что выльются развёртывающиеся события. Издательства этих газет были предприятиями спекуля-

<sup>1</sup> Харчены — местное название тунгусского племени «корочёны», живущего на Хинганском хребте.

тивно коммерческими. А основной принцип спекуляции — попридержать товар, выждать, когда на него появится спрос, с тем, чтобы потом подороже его продать. Как и кому продать — не всё ли равно! Лишь бы подороже: деньги не пахнут!..

«Рупор», где работал Кедров, также пока что воздерживался от комментариев начавшейся японской экспансии в Маньчжурии.

Сам Кедров в это время делал литературное имя печатавшимися в «Рупоре» очерками «Бывшие люди». Героев этих очерков он находил в ночлежках, в китайских харчевнях, среди нищих на папертих церквей, за решёткой в полицейских участках... Это были люди, никчёмность которых, неумение жить своим собственным трудом скрывалась в былые времена под чиновничими мундирями, таилась в барских домах родовых поместьев усадеб, не была видна за толстой пачкой акций фабрик и заводов. Теперь эти люди судорожно барахтались в взбаламученном житейском море и... шли на дно.

Однажды, — это было в октябре 1931 года, — когда Кедров работал в редакции над одним из таких очерков, раздался телефонный звонок.

— Алло! — взял он трубку. — Кедров слушает. Кто?.. А, Вадим Петрович! Здравствуйте!..

Звонил известный в городе журналист Вадим Сыров. Он несколько лет работал в газете «Заря» и сейчас был приглашён управлением Южно-Маньчжурской железной дороги на пост редактора «Харбинского Времени».

Сыров приглашал Кедрова пообедать сегодня с ним у Гидуляна.

— Кстати, — говорил он, — у меня есть небольшое дельце. За обедом и поговорим. Соединим, так сказать, приятное с полезным.

У Гидуляна Кедров с Сыровым заняли столик на большой, остеклённой, залитой солнцем веранде. Подошёл метрдотель. Началось обсуждение меню обеда.

За обедом разговор шёл об обычных газетных делах, о последних новостях харбинского дня, и только, когда подали кофе, Сыров заговорил о деле.

— Я хочу предложить вам перейти работать в «Харбинское время», — сказал он Кедрову.

— Мне?..

— Ну да, вам. Видите ли, мне поручено подобрать

кадры сотрудников этой газеты. Вас по вашим статьям и очеркам я знаю как талантливого журналиста...

— Ну, насчёт «талантливого» — это уж слишком, — перебил его Кедров.

— Не будем спорить, Николай Георгиевич. Вы не красная девица, я не ваш поклонник, и поэтому осыпать вас комплиментами не собираюсь. Итак, как талантливого журналиста, мне бы очень хотелось видеть вас в редакции нашей газеты. Относительно заработка...

— Дело не в заработке, — перебил опять Кедров. — Дело в том, что ваше предложение застало меня врасплох. Я должен его обдумать.

— Да что тут думать? — убеждающим тоном заговорил Сыров. — Уж одно то, что эта газета будет совершенно независимая, должно привлекать настоящего журналиста. Вы понимаете — никаких рекламных рамок — это раз. А, во-вторых, газета не будет подведомственна китайской цензуре. Ну, так как? Согласны? Разопьём с вами ещё бутылочку портвейна и — по рукам?!

Однако, Кедров всё же настоятельно уклонился от ответа:

— Я должен обдумать.

Кедров несколько дней ломал себе голову над предложением Сырова. С одной стороны — ясно, что «Харбинское Время» как печатный орган, существующий на средства Южно-Маньчжурской железной дороги, будет газетой прояпонской. Но, с другой, — к тому идёт, что японцы неизбежно скоро распространят полностью своё влияние на Северную Маньчжурию, и тогда русские газеты так или иначе затанцуют под дудочку, может быть, той же ЮМЖД, может быть, японского консульства в Харбине или какого-нибудь другого японского органа. Кроме того, Сыров говорит, что эта газета независимая, рекламными рамками не стеснена. Это уже... заманчиво...

И когда, дня через три, Сыров позвонил, Кедров дал ему положительный ответ.

Сыров, как оказалось, был техническим редактором. Главным же и ответственным редактором «Харбинского Времени» был японец Оосава. С ним Кедров познакомился, когда оформлялся на свою новую работу.

Довольно высокого для японца роста, на вид лет сорока, а, может быть, сорока пяти. Оосава произвёл на Кедрова приятное впечатление своими манерами. Он хорошо

владел русским языком. Усадив Кедрова в кресло, Оосава заговорил:

— Я знаю, что вы офицер белой армии и боролись с большевиками. Такие люди — очень уважаемые люди. Кроме того, я знаю, что вы говорите по-японски и по-английски. Это очень ценно для нашей газеты. Я хорошо познакомился с вашими рассказами в газете «Рупор» о русских эмигрантах, которым сейчас очень тяжело жить. Наша газета имеет большой авторитет, и мы будем стараться помогать русским эмигрантам жить хорошо!..

— Оосава-сан<sup>1</sup> высоко культурный и разносторонне образованный человек, — говорил Кедрову Сыров, когда они выходили из квартиры главного редактора. — Вы увидите сами, как с ним легко работать.

Появившиеся на улицах Харбина первые номера новой газеты взбудоражили город. До сих пор ни одна газета никогда не рисковала так открыто и смело писать о самоуправстве китайских чиновников всех рангов.

Ни в одной газете Харбина не печатались до сих пор статьи о тёмных дельцах всех национальностей, которые ловили золотую рыбку в мутной воде харбинского общественного болота.

А одновременно с этим газета аккуратно сообщала харбинцам о продвижении японских войск на север, к Харбину, о радостной, восторженной (!?) встрече населением китайских городов и деревень... японских «освободителей».

Вынашивая свои затаёные планы, японцы взяли под свою опеку реакционную часть харбинской эмигрантской молодёжи и начали тайно помогать созданию русской фашистской партии. О существовании русских фашистов Кедров узнал, уже работая в «Харбинском времени», где он познакомился с журналистом Родзаевским, оказавшимся главой русских фашистов.

Болезненный неврастеник, склонный к холодному садизму, Родзаевский не мог спокойно говорить о большевиках, о Советском Союзе. И порой казалось удивительным, как столько злобы, ненависти могло вместиться в таком ещё молодом, нервно подёргивающемся худосочном человеке! Ходили слухи, что Родзаевский — бывший

---

<sup>1</sup> Сан — японское слово. По-русски значит „господин“. Ставится после фамилии.

Комсомолец, бежавший в Китай из Благовещенска, но точно ли это, Кедров не знал. Расспрашивать же самого Родзаевского о его прошлом было неудобно, да и не хотелось — слишком неприятное впечатление производил на Кедрова этот фашист.

Не лучше были и его соратники. Их Кедров увидел в охране «Харбинского Времени», когда японцы были уже на подступах к Харбину. Охранники,— их было человек двадцать,— держали себя вызывающе. Родзаевский подобрал их из мушкетёрской молодёжи, и только одному из них, начальнику охраны, было за тридцать. Его Кедров увидел, когда однажды заглянул в комнату, отведённую для охраны.

Начальник, играя маузером, поучал внимательно слушавшую его молодёжь:

— Стрелять, господа, надо в голову. Лучше всего — между глаз. Верное дело. Поверьте моему опыту...

Кедров узнал: Власов! Тот самый...

В городе стало тревожно.

Занятию японцами Харбина также предшествовал ряд провокаций: надо было создать декорум «необходимости» этого акта. В редакцию японской газеты «Харбин Ничи-Нichi» была брошена бомба. От её взрыва человеческих жертв не было,— все сотрудники газеты были своевременно предупреждены, и в комнате, где произошёл взрыв, никого не было. Другая бомба была брошена в помещение «Иокогама Спеши-банка». И тоже — без человеческих жертв! Но поводы для вооружённого занятия Харбина были созданы: китайские власти не в состоянии сохранять в городе порядок, жизнь японских резидентов в опасности,— нужна своя, японская, охрана!..

Японская дивизия генерала Тамона подходила к Харбину. Со стороны Гирина на Харбин наступал продавшийся японцам гиринский губернатор Ши-Ча. Китайские войска в Харбине организовывали оборону города.

Японские резиденты Харбина все перебрались на Участковую улицу, создав самооборону. На балконах «Харбинского Времени», около японских банков, около японской школы были установлены пулемёты.

27 января 1932 года,— Кедров хорошо запомнил этот день,— корейское общество проводило эвакуацию всех корейцев из Фудзядяна на Участковую улицу.

Кедров сел в один из автобусов, напятых корейским

обществом для этой цели: обстановка в Фудзядяне интересовала редакцию, и он решил воспользоваться удобным случаем эвакуации оттуда корейцев, чтобы объехать почти всю эту китайскую часть Харбина.

Корейцы жили в Фудзядяне разбросанно, и автобус долго колесил по его узким переулкам, пока не вышел, наконец, на Двадцатую улицу, где в него погрузилась ещё одна корейская семья.

Шофер стал разворачивать машину с тем, чтобы прямым ходом двинуться на Пристань.

В это время из переулка вышел небольшой отряд «серых». Они окружили автобус и, приказав всем корейцам и Кедрову выйти из машины, быстро связали всех за скрученные назад руки на одну верёвку.

— Цу!<sup>1</sup> — скомандовал один из «серых», по-видимому, старший, и всю эту связку людей «серые», подталкивая прикладами, загнали в соседний двор.

Всё это произошло так неожиданно и так быстро, что Кедров первое время ничего не мог понять, что же, в конце концов, случилось? Что будет дальше?

Хорошего, во всяком случае, ждать не приходилось, так как в выкриках «серых», подгонявших связанных, Кедров улавливал слово:

— Та!..<sup>2</sup>

Опасения Кедрова оправдались. Всю связку задержанных «серые» загнали в угол двора. Защёлкали затворы винтовок.

«Значит,— конец! — пронеслось в голове у Кедрова.— Как глупо и бессмысленно влип!»

Жить оставалось секунды, но страха не было. Его охватило какое-то отупение и почему-то думалось: если пуля попадёт в лоб, почтует ли он удар, или сознание потухнет раньше?..

В это время из фанзы<sup>3</sup> выбежал офицер и что-то закричал «серым». Кедров уловил смысл этих гортанных фраз:

— Всех надо доставить в штаб, ка допрос...

Отсрочка. Надолго ли?..

«Серые» опять, не жалея прикладов, погнали связку людей к автобусу.

<sup>1</sup> Цу! (по-китайски) — Иди!

<sup>2</sup> Та! (по-китайски) — Бей!

<sup>3</sup> Фанза (по-китайски) — Дом.

Кедров взглянул на корейцев. Их лица были землистыми.

Он криво усмехнулся: у него вид был, пожалуй, тоже... не лучше.

Остались позади улицы Фудзядяна, автобус миновал проспект Сюя, Новый Город, вышел на дорогу к бойне.

Смотря на уплывавшие назад улицы, Кедров думал, что всё-таки, кажется, он видит их в последний раз.

— О чём я буду говорить на допросе? О том, что я сотрудник «Харбинского Времени»?.. Не хватает ещё предъявить свою визитную карточку! Как хорошо, что я их изжевал, как только «серые» окружили автобус!..

Неожиданно мелькнула спасительная мысль. По счастливой случайности он оказался неподалёку от шофёра. Наклонившись к нему, Кедров прошептал:

— Допрашивать нас хотят. Я скажу, что твой помощник. Подтвердишь?

Шофёр кивнул в ответ, и Кедров повеселел. Было только холодно: пальто на груди распахнулось, а застегнуть его не было возможности — верёвка крепко стягивала руки за спиной.

Не доехая до бойни, автобус остановился около храма Тилюсы.

— Цу! Цу!.. — засуетились «серые», и вскоре Кедров и корейцы очутились в длинном каменном доме под черепичной крышей с вычурно изогнутым гребнем.

Их развязали.

«Для начала неплохо», — подумал Кедров, разминая отёкшие руки. Но тут настроение его снова упало, когда он увидел, что «серые» снимают с корейцев очки.

— Конец! — похолодел он. — Сейчас всех разденут, а потом...

Но «серые» совали очки в карманы корейцев, и Кедров услышал слова:

— На большого начальника смотреть через стёкла нельзя. Надо прямо смотреть...

Отлегло.

— Значит, надежда ещё есть. На допросе выяснится, что я русский, а русских китайцы не трогают. Главное надо взять себя в руки...

В небольшой комнате, куда ввели Кедрова, на кане, поджав под себя ноги, сидел толстый китаец. Около кана толпилось с десяток китайцев в куртках, опоясанных

кожаными патронташами. Некоторые из этих китайцев были с карабинами, другие с маузерами.

Конвойир подтолкнул Кедрова к толстому китайцу. Тот отрывисто что-то проговорил, и один из китайцев заговорил с Кедровым по-корейски.

Вспоминая все известные ему китайские слова, Кедров начал торопливо объяснять:

— Я не кореец... Понимаете? Я русский... Русский. Понимаете — русский. Надо переводчика... Я плохо говорю по-китайски...

Взять себя в руки не удалось. Кедров чувствовал, что по его спине змейтся озноб: — Не будут слушать, выведут в расход...

Толстый опять что-то выдохнул. Один из китайцев вышел из комнаты и вскоре вернулся с переводчиком.

— Ваша какой люди? — передал переводчик Кедрову вопрос толстого.

— Русский... Понимаете — русский, — опять торопливо заговорил Кедров. — Я уже говорил об этом. Почему меня связали?

— Ваша много говори не надо, — строго предупредил переводчик. — Начальник спроси — ваша говори. Сам говори не могу.

Кедров молчал.

— Лучше, действительно, много не разговаривать...

А переводчик тем временем опять переводил вопрос начальника.

— Ваша говори — ваша русский люди. Начальник понимай, твоя не врёшь. Начальник спроси: зачем ваша автобус сиди вместе с корейска люди?

Кедров начал взволнованно объяснять:

— Я работаю на этом автобусе помощником шофёра. А ваши солдаты, наверное, подумали, что я кореец...

Толстый засмеялся, и Кедров почувствовал, что тяжесть в его ногах начинает исчезать. К тому же, переводчик перевёл:

— Наша солдата мало-мало ошибайся. Ничего. Ваша не боися... Ваша сейчас могу автобус ходи...

И переводчик объяснил Кедрову, что он свободен, но уходить домой не может. Автобус остаётся при штабе.

Кедров вышел во двор и, остановившись около крыльца, жадно вдохнул морозный воздух:

— Уцелел! Пока, конечно, но всё же уцелел.

Несколько «серых», ругаясь, вытолкнули из дома двух раздетых корейцев. Хлестнули выстрелы, и корейцы повалились наземь. Оказалось, что при обыске у них нашли пистолеты.

Один из стрелявших подошёл к Кедрову и, указывая на расстрелянных, спросил:

— Хо?<sup>1</sup>

Кедров, оцепенев, смотрел на лежавших перед ним корейцев. Сказать пу-хо<sup>2</sup>, значит, — оказаться рядом с ними. И он выдавил:

— Хо!..

Больше никто из «серых» не обращал на Кедрова внимания. Он для вида потолкался около автобуса, постоял с шофером, а затем незаметно обошёл весь двор.

Каменные стены, окружавшие храмы, были невысокие, и это подавало Кедрову надежду уйти и, может быть, даже этой же ночью.

Оставшихся в живых корейцев «серые» заперли в одной из пристроек к храму.

Начинало смеркаться. За бойней послышались выстрелы. Затакал пулемёт. Ещё, ещё... В штабе засуетились... После Кедров узнал — это была завязка боя с подошедшими к Харбину передовыми отрядами гиринского губернатора генерала Ши-Ча.

Воспользовавшись поднявшейся в штабе суматохой, Кедров незаметно пробрался в задний конец двора, перескочил через кирпичную ограду и кочковатыми гаоляновыми полями вышел на шоссе. Был уже поздний вечер, когда он, наняв в Новом Городе машину, приехал в редакцию и сел за машинку писать для газеты обо всём пережитом им за день.

А ночью дома... Никогда до сих пор он не испытывал чувство такого страха, ужаса, как в эту ночь. Переживая снова, теперь уже сознательно, те короткие секунды, которые отделяли его от смерти, когда на толпу связанных корейцев, среди которых стоял и он, были направлены дула винтовок, — Кедров чувствовал, что волосы на его голове... шевелятся.

Утром он заметил на висках серебряные нити.

---

<sup>1</sup> Хо (по-китайски) — хорошо.

<sup>2</sup> Пу-хо (по-китайски) — плохо, нехорошо.

В чуть-чуть не ставший для Кедрова роковым день, наступление на Харбин гиринцев захлестнулось. После короткого боя они были отбиты и задержались около станции Ашихэ, ожидая подхода японцев.

На рассвете четвёртого февраля 1932 года к Харбину подошла бригада генерала Хасабэ — передовой отряд дивизии генерала Тамона, — а около полудня того же дня харбинцы увидели около собора разведывательные японские мотоциклеты: кот Васька окончательно доедал лакомый кусок, известный в географии под названием Северная Маньчжурия.

### 33. ЗОЛОТЫЕ СЛОВА НАСТАСЬИ ПЕТРОВНЫ

В начале лета того же года в Харбине появилась обследовательная комиссия Лиги Наций, возглавляемая чопорным англичанином лордом Литтоном. Японские жандармы бережно охраняли членов комиссии от харбинцев, среди которых некоторые ясно понимали истинное значение происходивших событий и могли рассказать гостям из Женевы много такого, о чём японцы старательно умалчивали.

Комиссия Лиги Наций пробыла в Харбине несколько недель и повезла в Женеву большой чемодан документов о былом, до 1932 года, бесправном положении населения Северной Маньчжурии. Этими документами и папками с вырезками из газеты «Харбинское время» снабдила комиссию японская военная миссия.

Какое решение по маньчжурскому вопросу вынесла Лига Наций, заслушав доклад своих представителей, Кедров не знал. Японское телеграфное агентство «Кокуцу», информацией которого питались харбинские газеты, об этом ничего не сообщало.

Но, как бы то ни было, японцы закреплялись на захваченной ими китайской земле, считая уже Северную Маньчжурию своей полуколонией.

После отъезда комиссии Лиги Наций независимость «Харбинского времени» кончилась. О том, как китайские феодалы и их сатрапы от малого до великого грабили население этой северо-восточной окраины Китая, надо было писать для посланцев из Женевы: японцы хотели хотя бы формально оправдать в глазах мирового общест-

венного мнения захват ими Северной Маньчжурии. Писать же о безобразиях, которые начинали творить японцы... Ясно, что этого хозяева «Харбинского Времени» допустить не могли. Ведь в Харбине были иностранные консульства, корреспонденты телеграфных агентств «ТАСС», «Рейтер», «Ассошиэйтед Пресс», «Юнайтед пресс». Подхваченные ими газетные сообщения о японских безобразиях в Маньчжурии могли оголить истинные хищнические намерения Японии.

Однажды в редакцию к Кедрову пришла большая группа эмигрантов. Все они месяца два назад были наняты японским подрядчиком работать на начавшейся постройке новой железной дороги, идущей от города Цицикара в сторону Амура. При найме был составлен и зарегистрирован в японском консульстве договор. Условия писались хорошие: высокая зарплата, снабжение, спецодежда, квартиры. На деле же — за два месяца рабочие не получили ни копейки. Всё, что им причиталось, былодержано подрядчиком за питание — гаоляновую кашу. Ни спецодеждой, ни квартирами рабочие обеспечены не были. Поскандалили с подрядчиком, бросили работу, кое-как, на площадках товарных вагонов добрались до Харбина, сунулись в японское консульство:

— Договор-то у вас зарегистрирован... Помогите.

Но в консульстве ответили:

— Японского генерального консульства такие вопросы не касаются. Если русские рабочие недовольны японским подрядчиком, они могут подать на него жалобу в китайский суд.

Подумали, погадали обманутые, беззащитные люди, — решили идти в редакцию «Харбинского Времени»:

— «Харбинское Время» поможет! Эта газета выведет подрядчика на чистую воду. Писала же она про китайцев...

Но «Харбинское Время» не помогло: подрядчик был не китаец.

Когда Кедров, ознакомившись с договором и выслушав рабочих, написал статью о мошенничестве подрядчика-эксплуататора, Сыров замахал на него руками:

— Что вы, Николай Георгиевич. Да за такую статью нас с вами завтра же погонят из редакции в три шеи. У меня есть строгое указание — о недоразумениях с японцами — ни слова!

Промолчало «Харбинское Время» и о другом вопиющем факте грабительских приёмов японцев. На восточной линии КВЖД была богатая лесная концессия, принадлежавшая крупному лесопромышленнику Ковальскому, который начал разработку этих таёжных мест чуть ли не с первых лет постройки дороги, поставляя лес на КВЖД и экспортируя его за границу..

Богатства этой лесной концессии не могли не привлечь внимания японцев, и они довольно прозрачно намекнули Ковальскому, что для пользы дела и его лично — ему следует взять в компаньоны японца, и даже предложили кандидатуру лесопромышленника Кондо.

Кондо быстро прибрал к рукам концессию Ковальского, сделавшись не позднее, чем через год, полноправным хозяином его багатых лесных угодий. Маньчжурский лес потёк в Японию.

Кедров около месяца работал над делом Кондо — Ковальского, но тщательно подобранный им материал о разорившем Ковальского мошеннике Кондо в печати не появился. Однако эта разоблачительная статья Кедрова была бы принята редакцией с радостью, если бы на месте Кондо был бы Ковальский, а на месте Ковальского — Кондо. Казавшееся в начале Кедрову и всем своим читателям газетой действительно независимой, «Харбинское Время» фактически было печатным органом, помогавшим японцам первое время в захвате ими Маньчжурии, а затем — в окончательном её порабощении.

Но не одно только «Харбинское Время». Все другие эмигрантские газеты, после захвата Харбина японскими войсками, отрешились от своей выживательной позиции и пошли на поводу у руководящих японских органов.

Единственно, чем «Харбинское Время» отличалось от других газет в городе,— это своей независимостью от китайской цензуры. Оно могло открыто и резко критиковать действия китайских властей, если, по мнению японцев, эти действия были несозвучны с новыми порядками.

...Сунгари прибывала.

Кедров по несколько раз в день звонил по телефону на водомерную будку и к вечеру делал для газеты сводки прибыли воды в реке.

Данные были угрожающими. Уровень реки настойчиво поднимался по пятнадцать—двадцать сантиметров в день. В верховьях Сунгари шли непрерывные ливни. Нонни —

большой приток Сунгари — вышел из берегов и затопил огромные районы. Илистые воды Сунгари часто проносили мимо Харбина обломки смытых водой китайских фанз и трупы утонувших при наводнении китайцев.

Под Харбином река упорно наступала на город, добираясь пока что к его левобережным пригородным посёлкам, и плескалась о завалины домов Затона.

Многочисленные мелкие ресторанчики на Солнечном острове (напротив Затона) стояли в воде. Не существовало на Солнечном острове и прекрасного яхт-клубного пляжа с его мелким золотистым песком — он был совершенно смыт.

Река наступала на город со всех сторон. Вода прорвавась в Чинхэ, залила механические мастерские и ринулась на Пристань. Прорвав заградительные валы, Сунгари до крыши затопила Затон.

На пристани остались незатопленными только нескользко кварталов, примыкавших к Новому Городу. Катера и лодки заменили собою автобусы и биржевые автомашины, поддерживая связь по затопленным улицам.

Кедров в эти дни не обедает. Некогда. Надо всё видеть, всё знать, побывать несколько раз в городском комитете по борьбе с наводнением. Город оказался совершенно неподготовленным к наступлению реки.

Возвращаясь в редакцию, Кедров, пережёвывая бутерброд, печатает на машинке только что принесённые новости.

Телефонный звонок. Кедров снимает трубку:

— Алло? Да, да, редакция. Что-о? Когда? Только что? Сейчас еду...

Чай не допит.

— Господа! Сейчас сообщили... В Фудзядяне прорвало дамбу. Город топит!..

Несколько сотрудников срываются с мест и вместе с Кедровым выбегают из редакции.

— Двинулись к железнодорожному мосту, оттуда виднее,— предлагает один из них.

По немногим незатопленным улицам добираются до железнодорожной насыпи и по ней идут к мосту. Оттуда открывается вид на весь левый берег реки. Собственно говоря, берега нет. Повсюду, куда только хватает глаз, до самого горизонта — водный простор. Сплошная водная гладь и на том месте, где когда-то был Солнечный остров —

— излюбленное место летнего отдыха харбинцев. В Затоне видны только крыши.

— Я был там вчера,— указывая на Затон, говорит Кедров.— На чердаках кое-где ещё живут...

— Живут, пока не унесёт вместе с домом,— говорит один из сотрудников.

— Господа, смотрите,— дом, дом несёт!..

По реке медленно плывёт надломленный пополам дом.

— Подождите, господа,— первичает Кедров,— как же нам быть с Фудзядяном. Надо как-то туда пробираться. Смотрите, что творится...

Метрах в пятистах ниже железнодорожного моста, река ломала береговую дамбу, быстро расширяя прорыв и разливаясь по Фудзядяну.

— Надо бы лодку...

— Где её здесь найдёшь..

— Стойте, стойте... Вон какой-то катер идёт... Кажется, комитетский...

— Действительно... Может быть, он нас прихватит...

— Конечно, комитетский! Кедров, ты в комитете по борьбе с наводнением бываешь, он в твоём ведении. Давай действуй...

— Да вон там даже кто-то русский сидит...

— Это полицейский надзиратель Яковлев,— взгляделся в катер Кедров.— Можно попробовать...

Сотрудники замахали катеру руками:

— Эй — на катере!.. Яковлев!.. Господин Яковлев!..

Катер подвернулся к мосту.

— Вы чего здесь, разбойники пера? — крикнул им с катера Яковлев.— Что вас сюда нелёгкая занесла?

— Вы куда, Павел Иванович?— вместо ответа спросил его Кедров.— В Фудзядян? Захватите нас с собой?

— Погружайтесь! Что с вами делать. С газетчиками надо ладить... Не выдержала дамба,— рассказывал Яковлев по дороге сотрудникам.— На честном слове была сделана. Строители наверняка на этом деле себе домов построили, а теперь люди гибнут. Смотрите, что делается!.. Мы больше сотни лодок и катеров сюда бросили. Но разве на такой муравейник хватит!..

По затопленным улицам, сплошной толпой, по пояс, по грудь в воде шли люди, неся на руках, на плечах детей и узлы с вещами. Вон китаянка с ребёнком на руках тянет за собой по воде ванну, в которой сидят ещё два

малыша. Молодой китаец, по грудь в воде тащит на спине старуху, наверное, мать. Ног старухи не видно — они в воде. Морщинистые руки её судорожно уцепились за шею сына... Лодки с людьми... Катера...

Всё это ищет спасения, если на незатопленном месте, то хотя бы на более мелком...

Эту ночь Кедров не спал. Около полуночи вода прорвалаась в Нахаловку и в течение каких-нибудь тридцати — сорока минут затопила этот пригород до крыш. Вода шла на Нахаловку валом. Но нахаловцы уже были готовы к возможности прорыва дамбы и своевременно частью переселились на чердаки, а частью перебрались в те районы города, которым не угрожало наводнение.

Из Нахаловки Кедров вернулся домой, когда уже взошло солнце. Короткий сон — два-три часа — и опять работа...

В городе был создан Комитет помощи пострадавшим от наводнения. Беженцев из затопленных районов Харбина размещали в Новом Городе — в школах, в огромном здании Политехнического института. Но помещения не хватало. В районе табачной фабрики Лопато строились кварталы временных бараков. Создавались питательные пункты, летучие медицинские отряды...

Представителем в этот Комитет от «Харбинского Времени» был назначен Кедров. Работы прибавилось вдвое... Однако, недосыпая, часто забывая про обед, он не чувствовал усталости. Живая, кипучая работа, подъём её — всё это удваивало силы. И только иногда Кедров думал:

«Почему в сутках двадцать четыре часа, а не больше? Разве можно успеть сделать всё за такое короткое время?...»

Вода стояла в городе уже месяц. Но вот, наконец, газеты радостно объявили:

— За истекшие сутки Сунгари убыла на один сантиметр.

Но эта радость омрачилась другой бедой — в городе вспыхнула эпидемия холеры.

Её очагами явились беженские бараки, где неблагоприятные бытовые условия способствовали возникновению эпидемии.

Холера распространялась по городу, принимая угрожающие размеры. Рядом с Новым кладбищем выросло другое — холерное, где увеличивавшееся с каждым днём

количество могильных холмов говорило о крупных размерах эпидемии.

Для борьбы с холерой были мобилизованы все русские врачи. Расширялись заразные бараки в городской и железнодорожной больницах. Русские школьники старших классов и студенты привлекались к работе в антихолерных отрядах. Городской Комитет по борьбе с наводнением взял на себя руководство и по борьбе с холерой.

Город стал походить на военный лагерь. Около беженских бараков, где обнаруживались вспышки холеры, стояли карантинные заставы. Однако, визитная карточка сотрудника «Харбинского Времени», заверенная печатью Комитета, служила для Кедрова пропуском на любых заставах, и он часто бывал в беженских бараках.

Всё видеть и всё знать — таков девиз газетного репортёра. И в беженских бараках Кедров действительно всё видел и всё знал. Видел и знал он, что бараки оборудованы скверно; с организацией питания, с медицинской помощью дело обстояло не лучше. Но теперь уже не так, как прежде в «Рупоре», он, пользуясь независимостью своей газеты от китайской цензуры, открыто обо всём писал, критиковал, требовал исправления недостатков и иногда добивался, что положение беженцев улучшалось.

В эти месяцы напряжённой работы Кедров несколько раз ночевал у Степана Кузьмича. Он ходил к слесарю отдохнуть, забыться, выспаться. Сделать этого дома он не имел возможности — даже ночью его могли каждую минуту вызвать в редакцию.

Слесарь был доволен этими частыми посещениями Кедрова.

— Скучно мне, браток! — говорил он Кедрову. — Настасья у меня хорошая, грех пожаловаться. Но разве с ней толком поговоришь? Баба! А, может, старею? Скоро ведь уж полсотни стукнет. И то, видно, стареть стал — за обедом больше стопки не могу выпить, душа не принимает.

Степан Кузьмич с интересом слушал рассказы Кедрова о его работе.

— Правильно! — говорил он. — Крой их, мать их расстак! Надо всё по закону поворачивать.

— Я так думаю, — вставляла своё слово слесарша, — что вся эта напасть от японцев свалилась. До них ничего такого не знали, а как они пришли, так и Сунгари сдуре-

ла, а потом холера эта самая навалилась. Они все несчастья для Харбина принесли...

— Ты, Настасья, при Кольке так не говори,— подразнивая Кедрова, говорил слесарь.— Он у нас с японцамишибко знакомый. Скоро кланяться по-японски научится, говорить по-японски будет.

Не обратив несколько раз на такую шутку слесаря внимания, Кедров однажды не выдержал:

— Ты вот что, Степан Кузьмич, брось... По-японски я говорю, и раньше говорил — учился когда-то, а вот насчёт кланяться — учи, спину ни перед кем не гнул и не собираюсь гнуть. Не в характере...

— Ишь ты! — смеялся слесарь. — Запузырился. Да ведь всё это шутейно, сучий ты сын! И не гни спину. Ни к чему это. Ходи всегда прямо и голову выше держи. А меня всё-таки послушайся: с япошками если ещё не якашешься, так и не якшайся. Настасья хоть и баба, а всё же золотые слова говорит. Хорошего от япошек не видно, да и не увидим. Они свою линию гнут, а ты до поры до времени помалкивай, а линию гни свою!..

В августе прекратилась холера, а в половине сентября вошла в свои берега Сунгари, но город долго не мог изжить последствий наводнения — слишком много бед причинила ему разбушевавшаяся река.

### 34. ПРЕДАТЕЛИ И ПАТРИОТЫ

С окончанием наводнения и холеры редакционная работа вошла в нормальную колею, и Кедров выбрал, наконец, время повидать старых друзей.

Начался осенний сезон бегов и скачек, и Кедров в один из воскресных дней отправился на ипподром.

Сумрачный вид ротмистра заставил его встревожиться.

— Что у тебя, Анатолий? Неприятности на работе?

Павлищев пожал плечами:

— Да нет... Здесь всё в порядке. А вообще-то — радоваться нечему.

После скачек он повёл Кедрова к себе.

За ужином Павлищев много пил.

— Удивляешься? — криво усмехаясь, щурял он на Кедрова глаза.— От большой злости, друг, пью... Но не бойся, не сопьюсь. Такая зарядка у меня не каждый день. Раз

в неделю, не чаще. Когда уж накипит очень. Хуже всего, что не пьянею. А хотелось бы. Чтобы не видеть и не слышать всей этой пакости.

— То-есть, Анатолий... Я пока что не совсем тебя понимаю...

— Не понимаешь? А ты слепой что ли, не видишь, что творится? Твоё здоровье!

Ротмистр опрокинул в рот большую стопку водки и, закусив маринованным грибом, продолжал:

— Мне стыдно за наших русских, понимаешь. Стыдно. Готовы лизать японцам все места, какие только можно достать языком. Мне тут как-то одни умники доказывали, что японцы-де любят и уважают русскую эмиграцию и, покончив в Маньчжурии, помогут эмигрантам вернуться на родину. А для этого, мол, мы теперь должны помогать японцам. Видел?.. Эх, Николай, ты вот умный человек — подумай-ка? Мы нужны им только для того, чтобы таскать для них каштаны из огня. Кажется, есть такая японская пословица. По-русски она звучит — чужими руками жар загребать. А вот Россия им нужна. Вернее — не Россия, а земля наша русская, всё что в ней и на ней находится. Так для этого, значит, мы должны для них стараться?.. Я, брат, старый русский офицер. Пусть за это меня Россия выкинула к чёртовой матери, но всё равно, её я не продам и не предам... Ты ещё не выпьешь? Тогда я один, ещё стопенцию... Будь здоров!

Кедров слушал Павлищева молча, пуская густые клубы табачного дыма. Ведь и его, Кедрова, тоже можно было, пожалуй, назвать японским прислужником. Хозяева-то «Харбинского Времени» — японцы. Как бы он ни упирался, но всё же воду-то он льёт на японскую мельницу. Уйти?.. Но... куда? Кедров весь сжался, как бы ожидая удара: вот-вот сейчас Анатолий заговорит о нём...

Но Павлищев заговорил о другом:

— Эх! — стукнул он кулаком по столу. — Если бы мне сейчас мой старый гусарский эскадрон. Я бы так раскатал этих наших лизоблюдов!.. Жаль, что в двадцать девятом году советские шли, да не дошли сюда...

Расставшись с ротмистром часов около десяти вечера, Кедров не поехал домой. Не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Вспомнил — сегодня в Железнодорожном собрании идёт «Кармен». Это было кстати.

Во-первых, музыка дает возможность забыться, а во вторых,— удобный случай повидать «братьев Аяков».

Выйдя на угол Церковной и Гоголевской, он взял машину:

— В Желсб. Целковый!

Когда Кедров входил в ложу для прессы, шёл второй акт.

В ложе сидело несколько театральных рецензентов. Поздоровавшись с ними, Кедров больше не обращал на них внимания.

Перед последним актом он нашёл за кулисами «братьев Аяков».

— Пустите почевать, хлопцы? Заскучал я один. А после спектакля поужинаем вместе. Хотите?

В ресторане Желсбова друзья заняли столик в углу, подальше от публики.

«Аяксы» наперебой оживлённо рассказывали о своей работе, о планах на будущее.

— Ты видел, Коля, декорацию в первом акте? Опоздал? Эх, ты! Много потерял. Чудесная декорация.

— А ты спроси, как мы её писали! Набедокурил Женя здорово.

— Подожди, Павлик, не перебивай. Тут, Коля, замечательная история получилась...

— Женя всю декорацию краской залил!

— Вечно ты, Павлик, вперёд забегаешь. Вперёд батюки в пекло не суйся! Понимаешь, Коля, как получилось. В прошлом году приехал к нам новый главный художник-декоратор. Командировали его из Советской России. Александр Евгеньевич Семёнов...

— Душа человек...

— Человек чудесный. Декорацию первого акта мы закончили дня три назад. На ней, надо тебе сказать, почти две трети — небо. Яркая, солнечная лазурь. Ну, понимаешь, — испанское небо. Распласталась эта декорация на полу. Александр Евгеньевич и говорит мне — не в службу, а в дружбу, говорит, сходи в ресторан, скажи чтобы нам всем сюда обед принесли. А то, пока умоемся, переоденемся, — сколько времени потеряем. А сам куда-то вышел. Кинулся я в ресторан, а по пути, смотрю, около декорации краска в ведёрке стоит, бакан называется.

— Ярко-красная такая, как кровь.

— Ага. Схватил я ведёрко и через всю декорацию пру

его в дальний угол. И вот на средние декорации как-то  
лыскользнуло у меня ведёрко из рук.

— И залил Женя всю небесную лазурь этим баканом

— А краска, Коля, такая, что её зубами не выгрызешь и ничем не закрасишь — всё равно пятна будут. Меня — в холодный пот. Но всё же за обедом сбегал. Накрыл нам официант на каком-то ящике. Пришёл Александр Евгеньевич. Я кручусь перед декорацией, как берёста на огне, пытаюсь загородить... Но разве закроешь! Александр Евгеньевич вроде как ничего не замечает и кричит китайцу рабочему на сцене: Чжан, сворачивай эту декорацию склеивай бумагу на такой же размер. Пока мы пообедали, покурили...

— Отдохнули немного...

— Отдохнули... А в это время китаец уже подготовил бумагу. Ну, а теперь, ребятки, за работу, говорит Александр Евгеньевич... И — взялись...

— День и ночь!

— Ага. Без отдыха работали. Я ещё никогда так усердно не работал. Ни одного перекура. А когда кончили, подошёл я к Александру Евгеньевичу и говорю: что же вы меня не ругаете за испорченную декорацию? И ты знаешь, что он мне на это ответил?

— Предполагаю, — засмеялся Кедров. — Примерно так: ругать тебя мало, бить надо.

— Не угадал. Я, говорит, хотел, чтобы ты сам свою вину почувствовал. И по твоей работе видел, что оплошность свою ты осознал. Видел — какие люди... там? А? Что ты на это скажешь?

— Другие люди там, — неопределённо произнёс Кедров.

— Другие, — уверенно подтвердил Павлик. — Совсем другие. Мы с Женей ждём не дождёмся, когда нам представится возможность уехать домой.

— Решили ехать при первом же представившемся случае, — подтвердил Женя. — Ты знаешь, Коля, мне душно здесь. Тянет на наши русские поля. Иной раз мне даже кажется, что я чувствую запах луговой полыни, слышу, как пахнет скошенным сеном...

— А я больше люблю лес, — поддаваясь настроению Жени, заговорил Кедров. — Помню, было мне лет пятнадцать... Подарил мне отец двухстволку... У приятеля тоже ружьё было. И вот летом спускались мы в лодке по Енисею, километров десять. И — в лес, на правом берегу.

Охотимся... Надоест—выходим к реке, рыбачим, купаемся.. Река-то какая чудесная! Хотя, пожалуй, «чудесная» для Енисея не подходит. Могучая река. Недели по три так бродяжничали. Какая там природа, братцы! Красота!.. Только вот мошки да комаров много. Без дымокура невозможно. Но и то — сидишь в такой глухомани около костра, дым глаза ест, а душа всё же поёт. Хорошо, привольно!

— Эх, какие бы я там картины писал,— мечтательно проговорил Женя, помешивая ложечкой кофе в чашке.

— Ну, а ты как живёшь, Коля?— нарушил Павлик наступившее молчание.

— В самом деле,— взглянул на Кедрова Женя,— ты ведь у нас около двух лет не был. Забывать стал старых друзей.

Кедров запротестовал:

— Ну, это ты, Женя, напрасно. Просто закрутился. Кручусь, как белка в колесе, с утра до утра.

Затем, проведя рукой по волосам и как бы подбиравая подходящие слова, с деланой шуткой добавил:

— Такова уж наша рефортёрская участь: переливаем из пустого в порожнее. Как это говорится: «Шумим, братцы, шумим!»..

— Да.. — отозвался Женя,— шума сейчас много. Японцы лезут, можно сказать, во все щели...

Японцы, действительно, лезли. Лезли настойчиво, упорно. Захватив Северную Маньчжурию, они сразу же стали пускать глубокие корни в плодородную землю этой своей новой полуколонии.

Развивая дальше свои хищнические планы, японцы использовали настроения реакционной части русской харбинской эмигрантской молодёжи и стали оказывать широкую поддержку русским фашистам.

Опираясь на японскую военную миссию, которая теперь являлась фактически полноправной руководящей властью в городе, фашисты всплыли на поверхность эмигрантского болота и сделались послушным орудием в руках новых правителей.

Деньги на развитие своей организации фашисты изыскивали, не брезгую никакими средствами.

Однажды владелец гастрономического магазина Тарасенко получил письмо.

«Предлагается вам,— говорилось в письме,— немед-

ленно прекратить торговлю советскими винами и советскими гастрономическими изделиями. Если же вы всё-таки намерены продолжать эту торговлю, то должны внести в фонд «боевой группы борьбы с большевиками» сорок тысяч иен. В случае отказа выполнить одно из этих требований, вы будете убиты».

Тарасенко был связан с Торгпредством СССР в Харбине договором о торговле советскими винами и гастрономическими товарами, на которые, как на первосортные, был большой спрос.

Человек не робкий, в прошлом участник героической обороны Порт-Артура, Тарасенко не обратил внимания на это вымогательское письмо.

Через несколько дней он получил второе письмо. Более решительное.

«Даём срок три дня,— прочитал он.— К вам придёт человек с белой хризантемой в петлице пиджака, и вы передадите ему сорок тысяч. Ещё раз предупреждаем: за невыполнение требования — смерть. Точно также вы будете убиты, если заявите в полицию».

Тарасенко порвал и это письмо.

Прошла неделя. Возвращаясь вечером после закрытия магазина домой на Пекарную улицу, Тарасенко заметил три приближавшиеся к нему фигуры.

— Стой! — крикнула ему одна из фиагур. — Руки вверх!

Тарасенко ударом кулака сбил одного из нападавших с ног. Двое других отскочили в сторону. Раздался выстрел, и Тарасенко упал.

— Готов! — пнул его ногой один из бандитов.— Взвалить на машину и выкинуть за городом...

— Да нет, кажется, дышит,— наклонился над Тарасенко другой.— Живой гад! Ташите его в машину, отдохнется, заплатит...

Бандиты втащили Тарасенко в поджидавшую их неподалёку машину и заткнули рот тряпкой.

Очиувшись, Тарасенко старался понять — куда же его везут. Машина долго колесила по городу. Дорога стала ухабистой. По-видимому, выехали куда-то за город.

Наконец, подпрыгнув ещё несколько раз на ухабах, машина остановилась.

Тарасенко завязали глаза и, вытолкнув из машины, взяли под руки, повели. Пахнуло теплом. Значит, завели

в помещение. Остановились. Через некоторое время Тарасенко от удара в спину куда-то полетел. Над головой что-то хлопнуло — и всё стихло.

Тарасенко сорвал с глаз повязку. Темно. Пошарив кругом руками, он определил:

— В какую-то яму засадили...

Нестерпимо ныло правое плечо, Нащупал рану. Выходного отверстия не было. Пуля, вероятно, застряла в ключице. Разорвал рубашку, перевязал рану.

От потери крови он ослаб и забылся тяжёлым сном.

— Эй, вставай! — разбудил его окрик.

Тарасенко открыл глаза и сразу же их зажмурил — слепил яркий свет, лившийся из широкого люка над головой.

— Вставай, говорю, — повторился окрик. — Или совсем подож?

Тарасенко поднялся на ноги. Двое людей в чёрных масках помогли ему выбраться из ямы.

В небольшой комнате за столом сидели ещё трое — тоже в масках.

— Ну что, — заговорил изменённым голосом один из них. — Будешь теперь упираться? Если не заплатишь сорок тысяч, прикончим тебя здесь — и крышка. Понял?

Тарасенко кивнул головой:

— Понял.

— А понял, так пиши сейчас письмо своему управляющему, чтобы он выдал деньги, — заговорил тот же бандит, забыв на этот раз изменить голос.

Тарасенко вздрогнул от неожиданности:

Не может быть! Мартынов, помощник начальника уголовного розыска... Его постоянный покупатель... Ну, да... Конечно, он... Такая же комплекция... И вон на правом мизинце точно такой же уродливый ноготь...

— Что думаешь? — усмехнулся Мартынов. — Не бойся. Заплатишь деньги — живой домой вернёшься. Садись, пиши...

Делать было нечего. Тарасенко сел за стол и написал своему управляющему письмо с просьбой как можно скорее собрать деньги и выплатить их тому же человеку, который придёт к нему с этим письмом.

Прошло несколько дней. Тарасенко сидел в яме. Кормили его хлебом и водой. Как в огне горело раненое плечо. Рана гноилась.

Наконец, опять оклик:

— Вставай!..

Вытащили из ямы, завязали глаза, куда-то повели. За спиной хлопнула дверь. Ноги почувствовали мёрзлую землю.

— Деньги твой управляющий заплатил, — говорил ему в машине знакомый голос Мартынова. — Сейчас пойдешь домой. Выйдешь из машины — не оглядывайся. Возьми вот доллар на извозчика...

Тарасенко вышел из машины около железнодорожного переезда с Пристани в Нахаловку. Наняв извозчика, добрался домой и вызвал врача — гноившаяся рана требовала срочного вмешательства хирурга...

Человек в маске, разговаривавший с Тарасенко, был действительно Мартынов, помощник начальника уголовного розыска харбинской полиции. Он был фашистом. Кроме него за столом сидели в масках начальник боевой группы фашистов Мысоцкий и казначей фашистской партии Васильев.

Тарасенко был не единственной жертвой русских фашистов. Вскоре эти бандиты увезли сына коммерсанта Шереля. Родители торговались с ними около месяца, но, получив в виде последнего предупреждения пол-уха своего сына, были принуждены сдаться, уплатив тридцать тысяч иен.

Большой сенсацией в городе было похищение сына известного крупного коммерсанта и домовладельца Каспе.

Юношу схватили днём, на Китайской улице, и... домой он больше не вернулся.

Получив письмо с требованием выкупа, родители обратились за помощью в уголовный розыск, начальник которого поручил это дело своему помощнику... Мартынову!

Надежды на выкуп не оправдывались, и бандит, пристрелив юношу, «нашёл» и вернул родителям его труп.

Фашисты деятельно добывали деньги для развертывания своей работы: в этот год увозы с целью получения выкупа, вооружённые налёты, грабежи сделались в Харбине обычным явлением.

Кедров, который в это время заведывал уголовным отделом, — так на харбинском газетчом жаргоне назывался отдел происшествий — сбивался с ног.

Читатели, а следовательно, и редактор требовали мельчайших подробностей всех происшествий.

Налаженные дружеские отношения с полицейскими всех полицейских участков позволяли Кедрову приезжать на место происшествия обычно раньше уголовного розыска — о случившемся преступлении ему немедленно сообщали из участков по телефону.

Он деловидно входил в дом, здоровался с находившимися уже там полицейскими и, развернув свой блокнот, отрывисто спрашивал у пострадавших:

— Ну, что тут у вас? Рассказывайте подробнее. Только поскорее...

Он фотографировал место происшествия. Если было убийство — объектив его фотоаппарата захватывал труп убитого. И затем Кедров, не спеша, выясняя более мелкие детали, спокойно ждал приезда агентов розыска. Их расследование могло теперь только несколько пополнить материал, уже собранный Кедровым.

Уголовно-преступная деятельность фашистов, создав их партийную кассу, позволила им организовать свою газету и открыть в городе несколько клубов.

Дальнейшее существование этой фашистской газеты было основано, по примеру других харбинских газет, на рекламе и шантаже. Только здесь этот шантаж осуществлялся более грубо, более цинично.

К отказавшему в рекламе коммерсанту приходил фашист и заявлял:

— Не хотите поддержать нашу газету? Ну что ж, как угодно. Пеняйте на себя. Мы проведём бойкот вашей фирмы.

В газете начинались печататься статьи с призывом к бойкоту данной фирмы, как антирусской. Мало того, у входа в этот магазин устанавливалось дежурство из нескольких фашистов, которые не пропускали в него покупателей. И — коммерсант сдавался, откупаясь постоянной рекламой.

Полиция была бессильна бороться с таким хулиганством, так как фашисты опирались на японскую военную миссию. Из их рядов миссия комплектовала, обучала кадры диверсантов, засылаемых ею в Советский Союз. Из фашистов же, главным образом, организовывались полицейские охранные отряды для борьбы с китайскими партизанами.

Об этих китайских патриотах Кедров знал мало, но работу их видел. Это было тогда, когда он выезжал на

разъезд Чингауз, неподалёку от Харбина, где китайскими партизанами был взорван большой японский эшелон с людьми и боеприпасами.

Работа была чистая. Под откосом, вверх колёсами, лежал паровоз. Больше двадцати вагонов было разбито в щепки. Подошедший санитарный поезд был битком набит убитыми и ранеными японскими солдатами. Три огромные воронки от взрыва заложенных мин на несколько десятков метров разворотили железнодорожное полотно.

С восточной линии часто доходили до Харбина сведений о такой же, не менее чистой, работе китайских партизан: один за одним взлетали на воздух и валились под откос японские эшелоны. Китайские патриоты боролись с захватчиками за свою независимость. Вековая тайга восточной линии берегла китайских партизан от японских карательных и русских фашистских охранно-полицейских отрядов.

Русские фашисты и китайские партизаны... С одной стороны, продавшиеся японцам предатели своей и чужой родины. С другой — верные своей стране патриоты, борющиеся с оружием в руках с поработителями.

Кедрова такие контрасты теперь не удивляли и не вызывали у него, как прежде, никаких мучительных вопросов.

Ведя, как подсказывал Степан Кузьмич, свою линию, — он брезгливо сторонился от фашистов и, преклоняясь перед геройством китайских партизан, всегда с особенным восхищением описывал в газете все до мелочей подробности очередного взрыва или спуска под откос японского эшелона, с удовлетворением суммируя количество жертв.

Придраться к такой заметке было невозможно — хороший репортёр должен знать и писать все подробности.

### 35. ТАМ — РОССИЯ!

Нома у Кедруса на письменном столе под стеклом лежала открытка. На открытке — железнодорожный мост через Сунгари. Сквозь ажурный переплёт мостовых ферм видна широкая, прямая, уходившая на север лента Сунгари, упирающаяся в горизонт. На открытке короткая надпись:

«Там — Россия!»

Около полуночи в комнате Кедрова вспыхивала электрическая лампочка: возвращаясь из редакции, он, прежде чем лечь спать, разрешал себе посидеть час-другой над книгой.

Однако, нередко раскрытая книга переставала шелестеть страницами, а Кедров, подперев голову рукой и перебирая пальцами тронутые ранней сединой густые волосы, задумчиво смотрел на открытку с сунгарийским мостом.

— Там — Россия... Но — какая она теперь, его Россия?.. «Аяксов» тянет к себе русская природа. Они каждый раз мечтательно говорят о берёзовых рощах, о полях, о пряном запахе луговой полыни. Всё это там так и осталось, как было. А вот — жизнь... Она, безусловно, изменилась. Да... Конечно, жизнь стала другая... Но — какая?..

Как живут люди в Советском Союзе — Кедров знал лучше, чем все эмигранты, вместе взятые. Кроме японского генерального консульства, военной миссии и управления Южно-Маньчжурской железной дороги, редакция «Харбинского Времени» была единственным учреждением в городе, которое получало все центральные советские газеты и журналы, и Кедров использовал на работе каждую свободную минуту, чтобы заняться их чтением.

Назначение советской печати было в «Харбинском Времени» своеобразным. В редакции существовал специальный отдел «По страницам советских газет». Сотрудник, ведающий этим отделом, подбирал в них критические статьи и заметки, делал выборки и, подтасовывая факты, подносил их читателю в таком виде, что у того создавалось извращённое понятие о советской действительности.

- «Крах лесной промышленности!..»
- «Развал транспорта!..»
- «Крах одного...»
- «Крах другого...»
- «Развал третьего...»
- «Пятого...»
- «Десятого...»

Если бы собрать все эти крахи в одно целое, то можно было бы с уверенностью сказать:

— От Советского Союза давно уже ничего не осталось.

Особенно охотно «Харбинское Время» использовало для такой «информации» «Крокодил».

— «Сами большевики, — писала газета, перепечатывая заметки и сатирические рассказы из «Крокодила», — признают... они расписываются в своей несостоятельности управлять страной...» «Вот какие они, советские люди!.. Вот он — советский быт, каков он есть в действительности!»

Другие харбинские газеты тоже писали о Советской России не иначе как:

— «Русский народ скоро восстанет против большевиков, советская власть (здесь подчёркивалось — ненавистная народу власть) будет свергнута, и эмигранты победителями вернутся на родину».

Обыватель, таким образом, знал о Советской России только то, что подносилось ему эмигрантскими газетами. Иначе говоря — ничего не знал.

Кедрова трудно было в чём-нибудь убедить этой газетной «ст्रяпней». На редакционных совещаниях он каждый раз слышал, о чём твердил главный редактор, ставленник военной миссии. Танака-сан, недавно сменивший на этом посту Оосаву; видел, как заведующий отделом «По страницам советских газет» с ножницами в руках старательно трудится над советскими газетами, подбирая материал, угодный тому же Танаке-сан. В «ненавистную для народа власть» Кедров тоже не верил. За ненавистную власть народ не дрался бы в гражданскую войну, не работал бы на таких стройках, как Днепрогэс, Волховстрой, Беломорканал, не закончил бы досрочно первую пятилетку, не боролся бы за досрочное окончание второй. Да и вообще, если бы Советская власть была для народа ненавистна, он расправился бы с ней так же, как восемнадцать лет назад с царской...

Поэтому, когда однажды Сыров, увидев его за чтением советских газет, шутливо спросил — «Разлагаетесь?» — Кедров хотел ответить:

— Наоборот, Вадим Петрович, страхуюсь от разложения!

Но удержался и сказал:

— Нет, просто интересуюсь... Как там у них.

— Неважно, неважно! — авторитетно проговорил Сыров.— Летят в пропасть!

Этот мимолётный разговор с Сыровым вставал в

памяти Кедрова всякий раз, когда его взгляд падал на открытку «Там — Россия!». Кедров вспоминал, как он тогда вспыхнул от сырковской «пропасти». В нём закипало смешанное чувство обиды за Россию и гадливости к этому высокому, упитанному человеку в роговых очках. Чтобы скрыть от Сырова своё настроение, он закрылся газетой, проглотив готовый вырваться резкий ответ.

Но всё же в этихочных раздумьях Кедрова было нечто такое, мучительно ещё непонятное, что заставляло его не замечать, как летело время. И только, когда в комнате квартирных хозяев стенные часы мелодично били три раза, он спохватывался, что всё-таки спать человеку, хотя бы по несколько часов в сутки, необходимо.

Иногда наиболее интересные газеты Кедров возил ротмистру.

Павлищев с жадностью вчитывался в газетные колонки, прерывая в наиболее интересных местах чтения репликами:

— Крепко взялись... Размахи-то какие, чувствуешь?.. Встаёт на ноги матушка Россия...

Закончив чтение, он хлопал по газете рукой и восторженно говорил:

— Видал, Николай, как крепко завернули? А мы с тобой киснем здесь... Загниваем... Скоро от нас с тобой такая вонь пойдёт — не продохнёшь!.. Эх!..

И ротмистр, достав из буфета графин с водкой, наливал стопку:

— Выпьешь? Нет? Тогда я один.

Опрокинув в рот стопку, он закусывал солёным огурцом или бутербродом с ветчиной, — что первое попадало под руку, — и, вытирая усы, говорил:

— Расстраиваешь ты меня со своими газетами. Этак я, пожалуй, действительно сопьюсь. Но это будет уже твоя вина.

Однажды Кедров заговорил с Павлищевым о своих сомнениях.

— Понимаешь, Анатолий, — путаясь в мыслях, сбивчиво говорил он, — годы эмиграции для многих не прошли даром. Я знаю в Харбине не мало людей, самых разношёрстных. Вижу — многие сделали переоценку ценностей. Колчака до сих пор здесь всё ещё называют «рыцарем белой мечты». Но, Анатолий, мы теперь хорошо

знаем, что такое эта «белая мечта». Блеск, мираж. Насчет «рыцарства» адмирала тоже можно долго и упорно спорить. Ты, конечно, читал книгу профессора Гинса «Сибирь, союзники, Колчак». Как бы ни старался профессор затушевывать в ней истинное положение, а все же местами проговаривается. Колчак в действительности был ставленником Антанты, её наймитом. Как это тебе нравится?

— Сволочь! — коротко резюмировал ротмистр, доставая папиросу.

Прикурив сигарету от зажжённой ротмистром спички, Кедров продолжал:

— Я иногда боюсь за себя. Трясёт всего, когда слышу, как кто-нибудь начинает говорить пакости про Россию. Вот недавно случай с Сыровым...

И Кедров рассказал ротмистру о «пропасти».

— Хотел я ему сказать: «вам, мол, только этого и надо, японский вы лизоблюд». Да вовремя удержался. А у самого так рука и чесалась — смазать бы ему по жирной морде. Тянет меня, Анатолий, домой. Хватит, набегался. Ты прав, голову не снимут. Видел у меня открытку «Там — Россия»? Когда смотрю на неё — сердце сжимается. До боли. Порой до галлюцинации дохожу. Вижу русские сёла, русский говор слышу. Но... поехать туда...

Кедров замолчал.

— Но поехать туда? — подсказал Павлищев.

— Видишь ли, Анатолий, как бы тебе сказать... — замялся Кедров. — Я одиннадцать лет болтаюсь за границей. Поехать сейчас в Россию... За эти годы там всё резко изменилось... Это значит, начинать жизнь сначала... Не поздно ли в тридцать пять лет?.. Но в то же время здесь я задыхаюсь...

— А я, знаешь, что тебе скажу, — усмехнулся ротмистр. — Только ты не обижайся. Ты, как в анекдоте. Предложили гражданину заполнить анкету. А в ней графа: как вы относитесь к советской власти? Вот он и пишет — сочувствуя, но... помочь ничем не могу. Так и ты. Проще скажу — заелся ты. Оброс. Помнишь у Пушкина в «Борисе Годунове» — «Достиг я высшей власти... Но счастья нет моей душе». Добился ты известного положения, материально обеспечен, ну и не хочется тебе со всем этим расстаться. Что, не прав я, скажешь?..

Кедров молчал. Слова Павлищева ударили его, как хлыстом:

— Сочувствую, но помочь не могу... Оброс...

Всё это было обидно. Слишком обидно. Но... всё же какая-то доля горькой правды в словах Павлищева была. А, может быть, даже не доля, а больше?..

Разговор с Павлищевым не удовлетворил Кедрова. Возможно потому, что ротмистр говорил не то, что Кедрову смутно хотелось. Думы по-прежнему не давали покоя, и он решил повидать Злобина:

— Павел Иванович всегда как-то... здраво смотрит на вещи. Может быть, он подскажет...

На обычной стоянке Кедров полковника не нашёл: в этот день Злобин не работал. Идти к нему домой? Не знал адреса. Решил обождать Мишу Пономарёва. А пока подсел к шофёрам. Загорелся профессиональным любопытством репортёра:

— О чём говорят? Чем интересуются?

Шофёры, в большинстве, незнакомые, молодёжь. Разговоры шли о работе. Некоторые ругали японцев-пассажиров, которые не хотели платить по таксе.

Подъехал Миша Пономарёв.

— Адрес Павла Ивановича? Откровенно тебе скажу — не знаю. Он недавно переехал на новую квартиру.

— Жалко! — вздохнул Кедров. — Ну, что ж делать, придётся подойти сюда завтра. Он завтра работает?

— Работает. Впрочем, вот что, — спохватился Миша, — ты подожди немного. Должен подъехать Шишким. Он знает. Пока посидим у меня в машине, поговорим. Ты ведь у меня давно не был. С тех пор, как гулял на моей свадьбе, раза два-три заходил, не больше.

Сели, закурили.

— От наших тебе привет, — говорил Миша. — Недавно письмо получил. Устроились они в Шанхае неплохо. Галя замуж вышла за американца. Мама и Вероника с ними живут. Вероника в аптеке фармацевткой работает. Скоро все в Америку едут. Меня с женой с собой тянут.

— Едешь?

— Нет, что ты! Я, брат, решил навсегда в Харбине обосноваться. У родителей жены здесь свой домишко. Думаю свою машину покупать. Проживём...

За разговором не заметили, как к стоянке подъехал и затем подошёл к ним Шишким.

— Здорово, писатель! — окликнул он Кедрова. — Каким ветром тебя сюда занесло?

— Тебя жду, Гриша, — пожал ему руку Кедров. — Адрес Павла Ивановича знаешь?

— Знаю.

— Довезёшь?

— По-знакомству, за целковый.

— Поехали, — засмеялся Кедров. — Не даром же тебя со стоянки снимать.

Злобин был дома. Увидев Кедрова, он обрадовался:

— Вот неожиданный гость! И притом — весьма кстати, как раз под обед. Откушаете с нами?

Кедров не отказался.

За столом он подробно расспрашивал о жизни «Авто-клуба», председателем которого, после ухода Кедрова, шоферы выбрали Злобина.

— Пока что держимся в стороне от всех политических экспериментов, — рассказывал Павел Иванович. — Правда, вызывали меня как-то в миссию, интересовались — что, мол, за организация. Объяснил им — успокоились. Надолго ли — не знаю...

После обеда Кедров подробно рассказал Злобину о всех своих думах и сомнениях.

— Вот я и решил посоветоваться с вами, Павел Иванович, — закончил он, наконец. — Я вас очень уважаю и всегда ценил ваше мнение.

— Спасибо, голубчик, за доверие, — положил ему руку на плечо Злобин, — но... Видите ли, трудно в таком деле что-либо советовать. Это всё равно, что давать советы в сердечных делах. Вкусы разные бывают. Как говорится — кому нравится попадья, кому попова дочка. Мда...

Злобин задумался. Молчал и Кедров.

— Знаете, — заговорил опять Злобин, — я тоже часто ломаю себе голову над тем же вопросом, как и вы.

— И что же? — с надеждой в голосе спросил Кедров.

— Поздно мне начинать жизнь сначала, — взглянул на него Злобин. — Это не значит, что я боюсь туда ехать. Я не боюсь, нет. Ошибки в жизни бывают у каждого, и, если человек осознаёт их, его прощают. Но, поймите — мне уже за пятьдесят. Скоро пора костям и на покой. Так уж лучше не тревожить их с места. Будь я помоложе лет на двадцать, я бы так не задумывался. Будем говорить образно — если перелётная птица отбьётся от своей стаи, ей трудно найти родное гнездо.

— Значит, вы всё-таки советуете...

— Ничего я не советую, дорогой Николай Георгиевич, — перебил его Злобин. — Всё то, о чём мы с вами говорим, это дело совести каждого из нас, как совесть подсказывает. Мне вот, например, совесть подсказывает, что не имею я права лишать свою Софью Алексеевну на старости лет того минимального материального благополучия и тех жизненных удобств, которые мы с ней имеем. Я не политик, не интересуюсь ею и ничего в ней не понимаю. Как-нибудь доживём с Софьей Алексеевной здесь свой век.

Из всего разговора с Павлом Ивановичем у Кедрова запечатлелись в памяти только слова:

— Как совесть подскажет...

Совесть-то ему подсказывает. Иначе не было бы этих мучительныхочных дум.

Там — Россия...

Совесть подсказывает... Иначе бы не щемило так сердце, когда, садясь в редакции около радиоприёмника, он ловит Хабаровск, Москву и слушает родные, русские песни.

Но... Вот как сломать это проклятое «но», которое лишает его сна?

И, ворочаясь в своей постели, Кедров часто с открытыми глазами встречал заглядывавшую в его комнату серую мглу утренней зари.

### 36. «ДИВЕРСАНТЫ»

В конце марта Кедров поехал в командировку в Трехречье. Вместе с ним редакция направила фотографа — японца.

30-го марта — праздник Забайкальского казачьего войска, и редакция решила отметить эту дату фотоочерком.

До Хайлара ехали в поезде, а дальше до Драгоценки, главного посёлка Трехречья, надо было километров сто добираться на автомашине.

Время рассчитали точно. Поезд приходил в Хайлар вечером, а на завтра, накануне праздника, из Хайлара в Драгоценку выезжал начальник харбинского бюро эмигрантов генерал Кислицин, который обещал прихватить с собой Кедрова с фотографом.

Утром Кедров не смог добудиться своего спутника.

Фотограф питал большое пристрастие к сакэ и, выпив за ужином лишнее, на все уговоры Кедрова «вставать» только мычал и отмахивался. В результате — на генеральскую машину опоздали. С трудом устроились на по-путную, но только утром в день праздника. И, конечно, на торжество не успели: когда около поселковой церкви выходили из машины, парад и джигитовка уже закончились.

— Из-за тебя всё, Маеда, — набросился Кедров на своего спутника. — Не пей, коли киш카 тонка. Что теперь будем делать? Я то ещё своё дело сделаю — узнаю, что было, добавлю красок и напишу. А ты что будешь фотографировать?

Маеда смущённо молчал.

— Нельзя ли попросить, чтобы ещё раз джигитовали? — проговорил он наконец.

Кедров задумался и решил:

— Пошли к поселковому атаману! Авось... на твоё счастье...

Атамана застали в поселковом правлении. Он хлопотал об устройстве парадного обеда: приехавший в посёлок начальник центрального бюро эмигрантов — гость знатный!

Визитная карточка сотрудника «Харбинского Времени» произвела должное впечатление, и, когда Кедров вкратце изложил свою просьбу, атаман немедленно распорядился:

— Собрать джигитов!

Прощаясь, атаман пригласил:

— Часика через два милости прошу откушать. На обеде их превосходительство генерал Кислицин будут...

Через полчаса на площадь выехала группа молодых казаков, человек тридцать, на резвых, сытых лошадях. Все — в казачьей форме: шаровары с жёлтыми лампасами, гимнастерки с жёлтыми погонами. Из-под фуражек буйно выбивались чубы.

Началась джигитовка. Маеда видел эти лихие скачки в первый раз и непрерывно щёлкал своим фотоаппаратом.

Джигиты, узнав, что их фотографируют для газеты,казалось, превзошли самих себя и проделывали такие номера, что у Кедрова, который сам когда-то неплохо джигитовал, даже дух захватывало.

Маеда был доволен.

До обеда успели сходить на отведённую для них квартиру — отнести фотоаппарат, привести себя в порядок. Когда пришли в поселковое правление, там около накрытых столов собралась уже вся поселковая знать: старые казаки (некоторые — с георгиевскими крестами), школьные учителя, купцы, священник... Атаман, нетерпеливо разглаживая седеющие усы, поглядывал в окно. Наконец, он рванулся к дверям:

— Идут-с!..

На пороге показался Кислицин.

Атаман по-военному отступил в сторону и выдохнул:

— Смирно!..

Кедров часто встречал Кислицина в Харбине, в бюро. Там это был незаметный, «готовый ко всем услугам» человек, заискивающе смотревший в глаза советника бюро капитана Акигуса.

Здесь же... Какая разительная перемена! В поселковоеправление уверенно вошёл важный генерал в полной форме, с колодкой орденов и медалей.

— Здравствуйте, станичники! — слегка картавя, милостиво кинул он собравшимся.

В ответ дружное:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!..

Священник, прочитав молитву, осеняет крестом столы.

Предварительные церемонии закончены. Начинается обед. На генерала больше никто, кроме поселкового атамана, не обращает внимания.

Но вот Кислицин с бокалом в руке встаёт.

— Тише, станичники, тише! — старается перекричать атаман общий оживлённый говор. — Их превосходительство говорить будут-с!..

Кислицин поздравляет всех с войсковым праздником. Затем начинает говорить о казачьих традициях, о казаках — верной опоре «русского дела», о скором выходе (с помощью «великой императорской Японии») на родную землю.

Когда под нестройное «ура» генерал сел, поднялся один захмелевший пожилой казак.

— Я тоже... того, значит, станичники, — заговорил он. — Сейчас их превосходительство проздравили нас, значит... Мы, конечно, не без понятия... Чувствительно благодарны... Но вот, что касаемо япошек, то это не казацкое дело. Я вот в японску войну у генерала Мищенко в

отряде был. Рубили мы там этих япошек почём зря. Я это к тому, что у меня и сейчас... не заржавеет, то-есть... Силенки при случае хватит...

— Никита, Никита!.. — потянули его за рукава соседи... — Окосел что ли?

Казак грузно сел на скамейку и, выпив, забормотал:

— Не тревожь русскую душу... Не растрявляй...

Кислицин, сделав вид, что ничего не заметил, обратился к сидевшему неподалёку от него Кедрову:

— Когда приехали? Как вам понравился парад? Меня фотографировали, когда я принимал парад?

Кедров честно признался:

— Опоздали.

— Как? — неприятно удивился Кислицин. — Фотографии в газете, значит, не будет? Для меня, лично, это, конечно, не имеет значения... Но, как начальник бюро... Вы понимаете — войсковой праздник забайкальцев, я на этот праздник специально приехал, и...

Бражку казачки варили умело. У Кедрова начинало шуметь в голове. Может быть, поэтому он неожиданно предложил:

— Если разрешите, мы вас завтра сфотографируем... Парад не так важно... Важно — вас. В кругу казаков и всё такое прочее...

Договорились, что Кедров придёт с фотографом на квартиру Кислицина завтра в десять утра.

Бражка подвела окончательно: утром Кедров проспал, проснулся в начале одиннадцатого и уже хотел было повернуться на другой бок, как вспомнил о вчерашнем своём обещании Кислицину.

Он соскочил с кровати и принялся будить Маеду:

— Вставай, пошли к генералу.

Наконец, добудился. Маеда открыл глаза:

— Зачем к генералу?

— Фотографировать его будем.

— Дамэ!<sup>1</sup> — коротко ответил Маеда и натянул на себя одеяло.

— Как «дамэ»? — опять затормошил его Кедров. — Вставай, идём. Я вчера обещал ему.

— Плёнок нет, — объяснил Маеда. — Все израсходовал на джигитов.

<sup>1</sup> Дамэ (по-японски) — нельзя, не годится.

— Что же теперь делать?

— Не знаю.

И Маэда, отвернувшись, зарылся головой в подушку.

Кедров некоторое время стоял в нерешительности. Закурил. Потом, улыбнувшись пришедшей ему в голову озорной мысли, взял незаряженный фотоаппарат Маеды и вышел из хаты.

Кедров не опоздал. Кислицин тоже только что проснулся.

— С фотоаппаратом? Прекрасно! — поздоровался он с Кедровым. — Но почему вы сами, а не Маэда-сан?

— Маэда спит. Японцы много пить не могут.

— Да, — согласился генерал... — Я, между прочим, тоже вчера того... не рассчитал. Проспал сегодня.. А вы сами-то... сумеете сфотографировать?

— Что вы, ваше превосходительство! — успокоил его Кедров. — Хороший репортёр должен всё уметь... Для начала я сфотографирую вас около самовара... «Генерал Кислицин в кругу казачьей семьи»...

Кислицин облачился в генеральскую форму и уселся вместе с хозяевами квартиры около стола.

Кедров нацелился на него фотоаппаратом — щёлк!

— Готово! Теперь возьмите на руки детишек. Это будет кадр «Генерал Кислицин и казачьи дети»...

Опять — щёлк!

Затем последовали кадры — Генерал Кислицин беседует со стариками... Генерал Кислицин на крыльце казачьей хаты... Генерал Кислицин верхом на казачьей лошади... Генерал Кислицин осматривает казачье хозяйство... Генерал Кислицин ласкает казачьего дворового пса...

После обеда Кедров опять пришёл к генералу и делал последние «кадры»:

Генерал Кислицин сердечно прощается с казаками...

Генерал Кислицин машет из машины рукой растроганным его посещением казакам...

Прощаясь с Кедровым, Кислицин попросил:

— Вы уж, пожалуйста, не задерживайте фотоснимки. Я из Хайлара дам телеграмму в редакцию журнала «Луч Азии», чтобы задержали выпуск номера. Передадим снимки туда...

Сделанные Кедровым «снимки» нигде не появились — ни в газете, ни в журнале.

Объясняя потом Кислицину «неудавшиеся фотографии», Кедров свалил вину на плёнки:

— Плохие были!

Эта ложь разоблачила его озорство. Кислицин позвонил редактору «Харбинского Времени», выражая неудовольствие, что фотографа снабжают некачественными плёнками. Редактор наслал на Маеду, а тот, оправдывая себя, рассказал о проделке Кедрова.

К счастью для Кедрова склонность Кислицина к саморекламе была известна редактору, и дело закончилось весёлым смехом.

— Диверсию против генерала учинили, — смеясь, назвал один из сотрудников эту командировку.

С такого крылатого словечка за Кедровым и Маеда закрепилось в редакции прозвище «диверсанты».

На это произвиде Кедров не обижался. В Драгоценке, знакомясь с жизнью казаков, он видел почти такого же «шутника-диверсанта». Это был молодой казак лет двадцати пяти. Когда Кедров вошёл в хату, жена этого казака перевязывала ему ногу.

— Так... Ненароком... — на вопрос Кедрова уклончиво отвечал казак. — Подстрелил на охоте...

Вечером разговаривая с хозяйкой своей квартиры, Кедров упомянул о раненом казаке.

— Это Петруха Каргин что-ли? — догадалась хозяйка.

— Кажется, Каргин, — отвечал Кедров.

— Он самый, — подтвердила хозяйка. — Только не на охоте это...

— А как же?

— Да так... Разное люди болтают... — И хозяйка замяла разговор.

Кедров больше не расспрашивал. Он, может быть, вообще забыл бы о Петрухе Каргине, если бы на следующий день не встретил Никиту — того самого пожилого казака, который на парадном обеде неудачно пытался выступить с речью.

Проходя по посёлку, Кедров заметил Никиту, сидевшего на завалинке своего дома. Подошёл, поздоровался.

— Можно присесть?

— Отчего нельзя... Садитесь, места хватит.

Проговорив это, Никита опять занялся своей трубкой.

Кедров достал сигареты, протянул Никите:

— Может сигаретку закурите?

Никита коротко отказался:

— Благодарствую... Не привыши...

И опять замолчал.

— Хорошо здесь у вас,— попытался Кедров начать разговор.— Привольно.

— Ничего, живём...— неопределённо отвечал Никита.

— Крепко живёте,— стараясь не дать разговору угаснуть, продолжал Кедров.— Я вот смотрю — у каждого своя хата, хозяйство...

— Кто как...— опять немногословно отвечал Никита.— Люди по-разному живут...

Он выбрал трубку, тщательно прочистил её железным крючком и, достав кисет, принялся набивать её табаком.

— А вы что... сами откедова будете? Из Хайлара?

— Из Харбина.

— Так, так...— Никита раскурил трубку и, выпустив густое облако едкого дыма «семосадки», спросил:— А чьи будете?

— Кедров.

Никита задумался:

— Кедров?.. Отколь родом-то?

— Забайкалец я.

— Погоди, паря,— перешёл Никита на «ты»,— Егор Павлыч Кедров тебе не сродственник приходится?

— Моего отца Георгием Павловичем зовут.

— Он из офицеров будет?

— Офицер.

— Погоди, погоди,— оживился Никита.— У нас в японскую войну Егор Павлыч Кедров в подъесаулах ходил. Мой сотенный командр.

— Правильно... Это мой отец. В русско-японскую войну он был в отряде генерала Мищенко,— подтвердил Кедров.

— Да что ты! — обрадовался Никита.— Ишь ты, как оно... Верно говоришь — у генерала Мищенкова. Так ты, паря, выходит сынок Егор-то Павлыча... Ну, будем знакомы... Папашенька-то твой — отец родной, а не командр был. Я в ихней сотне взводным урядником служил... Будем знакомы,— ещё раз проговорил казак и протянул Кедрову руку,— Бронников я, Никита Емельянович Бронников. Ах ты, мать честная! Сыпок, значится, Егор-то Павлыча! Может не погнушаешься, в избу зайдёшь?

Проведя Кедрова в дом, Никита закричал жене:

— Ну-ка ты, Марья! Накрывай поживей на стол. Гос-  
тя-то какого привёл, чуешь? Моего сотенного команделера  
сынок это...

Предательские свойства казачьей бражки Кедров испытал на парадном обеде, поэтому пил осторожно, ста-  
раясь не выйти из нормы. Никита же пил, сколько хотел,  
и быстро начал хмелеть.

— Эх, Егорыч,— говорил он, наклоняясь к Кедрову,—  
гляжу я на тебя — выпитый ты папашенька. Только что  
ни бороды, ни усов не носишь. Геройский был командр.  
Помню, под Бафангоу налетели мы на япошек... В конном  
строю атаковали их, значится... Под папашенькой твоим  
гнедой жеребец был... Зверь, а не конь... Вырвался он впе-  
рёд... Пока вся сотня налетела, а подъесаул уже кого ко-  
нём мнёт, кого шашкой напополам разваливает...

Никита выпил и, вытерев рукавом рубахи усы, опять  
заговорил:

— Били япошек, а теперь вот казаку житья от них,  
проклятих, нет.

— Что, прижимают?

— Ещё как!.. Вот тут один парень через них пострадал.  
Каргин Петруха... Знаешь такого?

Кедров схитрил:

— Не слыхал. Кто это?

— Да это, паря...

Кедров слушал, не перебивая. Бессвязный рассказ  
сильно подвыпившего Никиты объяснил Кедрову «случай  
на охоте» и скрытность его квартирной хозяйки.

Два дружка — Петруха Каргин и Максим Иконников — избили осенью зашедшего на вечерку японца. Обоих забрали и увезли в Хайлар, а оттуда — в Харбин. Посёльщики решили — запрятали ребят в тюрьму, но затем, когда после масленицы оба вернулись домой, Каргин проговорился, что в Харбине они обучались в какой-то специальной школе. А незадолго до казачьего праздника произошёл случай, о котором Никите рассказала его жена. Ей в свою очередь проболталась об этом по секрету жена Каргина. Обоих ребят вызвали в японский штаб и приказали идти на ту сторону, за Аргунь, выведать там «какие-то секреты» и через три дня вернуться обратно. Дали им «леворверты» и ещё что-то такое, чем взрывают.

Поздно вечером они подошли вместе с японцем на берег Аргуни. Хорошо говоривший по-русски японец, ещё

раз подробно рассказал им, что они должны делать на советской стороне, где и когда выйти обратно.

Когда японец ушёл, друзья затаились в прибрежных кустах. Впереди вилась узкая лента заснеженной Аргуни. А за ней... Они пристально всматривались в темноту, туда, где за рекой уходила в ночь родная сторона.

— Идти, или... — шепнул Пётр приятелю. — Как ты думаешь?

— А ты? — вопросительно сверкнули глаза Максима.

— Давай вместе решать...

— Не пойдёшь, — как вернёшься, что скажешь... А пойдёшь... Зачем идём-то, чуешь?..

Пётр сдвинул на затылок ушанку:

— А ну их к... Я, братуха, так смекаю...

Никита налил полный стакан бражки и залпом выпил.

— С генералом Мищенковым, — забормотал он, — мы этих япошек, как крапиву... Так их растак...

Никита облокотился на руку и запел:

Скакал казак через долину,  
Кольцо блестало на руке.  
Кольцо казачка подарила,  
Когда казак пошёл в поход...

— Ну, а потом что... С Петрухой и Максимом? — попытался вернуть его к рассказу Кедров.

— Потом? — поднял голову Никита. — Петруха, говоришь? А-а!.. Петруха, он того... Как полагается... Стреляй, говорит... Чтобы... Ни боже мой... И Максимка тоже... Правильный казак...

Понять окончательно захмелевшего Никиту было очень трудно, но постепенно перед Кедровым вставала вся картина того, что произошло в эту ночь на берегу Аргуни.

Молодые казаки решили — на диверсию не идти. А для того, чтобы оправдаться перед японцами, Петруха предложил Максиму:

— Пали мне в ногу, в мякоть. Скажем японатам, что напоролись на пограничников. А чтобы больше веры было, расстреляем все патроны. Отстреливались, мол...

Так и сделали. Под утро Максим дотащил раненого приятеля до китайской фанзы, а оттуда на подводе привёз в Драгоценку.

— Видал, Егорыч? А? — пьяно говорил Никита. — Что,

Петруха... Я тоже... Бежал от большевиков... А чтобы с япошками?.. Казак я, али нет?.. Да я сам на ту сторону пойду... Стреляйте, мол...

Никита рванул рубаху и раскрыл волосатую грудь.

— Пали, мол... От своей русской пули помру, а чтобы с япошками... Я их у Мищенкова, как крапиву... Э-эх!

И он крепко ударил по столу кулаком...

Казачий праздник произвёл на Кедрова своё впечатление. Особенно запомнились ему старый казак, в несвязанных словах на парадном обеде раскрывший перед продавшимся японцам генералом свою русскую душу, да Петруха Каргин, по-своему протестовавший против попыток японцев сделать из него предателя.

— Там — Россия! — смотрел Кедров на свою любимую открытку.— Все и везде к ней тянутся...

### 37. ПОСОШОК

Сквозь ажурные переплёты мостовых ферм Сунгарийского моста пристально вглядывались на север и японцы. Но мысли у них были другие.

Укрепившись в Северной Маньчжурии, японцы действительно принялись за её полное освоение. Во всех учреждениях появились японские советники, штаты японских чиновников. Началась японизация населения — в первую очередь школ, где японский язык был включён в число основных предметов. Открывалась густая сеть курсов японского языка. Сами японцы усиленно изучали русский язык — готовились кадры для работы в Сибири, занятие которой должно было подвести черту под общим генеральным планом выхода Японии на материк. С этой же целью японцы принялись усиленно строить сеть стратегических шоссейных и железных дорог в направлении Амура. Расквартированная в Северной Маньчжурии японская Квантунская армия готовилась к прыжку на Советский Союз...

Японцы создали в Маньчжурии марионеточную империю Маньчжу-Го и посадили на престол отпрыска старой китайской императорской династии Пу-И.

Однако, фактически этой «империей» правил не Пу-И, а командующий японской Квантунской армией, штаб которой находился в столице Маньчжу-Го — в Чанчуне.

Пытаясь создать себе авторитет в глазах мирового

общественного мнения, правительство Маньчжу-Го широко декларировало принцип «открытых дверей»: промышленники всех иностранных государств приглашались строить в Маньчжурской империи свои фабрики и заводы.

Этот принцип узаконивал захват японцами природных богатств в Северной Маньчжурии. Для неяпонцев «открытые двери» оказались слишком узкими.

Как-то, просматривая американские газеты и журналы, Кедров натолкнулся в журнале «Лайф» на карикатуру: дом в китайском стиле, по фронтону надпись «Маньчжу-Го». В широко открытые двери этого дома лезут, давя друг друга, японцы. В стороне от японцев стоят американцы, англичане, французы, итальянцы. С ними — китаец. Он тоже не может протиснуться в двери своего дома.

Под карикатурой лаконическая подпись:

«Открытые двери Маньчжу-Го».

Кедрову так понравилась эта карикатура, что он даже вырезал её из журнала. Для себя. Когда-нибудь пригодится...

В начале 1935 года было подписано соглашение о передаче прав СССР на КВЖД Маньчжу-Го.

Уехали на родину советский председатель правления Бандура, советский управляющий КВЖД Рудый.

Над правлением бывшей КВЖД, получившей теперь название СМЖД — Северо-маньчжурская железная дорога, — над её управлением, над всеми вокзалами были подняты флаги ЮМЖД — на белом полотнище разрез рельса в круге. На все руководящие посты, кончая начальниками мелких разъездов, назначены японцы. Захватчики, не стесняясь, афишировали, что бывшая КВЖД, хотя формально и принадлежит теперь Маньчжу-Го, но фактические её хозяева — японцы.

Летом начался массовый отъезд железнодорожников в Советский Союз.

В эти дни Харбин был необычайно оживлён. Эшелоны формировались в Харбине, и железнодорожники съехались сюда со всей линии.

— «Советские служащие дороги едут в СССР в принудительном порядке», — информировала газеты японская военная миссия. Однако, у Кедрова, который много времени проводил среди отъезжающих, впечатление было другое.

— Там — Россия! — слышал он от них. — Своя, родная земля! Наболтались здесь — хватит...

Военная миссия принимала все усилия, чтобы сорвать депатриацию советских кавежедеков. По её указке все эмигрантские газеты, фабрикуя факты, писали о тягости жизни в Советском Союзе, о приближающемся конце Советской власти, о неизбежных репрессиях в отношении возвращающихся на родину бывших железнодорожников.

Но весь этот японский блеф не имел успеха. Эшелоны с депатриантами уходили из Харбина один за одним.

Стремясь сохранить своё лицо, японцы дали по Советскому Союзу последний залп: газеты были инструктированы писать о том, что «несмотря на советскую пропаганду, в Советский Союз едут лишь немногие железнодорожники».

Исполняя этот приказ миссии, Кедров сначала, используя свои связи, выяснил, сколько же в действительности уехало советских железнодорожников. Оказалось — почти сто процентов плюс много нежелезнодорожников, которым консульство разрешало выехать на родину в порядке депатриации. Всю эту внушительную цифру Кедров и включил в свою статью, завуалировав её заголовком — «Массовый психоз».

На этот раз миссия статью одобрила, а на убийственные для себя цифры не обратила внимания.

Возвращались на родину ротмистр и «братья Аяксы».

Хотя Кедров и предполагал, что ротмистр присоединится к депатриантам, всё же телефонный звонок Павлищева был для него неожиданным.

— Еду, брат, решил, — слышался в телефонной трубке возбуждённый голос ротмистра. — Выберешь время — приезжай. Посидим, побалакаем на прощанье...

Наскоро сдав материал секретарю, Кедров вызвал машину.

— Ого, как раз кстати! — встретил его ротмистр. — Садись-ка на этот чемодан, придави крышку, а я его ремнём скручу. Замка нет, крышка отскакивает...

Затянув ремень, ротмистр хлопнул Кедрова по плечу:

— Готово, вставай! Вот и весь мой багаж: три чемодана да постель. Это всё, что я за границей нажил без отца, без матери. Своим горбом...

— Всё-таки... едешь?

— Еду, Николай, еду. Мне уж, брат, за сорок. Хочу  
хоть остаток жизни по-человечески прожить...

— Не боишься?

— Голову не снимут.

— Да я не о том, Анатолий... Не о голове,— как бы  
стараясь, наконец, найти ответ на свои думы, заговорил  
Кедров.— Я — о другом. Вот ты, например, почти пять-  
надцать лет прожил в Китае. Приедешь в Россию — чу-  
жой человек.

— Русский русскому не чужой,— перебил его рот-  
мистр.

— Ты прав. Я не так выразился. Не чужой. Ты — чуж-  
дый человек для той жизни, которая там. Сможешь ли т  
сразу освоиться с той жизнью, включиться в неё? Вот  
я о чём...

— Об этом я, брат, меньше всего думаю,— засмеялся  
ротмистр.— Мне бы только русского воздуха глотнуть,  
а там... там, Николай, ротмистра Павлищева из седла не  
вышибешь. А здесь... Здесь, поверь, задыхаюсь. Живёшь,  
как в бане.

— Как в бане? В какой?

— В самой обыкновенной, в чёрной, деревенской.  
Знаешь такие?

— Бывал, приходилось.

— Значит, поймёшь меня. Забрался ты, предположим,  
на полёк. Пар обжигает тело, дым ест глаза. Ты уже  
начинаешь задыхаться, но тебя, не переставая хлещет  
веником, а со всех сторон кричат «поддай пару!».

— Хорошо сказано! — засмеялся Кедров.— Пару нам  
здесь, действительно, поддают... Изрядно.

— Вот поэтому-то я и еду, дружище. Рвусь на свежий  
воздух. Это вот ты... Ну, ну, не хмурься. Давай, лучше  
подумаем, как нам сегодня мои проводы организовать.

Решили начать с «Иверии». Здесь умело приготавля-  
ли шашлык. И потом вино, настоящее кахетинское вино  
можно было получить только в «Иверии». Около полу-  
ночи перебрались в «Фантазию».

Под утро сильно захмелевший Павлищев, расплёски-  
вая ликёр, говорил:

— Вот ты мне, Коля, друг... Самый близкий друг...  
А не едешь со мной... Почему? Нет, ты мне честно, как  
другу, скажи — почему ты не едешь?..

Кедров молчал.

— Как другу, честно... — наклонился к нему ротмистр. — Почему?

— Не знаю, — проговорил, наконец, Кедров.

— Брё-ёшь! — Эт-то ты, врёшь! Просто сказать не хочешь. Стыдно тебе. Ты и сам-то себе стыдишься в этом признаться. А я тебе скажу почему? По старой дружбе скажу... Уж раз говорил, и ещё скажу: заелся ты, оброс... Вот почему...

Ротмистр заглянул Кедрову в глаза и ласково проговорил:

— Эх, Коля, Коля! Жалко мне тебя!

— А ты... не жалей! — сухо ответил Кедров.

— Нет, брат, жалею и буду жалеть... Потому что ты мне друг. И Кузьмич тоже... друг. Я ведь с ним в одном вагоне еду...

«Братья Аяксы», у которых в эти дни побывал Кедров, не заговаривали с ним — почему и он не едет.

Слушая восторженные слова Жени и Павлика о предстоящем отъезде, Кедров и завидовал им, и смутно тревожился за друзей: что-то их ждёт... там? Как их примут, как устроятся...

Ужинали в ресторане Желсоба и поднялись из-за стола только тогда, когда метрдотель педупредил, что ресторан сейчас закрывается.

— Приходи на вокзал, обязательно, — прощаюсь, — говорили «Аяксы». — Наш эшелон уходит через три дня. «Математика» увидишь. Он тоже едет, в одном эшелоне с нами: все линейцы грузятся в Харбине...

Уезжал и Степан Кузьмич с семьёй.

Собирался в дорогу Силантьич.

Накануне отъезда Кедров целый день провёл у своего старого друга, помогая ему увязывать вещи.

Степан Кузьмич часто прерывал работу и, ласково глядя на Кедрова, говорил:

— Ну, вот, Колька, видал?.. Еду, брат!.. Домой, в Рассею... Тридцать лет Рассеи не видал..

И слесарь радостно подмигивал Кедрову, хлопая его по плечу своей заскорузлой рукой:

— А теперь вот — еду! Чуешь, сучий ты сын?.. Молодым сюда приехал, а назад стариком еду. Но, ничего, браток, ничего. И такой Степан Кузьмич там на что-нибудь еще сгодится!.. Поживём ещё, поработаем...

За ужином ели из одной тарелки: вся посуда была

упакована. Настасья Петровна открыла бутылку водки, но Степан Кузьмич, к удивлению Кедрова, от выпивки наотрез отказался.

— Воздержусь покедова, — отодвинул он поданный ему Настасьей Петровной стакан. — Зарок дал — до границы ни-ни... А вот как границу переедем — там уже выпью в полное удовольствие, на радостях...

В эту ночь ни Кедров, ни Степан Кузьмич не спали.

Друзьям было о чём поговорить: расставались они, может быть, навсегда. Кедрову, кроме того, было о чём крепко подумать. Слушая сбивчатые слова Степана Кузьмича, он начал уже вторую пачку сигарет.

— Думал я, признаться, что и ты вместе со мной поедешь, а, Колька? — заглядывая в глаза Кедрову, говорил ему Степан Кузьмич. — Что ты мне на это скажешь?

Кедров не отвечал. В самом деле — что он мог сказать этому простому, честному человеку?..

— Что же ты молчишь? сучий сын?.. — обнял его Кузьмич.

— Ты пойми меня, Кузьмич — с трудом подбирая осла, заговорил, наконец, Кедров, комкая в руке нераскуренную сигарету, — я всё равно поеду... Но... но не сейчас. Я бы и сейчас с радостью... Я хорошо всё понимаю... Понял всё... Мы ещё с тобой встретимся... Там — дома.

— Ну, ну, не неволю, — улыбнулся Кузьмич. — Я, браток, и сам чувствую, что ты навек здесь не останешься. А только мой тебе совет — покедова здесь живёшь, ты всё-таки свою линию веди и с неё не сворачивай. Как поведёшь её, так до конца и веди. Это, к примеру, я тебе скажу: был у нас в японскую войну ротный командир. Душевный человек. Солдат своих в обиду никому не давал. Под Мукденом убило его, царство ему небесное. Так вот он, бывало, всегда говорил: в атаку пошёл — не оглядывайся. Подползай незаметно, хоронись за каждой кочкой, а как подполз вплотную — в штыки его, сучьего сына. Русского штыка, говорил он, никто выдержать не способен. Так вот я и о тебе своим умом раскидываю: хоронись до поры до времени за каждой кочкой, а потом и бери их в штыки, сучьих детей. Глядишь, так-то и не без пользы здесь проживёшь.

Незаметно подошёл рассвет. Проснулась Настасья Петровна, разбудила детей и захлопотала с чаем.

А днём...

На вокзале — не протолкнёшься. Отъезжающие заполнили все залы. С трудом пробираясь между сидевшими на вешах людьми, — для всех не хватало скамеек, — Кедров увидел, наконец, Степана Кузьмича. Около него — Силантьича и ротмистра.

— Не опоздал? Когда посадка? — взглянул он на часы.

— Не раньше, как через час, — отозвался Кузьмич. — Гляди-кося, — кивнул он на зал, — народуто сколь собралось! Кто отъезжает, кто провожает...

— У меня тут ещё друзья едут. Надо найти их, попрощаться, — сказал Кедров. — Вы здесь всё время будете? Погрузиться вам помогу.

— Давай скорей обворачивайся, — поторопил его Силантьич. — Посошок на дорогу надо выпить. Без тебя не будем.

Кедров уже отчаялся найти в этой сутолоке «Аяксов», как услышал голос Жени:

— А вот и он! Коля, Коля, мы здесь....

Около «Аяксов» сидел мужчина лет под сорок, с окладистой бородой. С ним — жена и двое ребятишек, старшему — лет семь

— Ну, братцы, и толкушка же, — поздоровался с «Аяксами» Кедров. — Не окликни меня Женя, не нашёл бы вас.

Кедров присел на чемодан и извинился перед бородачом:

— Вы извините... Я спиной к вам...

Бородач засмеялся:

— Ничего, ничего. Сесть спиной к старому знакомому всё же лучше, чем вообще повернуться к нему спиной, перестать узнавать его...

Кедров взглянул на бородача и радостно протянул ему руку:

— «Математик»! Вы?

— Я, коллега, я! Впрочем, немудрено и не узнать меня. Бородой зарос. А вот вы всё такой же. Только — седина. Леночка, — повернулся он к жене. — Познакомься, — Кедров. Помнишь, я тебе рассказывал. Когда-то вместе без подмёток ходили.

В воспоминаниях незаметно потекли минуты. Наконец, Кедров спохватился:

— Ну, друзья, прощайте. Я тут ещё одних близких людей провожаю.

Обнимал Кедрова, «математик» говорил:

— Времена меняются, коллега. Приехал я сюда один, как пёрст. А вот везу теперь домой жену да вот этих двух маленьких граждан. Настоящими людьми там вырастут...

Когда Кедров снова подошёл к Кузьмичу, ротмистр встретил его словами:

— А мы уж тут с Силантьичем хотели без тебя пропустить по единой, да Кузьмич отговорил. Держи-ка! — И ротмистр налил Кедрову полную чашку вина.

Выпил и Кузьмич. Правда, сначала покрутил головой:

— Зарок дал. До границы...

Но потом взял чашку:

— С Колькой выпью. Чтобы помнил, о чём ему Степан Кочкин говорил.

Поезд давно уже скрылся из вида, но Кедров всё ещё стоял на перроне и смотрел в ту сторону, куда теперь катились по рельсам вагоны, уносящие в Россию его друзей и лучшего из них — Степана Кузьмича. И оседало на душе у Кедрова чувство вины перед всеми друзьями, как будто, оставшись здесь, он совершил подлость.

### 38. ПЯТАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Отошли от Харбина последние эшелоны с депатриантами.

После отъезда друзей Кедров замкнулся в себе, ходил мрачный. На душе была пустота. Он как-то обмяк, не загорался работой, как прежде. Писал по инерции. Им овладело такое чувство, какое бывает у человека, ожидающего на глухом разъезде прихода поезда. Вот подойдёт этот поезд, он сядет в него, уедет — и навсегда сотрутся в памяти и разъезд, и томительные часы ожидания.

Письма от друзей усугубляли это настроение. «Братья Аяксы» осели в Иркутске — устроились там декораторами в драмтеатре.

«Ты не представляешь себе, — восторженно писал Женя, — что это за красавица — Ангара! А Байкал! Ког-

да мы проезжали по Кругобайкальской дороге, я не сводил с него глаз. Сколько красок — ярких, сочных! Куда ни взглянь — всюду картина, да какая!..

Павлищев работал около Новосибирска на конезаводе. Он подробно писал о том, как ехали, как устроился.

«Ты знаешь, — писал ротмистр, — на харбинском ипподроме есть знаменитый рысак «Ледок». Рекордсмен! Равных ему в Харбине нет. А у нас на конезаводе таких «Ледков» — десятки! Многим из них харбинский «Ледок» в подметки не годится! Вот она матушка-Россия! Чувствуешь?..»

Кедров чувствовал. Оттого он, сжимая ладонями виски, опять подолгу вглядывался в открытку с сунгариjsким мостом и ловил себя на мысли:

— Значит, всё-таки ошибся... Второй раз в жизни...

Позднее всех пришло письмо от Степана Кузьмича. Он писал из Казахстана.

«Пригодился здесь Степан Кочкин, — разбегались корявые строчки. — В момент слесарем в депо приспособился. И ребята тоже, оба на работу определились. Одна Настасья дома. Фатеру нам дали. С весны огород сажать будем, нонче опоздали. Житуха здесь, браток, не в пример лучше харбинской. Одно жалко, Колька, что ты с нами не поехал, сучий ты сын!..»

Дочитав до этих слов, Кедров криво усмехнулся:

— Действительно, сучий я сын! Прав Кузьмич!..

После отъезда репатриантов в Харбине осталось ещё не мало русских. Это были российские эмигранты — «пятая национальность», управляемой японцами Маньчжурской империи.

После захвата КВЖД, разбросанные по городам Маньчжурии, японские военные миссии решительно принялись за окончательную обработку этой «пятой национальности».

В Харбине японцами было организовано центральное, с отделениями в других крупных пунктах Маньчжурии, учреждение, через которое японцы начали приводить к рукам российских эмигрантов.

Такие органы получили название «Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи».

Явно японское лицо этих «бюро» отпугивало большинство русских эмигрантов, и многие от регистрации в них первое время уклонялись.

Миссия нажала: начались увольнения с работы всех, у кого не было членской книжки бюро. Запрещено было принимать на работу без справки от бюро.

Мера эта имела эффект. Угроза безработицы погнала эмигрантов к регистрационным столам бюро. За короткий срок все российские эмигранты в Маньчжурии были взяты на учёт, и их подробные анкеты тщательно изучались японскими военными миссиями: японцы намечали и подбирали кадры для развития своих пока ещё затаённых планов.

На должности начальников бюро японцы назначали матёрых белогвардейцев из бывших полковников и генералов белых армий. Другие руководящие работники бюро и все его рядовые служащие укомплектовывались, главным образом, фашистами.

Третий отдел бюро в Харбине был самый важный для японцев и самый страшный для эмигрантов. Именно здесь решался вопрос о политической благонадёжности того или иного эмигранта. А оказаться неблагонадёжным — это означало немедленно лишиться работы и больше никогда не получить её вновь.

Военная миссия фактически осуществляла руководство работой бюро через назначенного ею советника бюро капитана Акигуса, занимавшего одновременно должность начальника русского отдела миссии. Начальник же бюро только низко кланялся и беспрекословно выполнял всё, что ему резкими отрывистыми фразами приказывал Акигуса.

В начале августа Кедров уезжал на несколько дней в командировку на линию дороги, а когда вернулся, ему в редакции передали, что к нему несколько раз звонил шофер Пономарёв.

Кедров взялся за телефонную трубку. Однако, Миши на стоянке не было — уехал с пассажирами.

— Тогда, слушайте... Алло, алло!.. Как вернётся, — передайте, пусть позвонит в «Харбинское Время» Кедрову...

Миша не позвонил, приехал сам.

Он вызвал Кедрова из сотруднической в холл и возбуждённо заговорил:

— Ну, брат, дела творятся! Ты ничего не знаешь?

— Нет. А что?

— Автоклуб-то наш... Японцы прихлопнули!

— Не может быть!

— Вот тебе и «не может быть». А Павла Ивановича в Тяньцзин выслали.

— Постой, Миша... — опешил Кедров. — Но ведь это же... Чёрт знает что такое... Давай-ка садись, рассказывай толком — почему?

Усадив Мишу в кресло, Кедров сел напротив и протянул ему сигареты:

— Кури!

— Давай... Японцы, брат, давно к нам подбирались. Павла Ивановича несколько раз вызывали в военную миссию, всё интересовались — что да как... А потом стали ему намекать — русские эмигранты, дескать, должны помогать японцам, а ваш, мол, Автоклуб в стороне держится... Павел Иванович упёрся. Наша-де организация чисто профессиональная, основная задача — взаимопомощь. И откровенно ляпнул, что русским, по его мнению, незачем вмешиваться в японские дела. В результате предложили ему собраться в двадцать четыре часа и уезжать в Тяньцзин. Это было третьего дня. Вчера мы его провожали. А наш Автоклуб военная миссия закрыла.

— В бюро не были? С начальником бюро говорили?

— А какой смысл, Коля? — покачал головой Пономарёв. — Плетью обуха не перешибёшь.

Кедров стремительно поднялся с кресла:

— Ну, нет. Этого так оставить нельзя. Павла Ивановича сейчас не вернёшь, но Автоклуб сохранить надо. Ты куда сейчас?

— Обратно на стоянку.

— До бюро подкинешь?

— Поехали. Но... только бесполезно это, Коля.

Миша оказался прав. Начальник бюро ничем помочь не смог.

Возвратясь в редакцию, Кедров сел за статью, доказывая в ней необходимость объединения русских работников автотранспорта.

Сыров статью не принял и посоветовал:

— В распоряжения военной миссии не вмешиваться и вообще не горячиться...

Хорошо сказать «не горячиться», но как можно оставаться спокойным, когда японцы преподносят русским эмигрантам один сюрприз за другим?

Родзаевский, который был назначен миссией начальником третьего отдела бюро, начал интенсивно увеличивать ряды своей партии.

После отъезда советских железнодорожников на родину, на СМЖД не хватало рабочих рук. Японских кадров на дороге было ещё недостаточно, китайцам японцы не вполне доверяли, — встал вопрос о привлечении на дорогу русских эмигрантов. Но... Родзаевскийставил условия: на дороге могут работать только фашисты, за благонадёжность которых он может ручаться!

И безработные подавали заявления о приёме их в фашистскую партию, покупая этим право на работу.

Кедров в резкой статье, названной им «Голод — не тёгка», обрушился на недопустимость такого явления. Сыров не досмотрел, статью пропустил, Но капитан Акигуса бережно охранял полезных для него людей. Кедрову пришлось выдержать с советником бюро не приятный разговор.

Указывая в газете на обведённую красным карандашом статью, Акигуса резко спросил:

— Вы писали?

— Я.

— Тогда я должен вас спросить, Кедров-сан, зачем вы так писали?

— Но, Акигуса-сан...

И, подбирая слова, чтобы советник лучше его понял, Кедров стал объяснять, что заставлять людей под угрозой лишения работы записываться в фашистскую партию — явление недопустимое.

— Человек должен быть свободен в своих политических убеждениях, Акигуса-сан...

Но Акигуса разъяснил:

— Русские фашисты оченьуважаемые люди. Они активно помогают нам бороться с большевиками. Вы написали такую статью и поэтому сделали большую ошибку. Больше так писать нельзя. Я не позволяю так писать. Вы меня понимаете?

Не понять было трудно. Японская военная миссия ревниво оберегала русских фашистов, из которых она подбирала кадры диверсантов, засыпаемых в Советский Союз. Об этом Кедрову рассказал один случай. Спустя некоторое время после разговора с Акигуса, он поднимался по лестнице на второй этаж в редакцию.

Редакция «Харбинского Времени» и квартира Оосава находились на одном и том же этаже трехэтажного дома на Участковой улице. На площадке второго этажа, около дверей в квартиру Оосава, Кедров заметил знакомое лицо.

— Полковник Кобылкин?

— Кедров, вы?

Это был бывший семёновский полковник Иннокентий Васильевич Кобылкин, в прошлом командир сотни юнкеров Читинского военного училища. С ним Кедров не виделся лет пятнадцать. За это время полковник мало изменился — то же худощавое лицо, те же русые пушистые усы. И только предательские морщинки говорили о том, что полковнику давно перешло за сорок.

На груди у него, слева, на синем пиджаке выделялся белый ромб, углом кверху. В середине ромба — чёрная свастика, а на верхнем углу — распластанный двуглавый орёл: фашистский значок.

— Вы здесь работаете? — протянул полковник руку Кедрову и, не ожидая ответа, спросил:

— Не знаете, Оосава-сан дома?

— Не знаю. Вы к нему? По делу?

— Да. Родзаевский тоже с вами работает? Он сейчас здесь?

— Здесь.

— Ну тогда — пока. Увидимся ещё. Зайду сначала к Оосава, а потом мне надо повидать Родзаевского. — И Кобылкин нажал кнопку звонка около дверей в квартиру Оосава.

Занятый работой, Кедров уже забыл об этой встрече, как на пороге комнаты сотрудников появился Кобылкин. Родзаевский поднялся ему навстречу:

— Здравствуйте, Иннокентий Васильевич! Ну как — всё в порядке? У Оосава были?

— Только что от него. Деньги в кармане, инструкции в голове. Завтра, с божьей помощью, в путь-дорогу. Хотел ещё с вами кое о чём поговорить...

Родзаевский пригласил Кобылкина в соседний кабинет:

— Там сейчас никого нет. Никто не помешает.

Кобылкин протянул руку Кедрову:

— Ну-с, сотник, до свиданья. Месяца два-три не увидимся.

Полковник ошибся. Увидеться с Кедровым ему не пришлось.

Месяца через три в фашистской газете «Наш путь» появилась статья о том, что активный член русской фашистской партии Иннокентий Васильевич Кобылкин погиб «за русское дело». В статье называли Кобылкина «стойким борцом с большевиками». Где и как погиб Кобылкин, — в статье не говорилось. Об этом Кедров узнал несколько позднее от подвыпившего сотрудника «Нашего пути» Барнаулова. Пьяно икая, фашист скрупался:

— Жалко Кобылкина. Замечательный был человек. Два раза удачно сходил на ту сторону, на третий — сорвался. В Иркутске его схватили и расстреляли.

Понял Кедров и то, что в действительности представлял собою Оосава, если он давал таким людям и инструкции, и деньги.

После разговора с Акигуса Кедров стал осторожен.

В своих статьях он больше не касался ни фашистов, ни бюро. Но зато при всяком удобном случае проводил мысль о том, что русские должны жить и работать для своей родины.

Несколько таких статей прошло благополучно, затем Танака заинтересовался — о какой родине пишет Кедров-сан?

— У русских людей одна родина, Танака-сан, — Россия, — объяснил Кедров.

Но Танака тоже «объяснил»:

— У русских эмигрантов родина здесь, в Маньчжурии. Они — пятая национальность этого государства и поэтому должны работать для своей новой, настоящей родины. Писать надо об этом.

Выйдя из кабинета Танака, Кедров крепко, вслух выругался теми бранными словами, которые он, бывало, слышал на извозчикье бирже. Раньше он никогда не ругался, и сейчас это был, кажется, первый такой случай за все тридцать пять лет его жизни.

Стараясь взять себя в руки, Кедров пытался спокойно проанализировать годы своей работы в «Харбинском Времени».

Оосава-сан говорил ему при его поступлении в эту газету, что «Харбинское Время» будет помогать русским эмигрантам хорошо жить... Хороша помошь!.. Ничего

не скажешь! Японцы душат не только материально, но и морально. «Харбинское Время» из органа Южно-Маньчжурской железной дороги сделалось органом японской военной миссии и печатает только то, что угодно миссии и что миссия прикажет...

Возможно ли дальше работать в «Харбинском Времени», где сотрудники не имеют права высказывать своих взглядов и должны работать по принципу: «что изволите?», «слушаюсь!», «так точно!».

Вспомнились слова Чацкого из «Горе от ума»:

— Служить бы рад — прислуживаться тошно...

— Нет, чёрт возьми, прислуживаться не могу. Не в характере. Как это Кузьмич мне сказал?.. «Кланяться скоро начнёшь?..» Не начну, Степан Кузьмич, не начну!..

Зачем он всё-таки не послушался своего старого друга и не поехал с ним в Советскую Россию?

— Что же делать? Идти в советское консульство, как говорил когда-то Кузьмич? Начать хлопотать разрешение на выезд в Советский Союз? Но сейчас уже поздно. Надо было думать об этом раньше.

Кедров знал, что после отъезда железнодорожников, с которыми уехало много эмигрантов, военная миссия спохватилась и начала особенно тщательно «опекать» пятую национальность. Над советским консульством было установлено постоянное тайное наблюдение, и следы вышедшего из консульства русского эмигранта неизменно терялись в подвалах японской жандармерии.

Теперь остаётся одно — уйти. Даже уехать из Харбина, затеряться где-нибудь, найти другую работу. А потом, когда наступят благоприятные условия, писать он ещё, чёрт возьми, будет. Время его ещё не ушло...

Единственно, что останавливало Кедрова от такого решительного шага, — это неожиданно вставшая на его пути машинистка главного редактора Таня Ламбина.

Эта девушка недавно, незаметно для самого Кедрова, начинала входить в его жизнь.

### 39. ТАНЯ

С Таней Кедров познакомился во время устроенного «Харбинским Временем» конкурса «Королевы Труда». Этот конкурс был своеобразным трюком газеты, направленным к искусственному поднятию тиража.

Газета широко оповещала харбинцев о конкурсе и уверяла, что лучшим из лучших девушкам — участницам его — будет немедленно предоставлена служба.

При наличии безработицы такие условия были заманчивы, и на призыв «Харбинского Времени» откликнулось около тридцати девушек. В газете каждый день помещались их фотографии. Выборы «Королевы Труда» должны были производиться по внешнему виду участниц конкурса. Ежедневно печатались выборные талоны. За каждую участницу конкурса можно было сдавать в редакцию сколько угодно талонов: чем больше, тем выгоднее для издательства. Количество талонов увеличивало розничный тираж газеты.

В каждом номере печатались результаты выборов на этот день: такая-то получила пятьсот два талона, такая-то четыреста семьдесят... Такая-то на первом месте...

Газета подогревала ажиотаж избирателей. Родственники, знакомые девушек, у некоторых — их поклонники, нарасхват пачками покупали у разносчиков «Харбинское Время», вырезывали из газеты выборные талоны и несли их в редакцию, стараясь выдвинуть на первое место свою кандидатку.

Такая вакханалия продолжалась месяц. За этот срок тираж «Харбинского Времени» вырос втройне.

Наконец, редакция газеты объявила:

— Конкурс закончился!

Оказалось, что количество талонов, полученных его участницами, не играло решающей роли. Для них был устроен экзамен по машинописи — почти единственная специальность, которую они имели...

На этом экзамене Кедров впервые и встретил Таню. Тонкие пальцы девушки быстро бегали по клавишам пишущей машинки, перепечатывая заданный текст. Кедров стоял около неё с часами, проверяя скорость работы. Он с удивлением смотрел — на клавишиах машинки не было букв!

Когда Таня закончила работу, Кедров спросил:

— Скажите, как вы можете так печатать? Разве возможно знать, по какому совершенно белому клавишу ударить, чтобы отпечаталась нужная буква?

— Почему же нет? — улыбнулась девушка. — Пальцы сами знают своё место. Это — слепой метод.

— Хоть бы выдержать экзамен, устроиться, —

вздохнула она. — Впрочем, вряд ли — у меня выборных талонов меньше всех.

— Выдержите и устроитесь! — успокоил её Кедров. — Ваша скорость самая лучшая. А талоны, между нами говоря, имеют значение только для редакционной кассы. Не больше...

Из всех участниц конкурса работу получили только две девушки — Таня и её подруга Нина Арбенина. Таня — секретарём-машинисткой к главному редактору, Нина — переводчицей английского языка. Такие две работницы были нужны «Харбинскому Времени» ещё перед конкурсом, и именно это обстоятельство дало руководству газеты мысль — организовать выборы «Королевы Труда». В городе конкурс создал вокруг газеты шум, привлек к ней внимание харбинцев, поднял её тираж. И, в результате, газета сдержала слово — две победительницы конкурса действительно получили работу!

Кедров обращал на Таню мало внимания. Скромная машинистка главного редактора не вызывала у него интереса, и никак не мог он предположить того, что произошло однажды в начале зимы 1935 года. Зайдя как-то в кабинет редактора и поздоровавшись с Таней, Кедров заметил, что у девушки заплаканные глаза.

— Что-нибудь случилось, Таня? — спросил он её. — Вы плакали?

Таня быстро смахнула платком набегавшие слёзы:

— Я?.. Нет, нет... И... и ничего у меня не случилось.

В комнате сотрудников Кедров подошёл к Нине Арбениной:

— Нина, вы не знаете, что с Таней?

— А что?

— Плачет. Я пытался спросить, — ничего не говорит. Вы её подруга... Сходите к ней.

Когда минут через двадцать Нина возвратилась из кабинета редактора, Кедров опять подсел к ней:

— Ну, что? Как?

Нина коротко рассказала:

— Таня страшно нуждается. На 35 иен, которые она получает, прокормить мать и отца трудно. Второй день в доме нет хлеба. Сидят в нетопленной квартире. Предлагала ей иену, последнюю, что у меня осталась, — не взяла.

Кедров молча слушал Нину. Она рассказала ему всё, что знала о Тане.

Короткая жизнь Тани мало чем отличалась от жизни её сверстниц — подруг по гимназии.

Родители привезли Таню в Харбин, когда ей было всего лишь семь лет.

Если бы отца Тани, старого мастера-литейщика Лысьвенского завода<sup>1</sup> Николая Николаевича Ламбина, спросили, почему он бежал из России, он бы затруднился с ответом:

— Так уж получилось, что люди бежать стали. Не спокойно было. Белые, красные — кто их разберёт... Того и гляди — под чью-нибудь пулю попадёшь!..

До Харбина Ламбины добрались в двадцатом году, с первой беженской волной, и Николай Николаевич сразу же устроился на работу в механические мастерские КВЖД. Мастер старый, опытный, около сорока лес проработал на заводе, с четырнадцати лет трудится — такому человеку устроиться на дорогу было легко.

Ламбины сняли квартиру в Модягоу и зажили, во всяком случае, значительно лучше многих других беженцев.

Таня была у них одиннадцатым по счёту и теперь единственным оставшимся в живых ребёнком. И старики стремились устроить жизнь дочери так, чтобы она никогда не видела чёрных дней.

По приказу № 94 Ламбин, как эмигрант, бесподданый, был уволен с дороги. Это, однако, не отразилось на его материальном благополучии: старый мастер сразу же получил работу на консервном заводе «Вегедека».

Но чёрные дни для Тани всё же наступили. Когда ей исполнилось тринадцать лет, мать разбил паралич. Всё домашнее хозяйство легло на плечи девочки. Лечение матери стоило больших денег. В дом Ламбина незаметно подкралась нужда. Таня взялась за рукоделие, начала вязать, вышивать на заказ.

Школа, хозяйство, работа... Трудным было для Тани это время, пока она в тридцатом году закончила среднюю школу.

В это время на неё обрушилось ещё одно несчастье: у отца на пальце ноги началась гангрена.

В больнице хирург доктор Серебряков решил:

<sup>1</sup> Лысьвенский завод — большой старинный завод в бывшей Пермской губернии.

— Поражённый палец надо ампутировать немедленно, иначе ваш отец может лишиться ноги.

— Я согласна.

— Идите платите в кассу тридцать рублей, и через час ваш отец будет в безопасности. Операция пустяковая.

Тридцать рублей?.. Где она возьмёт такие деньги, когда на извозчика, чтобы привезти отца в больницу, пришлось занять у соседей сорок копеек?..

Серебряков пожал плечами:

— Ничего не в силах сделать, милая девушка. Одно только могу посоветовать: подайте заявление вправление больницы о бесплатной операции. Больница общественная, благотворительная. Может быть,правление удовлетворит вашу просьбу. И ещё совет — торопитесь. Гангрена обычно прогрессирует очень быстро.

Два дня хлопотала Таня. Наконец, добилась. Правление больницы нашло возможным сделать её отцу операцию бесплатно. А гангрена за это время распространялась всё больше и больше, поразив ногу почти до колена.

Ламбина поместили в больницу, но операцию в этот день не делали: хирург Серебряков отмечал день своего рождения.

И только на следующее утро Ламбина положили на операционный стол, ампутировав ему ногу... выше колена.

Танины чёрные дни ещё больше помрачили. Ни работы, ни денег. А на руках разбитая параличом мать, калека отец.

Жизнь поставила перед девушкой неотложный вопрос:

— Работать, работать... Надо во что бы то ни стало найти работу. Но какую? Куда она сможет устроиться, не имея никакой специальности.

И Таня решила поступить на курсы машинописи. Опять вышивка, вязанье на заказ и учёба.

По окончании курсов Таня была оставлена при них преподавательницей машинописи. Вздохнулось легче. Но через некоторое время курсы закрылись, и для Тани опять наступили долгие месяцы без постоянной работы, пока ей не удалось, наконец, устроиться в «Харбинское Время».

Кедров слушал Нину, не перебивая. У него пробуждалось хорошее, тёплое чувство к незаметной секретарше

главного редактора, прятавшей от него свои заплаканные глаза.

Смутно вставала в памяти другая девушка, тоже с росинками слёз на ресницах — Маруся из «Полермо». Но... какая между ними разница! Та искала лёгкой работы... А эта... Таня... Голодает, а всё же цепляется за жизнь честным трудом.

Вот и ему тоже в первые годы приходилось браться на любых условиях за любую работу, но — честную...

Когда Нина умолкла, Кедров порывисто встал и пошёл в кабинет Сырова.

— Вадим Петрович, вы знаете материальное положение Тани?

— Живёт не роскошно, — шутливо отвечал Сыров.

— Таня с родителями живут впроголодь, — горячо заговорил Кедров. — Надо как-то ей помочь. Ничего нельзя придумать?

— Единственно, что можно придумать, — в том же шутливом тоне отвечал Сыров, — это найти для неё богатого мужа или богатого поклонника. Но из этого, уверяю вас, ничего не выйдет: слишком уж она примитивно скромна.

Кедрова взорвал:

— Вадим Петрович, я говорю с вами серьёзно, а вы гаёрствуете. Таня действительно нуждается в помощи. Может быть, собрать для неё среди сотрудников по подписному листу?

Подписной лист Сыров не разрешил.

Выходя из его кабинета, Кедров принял неожиданное решение — он сам поможет Тане. Узнает в конторе её адрес и съездит к ней домой. Ей самой он ничего не скажет!

Ламбины жили на окраине Модягоу, в небольшой квартире из комнаты с кухней. На стук Кедрова открыл старик с длинной бородой, на костылях. Вместо правой ноги у него торчал короткий обрубок. Это был отец Тани.

Свое посещение Кедров объяснил желанием редакции ознакомиться, как живут её сотрудники.

Пройдя в комнату, Кедров увидел лежавшую на кровати пожилую полную женщину — мать Тани.

Осторожно расспрашивая стариков, Кедров узнал, что нужда уверенно поселилась в этом доме. Плита не топлена второй день — нечем топить.

Через полчаса Кедров опять стучался к Ламбиним.  
На этот раз он привёз большой пакет с продуктами  
и вязанку дров.

— Это от редакции. И потом, вот ещё... Передайте  
Тане...

И он протянул старику 20 иен.

На следующий день, когда Кедров печатал на пишущей машинке очередную информацию, в дверях комнаты сотрудников показалась Таня.

— Николай Георгиевич, можно вас на минутку?

Кедров вышел в коридор.

— Вы... были у нас вчера? — спросила Таня.

— Я? Да... кажется, был,— смущившись, отвечал Кедров.

— И оставили у нас...

— Это всё Таня, от редакции,— перебил её Кедров. — Честное слово. По поручению.... И... извините меня, Таня... Срочная информация. Извините...

И Кедров быстро ушёл в сотрудническую.

Он чувствовал себя неловко за свой порыв. Что если она узнает правду, что сделал он всё это не от редакции, а сам? Узнает и... обидится? Не так поймёт его поступок?..

Поэтому, когда перед концом работы Таня снова попросила Кедрова «на минутку», он выходил в коридор как напроказивший школьник.

— Я всё знаю, Николай Георгиевич, — заговорила Таня, — и хочу вам сказать...

— Таня, честное слово... — заикаясь от охватившего его смущения, начал оправдываться Кедров. — Ну хорошо, всё это я сделал, но не истолкуйте это превратно...

— И я хочу вам сказать, — повторила Таня, — большое, большое спасибо.

В этот вечер Кедров возвращался домой в возбуждённом настроении — Таня на него не обидилась...

Прошло несколько дней.

В субботу Кедров освободился рано и, выйдя из редакции, заметил на углу около автобусной остановки Таню.

— Домой? — подошёл он к ней.

— Да. А вы?

— Я?.. Не знаю, Таня. Дома нечего делать. Пожалуй, поеду-ка я с вами в Модягоу. У меня там старый приятель живёт...

По дороге говорили о работе, о том, что зима началась рано — только ёщё ноябрь, а уже морозы, — о последнем кинофильме. Таня его не видела, и Кедров принялся подробно рассказывать ей сюжет...

На одном из перекрёстков шофёр резко затормозил и выбившийся из-под шляпки Тани локон коснулся щеки Кедрова.

— Ой, извините, — отодвинулась Таня. — Что там случилось?

— Ничего, ничего, — тоже смущённо заговорил Кедров. — Бывает... Кто-нибудь дорогу перебегал. Шофёрам здесь трудно работать. На себе испытал. Пять лет за рулём просидел...

— Вы?..

— Я, Таня. Что вы так удивляетесь?.. Вот и сейчас еду к приятелю шофёру. Когда-то вместе работали.

Пока шли от автобуса до квартиры Тани, Кедров рассказал ей о своих первых годах жизни в Харбине — про работу статистом, извозчиком, музыкантом...

У калитки попрощался. Миша Пономарёв жил дальше.

Засиделся долго. Жена Миши ни за что не отпустила без ужина. Старики, её родители, тоже запротестовали.

Миша всё ёщё был под впечатлением разгона Авто-клуба и горячо доказывал, что при китайцах всё-таки жилось лучше.

— Китайцы — что... — поддержал его тесть. — Китайцы народ не плохой. Работал я с ними, знаю. Человек по пятьдесят ихних рабочих у меня бывало. Японцы эти — другой народ. Себе на уме.

— О-хо-хо... — вздохнула его жена. — Трудно здесь русскому человеку живётся...

Кедров рассказал о Тане. Всё, что он знал о ней со слов Нины Арбениной, что видел сам, когда был у неё в квартире.

— Вот бы вам такую жену, Николай Георгиевич, — загорелась Мишина жена. — Девушка, видать, работящая, не вертихвостка какая-нибудь... С такой не пропадёшь!

— Что вы, Надежда Викторовна? — смутился огнеожиданности Кедров. — Какой я жених. Старик уж. Скоро тридцать шесть стукнет. Смотрите, вон уж седина

пробивается. А Тане года двадцать два, двадцать три — не больше.

— Ну и что же, что тридцать шесть? Эка важность! — поддержала Надежду Викторовну её мать. — Я вот своего Петра Семёновича тоже на двенадцать лет моложе, а ничего — жизнь, слава богу, прожили. Да ещё пятерых детей вырастили.

Миша засмеялся:

— Ну, вот и сосватали! В самом деле, Коля, почему бы тебе не жениться на твоей Тане? А то живёшь бобылём... Ни богу свечка, ни чёрту кочерга. Огарок какой-то...

— Действительно... сосватали! — улыбнулся Кедров. — Но всё-таки должен вас разочаровать — не выйдет это дело. Вот если бы скинуть мне лет десять, тогда...

— И сейчас не поздно, Николай Георгиевич, не поздно, — перебила его Мишина жена.

Возвращаясь от Пономарёвых, Кедров старался убедить себя, что он не придал значения этому разговору. Но дома невольно задумался о Тане и... вздрогнул. Ему показалось, что он чувствует на щеке прикосновение её локона, слышит чуть уловимый запах духов...

Он закурил, утонув в густых клубах табачного дыма, а когда горячий пепел кончавшейся сигареты начал жечь пальцы, бросил её в пепельницу и потушил свет.

Долго лежал на спине, закинув руки за голову. Затем резко повернулся на бок:

— Ерунда. Пустые разговоры.

Но всё же, с этих пор, Кедров стал частым гостем Пономарёвых. Каждый раз, когда удавалось закончить работу раньше, он торопился за Таней к автобусной остановке — всякий раз ему надо было «попроводывать старого друга».

Однажды, когда Кедров прощался с Таней около калитки её дома, пряча от холодного ветра ухо в поднятый воротник пальто, девушка предложила — может быть, он зайдёт к ним обогреться.

В этот вечер Кедров не был у Пономарёвых. Время пролетело незаметно почти до полуночи.

Незатейливое убранство небольшой квартиры Ламбинах грею Кедрова тёплым уютом.

Вышитая дорожка на столе, салфетки, колокольчики и ландыши на белых шторах, этот пепельного цвета пу-

шистый кот, свернувшись клубком на Таниных коленях и мурлыкавший сквозь сон свою воркотливую песню.

— Это всё Танюша вышивает. Рукодельница она у меня, — рассказывала Кедрову Танина мать, показывая на вышивки. — С год этим жили, когда без службы была...

На столе появился самовар — единственное имущество, которое Ламбины удалось вывезти из России.

Историю этой семейной реликвии рассказала Кедрову Таня:

— Меня с мамой папа отправил раньше. Мы проскочили благополучно. А его эшелон красные отрезали. Он до того растерялся, что схватил первое, что попалось под руку — и бежать вместе со всеми. Это первое попавшееся — и был самовар. А со мной приехал мой старый друг. Хотите, я вас с ним познакомлю?

И Таня взяла с комода важно развалившегося там большого плюшевого «мишки».

— Это папа купил мне в год революции. Помню, плыли мы на пароходе по Каме. Там, на какой-то пристани и купил.

Таня задумалась — а потом, взглянув на Кедрова, сказала:

— Вот у меня в паспорте написано «российская эмигрантка». А какая же я эмигрантка, если меня родители привезли сюда ребёнком? Разве я бежала из России?

— А у вас, Таня, сохранилась в памяти Россия? — спросил Кедров.

— Как вам сказать?.. Помню — очень смутно. Но, вы знаете, — если бы у меня были крылья, я бы улетела туда не задумываясь.

— А вот у меня, Таня, вырастали эти крылья... Вернее, была возможность вернуться в Россию, да я, дурак, этой возможностью не воспользовался...

И Кедров рассказал девушке об отъезде своих друзей.

— А я бы не задумалась, — опять повторила Таня.

С этого вечера Кедров редко бывал у Пономарёвых, хотя «попроведывать старого друга» садился в автобус с Таней почти каждый вечер.

Он проводил у Ламбины все свободные вечера, слушая рассказы Таниной матери о детских проказах дочери, помогал Тане распускать мотки шерсти: вечерами девуш-

ка подолгу вязала и вышивала на заказ — зарплаты в «Харбинском Времени» на жизнь не хватало.

И чувствовал Кедров, что для него сделалось уже потребностью быть постоянно около Тани, слышать её голос, нежный смех, проводить с ней так вечера, делясь с нею сокровенными думами.

Кедров много рассказывал о себе, о друзьях, об интересных случаях газетной работы, о людях, с которыми его эта работа сталкивала.

Таня вспоминала свои школьные годы, рассказывала про шалости в классе, о том, какие прозвища они давали учителям.

Незаметно летели часы, и Кедров спохватывался, когда спицы останавливались, и Таня, отложив вязанье, говорила:

— Ну вот, на сегодня довольно.

Он брался за шапку. Уходить не хотелось. Но — время уже одиннадцать, Таня и так устала.

Иногда в хорошую погоду Кедров предлагал Тане поехать утром до работы на левый берег Сунгари кататься на санках с ледяной горки.

По ледяной дорожке через Сунгари быстро скользят санки. Русские называют их «толкай-толкай». Кедров бережно обнимает Таню за талию, чтобы она не выпала из санок на крутых поворотах. Позади их — возница китаец. Стоя, он отталкивается от льда длинным шестом с железным наконечником. Отсюда и название санок «толкай-толкай».

Таня полуобернулась к Кедрову, пряча лицо в воротник шубки. Ресницы запуршило морозным инеем.

Кедров чувствует её дыхание, и по его телу разливается чувство нежности к этой доверчиво прижавшейся к его плечу девушке:

— Всю бы жизнь так!..

За Сунгари катаются с горки, обедают в «Стоп-Сигнале»<sup>1</sup> и — в редакцию, работать.

Кедров видел, что Ламбиным живётся трудно. Он несколько раз порывался предложить Тане свою помощь, но каждый раз его останавливалась мысль — девушка может истолковать это превратно.

<sup>1</sup> «Стоп-Сигнал» — название загородного ресторана.

Однажды он всё-таки осторожно заговорил об этом, но Таня коротко ответила:

— Нет. Этого я вам не позволю.

— Но, Таня, — попытался настаивать Кедров, — у вас же не хватает до получки. Возьмите взаймы.

Таня не соглашалась и на «взаймы».

— Нет, нет, что вы... Я и так вам должна. Помните, когда вы приезжали к нам «от редакции».

Единственно, что Таня иногда разрешала Кедрову, и то очень редко, — это заходить с ней в гастрономический магазин и покупать что-нибудь к ужину.

Но это бывало только после упорных уговоров Кедрова:

— Я же у вас бываю, вы меня угощаете. Почему я не могу сделать то же самое?

В последних числах декабря они с Таней долго ходили по базару — готовились к встрече Нового года.

В новогодний вечер вместе украшали ёлку.

Когда навешивали бусы, Кедров задержал в своей руке тонкую руку Тани и сказал, наконец, то, что рвалось у него с языка уже несколько недель:

— Таня, что бы вы сказали, если бы... если бы я тоже сказал... Сказал бы вам так: давайте украшать ёлку вместе каждый год... Всегда вместе... Всю жизнь...

Лицо Тани вспыхнуло румянцем смущения:

— Я не... не совсем поняла...

— Но, Таня, что же тут непонятного, — торопливо заговорил Кедров, не отпуская её руки. — Неужели вы не понимаете... не видите, что я... что я люблю вас, Таня!

Он притянул её к себе, обнял и робко прикоснулся губами к её щеке: Таня не отстранилась.

В эту новогоднюю ночь в квартире Ламбинах звенели бокалы за Новый год и за новую жизнь, которая открывалась перед Таней и Кедровым.

#### 40. СТАРАЯ ГВАРДИЯ УМИРАЕТ, НО НЕ СДАЁТСЯ

Со свадьбой решили не задерживаться, но после Нового года, когда Харбин шумно заканчивал праздновать Рождество, как раз в день рождения Тани, умерла её мать. Таня надела траур. Свадьбу пришлось отложить.

Кедров каждый день торопился закончить работу

к уходу из редакции Тани и провожал её домой. Тем более, что японцы начинали вести себя в городе всё развязнее и развязнее. Участились хулиганства японских военных. Газетная хроника происшествий запестрела фактами избиения обывателей неизвестными хулиганами, и обыватель догадывался, кто были эти «неизвестные».

Однажды возвращаясь, от Тани, Кедров подошёл к стоявшей на углу и поджидавшей пассажиров биржевой машине. Шофером оказался Гриша Шишкин.

— Куда? На Пристань? — раскрыл он дверцу. — Сядь на заднее сиденье. Рядом со мной место занято. Японата катаю!..

— Какого японата? — спросил Кедров, садясь в машину.

— А вот — видишь? — кивнул Гриша на сидевшего рядом с ним японца. — Остановил меня, в Новый, мол, Город, скорее... Повёз. По дороге другие пассажиры останавливают — не беру. Привёз к Чурину, а он мне гравенник сует. Я ему толмачу — иену, мол, следует... А он что-то орать по-своему начинает. Ну, сгреб я его за шкирку и обратно в машину. Часа два катаю, вымогаю... Градусов тридцать сейчас, наверное, есть...

Японец был в шляпе, в демисезонном пальто. Он сидел съёжившись и отбивал дробь ногами в полуботинках...

— Отвезти его за город и выкинуть к чёртовой матери. Пусть оттуда пешком скакет! — шутливо предложил Кедров.

— Дело! Для такой потехи бензина не пожалею. Увезу его за Чинхэ. Поможешь?

Кедров согласился:

— С удовольствием.

Через полчаса машина оставила позади себя последние домики Чинхэ и вышла в открытое поле.

— Ну, анатá<sup>1</sup> приехали, выгружайся, — остановив машину, взял Гриша за шиворот японца. Тот что-то оживленно заговорил.

— Что он лопочет, не пойму, — взглянул Гриша на Кедрова. — Ты понимаешь?

Кедров перевёл:

<sup>1</sup> Анатá (по-японски) — вы. Так обращались к японцам русские эмигранты в Маньчжурии.

— Предлагает заплатить пять иен — только, чтобы ты увёз его в Новый Город.

— Ага! — засмеялся Шишкин. — По другому заговорил. Но, брат, не выйдет! — И он поволок японца в сторону от машины.

— Теперь получи от меня. По-русски. За Павла Ивановича.

От сильного тумака по шее японец кубарем полетел на мёрзлую землю.

— Давай скорей к машине, — заторопил Кедрова Гриша. — Пока он не очухался да номера машины не заметил...

Подобных случаев было не мало.

Пятая национальность — лучшая её часть — отстаивала свои права.

В газете Кедров ещё раз попытался вести «свою линию».

Он уговорил Сырова начать с Нового года печатать краткие сообщения о зарубежной жизни под общим заголовком «Вести из-за границы».

В эти «вести» Кедров среди коротких заметок о жизни европейских и американских стран вкрапливал — тоже короткие, сухого информационного характера — заметки о росте СССР, о творческой работе советского народа. Центральные советские газеты и журналы давали ему для этого богатый материал.

В конце января Кедрова вызвали в военную миссию. Вызывал сам начальник. Значит, вопрос был серьёзным.

Начальник миссии, — невысокого роста, плотный японец, с петлицами полковника, — принял Кедрова в своём кабинете. Он сухо встретил его и молча показал на стул. Кедров сел.

Полковник некоторое время продолжал молчать, пристально смотря на Кедрова и постукивая пальцами по столу. Наконец, он заговорил через переводчика. Это ещё больше заставило Кедрова насторожиться.

— Я хочу знать, почему господин Кедров ведёт в газете советскую пропаганду?

— То-есть, как так? Почему господин полковник так думает? — удивился Кедров.

— А вот! — И начальник миссии показал ему на подборанный комплект «Харбинского Времени», где красным карандашом были отмечены все заметки о Советском Союзе.

Стараясь говорить короче, понятнее, Кедров стал объяснять, что жизнь Советского Союза он освещает наряду с жизнью других стран и поэтому не понимает, почему господин полковник усматривает в этом пропаганду.

— Ваши читатели, главным образом, российские эмигранты, и ваша задача — укреплять и развивать в них антисоветские настроения, — разъяснил начальник миссии. Поэтому, вы должны критиковать СССР, а не повторять пропаганду советских газет о каких-то там фантастических достижениях. Понятно?

Кедров понял: его «своя линия» снова сорвалась. Пытаться дальше вести работу в том же духе было бессмысленно и не безопасно.

Выходя из миссии, Кедров невольно вспомнил то, о чём под большим секретом говорил ему недавно Петя Скованов, один из работников З-го отдела бюро. Кедров жил с ним в одном доме и часто выручал его, давая взаймы небольшую сумму денег, которых у Скованова от получки до получки никогда не хватало.

По словам Скованова, в З-ем отделе имелось досье Кедрова: третий отдел характеризовал его:

«Взгляды либеральные. До депатриации советских железнодорожников вёл близкое знакомство с рабочими механических мастерских. В своей газетной работе придерживается направления, идущего в разрез с японской политикой».

Скованов дружески предупреждал:

— Будьте осмотрительны, Николай Георгиевич. У нас в отделе поговаривают, что миссия установила за вами негласное наблюдение.

Шагая по Большому проспекту, Кедров думал о словах начальника миссии — «развивать антисоветские настроения российских эмигрантов»...

— Откровенно высказался японец! Советская Россия стоит ему поперёк горла... Ну нет! Довольно с меня... Хватит... Надо уходить из газеты и вообще уезжать из Харбина...

Задумался о Тане:

— Уйти, конечно, просто... Уехать тоже. На первое время денег хватит. А потом? Что будет потом, если долго не удастся найти работу? Правда, годы эмиграции научили его бороться за жизнь, но тогда он был один. А теперь

Таня, её отец... Согласится ли она терпеть с ним возможные лишения?..

Таня выходила на работу в четыре часа дня. Ждать до этого времени было невозможно. Кедрову нетерпелось поговорить с ней сейчас, немедленно.

Дойдя до Чурина, он даже не стал ждать автобуса, а взял машину и поехал в Модягоу.

— Ты пойми, Таня,— говорил он девушке, нервно комкая в пепельнице недокуренную сигарету,— как можно так дальше работать?! Писать по указке японцев — это значит входить в сделку со своей совестью. Этого делать я не могу, Таня. Пойми — не могу!.. Вот хотя бы взять этот случай с «Автоклубом». Перед тем, как написать об этом вопиющем безобразии, приезжаю я к начальнику бюро, рассказываю ему обо всём, прошу оказать содействие, защитить интересы русских людей, и знаешь, что он?!. Беспомощно развел руками и сказал: «Нет слов, случай неприятный, но что я могу сделать? Указание военной миссии. Тут спорить не приходится». Тогда я спросил его, для чего же, собственно говоря, существует бюро эмигрантов, и этот японский прихвостень авторитетно разъяснил мне, что бюро — это административный орган, созданный в помощь военной миссии, и поэтому всё, что миссия прикажет, то бюро и выполняет. Как это тебе, Таня, нравится?

— Мне это тоже не нравится,— помолчав, проговорила Таня.— А ещё больше не нравится мне твой сегодняшний вызов в миссию. Японцы народ зловредный, от них можно ожидать всякой пакости.

— Вам, ребятки, надо обоим подыскивать другую работу,— вмешался отец Тани.— Я уж ей про это как-то говорил. Подальше от этих... Спокойнее.

— Я тоже подумываю об этом, Николай Николаевич,— оживлённо заговорил Кедров.— Думаю даже — не лучше ли вообще уехать куда-нибудь из Харбина... Но... как Таня на это посмотрит.

— Одного не отпущу,— засмеялась Таня.

— Да я один и не собираюсь. Вместе. Вот только, если сразу не удастся куда-нибудь устроиться, может быть, первое время придётся туговато.

— Я тоже сложа руки сидеть не собираюсь, Коля,— успокоила его Таня.— Папа пока останется у Лизы. Ты ведь её знаешь — моя двоюродная сестра. А потом, когда устроимся, выпишем его к себе.

Январь был для Харбина огромным, небывалым до сих пор в истории города культурным праздником. Приехал Шаляпин. Были анонсированы три его концерта.

Около театральной кассы — не протолкнуться, но визитная карточка сотрудника газеты имела своё магическое значение, и Кедрову удалось без особого труда достать билеты на все шаляпинские концерты для себя, Тани и для Пономарёвых.

До начала концерта полчаса. Но все полторы тысячи мест театра «Америкен» уже заняты публикой. В партере, в ложах, на балконе — приглушенный говор празднично принарядившихся харбинцев.

Стрелки часов около сцены подходят к восьми. Перед занавесом вспыхивает рампа. Зал напряжённо затихает. Кедров чувствует, как по его телу пробегает нервная дрожь. Он наклоняется к Тане, шепчет:

— Сейчас услышим «его»...

Ровно восемь. В зале постепенно гаснет свет. Медленно расползается по сторонам тяжёлый занавес. На сцене рояль.

И вот... Словно штормовой прибой, плеснулся о стены театра оглушительный взрыв аплодисментов. Весь зал, стоя, долго не смолкавшими овациями встречал появившегося на сцене великого артиста. Шаляпин! А около него росла гора букетов живых цветов.

— Шаляпин! Ура! Шаляпин! — перекатывались по залу восторженные крики.

Кедров с Таней сидели в первых рядах партера, и он ясно различал каждую чёрточку этого знакомого по фотографиям лица.

— Постарел! — наклонился опять он к Тане. — Но... Всё тот же. Какое у него лицо!.. И мы с тобой видим его, и сейчас услышим... Шаляпина услышим!..

За весь десяток лет своего существования театр «Америкен» едва ли слышал столько аплодисментов, сколько он услышал их за два часа шаляпинского концерта.

Когда ехали домой все вместе, Миша молчал.

— Ну как, понравилось? — обернулся к Мише Кедров, — как обычно, он сидел рядом с шофером.

— Что? А — да... Понравилось, говоришь? Понравилось — это слабо сказано. Хорошо! Исключительно хорошо!

— Как он поёт! — восторженно заметила Таня.

— Я в антракте разговаривал с Василием Ивановичем Ивановым,— проговорил Кедров.— Он слышал Шаляпина ещё в России, до революции. Говорит — голос уже не тот, что раньше. Но всё равно, пусть даже не тот,— передаёт он так, что за душу хватает.

— Я даже всплакнула немного,—смущённо сказала Надежда Викторовна.— И не оттого, что песни жалостные, а... Я не знаю, как это выразить, но увидела Шаляпина и Россию почувствовала. Наш ведь он, русский... А мировая знаменитость!..

— Его Горький выкопал,— вспомнил Кедров,— в народной сокровищнице талантов...

Первые два концерта Шаляпина восторженно описывались харбинскими газетами.

Но затем отношение «Харбинского Времени» к Шаляпину резко изменилось.

Случилось это так. После второго концерта к Шаляпину приехал Сыров и попросил:

— Не сможете ли, Фёдор Иванович, устроить концерт по удешевлённым ценам для русских школьников? Русская общественность Харбина хочет, чтобы у русских детей осталось в памяти, что они видели и слышали Шаляпина...

— Вы просите от имени общественности? — спросил Шаляпин.

— Да. Представители общественности уполномочили меня, как редактора газеты «Харбинское Время».

— Так...— поднялся со стула Шаляпин.— Вот что, господин редактор... Я в вашем Харбине не больше недели, но кое-что уже слышал о вашей общественности. Вы, общественность, устраиваете благотворительные вечера, балы, приглашаете на них ваших артистов выступать бесплатно. Они идут. Не могут отказаться, потому что иначе все ваши газеты похоронят их заживо. В благодарность за это общественность забывает накормить их ужином и отправить домой на машине. Ваша общественность вообще не считает, что артист тоже хочет жить—одеваться, кормиться... Если ваша общественность желает, чтобы я пел для её детей,— пусть оплатит мой концерт полностью. А распространять билеты она может, как ей вздумается: по удешевлённым ценам или даже совсем бесплатно... И я вас больше не задерживаю.

После третьего, последнего концерта Шаляпина пуб-

лика прощалась с ним бурными, долго не смолкавшими овациями.

А на следующее утро в «Харбинском Времени» на последней странице, внизу, появилась короткая, набранная петитом заметка:

«Вчера, в театре «Америкен», с очередным концертом выступал Шаляпин».

И только. Больше ни слова. Зато на той же странице, под крупным заголовком, была напечатана подробная рецензия о концерте харбинского певца Шеманского, выступавшего в одном из театров около недели назад. «Харбинское Время» в каждом абзаце всех трёх колонок рецензии писала об «исключительном таланте» этого незаметного певца. Сыров мстил Шаляпину за его откровенный взгляд на харбинскую общественность.

Выстрел «Харбинского Времени» оказался холостым. Больше того, он произвёл совсем другое впечатление, чем ожидал Сыров. Всюду, куда бы приходил Кедров в этот день, во всех учреждениях,— его встречали одним и тем же вопросом:

— Читали, какую гадость хотела сегодня устроить Шаляпину ваша газета?

Многие добавляли:

— Этим Шаляпина не унизишь. Скорее наоборот. Что можно писать о великом артисте, которого знает весь мир? «Выступал Шаляпин...» Этим всё сказано. Лучше того, что писали о Шаляпине газеты всего мира десятки лет, «Харбинское Время» всё равно не напишет...

Вечером Кедров пытался поговорить с Сыровым об этом выпаде «Харбинского Времени», но тот коротко отрезал:

— Надо сбить с него спесь!

— Вы знаете, Вадим Петрович, на что это похоже?— вскинул Кедров.— Это похоже... «Пускай моё ослинное копыто знает!».

И, резко повернувшись, Кедров вышел из редакторского кабинета, громко хлопнув дверью.

Через несколько дней на перроне харбинского вокзала невозможно было прятнуться.

Русский Харбин сердечно провожал Шаляпина, уезжавшего на южном поезде.

В начале февраля Кедров и Таня ушли из «Харбинского Времени». Решили уехать на юг. Выбрали — Даль-

ний. Почему именно Дальний — они и сами не знали. Им обоим хотелось только одного — как можно дальше от Харбина. Вон, прочь из этого города, где людям становилось трудно дышать! Кроме того, Дальний — портовый город, и Кедрову казалось, что там можно легче и скорее найти работу.

Перед отъездом скромно отпраздновали свадьбу. Посажёным отцом и матерью Кедров пригласил родителей Мишиной жены.

За свадебным ужином, подвыпивший Гриша Шишкин отбил вилкой ножку у рюмки.

— Гриша! — всплеснула руками его жена. — Ты что это баянишь?..

— Ну, ну, не ворчи, — остановил её Гриша. — Это я на счастье. Примета такая.

На следующий день южный поезд увозил Кедровых из Харбина.

Первые несколько часов Кедров с Таней не отрывались от окна вагона, рассматривая уходящие к горизонту широкие маньчжурские просторы, попадавшиеся по пути китайские посёлки, пашни.

Однако, однообразный пейзаж утомлял. Достали книги, углубились в чтение. Перелистнув страницу, Кедров взглянул на Таню и заметил, что она улыбается.

— Что? Что-нибудь смешное прочитала?

— Нет. Просто подумала о нас с тобой.

— Да? И...

— Мы с тобой, как бывало прежде у богатых, после свадьбы совершаляем свадебное путешествие, едем к морю.

— Я бы хотел, Таня, чтобы это путешествие продолжалось не сутки, как наше, а недели полторы-две, и чтобы ехали мы в другую сторону.

— В какую другую? — не поняла Таня.

— В Россию. Эх, Таня, как я жалею, что не уехал со Степаном Кузьмичом! Помнишь, я тебе о нём рассказывал?

— Жалеешь?

— Очень!

— Честное слово?

— Честнее честного.

Таня шутливо нахмурилась:

— Очень печально, что ты об этом жалеешь. Быстро пожалел!

— То-есть, как это? Я тебя не понимаю.

Таня пояснила:

— Если бы ты тогда уехал, ты бы на мне не женился. Призови на помощь логику и пойми: ты жалеешь, что не уехал, значит,—жалеешь, что на мне женился. Вот тебе за это!..

И Таня, смеясь, взъерошила Кедрову его густую шевелюру. Сидевшие напротив две японки, улыбаясь, смотрели на расшалившуюся Таню.

Кедров привычным жестом закинул назад растрепанные волосы и заговорил:

— А вот насчёт свадебного путешествия... Конечно, наше путешествие не свадебное. Мы едем к морю не прожигать жизнь, как это делают толстосумы, а брать жизнь за рога. Едем, собственно говоря, в неизвестность, искать работу. Но, тем не менее, мы всё же богатые люди.

— Мы? — удивлённо взглянула на мужа Таня.

— Конечно. По-настоящему богат не тот, у кого полные карманы денег. Такое богатство относительно. Богат действительно тот, у кого здоровая голова на плечах. А у нас с тобой таких голов две.

— Как-то нам удастся устроиться в Дальнем? — задумчиво проговорила Таня.

Кедров, прикуривая, сломал несколько спичек. Это у него случалось всегда, когда он или волновался, или, чем-нибудь обеспокоенный, пытался это скрыть.

Раскурив, наконец, сигарету, он заговорил:

— Да... Правда, я уверен в своих силах, но первое время, возможно, придётся трудновато. Однако всё же, я безгранично счастлив. Счастлив, во-первых, тем, что ты со мной. Во-вторых, тем, что мы вырвались из харбинской зловонной мутти. Конечно, в Дальнем тоже японцы, но постараемся там держаться от них подальше.

В Мукдене поезд стоял полчаса. Выйдя на перрон, Кедров заметил знакомое лицо: Степан?.. Дружинин?.. Не может быть! Хотя, впрочем, в эмиграции всё может быть. И, конечно, этот русский носильщик — его бывший однокашник по военному училищу, мобилизованный тогда в белую армию с третьего курса университета.

— Степан! — нерешительно окликнул Кедров носильщика. — Ты?

Дружинин сразу узнал Кедрова.

— Коля! — радостно кинулся он к нему. — Вот неожи-

данная встреча! Сколько... лет семнадцать не виделись!..

Разговорились. Дружинину в жизни не везло. Попав в 1923 году в Мукден, он долго был без работы, затем служил сторожем на угольном складе, и последние несколько лет работал на вокзале носильщиком.

— Мечтаю уехать на родину,— говорил Дружинин.— Только трудно это сделать. Япошки здесь следят за каждым нашим шагом. Пойдёшь в советское консульство, начнёшь хлопотать, а тебя сразу же по выходе оттуда японские жандармы зацепают. И доказывай потом, что ты не советский шпион. Они здесь помешаны на этом...

Кедров вкратце рассказал о себе. Дружинин одобрительно кивал головой:

— Правильно! Старая гвардия умирает, но не сдаётся! С японцами нам не по пути. Наделали глупостей по молодости лет, бежали за границу. Теперь надо свою ошибку исправлять...

Зазвенел звонок к отходу поезда. Пожав другу руку, Кедров вскоцил на площадку вагона.

За Мукденом начинались горы Южной Маньчжурии. Поезд миновал Ляоян и подходил к Квантунскому полуострову.

— Таня, смотри — море! — подозвал Кедров к окну вагона жену.

В расступившихся горах открылась упиравшаяся в горизонт голубая морская гладь.

Таня, прижавшись к плечу Кедрова, восторженно смотрела в окно:

— Какая красота! Правда, Коля? Я первый раз в жизни вижу море.

— А теперь ты будешь жить у моря,— говорил, обнимая её, Кедров.— Ничего, проживём. Старая гвардия умирает, но не сдаётся. Вот и мы с тобой... не сдались и не сдадимся.

— Я хотела бы иначе,— отозвалась Таня.— Не сдаться, но и не умереть!

— А это ещё лучше,— согласился Кедров.— Мы как уцепившийся корнями в землю бурелом, о котором как-то говорил один мой приятель. Наши корни прочно вросли в землю, и скоро мы зазеленеем.

В Дальнем Кедровы поселились в гостинице в дачном пригороде — Хошигаура.

Отдохнув несколько дней, Кедров приступил к поиску работы.

Он обошёл все конторы, хорошо изучил весь город, но даже намёка на постоянную работу не было. Приходилось, как в первые годы эмиграции, браться за любую работу на любых условиях.

Как-то раз в одной из контор Кедрова спросили — не знает ли он, кто бы смог отремонтировать пишущую машинку.

— Я могу, — незадумываясь, отвечал он — и это положило начало его постоянной работе. Он обошёл все конторы и предложил свои услуги по ремонту и чистке пишущих машинок.

Через месяц у Кедрова уже были заняты этой работой все дни.

Старая гвардия не сдавалась и не умирала.

Летели месяцы. В январе 1937 года у Кедровых родился сын. Радости молодых супругов не было предела. Сам Кедров всё свободное время проводил около смуглого, как две капли воды похожего на него, малыша и ловил каждое его движение.

— Агу! — прищёлкивал он языком малютке. — Так, так... Хватай мой палец... Таня, Таня, смотри, как уцепился, не разожмёшь ручонку... Добрый казак будет!

— Ты оставь пока его, Коля, — беспокоилась Таня. — Он спать хочет. Я его сейчас покормлю...

К этому времени Кедровы переехали из гостиницы в небольшую квартиру. При доме был маленький участок земли, на котором Кедров разбил огород в несколько грядок.

Рождение сына и приезд из Харбина отца Тани увеличили расходы, и Кедров напрягал все силы, чтобы обеспечить семью. Кроме ремонта пишущих машинок, он брал в магазинах на комиссию сыр, масло, конфеты и продавал их, разнося по домам. Возвращаясь вечером домой, он помогал жене купать сына и играл с ним, пока Таня решительно не начинала протестовать:

— Не мешай Коленъке спать!

Маленький, спелёнатый Коля переходил на руки матери и мирно засыпал.

Только осенью 1938 года Кедрову удалось получить постоянную работу. Он устроился преподавателем в дальневосточную русскую эмигрантскую среднюю школу.

## 41. СВОЯ ЛИНИЯ

Среди гор вьётся лентой залитое асфальтом шоссе. Это — южная дорога из Дальнего в Порт-Артур.

Рано утром 7 июня на шоссе выехала из Дальнего кавалькада велосипедистов — школьников дальнинской русской эмигрантской средней школы.

С ними, впереди, учитель — Кедров. У всех на задниках велосипедов приторочены небольшие вещевые мешки с продуктами и одеяла. Едут в Порт-Артур с ночевой.

Всё шоссе обсажено акацией. Она сейчас в полном цвету. Свежий утренний воздух насыщен нежным ароматом её белоснежных цветов.

— Как наша черёмуха пахнет,—жадно вдыхает Кедров запах акации, и ему невольно вспоминается большой куст черёмухи, который рос в саду у бабушки. Это было в далёком детстве. Бабушка никому не позволяла лазить на этот куст. Она холила его для любимого внука, для Коленьки, для него, для Кедрова...

Отряд велосипедистов замыкает один из старших учеников с сигнальным горном. Предосторожность не лишняя. Проехали не больше десяти километров, как до слуха Кедрова долетают медные звуки горна.

Кедров спрыгивает с велосипеда и смотрит назад:

— Что случилось?

Позади несколько ребят возятся около велосипеда.

— Юрка Фуранов на гвоздь напоролся, шину проколол, — говорит один из них подошедшему с остальными ребятами Кедрову.

— Давайте поскорее починяйте, — торопит их Кедров, и, перепрыгнув через канаву около шоссе, растягивается на траве.

Хорошо здесь. Горы поросли клёном и низкорослым дубняком. Кое-где, в небольших лощинах — мелкие китайские посёлки в несколько дворов. Дома, ограда вокруг них — всё сложено из рваного камня или слеплено из глины. Поля небольшие, возделывать их трудно — почва каменистая, и всю землю на полях китайцы-крестьяне просеивают. Перед каждым посевом удобрение обязательно, иначе на всходы рассчитывать не приходится. Необходима и обильная подкормка всходов. Без этого — не жди урожая.

«Какая здесь, на Квантуне, худосочная земля, — думает Кедров, обмахиваясь, как веером, сорванной веткой акации.— Квантуский полуостров вулканического происхождения. Где-то около Дальнего есть река лавы. Надо будет съездить туда с ребятами...»

Кедров любит своих питомцев и проводит с ними много времени. Походы, игры... Недавно он научил ребят играть в русскую лапту, и эта игра начала вытеснять в школе американский бейсболл.

— Николай Георгиевич, готово!— выводит его из раздумья голос с шоссе.

Кедров поднимается с травы:

— Поехали!

На полдороге к Порт-Артуру шоссе вырывается из гор к морю и на расстоянии двух-трёх километров идёт вдоль берега.

Кедров поднимает руку и спрыгивает с велосипеда:

— Стоп! Привал. Купаться.

Ребята сводят велосипеды с шоссе к морю и, быстро раздевшись, бросаются в воду. Эхо окрестных гор вторит им весёлому смеху.

Выкупавшись, ребята начинают возню на песке и потом ещё раз бегут в море...

Но, однако, пора в путь.

— Труби, Алёша, сбор,— говорит Кедров горнисту и начинает одеваться.

Перед Порт-Артуром, на перевале высокой горы, шоссе зарывается в длинный тоннель. Сразу же при выходе из него открывается панорама Порт-Артура. Сверкает зеркальная гладь бухты «Золотой Рог» с узким горлом выхода в море.

Кедров уже несколько раз ездил в Порт-Артур по этой дороге, но каждый раз останавливался на этом месте, любясь красивой панорамой города-героя.

Ясно видны Электрический утёс, Тигровый, Перепелиная гора, Высокая... Здесь каждая пядь земли омыта русской кровью...

Отряд быстро скатывается по крутым склону и въезжает в город.

Останавливаются на русском военном кладбище. Это и есть конечный пункт поездки. Место ночлега.

Голоса ребят нарушают тишину места упокоения доблестных защитников Порт-Артура.

Пообедав, ребята с Кедровым опять садятся на велосипеды и едут по фортам.

Дольше всего задерживаются на форту номер два и снимают фуражки перед памятником генералу Кондратенко.

— Николай Георгиевич! Как убит был Кондратенко? — спрашивает Кедрова один из ребят.

Кедров садится со своими питомцами около памятника и рассказывает им всё, что сам знает о героической обороне Порт-Артура.

Не спуская пытливых глаз с Кедрова, ребята ловили каждое слово его рассказа о захватнической политике царской России, вызвавшей русско-японскую войну, начавшуюся предательским нападением японцев на русские корабли в Порт-Артуре, о героической обороне крепости русскими солдатами и рядовыми офицерами.

— О том, как геройски русские люди обороны Порт-Артур, можно, ребята, судить по показаниям последнего коменданта горы Высокой, которые он дал на военном суде над сдавшими крепость генералами. «Японцы,— рассказывал суду этот поручик,— непрерывными волнами штурмовали Высокую. Когда у нас не осталось ни одного патрона, мы отбивались камнями. Когда японцы бросились в штыки, мы встретили их последнюю атаку. Но они подавили нас численностью, и нам пришлось отойти». — «Какой численности был в этот момент гарнизон Высокой?» — спросил прокурор. Поручик ответил: «Три четвёйки. Я и двое раненых в этом штыковом бою солдат». Вот видите, ребята, как дрались русские герои. И если бы не предатели-генералы, Порт-Артур никогда не был бы сдан. В то время, когда его защитники уверенно готовились к отражению новых атак японцев, адъютант Стесселя, с парламентёрским флагом скакал в штаб японцев, везя согласие коменданта на сдачу.

— Гад! — вырвалось у одного из ребят. — Я бы его...

Кедров остановил на говорившем тёплый взгляд и продолжал:

— Но были в Порт-Артуре и два честных русских генерала. Они погибли...

На следующее утро на кладбище стали подъезжать русские дальнинцы. В этот день, 8 июня, на порт-артурском военном кладбище служилась панихида по всем убитым защитникам крепости.

Приехала Таня с сыпом. Маленькому Коле было два с половиной года.

— Где папа? Где наш папа? — вела Таня к Кедрову сына. Мальчик увидел его и быстрее затопал ножками. Кедров подхватил его на руки и пошёл с женой по кладбищу.

— Смотри, парнище, глазками. Впитывай в себя всё. Вырастешь — добрый казак будешь! — наговаривал он сыну, глядя его голову.

После панихиды пили чай. Кедров с женой и сыном подсели к своим питомцам.

— Памятник-то какой японцы нашим здесь поставили. видели? — говорил один из ребят. — Уважают храбрость врагов. Верно, Николай Георгиевич?

— Не совсем так, — обдумывая слова, отвечал Кедров. — Не совсем так. Во-первых, написанное на памятнике количество убитых русских солдат и офицеров значительно превышает действительность. Значит, этим памятником японцы не столько чтят русских героев, сколько восхваляют себя. Во-вторых, памятник имеет воспитательное значение для японской армии. Японское правительство, поставив памятник русским, тем самым говорит своим солдатам: «Вот, мол, как мы чтим храбрость, даже храбрость врагов. Поэтому, умирайте, дескать, не задумываясь, за императора, и мы вас тоже почтим, ещё даже больше и лучше»...

После полудня кладбище опустело до 8 июня следующего года.

Дежурство в школьном интернате... Закончено ужин. Ребята собираются около Кедрова.

— Николай Георгиевич! Расскажите что-нибудь...

И Кедров неизменно начинает говорить о России, о её великих людях.

А однажды, в начале учебного года, когда из школьной библиотеки были выданы выпускному классу учебники, сданные окончившими школу и уже разъехавшимися по домам трёхречеными, — на многих книгах были обнаружены «зловредные» надписи:

«Да здравствует Советская Россия!»

«Да здравствует наша Родина!».

Скандал для эмигрантской школы получился большой.

Директору школы пришлось долго и упорно кланяться

перед начальником военной миссии, чтобы остаться на своём посту.

На педсовете Кедров тоже старательно «недоумевал»:  
— Кто бы это мог привить этим шалопаям такие идеи?..

## 42. ВОЙНА!

Незаметно летели дни, проходили месяцы. Каждую новогоднюю ночь молодой Новый год занимал место прошедшего, состарившегося в заботах о неполадках на земле: на востоке японцы стремились захватить Китай и дважды пытались нападать на Советский Союз — на Хасане и под Халхин-Голом; на западе немецкие фашисты прибирали к своим рукам Европу.

Эти заботы уходивших в вечность лет проходили мимо Кедровых. Они жили своей жизнью — тихой, спокойной, своими заботами о детях: в апреле сорок первого года в их небольшой квартире появилась вторая детская кроватка — родилась дочка Оля.

Коля и Оля... Мальчик и девочка... Это было как раз то, о чём они мечтали.

Работа в школе удовлетворяла Кедрова. Он был доволен, что из русских детей ему удаётся воспитывать русских людей. Во время походов, экскурсий, в минуты отдыха на школьной спортивной площадке, в часы дежурств в школьном интернате он много рассказывал ребятам о России — всё, что видел сам и знал из книг. Свежо сохранив в памяти всё, что, работая в «Харбинском Времени», читал в советских газетах и журналах, говорил ребятам о Советской России...

Дома, делясь этим с Таней, он не упускал случая сказать:

— Придёт время, встречусь с Кузьмичом, успокою друга — не без пользы, мол, здесь жизнь прожил!

Лето сорок первого года выдалось особенно знойным. Давно отцвели сакура,<sup>1</sup> глициния, акация. Дождей не было, хотя по утрам иногда и нависали густые туманы.

В школе летние каникулы. Кедров с Таней и детьми все дни проводили у моря.

<sup>1</sup> Сакура — дикая японская вишня.

Иногда они располагались пикником в парке под ветвистыми сакура. Укрывшись с Олей в тени, Таня читала или вязала, а сам Кедров забавлялся с Колей, гоняя с ним на лужайке большой мяч.

В один из таких дней, во второй половине июня, Кедров уловил разговор сидевших неподалёку японцев. Заставило прислушаться слово «война».

Гитлер начал войну с Советским Союзом.

— Таня! — возбуждённо проговорил он. — Война... Германии с Россией...

Взглянул на часы — без десяти четыре. Последние известия из Токио в четыре.

— Я побегу, Таня, домой, слушать радио. Ты оставайся, я потом за тобой приду.

Но Таня тоже стала собираться.

— А как коляска с Олей? Докатишь одна? — забеспокоился Кедров.

— Конечно, тут же недалёко. В крайнем случае Коленька поможет. Он у нас сильный. Правда, сынок?..

От парка до квартиры Кедровых метров триста, не больше, и через несколько минут Кедров уже сидел около радиоприёмника.

Передача известий началась сообщениями о «сокрушительном ударе» Гитлера по Советскому Союзу. Гитлеровский «блиц-криг» должен был, по мнению Токио, закончить разгром Советского Союза в течение одного месяца.

Из садика послышался голос маленького Коли:

— Папуля, где ты? Мы уже пришли...

Вошла Таня с Олей на руках:

— Ну, что говорят?

— Говорят... Сейчас, Танюша, дослушаю, расскажу...

Взгляд Кедрова скользнул по висевшему над радиоприёмником календарю — июнь, двадцать второе... Какой здесь чудесный, тихий день... А там... на Западе.... Какой там сейчас ужас!..

Через несколько дней Кедров поехал в бюро эмигрантов. Надо было заплатить членские взносы. И так уже затянулся месяца три, могли получиться неприятности.

В приёмной бюро группа посетителей внимательно слушала сидевшего на диване пожилого грузного человека, с обрюзгшим лицом бульдога. Редкие, с сильной проседью волосы, коротко острижены бобриком.

— Поверьте мне, господа, — авторитетно говорил он, —

от большевиков только пух да перья полетят. Не позднее, чем через месяц, Советская Россия затрещит по всем швам. С подходом немцев повсюду начнутся народные восстания...

— Вы в этом уверены, ваше превосходительство? — послышался чей-то голос.

— Абсолютно. Германская армия, господа, непобедима. Гитлер разработал план до мелочей, с присущей немцам чёткостью. Весь «блиц-криг» рассчитан у него не только по дням, но даже по часам...

Кедров не вытерпел, вмешался.

— Чёткость — это палка о двух концах, — громко проговорил он. — Пока ещё рано говорить о «блиц-кригах»!..

Генерал насмешливо взглянул на Кедрова и грузно поднявшись с дивана, зашагал, опираясь на толстую палку, к выходу, небрежно кинув:

— Честь имею... Мне пора.

Кедров обратил внимание на его странную походку — конечно, вместо ног — протезы.

— Здорово вы его... — сказал Кедрову про генерала один из посетителей.

— А кто это? — спросил Кедров.

— Вы разве не знаете?

— Нет.

— Генерал Нечаев.

Кедров смутно припомнил — извозчичья столовая, генерал в долгополом синем кафтане.

— Он не работал в Харбине извозчиком?

— Работал. А потом, примерно, году в двадцать пятом продал свою биржу и поступил на службу к шаньдуньскому правителю Чжан Цзу-чану, вербовал для него русских солдат и офицеров, командовал там русской дивизией. Этот Чжан Цзу-чан был главнокомандующим армией Чжан Цзо-лина, который вёл в то время войну с У Пей-фу<sup>1</sup>. Нечаев попал под пулемёт и лишился обеих ног. Теперь здесь работает брокером, главным образом по немецким конторам. Говорят вхож в германское консульство...

Генерал Нечаев мечтал о молниеносном разгроме Со-

<sup>1</sup> Один из китайских милитаристов, опиравшийся на Англию, в то время, как милитаристы Чжан Цзу-чан и Чжан Цзо-лин в своей борьбе с демократическими силами Китая искали поддержки у Японии.

ветской России, а русские школьники, ученики и ученицы дальниńskiej русской гимназии в походах или, идя в школу, со спортивной площадки громко пели:

Смело мы в бой пойдём  
За Русь святую  
И как один прольём  
Кровь молодую.

Этой песне выучил ребят Кедров, который, шагая рядом с ними, чувствовал, как и его самого захватывают слова:

Смело мы в бой пойдём  
За Русь святую.

В начале декабря, когда японские газеты и радио вынуждены были признать разгром немцев под Москвой, хотя они писали и говорили об этом, как о временном «стратегическом отходе», дежурный по интернату долго не мог добиться того, чтобы ученики легли спать.

В декабре же японцы предательским нападением на американский флот в «Жемчужной гавани» начали войну с Америкой.

Жизнь в городе постепенно становилась сложнее. Начал ощущаться недостаток продуктов питания. Была введена карточная система.

Таня изворачивалась как могла. Из соевых бобов она научилась приготовлять больше десятка самых разнообразных блюд. Часть получаемых по карточкам риса и муки обменивала у соседей китайцев на овощи и даже иногда на свинину.

Однажды, накрывая стол для ужина, она предупредила:

— Сегодня прошу кушать осторожно. Не проглотите свои языки: угощаю... варениками!

— Неужели настоящими! С творогом? — не поверил Кедров.

— Самыми настоящими. Только без сметаны. Не достала.

Вареники были вкусные.

— Хочешь ещё?

— Нет, прибавь лучше Коленьке,— отказался Кедров.— У тебя ведь, наверно, эта роскошь хайкью?<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Хайкью (по-японски) — норма, по норме, по выдаче.

— Какое там хайкью,— засмеялась Таня.— Кушай, сколько хочешь. Всем хватит.

Потянулся за прибавкой и отец Тани.

Маленький Коля, отдуваясь, слез со стула:

— Спасибо, мамуля!

— Ну, что? Нравится?— спросила Таня, когда ужин был закончен.

— Чудесно. Но всё-таки скажи,— где тебе удалось достать творог?

— Это туфа,<sup>1</sup> а не творог, — открыла свой секрет Таня.— Соседка меня научила.

В один из весенних дней Кедров вернулся домой поздно вечером. Это было для него необычно, и Таня встретила его упрёками:

— Ну как так можно? Я уж всё передумала, места себе не нахожу... Хоть бы предупредил, что задержишься...

— Конечно бы предупредил, если бы сам знал. В миссию вызывали. Будем ужинать? С обеда ничего не ел...

— В миссию?— тревожно переспросила Таня.— Что-нибудь случилось?

— Нет, нет, всё в порядке, — увлекая жену на кухню, говорил Кедров.— Пока я умываюсь, ты подогрей, что у нас там есть покушать. За ужином всё расскажу.

Умывшись, Кедров прошёл в детскую взглянуть на спавших ребят, а за ужином рассказал:

— Вызывал советник бюро Фукуяма. Предлагает вести военное обучение нашей русской молодёжи. Говорит, что за это будут платить.

— Неужели ты согласился?— испуганно спросила Таня.

— Можно чаю?— отодвинул Кедров пустую тарелку.— Согласился? Конечно, нет. Правда, Фукуяма настаивал, но я упёрся. Сослался на то, что и без того устаю с ребятами в школе. Года-то уж — за сорок перевалили...

— Хорошо и сделал, — оживилась Таня. — И без этих денег на жизнь хватает...

Кедров засмеялся:

— С тобой — хватает. А живи я один — никак бы концы с концами не сводил. Ты у меня экономная — умешь каждую копейку рассчитывать, да ещё обновками нас иногда балуешь.

<sup>2</sup> Туфа (по-китайски) — отжим из бобов. Род бобовой брынзы,

Японцы организовали в Дальнем военное обучение эмигрантской молодёжи. Часть молодёжи была ими мобилизована и отправлена в отряд Асано для прохождения военной службы. Уклонявшиеся от мобилизации лишились вместе со своими родителями и всеми родственниками службы и хлебного пайка.

Вторая половина сорок второго года особенно остро переживалась русскими дальнинцами. Во всех разговорах неизменно слышалось слово «Сталинград».

— Возьмут! — с нетерпеливым радостным ожиданием убеждённо говорили одни. — Считанные дни...

Другие мрачно хмурились, читая в приходивших из Харбина русских газетах о том, как немцы упорно стремятся прорваться к Волге.

В один из декабряских дней Кедров, просматривая в гимназии японскую газету «Дайрен Ничи-Нichi», увидел короткое сообщение телеграфного агентства «Кокуцу» о захвате в плен советскими войсками трёхсоттысячной армии Паулюса.

Комментируя неудачу немцев, газета писала, что русским помогает «генерал Мороз».

— Советские погнали немцев от Сталинграда! — не сдержавшись, крикнул он сидевшим в учительской преподавателям.

### 43. «СТУКАЧИ»

С началом войны Германии с СССР дальнинская полиция усилила наблюдение над русскими эмигрантами.

Как-то в августе в квартиру Кедровых пришёл японский полицейский. Козырнув, он, не ожидая приглашения, сел и молча стал осматривать комнату. Кедров тоже выжидательно молчал.

Из детской вышел Коля и прижался к отцу.

— Что, Коленька? Иди в садик, — погладил Кедров сына по головке.

Мальчик, кивая на полицейского, спросил:

— Папуля, это какой дядя?

— А это так... Один знакомый... Ты иди в садик, побегай... Полицейский поманил к себе Колю и проговорил:

— Это ваш мальчик?

— Мой.

— А у меня сестрёнка есть, — забираясь к Кедрову на колени, похвастал полицейскому Коля.

Полицейский, улыбаясь, закачал головой:

— Не понимаю.

Кедров перевёл:

— Он говорит, что у него сестра есть.

— О, очень хорошо, очень хорошо, — заулыбался опять полицейский. — Хороший мальчик...

И, немного помолчав, стал осторожно расспрашивать Кедрова, как он живёт, работает, что думает о войне Германии с СССР...

— Немцы, несомненно, разобьют большевиков, — заверил полицейского Кедров. — Иначе быть не может.

Полицейский одобрительно закивал головой:

— О, да! Это очень хорошо!.. До свиданья... Извините!..

И, вежливо козырнув, ушёл.

Через месяц полицейский снова пришёл и опять заговорил о том, что Кедров думает о войне на западе.

— Я думаю, что немцы скоро будут в Москве, — успокоил его Кедров.

После этого визита Кедров решил устроить в квартире маскировку. Он приобрёл продававшиеся в бюро эмигрантов литографические портреты Николая второго и его жены, вставил их в рамки и повесил в столовой.

Примерно через месяц полицейский зашёл снова и, как всегда, осматривая комнату, остановил свой взгляд на портретах.

— Ваш император? — спросил он Кедрова.

Кедров с почтительной серьёзностью отвечал:

— Да. Русские император и императрица, убитые большевиками. Я монархист, и поэтому мне эти портреты дороги.

Полицейский встал, снял фуражку и отвесил портретам глубокий поклон. Затем он пожал Кедрову руку и молча вышел из квартиры.

Больше никогда никто из полиции в квартиру Кедрова не заходил. Камуфляж удался. Благонадёжность Кедрова, выявившего портретами свои монархические убеждения, сделалась вне подозрений.

Всё же приходилось быть очень осторожным. Японцы с каждым днём усиливали наблюдение за эмигрантами.

Установили они постоянную слежку и за советскими гражданами.

Около Советского консульства, около домов, где жили советские граждане, день и ночь дежурили китайцы — японские шпики. Куда бы ни шли или ни ехали советские граждане и сотрудники Советского консульства, — шпики неотступно следовали за ними по пятам.

Русским эмигрантам японцы категорически запретили встречаться с советскими гражданами. И горе было тому эмигранту, который, забыв об этом, здоровался со встретившимся ему на улице советским человеком. Ему долго потом приходилось доказывать в японской жандармерии свою политическую благонадёжность и лояльность к японской власти.

Однажды знакомый Кедрова, служащий одной из контор, Белов поехал в трамвае в Хошигаура на пляж.

В вагоне сидели ещё двое русских. Не обращая на них внимания, Белов раскрыл книгу. Ехать надо было минут сорок.

В Хошигаура Белов, выйдя из трамвая, купил в киоске папирос и, погуляв по парку, вышел на пляж. Выкупавшись, он заметил около своего места на песке тех же русских, которые ехали с ним в трамвае. Подремав на солнце, Белов выкупался ещё раз и опять пошёл в парк.

Когда Белов собрался домой и сел в трамвай, — в вагоне, на его беду, снова сидели те же русские.

На конечной остановке, выйдя из трамвая, Белов почувствовал, что к его плечу кто-то притронулся. Он обернулся. Не спуская руки с плеча Белова, японец в белом костюме проговорил по-русски:

— На минуточку!

— В чём дело, — взглянул сверху вниз на японца Белов — японец едва доходил ему до плеча.

— На минуточку, — повторил японец. — Пройдёмте со мной.

— Куда? Зачем?

— В жандармерию. Только на одну минуточку.

И японец, отвернув борт своего пиджака, показал Белову значок жандармского управления. Пришлось повиноваться.

В жандармерии Белова действительно долго не задержали с допросом. Допрашививать начали сразу:

— Какая у вас связь с работниками советского торгпредства?

Белов опешил:

— Как связь? С какими работниками торгпредства? Да я там никого не знаю...

Удар по щеке заставил его пошатнуться.

— Врёшь! — орал, наступая на него, жандарм. — Не отпирайся. Ты ехал с ними в трамвае в Хошигаура, рядом с ними сидел на пляже, обратно тоже вместе с ними ехал.... Говори правду...

Белов понял, что речь шла о тех двух, незнакомых ему, русских, с которыми судьба столкнула его в этот день в трамвае и на пляже.

Однако, никакие оправдания не помогли. Допрос продолжался с нарастающей напористостью и, в конце концов, избитого до потери сознания Белова стащили в подвал жандармерии. Истязания продолжались больше двух недель, после чего Белов был освобождён, дав подписку в том, что в жандармерии с ним обращались... хорошо!

Но не только этой подпиской Белов купил себе свободу. Его принудили подписать другой документ, в котором говорилось, что «российский эмигрант Семён Осипович Белов обязуется быть секретным осведомителем японского жандармского управления в городе Дайрено и будет узнавать и сообщать жандармскому управлению все необходимые для него сведения».

Так Белов сделался секретным агентом японцев, или, как русские дальнинцы называли таких людей, — «стукачом».

В Дальнем русских «стукачей» было много — в каждой конторе, в каждой эмигрантской и иностранной организации. Свою гнусную работу вели они и для жандармерии, и для военной миссии, и для полицейского управления.

Комиссионеры, швейцары гостиниц — почти все были завербованы японцами на эту «работу».

Многие «стукачи» продавались японцам добровольно. Это были люди без совести, для которых родина была местом, где в данный момент висели их шляпы. Если их шляпы висели бы не на японских, а на американских гвоздях, — они так же охотно прислуживали бы американцам. Эти шкурники были оторвавшимся от родной земли буреломом, обречённым на гниение.

Однако, были и такие «стукачи», которые согласием на секретную работу для японцев покупали себе свободу и, может быть, даже жизнь, как это был вынужден сделать Белов.

В военной миссии Дальнего «стукачей» вербовал помощник начальника иностранного отдела миссии Нива. Это был человек, которого боялись и от которого брезгливо сторонились русские дальнинцы.

Он был русский. Настоящая его фамилия была Коренев Павел Михайлович. В прошлом офицер белой армии, он служил в бандах атамана Калмыкова. Перед крахом белой авантюры в Приморье бежал в Шанхай, а там, через общину баптистов, устроился в американскую разведку. Женившись на японке, он принял её фамилию Нива, получил японское подданство и начал ревностно проявлять верноподданические чувства к своей благоприобретённой родине, к Японии.

Русских Нива ненавидел всех, а советских граждан — в особенности.

Эмигранты, намеченные миссией на работу «стукачей» и уклонявшиеся от этой «высокой чести», поступали обычно в обработку к Нива.

Так было, в частности, со служащим «Сибирской меховой компании» Борисом Шваловым.

Весёлый, жизнерадостный, молодой человек, Швалов пытался шутками отдалиться от приставаний Нива, но русскому японцу было не до шуток. Он выполнял поручение своих хозяев. Швалова пригласили в военную миссию. Там он просидел целый день, а ночью Нива и два японца втолкнули его в машину и увезли за город, к морю. Началась психологическая обработка.

Приставив ко лбу жертвы пистолет, Нива заявил:

— Вот что, Швалов, довольно шуток. Выбирай одно из двух: или ты будешь сообщать нам всё, о чём разговаривают между собой в магазине ваши покупатели, или пуля в лоб, а потом — камень на шею и в море. Что для тебя лучше — жизнь или смерть?

Жить хотелось. Швалов недавно женился. Малютка сын. И он выбрал жизнь, сделавшись секретным осведомителем, «стукачом» военной миссии...

Японцы повсюду искали советских и американских шпионов. «Стукачи» работали, выбиваясь из сил.

В начале 1944 года знакомый Кедрову часовой мастер

Леонтьев слушал по радио передаваемое по-японски сообщение о разгроме немцев советскими войсками в Криворожье и затем рассказал об этом нескольким своим знакомым, среди которых был певец Перов.

Певец оказался «стукачом», и Леонтьев в тот же день был посажен в подвал военной миссии.

Допрос начался круто.

— Ты советский шпион? — спросил его Нива.

— Как шпион? Ничего подобного, — запротестовал Леонтьев. — Я...

Он не договорил. Удар по лицу свалил его с ног. Поднимаясь, Леонтьев выплюнул с кровью несколько выбитых зубов.

Избиение продолжалось. Ниве помогали несколько японцев.

На утро снова допрос. Но били меньше, и Леонтьев смог объяснить, что он слушал передачу по радио не из Москвы, а местную, дальнинскую станцию; — по-японски. Что же здесь преступного?!

— К тебе ходят в мастерскую сотрудники советского консульства. Ты советский шпион, — продолжал настаивать Нива.

Больше недели Леонтьев объяснял, что мало ли кто нуждается в починке часов. Может быть, среди них были и сотрудники Советского консульства, но он их не знает, ничего общего с ними не имеет.

Выйдя, в конце концов, из подвала миссии, Леонтьев часто видел у себя в мастерской Перова. Певец заходил к нему «на перепутье, поболтать»... Через него миссия установила за Леонтьевым негласный надзор. Ничего не подозревая, Леонтьев всегда охотно принимал Перова. О его гнусной работе Леонтьев узнал позднее.

#### 44. «ДРУЖЕСКАЯ ПОМОЩЬ»

Августовские тайфуны проносятся над Дальним со страшной силой, оставляя после себя снесённые крыши, вывороченные с корнем и поваленные наземь многолетние акации, разрушенные разбушевавшимся морем пляжные постройки.

После тайфуна опять ласково светит солнце, рабочие вкалывают в землю поваленные леренья, исправляют все

разрушения... И только сильно раскаченное ветром море несколько дней не может успокоиться. Глухо бьётся оно о прибрежные скалы, далеко набегает на отлогие берега, ручьями откатывается обратно навстречу новой волне.

Но после тайфуна, который пронёсся над семьёй автослесаря Куликова, — в их небольшой квартире в Хошигаура ласковое августовское солнце не засияло.

Кедров утром разоспался. Когда Таня потрясла его за плечо, он что-то хмыкнул и, повернувшись на другой бок, зарылся головой в подушку.

На этот раз Таня была настойчива:

— Вставай же, Коля, — тормозила она его. — У соседей что-то случилось.

— А? Что? — поднял голову Кедров.

— У соседей, говорю, что-то неладное... Полиции полный двор...

Кедров вскочил с постели, быстро оделся и вышел в садик перед домом.

В соседнем дворе, за каменной стеной слышались японские голоса.

Кедров схватился руками за обрез стены, подтянулся и заглянул к соседям: действительно — полиция.

Прислушался и от неожиданности, неловко спрыгнув на землю, чуть не повалился.

— Коля, что ты? — испуганно вскрикнула Таня. — Ушибся?

— Нет, нет, Танюша... Знаешь что? Куликов-то... повесился. Сегодня ночью. Поэтому и полиция. Письмо ищут. Думают, что должен оставить... В штатском несколько человек. Наверно, жандармы...

Никакого посмертного письма полиция не нашла. Хоронить Куликова помогали его жене соседи. Кедров взялся съездить на кладбище заказать могилу, договорился с похоронным бюро о гробе, о катафалке...

А через неделю к Кедровым пришла вдова Куликова.

Плача, она подала Кедрову толстый конверт:

— Вот, сосед, прочитайте-ка, кто моего Васеньку до петли довёл. Чувствовал он, сердечный, что искать письмо-то будут, потому и запрятал его в муку. Знал, что всё равно найду я его, когда за мукой полезу... Чтоб им, проклятым, ни дна, ни покрышки не было...

И Куликова снова горько зарыдала.

Таня принялась её утешать, а Кедров начал читать неровные, разбегавшиеся строчки письма самоубийцы. Мысли Куликова в письме, по-видимому, разбегались так же, как строчки. Чувствовалось, что торопился рассказать своей жене всё, что у него накипело и что он не мог, а, может быть, не смел рассказать ей при жизни.

А произошло вот что.

Слесарь авторемонтного гаража «Риото-моторс» Василий Куликов возвращался домой с работы.

Настроение было отвратительное. С продуктами питания с каждым днём становилось труднее. А у Куликова семья — сам шестой. Четверо детей — погодки. Самому младшему два года. Прокормить таких «галчат» на полуголодном пайке — дело нелёгкое.

Подходя к трамвайной остановке, Куликов услышал окрик приятеля Димки Смагина.

— Васька, здорово!.. Ну, как она, жизнь?..

Куликов мрачно мотнул головой:

— Никак... Мантулишь, как лошадь, а кусать нечего. Сам-то с бабой ещё полбеды. А вот ребятишки... Им не втолкуешь... Ну, пока...

И Куликов протянул Смагину руку, всем своим видом показывая, что торопится.

Возможно, что Куликов действительно спешил домой, но, скорее всего, ему просто была неприятна эта встреча с приятелем — сытым, самодовольным, только что вышедшим из кафе после обильного позднего обеда. Смагин мог себе это позволить — служил он в японской полиции, а от такого человека — лучше подальше.

— Погоди, Васька, — остановил Куликова Смагин. — Я, брат, всё хотел с тобой поговорить, да как-то не удавалось. Помочь тебе хочу, по-дружески. Тем более, земляки мы с тобой, оба — забайкальцы... Ты послезавтра не работаешь?

— А что у нас послезавтра? Воскресенье? Нет, не работаю.

— Ну вот и давай встретимся здесь же послезавтра ровно в десять утра. Сможешь?

— Можно будет...

— Прекрасно. Я тебя познакомлю с одним японцем. Что-нибудь для тебя придумаем...

Через день друзья встретились в назначенное время,

и Смагин повёл Куликова в одно из кафе. За столиком под большим фикусом сидел японец.

— Вот, познакомьтесь, Накамура-сан, — представил ему Куликова Смагин. — Мой друг, о котором я вам рассказывал...

— Очей приятно познакомиться, — заговорил по-русски Накамура. — Прошу вас, присаживайтесь, будем вместе завтракать.

И, поманив рукой официантку, Накамура распорядился:

— Барышня, меню...

Накамура произвёл на Куликова приятное впечатление.

«Хороший японат, — решил Куликов, налегая на бифштекс и белый хлеб (такого хлеба он не видел больше трёх лет). — Хороший... О семье расспросил... Как живу и всё такое...»

Однако, Накамура интересовался не только семьёй Куликова и тем, как он живёт. «Хороший японат» остроожно, но пытливо и подробно расспрашивал Куликова о его товарищах по работе, о друзьях...

— О, это очень хорошо, очень хорошо, что у вас так много друзей, — довольно улыбался Накамура. — Это значит, что вы очень хороший и достойный уважения человек. А такому человеку мы всегда должны помогать, если ему немножко трудно жить. Завтра господин Смагин привезёт вам нашу... нашу помошь для ваших уважаемых детей.

— Да... но почему вы мне хотите помочь? — удивлённо проговорил Куликов. — Вы меня не знаете...

— О, нет! — снова улыбнулся Накамура. — Господин Смагин мне о вас говорил. Господин Смагин мой друг, а вы друг господина Смагина, следовательно, вы тоже мой друг, а я ваш друг. А хорошие дрязья всегда должны друг другу немножко помогать. Я помогаю вам, вы помогаете мне...

— Но чем же я могу вам помочь? — не переставая удивляться, спросил Куликов.

— Пока ничем, — мягко проговорил Накамура. — Пока ничем. Сейчас я хочу вам помочь. А потом, может быть, и вы мне как-нибудь поможете...

— Ну, что ж... Тогда — спасибо.

И, портнянув руку Накамуре, Куликов добавил:

— Не такой я человек, чтобы добро забывать. Димка, то есть господин Смагин, меня знает. При случае, отслужу...

На завтра поздно вечером Смагин привёз на квартиру Куликова полную легковую автомашину разных продуктов. Тут были кулёк белой муки, несколько килограммов сливочного масла, сгущённое молоко, консервы, сахар, даже шоколад.

— Только ты дай мне расписку, чтобы мне отчитаться перед Накамурой, — попросил Смагин. — Перечисли всё и напиши, что получил это от Накамура-сан...

Через месяц Смагин опять разгружал около квартиры Куликова машину с продуктами.

Снова взяв расписку, Смагин спохватился:

— Ах, да, чуть не забыл. Накамура просил, чтобы ты в это воскресенье пришёл к десяти утра в то же кафе...

Накамура встретил Куликова, как старого знакомого:

— Ну, как вы поживаете, господин Куликов? Как здоровье вашей уважаемой жены и деток?

— Я не знаю, как мне благодарить вас за вашу помощь, Накамура-сан, — смущённо заговорил Куликов.

— О, ничего, ничего... — обычно заулыбался Накамура. — Я вам немножко помогаю. Вы мне тоже будете немножко помогать. Очень немножко... У меня есть письмо. Вы возьмёте его и отнесёте... — и Накамура назвал улицу и номер дома. — Там вы его спустите в почтовый ящик господина Плахова. На ящике написана эта фамилия. Вот и всё, что я прошу вас мне помочь.

Выйдя из кафе, Куликов сразу же направился с письмом Накамура по указанному адресу.

А вечером в тот же день Куликов был арестован японской жандармерией. Был арестован и Плахов — служащий одной из дальних контор.

Когда Куликова привели на допрос, он не поверил глазам: за столом сидел... Накамура!

Но только этот Накамура не улыбался радушно, как тот, в кафе, не говорил о дружбе. Этот взглянул на Куликова жёстким взглядом и резко спросил:

— Как фамилия?..

— Накамура-сан... Я... — растерянно пробормотал Куликов, чувствуя, что под его ногами шатается пол.

— Вы должны отвечать на вопросы! — крикнул Накамура. — Как фамилия?

Записав установочные данные, Накамура больше ни о чём Куликова не спрашивал. Он молча продолжал писать протокол допроса, покрывая страницу за страницей витневатой вязью иероглифов.

А Куликов в это время стоял и тщетно силился понять — что же всё-таки случилось? За что его арестовали? Почему Накамура, этот «хороший японат», который сам предложил ему свою помощь,—почему он теперь смотрел на него злыми глазами, кричал на него, стучал кулаком по столу? Почему Смагин ничего не сказал, что Накамура жандарм...

— Ну вот, господин Куликов, я вам буду читать протокол, и вы распишитесь, — вывел его из раздумья голос Накамуры. — Вы должны слушать очень внимательно.

По мере того, как Накамура переводил написанные им страницы протокола, Куликов всё больше и больше убеждался в том, что теперь он погиб.

В протоколе значилось, что Куликов, проходя такого-то числа, в такой-то час, около дома, где живёт Плахов, видел, как остановилась машина Советского консульства, из машины вышел шофер и спустил в почтовый ящик Плахова письмо. Затем, когда машина отошла, из дома вышел Плахов, которого Куликов лично знает, и, вынув из ящика это письмо, скрылся в доме.

— Всё это вы видели и должны подписать, — приказал Накамура.

— Но... Накамура-сан, — придя, наконец, в себя, заговорил Куликов. — Я ничего этого не видел. Вы мне сами дали какое-то письмо Плахову... Тогда, в кафе. Я его опустил в ящик... Это — правда... Вы сказали, чтобы я вам помог...

— Вы будете подписывать этот протокол, — резко заговорил Накамура. — Японская жандармерия давала вам помощь, поэтому вы также должны давать помощь японской жандармерии.

— Накамура-сан! Я же не видел того, что вы пишете. И Плахова я совсем не знаю. Я не могу...

— Не можете? Мы вам можем давать помощь, а вы нам не можете? Мы имеем ваши расписки. Хорошо. Тогда вы возвращайте нам нашу помощь...

— Возьмите всё, что господин Смагин привёз мне недавно, — решительно сказал Куликов.

Накамура зло усмехнулся:

— Мы давали вам помочь два раза.  
Куликов опустил голову.

— Если вы не будете возвращать нам всё, что мы давали вам первый раз, вы будете сидеть в жандармерии, и ваши дети будут умирать от голода,— решил Накамура.

Куликов молчал. Мысли путались:

«Подписать? Но ведь это значит — сделать подлость... Оклеветать неизвестного человека... Может быть, даже ни в чём не виноватого?.. Письмо... Но ведь какое-то письмо для Плахова дал ему Накамура... Тогда при чём здесь шофер Советского консульства, которого он не видел и вообще не знает. С другой стороны — дети, жена... Сколько его здесь японаты продержат... Хорош друг, Димка этот... Мерзавец! Удружили...»

Молчал и Накамура. Чутьём старого жандарма он угадывал колебания Куликова и терпеливо ждал.

— Накамура-сан, а вы... какое письмо вы мне давали? — делая последнюю попытку вырваться из запутавшей его сети, проговорил, наконец, Куликов.

В первый раз за всё время допроса Накамура улыбнулся. Но эта улыбка была откровенно циничной.

— Я? Вы так думаете? Я думаю совсем не так. Я могу сейчас написать другой протокол. Это письма было из Советского консульства. Плахов советский шпион. В письме консульство даёт Плахову задание — дать ему сведения о передвижении японской армии. Наши люди видели, как вы положили это письмо в ящик Плахова. Значит, — вы тоже советский шпион. Какой протокол вы хотите подписать?..

Куликову показалось, что он летит в пропасть, — и на листах гибельного для Плахова протокола появилась подпись вынужденного клеветника.

Накамура хлопнул в ладоши, и в кабинет вошли два жандарма с бамбуковыми палками в руках.

Куликов побледнел: за что же будут бить? Ведь он всё сделал, что от него требовалось?..

Однако, Накамура его успокоил:

— Вас не тронут... Но вы должны громко кричать, как будто вас бьют...

Удары бамбуками по кожаному дивану и истощные крики Куликова продолжались минут десять. Затем Куликова увеличили.

Наступила очередь Плахова. Из подвала он слышал

вопли «избиваемого» Куликова, и бить его, уже по-настоящему, жандармам пришлось недолго: под ударами бамбуков Плахов подписал всё, что написал Накамура. В японской жандармерии был сфабрикован советский шпион. Его шпионская работа в пользу СССР была «подтверждена», его «добровольным признанием» и показаниями «свидетеля».

Однако, японцам нужен был не «советский шпион» которым Плахов не был. Им нужен был один из тех подложных «документов», на основании которых можно было бы говорить о «разведывательной работе» советского консульства.

Послав Куликова с письмом на имя Плахова, Накамура уже установил наблюдения за почтовым ящиком кандидата в советские шпионы. Как только Плахов вынул из своего ящика почту, к нему нагрянули жандармы с обыском. Плахов, не успев распечатать письмо, был схвачен.

Сфабрикованное в японской жандармерии злополучное письмо действительно, как говорил Куликову Накамура, требовало от Плахова представления в Советское консульство сведений о передвижении японских войск. «Улика» была налицо. Куликов подкрепил её, как «свидетель».

Следы Плахова затерялись в подвалах жандармерии.

Куликов вернулся домой в тот же день, как подписал своё клеветническое показание.

Впрочем, кроме этого протокола, Куликову пришлось подписать ещё обязательство в том, что он будет давать японской жандармерии в Дальнем все интересующие её сведения.

«Совесть меня мучает, Катя,— писал Куликов жене.— Оклеветал я невинного человека, да ещё «стукачом» задался. Одно мне теперь осталось — петлю на шею...»

Кедров закончил читать и, опустив письмо на колени, сидел пришибленный, молча глядя перед собой.

Тягостное молчание нарушила Таня:

— Какой ужас! — срывающимся голосом проговорила она. — И когда всё это кончится?

Кедров не ответил. Разве он мог знать, когда «это» кончится? Но потом, помолчав, сказал:

— Пока надо терпеть. Замкнуться, как улитка в раковине. Так, может быть, и доживём до лучших дней.

## 45. «НАТАЛКА-ПОЛТАВКА»

Однако, нельзя было сказать, что Кедровы замкнулись в четырёх стенах. Так было, пожалуй, только первое время, когда все их усилия были главным образом направлены к тому, чтобы заработать на жизнь. Изыскивая эти возможности, Кедров с утра до вечера проводил в городе. Таня пела в церковном хоре. Рождение сына тоже привлекало Кедровых к дому.

Но затем, когда Кедров устроился на постоянную работу в гимназию, приехал отец Тани, и было с кем оставлять маленького Колю, — они оба начали принимать активное участие в самодеятельности русского клуба.

Небольшое здание клуба, в стороне от центра города, было единственным местом, где на концертах и спектаклях художественной самодеятельности, на балах и вечерах встречались русские дальниинцы.

Война не отразилась на жизни клуба, если не считать того, что на всех клубных вечерах обязательно стали присутствовать русские чиновники полиции или жандармерии.

Таня пробовала свои силы в клубных спектаклях, пела на концертах русские песни. Сам Кедров писал для клубной самодеятельности скетчи, монтажи, злободневные частушки.

Субботний вечер. Тани нет дома — поёт в церкви. Коля забрался с ногами на стул и занял кубиками больше половины стола. На другом конце стола Кедров пишет. Задумал поставить на очередном клубном вечере комический «Хор братьев Зайцевых» с частушками на злобу дня.

На одном коммерсанте, торгующем кожаными изделиями, споткнулся. Уже несколько раз повторял про себя написанные первые строчки:

Помогай мне, добрый боже,  
Делать денежки на коже...

Но дальше дело не шло.

— Делать денежки на коже, — безнадёжно повторял он, морща лоб.

— Папуля! Мама скоро придёт? — отрывается его от работы Коля.

— Мама? Скоро, сынок, скоро...

Кедров смотрит на часы — половина восьмого. Таня должна уже прийти. По-видимому, задержка с трамваем.

— Дедушка! — кричит он в соседнюю комнату Таниному отцу. — Будьте добры, взгляните, как там у нас в духовке. Не пригорел бы ужин. А то влетит пам...

И Кедров опять задумывается...

— Делать денежки на коже... Делать ден...

— Папуля! — снова отрывается Коля. — Смотри, какой я большой дом сложил.

— Что сынок? — поднимает Кедров голову от бумаги.

— Дом! — показывает Коля на своё сооружение из кубиков. — Дом я выстроил..., больш-ой!..

— Хорошо, хорошо... — рассеянно говорит Кедров и вдруг довольно вскрикивает:

— Молодец, Коленька! Ах ты, помощничек мой! Дом я выстроил большой... Так, так... Дом я выстроил большой, скоро выстрою другой... Вот и частушка готова!..

Стукнула калитка. Коля сорвался со стула и бросился к двери:

— Мамуля пришла!

За ужином Таня рассказывала новости:

— Задержалась немного. Из церкви в клуб заходила. Ты знаешь — хотятставить «Наталку-Полтавку»... Мне предлагают петь Наталку.

— Тебе?

— Что ты так удивляешься? Думаешь — не спою?

— Спеть-то споёшь, но как справишься с украинским языком?

— Ставить Перов будет. А он украинец. Говорит, что научит нас...

— Какой Перов? Дмитрий Васильевич?

— Ага... Сам он будет Миколу петь.

После ужина Кедров показал Тане частушки. Одну из них, о дальних русских фашистах, она категорически забраковала:

— Не трогай их, Коля. Напакостят они тебе. Сам знаешь, что у них в миссии заручка.

Кедров не возражал. Он уже привык к тому, что во многих житейских делах Таня была гораздо рассудительнее его. Вот хотя бы с монтажом «Боярский терем». Получался он у Кедрова неплохо. Много пения, русские пляски. Но Таня нашла в нём недостаток.

— Монтаж прекрасный, Коля... Красочный... Но... Как бы тебе сказать... У тебя в боярском тереме весело... Это — хорошо. А было бы лучше, если ещё показать — как про-

стой народ при боярах жил. Ты меня понимаешь? Как это ввести в монтаж — я не знаю. Но чувствую, что надо. Ты подумай об этом.

Кедров ввёл в монтаж старушку няню за прялкой. На фоне весёлых песен, её грустная «Лучинушка» прозвучала таким захватывающим контрастом, что в зале долго не смолкали аплодисменты. Няня получилась стержнем всего монтажа.

Началась подготовка «Наталки-Полтавки». Перов недовольствовался общими репетициями. Он ревностно взялся за постановку и часто бывал на квартирах её участников, терпеливо добиваясь сносного произношения ими украинских слов. Приезжая к Кедровым, Перов привозил клавир, и Кедров брался за мандолину, наигрывая мелодии песен Наталки.

После этих домашних репетиций они обычно приглашали Перова к чаю. Певец не отказывался и порой засиживался до позднего вечера. В эти часы он почти всякий раз начинал откровенно говорить о войне СССР с Германией, о тяжёлом положении Японии в войне с Америкой.

Кедров с деланным безразличием обычно молча слушал эти разглагольствования певца, а, поймав предостерегающий взгляд Тани, настораживался ещё больше.

Но однажды не выдержал.

— Опасные речи, Дмитрий Васильевич, — сказал он Перову. — За это могут, знаете... того...

И Кедров сделал рукой выразительный жест, показывая, как человека берут за шиворот.

Перов потёр ладонью свою лысину и пристально взглянул на Кедрова.

— Видите-ли, Николай Георгиевич... Речи, конечно, опасные, но... но, во-первых, я знаю, с кем я говорю, и поэтому не боюсь. А, во-вторых, я — русский человек. Разве русский человек может рассуждать иначе?

— Кто как... — пожал плечами Кедров. — Вот на руке пять пальцев. Как будто родные братья, — а все разные.

— Ну, а вы как на этот счёт думаете?

Взгляд Перова обострился.

«Смотрит, как собака, которая вот-вот готова броситься...» — сделал невольное сравнение Кедров, доставая сигарету.

Прикуривая, он сломал несколько спичек и, наконец, когда сигарета дохнула дымом, ответил:

— Я? Я, Дмитрий Васильевич, монархист. У меня на все эти вопросы свой собственный взгляд. С большевиками и американцами мне не по пути. А вот вы мне лучше скажите — что вы думаете о моей Наталке? — И Кедров кивнул на Таню. — Справится со своей ролью? Для меня это на сегодняшний день поважнее всех мировых проблем.

Перов одобрительно отозвался об игре Тани, и разговор перешёл на подготовку к спектаклю.

Когда Перов ушёл, Таня прошла в детскую взглянуть на ребят — не раскрылись ли во сне — и затем подсела к мужу:

— Что ты, Коля, думаешь о Дмитрии Васильевиче? Мне он что-то не нравится с такими разговорами.

Кедров ответил не сразу. Что он думает о Перове?.. У него уже складывалось о певце определённое мнение. А, может быть, ошибается?.. Хотя, нет... Ошибки быть не может. Слишком грубая провокация, чтобы не понять её.

— Что я думаю? — ответил он, наконец. — Думаю, что твой режиссёр ярко выраженный «стукач». Японцы не забыли и обо мне. Тоже проверяют...

— Что же делать? — встревожилась Таня.

— Да ты не волнуйся, — успокоил её Кедров. — Всё это явление естественное. За всеми следят. Почему же мы должны быть исключением. Не надо только болтать лишнего, и всё будет хорошо.

Шла генеральная репетиция «Наталки-Полтавки». Дожидая Таню, Кедров сидел за столиком в клубном буфете и пил чай. За соседним столиком ужинал Нива. Закончив ужин, он подсел к Кедрову.

— Как живём, Кедров?

— Ничего, спасибо. Потихоньку, не торопясь.

— Так, так.. Это ваша жена Наталку поёт?

— Моя.

— Поздравляю, прекрасно играет. Настоящая артистка.

— Ну до артистки ей, конечно, далеко, — улыбнулся Кедров. — Самая обыкновенная любительница.

— Мда... А спектакль вообще будет неплохим. Как вы думаете?

— Надо надеяться.

— Ну, а как ваши дела, Кедров? Что интересного в школе?

- Третья четверть идёт, самая ответственная. А там не за горами и экзамены.
- Ну, а у вас лично, что интересного?
- У меня?
- У вас.
- Как вам сказать... — как бы припоминая, отвечал Кедров. — У меня, пожалуй, самое интересное — это подготовка к состязаниям.
- К каким состязаниям?
- К спортивным. Готовлю ребят к весеннему спортивному празднику. Надеюсь, придёт посмотреть?
- Постараюсь, — поднимаясь, проговорил Нива. — Ну, а теперь — пока... Тороплюсь домой. На перепутье заверну сюда, поужинать. Кормят здесь неплохо...
- И Нива вышел из буфета.
- После репетиции Кедров оставил Таню поужинать в клубе, но она решительно заторопилась домой:
- Нет, нет... Я устала и... вообще пора. Времени уже много.
- Кедров заметил, что Таня чем-то расстроена, но спрашивать не стал. Знал — сама расскажет.
- Не доходя до трамвайной остановки, остановили свободное такси.
- Некоторое время ехали молча. Затем Таня наклонилась к мужу и, хотя шофер был японец, проговорила шёпотом:
- Ты был прав. Дмитрий Васильевич — «стукач». Сегодня я в этом убедилась.
- Как?
- Случайно. Понимаешь, в конце репетиции за кулисы пришёл Нива. Тот самый... Знаешь, из миссии, русский. Ну, сначала оживлённо говорил со всеми нами, хваливал всех. А потом отозвал в сторону Дмитрия Васильевича. На минуточку, говорит. Хочу вам кое-что подсказать, посоветовать, чтобы спектакль лучше прошёл. Начали они шептаться. Ну, у меня, сам знаешь, какой слух. Всё что надо и не надо слышу. Вот я и уловила. Завтра, говорит ему Нива, ждите меня на том же месте в два часа. А Дмитрий Васильевич ему — «слушаюсь!». А потом Нива громко заговорил: поняли, говорит, как лучше в последнем акте изменить?

«Наталка-Полтавка» прошла с аншлагом. Но, повторить её не пришлось: через несколько дней после поста-

новки военной миссией был арестован служащий одной из контор Марьинов, игравший роль Выборного. Старательно обучая его украинскому произношению, Перов не менее старательно выполнял свою обязанность «стукача».

После этого случая Кедровы прекратили работать в клубной самодеятельности. Настояла Таня. Решила — так спокойнее.

#### 46. «БРЁВНА»

Русская вывеска «Аптека «Восток» своими голубыми буквами на белом фоне резко выделялась среди китайских и японских вывесок на главной улице города.

Открылась аптека недавно. Её владелец провизор Рудольф Александрович Лукович с полгода назад перебрался из Харбина в Дальний.

Кедров сделался частым посетителем «Востока». Во-первых, поручения Тани, которая ревниво следила за тем, чтобы в домашней аптечке всегда была необходимая лекарственная мелочь. К этому обязывали дети: каждый раз при незначительных заболеваниях врача вызывать не будешь.

А во-вторых, Кедров знал Луковича по Харбину. Это был интересный и приятный собеседник.

Однажды, зайдя в аптеку, Кедров невольно обратил внимание на сравнительно уже пожилого, но ещё хорошо сохранившегося посетителя. Невысокого роста, упитанный с гладко выбритыми пухлыми щеками, с коротко по-английски, подстриженными усами, посетитель держался подтянуто и всем своим видом производил впечатление человека независимого.

— Кто это, не знаете? — спросил Кедров у Луковича, когда посетитель, купив какую-то мелочь, вышел.

— А разве вы его не знаете? — в свою очередь спросил Лукович.

— Нет. По-видимому, он в Дальнем недавно. Я в первый раз его вижу.

— От этого вы только выиграли, — проговорил Лукович. — С подобными типами лучше не встречаться. Это — полковник Шепунов, начальник бюро эмигрантов на станции Мудадзян. Отдыхает здесь от своих... «дел». Пачками русских людей там расстреливает. Зверь, а не человек.

— Да что вы! А на вид, как будто...

— Наружность, дорогой мой, часто бывает обманчива. Я имел счастье побывать в его холёных руках, знаю... Мало того, что сам расстреливает, он ещё поставляет брёвна в отряд 731.

— Что же в этом особенного, что подрядами занимается? — взглянул на Луковича Кедров. — Человек хочет заработать, ну и...

Лукович усмехнулся:

— А вы знаете, что это за брёвна?

— Странный вопрос. Брёвна, как брёвна... Самые обыкновенные. Лес.

— В том-то и дело, что не лес, а люди. Живые люди.

— Ничего не понимаю.

Лукович покачал головой:

— Э, батенька! Да вы, действительно, будто с луны свалились, ничего не знаете. Живёте здесь, как у Христа за пазухой.

— Ну, положим, — засмеялся Кедров, — у нашего Христа за пазухой тоже не сладко. Не прдохнёшь. Но всё же, конечно, кое-как ещё дышим. Но... вернёмся к брёвнам. Что же это такое?

— А вот вы заходите как-нибудь ко мне вечерком, на квартиру, — пригласил Лукович. — Я здесь же, при аптеке живу. Посидим, поговорим. Может, кое-что вам, как журналисту, когда-нибудь пригодится.

Выбрав свободный вечер, Кедров зашёл к Луковичу.

Возвращаясь домой он с последним трамваем, около часа ночи. Всё, что Кедров услышал от Луковича в этот длинный вечер, казалось ему невероятным, чудовищным, но не поверить ему Кедров не мог: ведь часть всех ужасов Лукович и его жена пережили сами.

Отряд 731. Он находился в небольшом городке Пинь-Фань, неподалёку от Старого Харбина.

Вход на территорию отряда был только по особым пропускам. Над отрядом не разрешалось пролетать даже японским самолётам.

Здесь вырабатывались различные заразные бактерии, здесь же сидели в заключении китайцы и русские, — «объекты» для опытов, — здесь же производились опыты.

Японские «работники экспериментальной медицины» заражали «объекты» бактериями чумы, сыпного тифа.

сибирской язвы и внимательно следили за развитием болезни.

«Объект» никогда не выходил на свободу. Он или умирал от этих болезней, или его, ослабевшего от опытов, японцы отравляли, как негодный больше материал.

Все эти опыты, а также массовое культивирование различных заразных бактерий — всё это имело свою определённую целеустремлённость: в конце тридцатых годов японцы усиленно начали готовиться к бактериологической войне с СССР. Собираясь захватить всю Сибирь до Урала, японцы в этом же отряде 731 производили опыты с замораживанием.

«Объект» выводился на мороз. Руки, ноги его опускались в ледяную воду и затем, мокрые, держались на морозном ветру. В результате — обмораживание, гангрена — и опыты применения различных способов лечения. Всё это было японским «научным работникам» необходимо для лечения японских солдат, будущих завоевателей Сибири.

Такие многочисленные «объекты» для псевдонаучных, варварских опытов японских садистов, обезличенные номерами и обречённые на верную смерть, люди назывались японцами «брёвнами».

— Так вот, Николай Георгиевич, теперь вы знаете, что такое «брёвна», — говорил Лукович. — Такими объектами для японских «научных» опытов едва не стали мы — я и моя Александра Александровна.

— Вы!..

— Да... Можно сказать, чудом выкарабкались. Но пережить не лишился... немало.

27 июня 1911 года Лукович назвал «весёлым днём». Однако, судя по тому, с какой горькой усмешкой он произнёс эти слова, весёлых минут этот день ему не принёс.

Солнце клонилось к закату. Лукович уже собирался закрывать принадлежавшую ему небольшую аптеку в Старом Харбине, в которой он работал вдвоём с женой-фармацевткой, как в дверях появился старший брат жены Луковича, живший на линии дороги в Мудадзяне. За ним стояли какой-то русский (позже Лукович узнал, что его фамилия была Вошило) и два японца.

— Ваня! — обрадованно встретил родственника Лукович. — Какими судьбами? Но... что с тобой, на тебе лица нет... Нездоров?..

— А вот, они... — сдавленным голосом, кивнув на спут-

ников, проговорил Ваня,— приказали привести их к тебе. Только что с поезда.

Вошило и японцы быстро вошли.

— Закрывайте свою аптеку!— резко приказал Вошило Луковичу.

И как только Лукович выполнил это распоряжение, японцы наставили маузеры на Луковича и его жену, а Вошило быстро надел на них наручники.

— Но, позовите,— опешил Лукович,— я ничего не понимаю.

— Скоро поймёшь,— зло усмехнулся Вошило.— Своловч!..

На кухне раздался тяжёлый топот. Через чёрный ход вошли ещё несколько японцев и с ними русский—Третьяков.

Японцы спустили на окнах шторы и начался допрос.

Луковичу предъявили дикое обвинение в том, что якобы он, Лукович, получил с советской стороны через брата своей жены три бутылки с микробами азиатского тифа, вместе с женой культивирует у себя в аптеке эти микробы и заражает ими город.

— Откуда вы это взяли?— похолодел от чудовищного обвинения Лукович.— Никогда я этого не делал..

— Не ври!— закричал на него один из японцев, чиновник японской военной миссии Сато.— Ты—большевик! Японскому командованию всё известно. Ты сейчас же подпишешь вот эту бамагу, что получил из Советской России заразные микробы.

— Да как же я могу подписать то, чего не делал...

— А!.. Не подпишешь?..

На Луковича посыпались удары. Жена Луковича рванулась к мужу, но Сато ударом в лицо сбил её с ног.

Началось дикое избиение обоих супругов.

Японцы, Третьяков и Вошило перерыли всю аптеку и находившуюся при ней квартиру Луковича, но, конечно, ничего подтверждающего это обвинение обнаружено не было. Тем не менее, их допрос и избиение продолжались до утра.

Утром в 5 часов Луковича с женой и их двухлетнего сына, а также брата жены Луковича увезли на дрезине в Эрценъянзы — на небольшую станцию близ Харбина. А оттуда, когда подошёл поезд на восток,—их в этом поез-

де перевезли в Ханьдаохецы, где Лукович разъединили с женой.

В Ханьдаохецы Лукович просидел в подвале несколько дней. Вместе с ним сидел старый харбинец Дулесов. Он получил высшее юридическое образование во Франции, а затем, приехав в Маньчжурию, двадцать пять лет проработал на КВЖД, занимая в правлении дороги ряд ответственных должностей. Уйдя с дороги, он получил крупную сумму заштатных и начал в районе станции Ханьдаохецы разработку арендованной им небольшой лесной концессии.

Дело это стало у Дулесова развиваться. Китайские рабочие-лесорубы шли к нему охотно, так как Дулесов оплачивал их труд выше, чем японцы, лучше обеспечивал их продуктами, организовал способы охраны их труда от несчастных случаев.

Японские концессионеры увидели в Дулесове опасного конкурента и... Дулесов был арестован японской жандармерией по обвинению в том, что он кормит и группирует около себя китайских хунхузов (так японцы продолжали называть боровшихся против них китайских партизан).

— Ты ещё выйдешь,— говорил Дулесов Луковичу,— а вот мне — конец. Не выйду...

Дулесов оказался прав. Японцы его отправили.

Из Ханьдаохецы Луковича с женой вместе с другими арестованными перевезли в Мудадзян.

На вокзале в Мудадзяне на всех арестованных надели чёрные колпаки, закрывавшие лицо, втолкнули на грузовики и долго куда-то везли. Наконец, грузовики остановились... Луковича опять куда-то долго вели. Вот ступеньки...

Вниз... Опять ровный цемент... Запахло сыростью... Ещё несколько ступенек... Ноги захлюпали по воде... С головы сорвали чёрный колпак. Позади тяжело захлопнулась дверь.

Лукович силился осмотреться — темно, ничего не видно. Но вот над головой вспыхнула слабая электрическая лампочка. Со всех сторон каменные стены, низко над головой — каменный свод потолка.

Ну, конечно... Ясно, что подвал. Не в первоклассный же отель его должны поместить.. Но почему на полу вода, выше щиколотки?

Осмотревшись, Лукович увидел, что стены этой небольшой камеры — каменного мешка — были мокрые.

Вода выступала на них крупными, густыми каплями. Она пробивалась в подвал из-под почвы. В воде стояла железная койка с наброшенным на неё рваным японским одеялом.

Усталость от бессонных ночей, допросов, побоев валила Луковича с ног. Он лёг на кровать и моментально заснул. Проснулся он от сильного зуда. Всё его тело горело, словно в огне. Нестерпимо чесались ноги, грудь, спина, всё тело.

Но почему в крови руки? Неужели он во сне расчесал их до крови?..

Неожиданно обнаружил, что кровь на руках была от раздавленных им... вшей, которые густо его осипали. Рваное одеяло было точно живое и, казалось, шевелилось — настолько много было в нём этих паразитов. Несколько дней потом, в свободное от допросов время, Лукович вылавливал из одеяла вшей и топил их в воде.

Через две недели его перевели в первый этаж тюрьмы, в общую камеру.

Ещё три с половиной месяца допросов и пыток. Выливаемые в нос огромные чайники воды, вбивающие под ногти острые шипы, избиения на каждом допросе и требования:

— Подпиши бумагу.

Умерли в тюрьме под пытками три молодых инженера — три брата Асмоловец, умер инженер Сергиенко, молодой харбинец Мартенсон... Два раза пытался покончить с собой Батуриин — житель станции Мулин.

Двадцать один человек из арестованных не выдержали пыток и подписали всё, что им продиктовали палачи. Этих вынужденно оклеветавших себя людей судили в Чаньчуне и... суд их оправдал. Среди них была одна женщина — фамилия её Белая. Потрясённая пережитым, она после суда легла в Чаньчуне в больницу — и это спасло её жизнь.

Спас свою жизнь и ещё один из этой группы «21» — харбинец Арсеньев. Прямо с поезда он ушёл домой. Остальные девятнадцать человек, оправданные чаньчуньским судом, домой не вернулись. Все они были с линии и должны были ждать на харбинском вокзале пересадки на Восточный поезд. Но сопровождающие их японские жандармы увезли их всех в Старый Харбин, в отряд 731, где они обезличенные номерами, превратились в «брёвна».

Луковича с женой, наконец, освободили за недоказанностью обвинения и передали в бюро эмигрантов на станции Мудадзян, начальником которого был бывший белогвардейский полковник Шепунов, собственноручно убивавший в Мудадзяне русских людей только за то, что они, стремясь оставаться русскими, не продавались японцам. Помощников себе подобрал Шепунов соответствующих — бывший военный лётчик Воцило, бывший казачий офицер Третьяков, молодой садист — сын врача Кривенко, фашист Власов... Всё это были палачи, для которых убийство было ремеслом, кормившим их.

Когда Луковича, а с ним ещё семь человек освобождённых, передали в Мудадзянское бюро эмигрантов, их принимал Власов.

— Позвольте,— перебил Луковича Кедров.— Вы говорите — Власов... Каков он собой? Высокого роста, худощавый, провалившиеся, бесцветные глаза? Возраст... В общем, старше меня года на два, на три...

— Примерно так. Вы его знаете?

— Кажется, да.

И Кедров вспомнил своё первое знакомство с Власовым.

— Тогда мудадзянский Власов — это, конечно, он, — подтвердил Лукович и, помолчав, продолжал свой рассказ.

Играя маузером, Власов грубо ругал каждого из освобождённых, говоря:

— Гуманничают с вами японцы. Не нам попались...

Один из группы Луковича,— пожилой, почтенный человек, врач — не выдержал:

— Эх,—сказал он Власову,—постыдились бы так выражаться. Я ведь с вашим папашей когда-то учился. Бместе Казанский университет кончали. Только он на юридическом был.

— А вы мне про папашу бросьте,— злобно ответил Власов.— И вообще не распространяйтесь,— сократим.

И, действительно, несчастного врача «сократили». Он бесследно исчез.

Исчез и брат жены Луковича Ваня Андриевский. Может быть, пыток не выдержал, а может быть, его, так же как и многих других, использовали как объект для опытов экспериментальной японской «медицины» в отряде 731.

## 46. ОСЬ ЛОПНУЛА!

Уже больше трёх лет длилась «великая восточно-азиатская война».<sup>1</sup>

Развязав эту войну на Тихом океане, японцы не расчищали своих сил. Это сделалось очевидным после того, как около Соломоновых островов погиб почти весь японский флот вместе со своим командующим адмиралом Ямamoto. Американские эскадры полностью установили на Тихом океане свой контроль и блокировали берега Японии. Американские «летающие крепости» бомбили не только Токио, Осака и другие крупнейшие города страны Восходящего Солнца, но и безнаказанно, на семикилометровой высоте, кружились над промышленными центрами южной и северной Маньчжурии. Японские зенитки до них не доставали. Не могли подниматься на такую высоту и японские истребители. Не отваживались вылетать на встречу «летающим крепостям» дажесмертники на своих «Ками-кадзе».<sup>2</sup>

Отряды лётчиков-смертников начали создаваться в Японии после того, как она лишилась своего флота. Эти люди были по-своему, безусловно, большими патриотами. С белой повязкой смертника на лбу, они, поднимаясь с аэродрома на своих «Ками-кадзе» с грузом бомб, знали, что назад не вернутся, не имеют права вернуться. Они обязаны были найти врага и таранить его. Смертники шли в лобовую атаку на вражеский самолёт, обрушивались на палубы неприятельских кораблей, бросались даже на одиночные танки. И...

— Божественный ветер уносит их души на небо, где живёт великая богиня Аматерасу<sup>3</sup> и где блаженствуют души всех умерших наших императоров,— рассказывал Кедрову о смертниках преподаватель японского языка в русской школе Кутани.— Это, Кедров-сан, очень великие герои. Их имена, написанные на священных дощечках, будут вечно храниться в храмах!

Кедров не возражал. Героизм смертников казался ему неоспоримым. Но он не разделял восторженного преклонение-

<sup>1</sup> Так назвали японцы свою войну с Америкой.

<sup>2</sup> «Ками-кадзе»—по-русски: божественный ветер. Так назывались самолёты, на которых летали смертники.

<sup>3</sup> Аматерасу — мифологическая богиня, по преданию, основательница японского государства.

ния Кутани перед этими энтузиастами. Ему было просто жаль их. За что она гибла, эта молодёжь? Разве ей нужны были Иndonезия, Бирма, Китай? Какой был смысл для них в том, что «божественный ветер» навсегда уносил их от матерей, жён, сестёр? И кому вообще нужна эта «великая Восточная Азия», за создание которой сотни тысяч молодых здоровых японских парней расстались со своей жизнью в Китае и на островах Тихого океана?..

«Летающие крепости» появлялись над Дальним два раза. Они сбросили по несколько бомб на портовые сооружения. Во второй раз одну из бомб отнесло в центр города. Прямым попаданием она отвалаила половину пятиэтажного здания «Мицуй-банка».

Кедров на следующий день был на месте взрыва. Шли раскопки. В бомбоубежище около банка груды бетона похоронили японку с шестью детьми. Это была жена парикмахера. Парикмахерская находилась напротив банка. В момент налёта женщина схватила ребятишек и кинулась в бомбоубежище. Парикмахерская уцелела. Пострадали только стёкла в окнах. А женщина и шесть малышей нашли себе смерть там, где искали спасение.

Пышно зацвела сакура, покрыв белоснежным цветом дальнинские сады и парки. Со спортивной площадки русской школы далеко разносились в весеннем воздухе звонкие ребячье голоса. Кедров усиленно готовил школьников к весеннему спортивному празднику, тем более, что в этот день они должны были соревноваться с соседней японской школой.

Минуты отдыха. Малыши затеяли на площадке игру в пятнашки, старшие окружили Кедрова. О предстоящих состязаниях говорят мало. Их интересует... другое.

— Николай Георгиевич,— подсаживается поближе к Кедрову выпускник Толя Калашников,— немцам-то скоро совсем капут. Наши Берлин штурмуют. Читали в газетах?

Кедров ласково смотрит на Толя: хороший парень! Настоящий русский... Да и все они... Он хорошо узнал их, сдружился с ними за их школьные годы.

— Дали немцам жару!— говорит тем временем Толя.

Кедров, улыбается. Как наяву встаёт перед ним подвижное лицо Кузьмича: «В штыки их, сучих детей»...

— Русского штыка никто, ребятки, выдержать не может. С суворовских времён так повелось...

Неожиданно слышится заунывный вой сирены.

Кедров вскакивает:

— Налёт! А ну-ка, живо, стройтесь. Равняйся! Смирно! Направо! В бомбоубежище бегом марш!..

Минут через двадцать отбой. Ложная тревога. Оказалось — очередные манёвры противовоздушной обороны, которые японцы устраивали по несколько раз в день.

На спортивной площадке опять зазвенели детские голоса. Тренировки продолжались.

Первого мая спортивная площадка русской школы приняла праздничный, нарядный вид. На скамейках вокруг площадки — родители учащихся, родители японских школьников.

Кедров доволен. Состязания проходят лучше, чем он ожидал. К столу, за которым сидят оба директора — русский и японец, — почти всё время за получением призов подходят русские школьники.

Вот закончился бег на сто метров для первоклассников, и к столу, широко улыбаясь, быстро идёт Коля. Он засовывает в карман полученную плитку шоколада и бежит к ребятам. Подарок небольшой, но для ребят ценный. В магазинах давно уже не было шоколада, и школе удалось получить его при помощи военной миссии.

Тани нет. Заболел дедушка, и она не смогла оставить его одного.

Ещё с порога Коля начинает рассказывать ей, как они сегодня «всыпали япошкам».

— Бегу... Дух захватывает... А думаю — не поддамся! И вот — первым прибежал! Наш класс — лучше всех!..

— Давай, переодевайся да мойся, — торопит его Таня. — Обедать будем.

Но тут получился конфуз. Таня всегда проверяла карманы Коли, чтобы в них не было ничего лишнего, и... вытащила размякшую шоколадку.

— Это что? Смотри — весь карман испачкал!

— Это, мамуля, приз... — смущённо оправдывается Коля. — Я первым прибежал.

— А почему же не скушал?

Коля мнётся.

— Не скушал почему?

— Это я... я хотел, чтобы Оля... Я большой, а она маленькая...»

— Тогда — пополам,— решает Таня.— Но только когда пообедаешь.

После обеда Кедров прилёг отдохнуть, но уснуть ему не удалось — приехал неожиданный гость. Выйдя из спальни, Кедров в недоумении остановился. Перед ним стоял высокого роста, совершенно седой человек.

— Не узнал? — проговорил гость, протягивая ему руку. — Правда, и ты изменился, но меня действительно трудно узнать. Укатали сивку крутые горки...

Кедров узнал по голосу.

— Степан! Какими судьбами?..

Это был Дружинин.

— Давай рассказывай, — откуда, как? Надолго? — засыпал его Кедров вопросами, и спохватился:

— Таня, познакомься, — мой старый друг. Ты не обедал, Степан? Ну, конечно, нет. Сейчас мы это организуем... Ну, так рассказывай — как живёшь? Надолго сюда?

— Думаю, надолго. Пока один приехал посмотреть — как тут у вас. Если удастся устроиться, — выпишу жену. Я ведь теперь в Маньчжурии живу. Лет семь, как из Мукдена туда перебрался... Закупщиком в одной китайской фирме работал...

В рассказе Дружинина радостного было мало.

Японцы видели и знали неприязнь к себе лучшей части русской эмиграции, разбросанной по всей Северной Маньчжурии.

Теперь почти в каждом эмигранте они начали подозревать советского шпиона. Достаточно было кому-нибудь обмолвиться неосторожным словом, сказать что-либо положительное о Советском Союзе, как японская жандармерия строила на этом обвинение в шпионаже в пользу СССР, кончавшееся для обвинённого самыми печальными последствиями.

В конце тридцатых годов на станции Маньчжурия за такую неосторожность поплатились жизнью начальник бюро эмигрантов Семёнов, доктор Ярцев, два брата Воробьёвы, бывший служащий КВЖД Говордовский, Банючук, советский гражданин Жуков.

Все они были обвинены японцами в советском шпионаже и после долгих, мучительных пыток расстреляны.

Вместе с этой группой невинных, обречённых на смерть людей, сидела жена Банючук.

В отношении супругов Банючук японцы сделали... «гуманный жест». Они предложили им самим договориться между собой — кому идти под расстрел, а кому на свободу.

— У вас есть ребёнок, поэтому один из вас должен жить, чтобы его воспитывать, — заявил им судья. — Вы должны сами договориться между собой, кто останется с ребёнком.

Сам Банючук, не задумываясь, обрёк себя на смерть... Его жена вышла на свободу, дав японцам подписку никогда, нигде, никому ничего не рассказывать о тех пытках, которые она, её муж и все другие перенесли в японском застенке.

Банючук с сыном уехала в Тяньцзин и там не выдержала, рассказала о пережитом ею ужасе иностранному журналисту. О своём злодеянии на станции Маньчжурия японцы прочитали в американской печати.

Заняв Тяньцзин, японцы тотчас же арестовали Банючук, и она, вместе со своим пятилетним сыном, была ими расстреляна.

— Вот она, брат, какая жизнь настала, — рассказывал Дружинин. — Мне тоже пришлось познакомиться с японским застенком. Почти полгода отсидел. Видишь, какой оттуда вышел — совсем белый. Закупал я скот в Монголии. На советскую сторону даже не заглядывался, а когда вернулся в Маньчжурию, — сделали из меня советского шпиона, и... пожалуйте бриться. Если бы не мои хозяева-китайцы, — расстреляли бы. Они меня отстояли...

Дружинин прожил у Кедровых с неделю. За это время ему удалось найти службу — экспедитором в универсмаге Чурина, и он, сняв квартиру неподалёку от Кедровых, подал жене телеграмму:

«Выезжай!..»

До приезда жены вечера коротали вместе. Перебирали в памяти прожитое, слушали радио. Кедров переводил последние известия. Тон японцев заметно изменился. В радиопередачах уже не было прежнего злопыхательства против Советского Союза. Германия выбыла из строя, пресловутая ось Токио—Берлин—Рим лопнула, сломалась. И война с СССР была бы теперь для Японии явной гибелью, тем более, что десанты американских марины<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> Марини — американская морская пехота.

уже захватили японские острова Сайпан, Окинава и душили Японию клещами блокады. О встрече с немцами на Урале японские правители больше уже не мечтали.

Вечером 9 мая Токио передало сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.

— Всё! — оторвался Кедров от приёма. — Кончена война! Да ещё как кончена! Набили наши Гитлеру морду по всем правилам! Вот она, силушка русская. Без союзничков справились. Они, как шакалы на падаль, только к шапочному разбору подоспели.

— Дедушка!.. — кинулся он в комнату Таниного отца. — Слышите? Немцы капитулировали.

— А? Что? — встрепенулся старик. Он был очень плох и последние дни находился в полуза�оты.

— Немцев, говорю, разбили. Окончательно. Сдалась Германия, кончена война!..

— Ну, ну... — забормотал старик. — Слава тебе, господи. Теперь, значит, и помирать можно. Спокойно можно помирать.

В этот вечер засиделись далеко за полночь.

— Никогда я не верил, что немцы нас разобьют, — говорил Дружинин. — Да и никто из русских не верил, кроме японских прислужников, даже и тогда, когда они до Волги доходили...

— Вот-вот! — смеялся Кедров. — Что-то теперь скажет генерал Нечаев!

Впрочем, о Нечаеве Кедров вспомнил напрасно. Этот генерал, говоривший когда-то о непобедимости немецкой армии, уже больше года воздерживался высказывать своё мнение о войне Советского Союза с Германией. Он занимал теперь должность начальника дальнинского бюро эмигрантов и хмуро сидел в своём кабинете, доставая время от времени из тумбочки письменного стола бутылку с коньяком.

#### 47. НАШИ САМОЛЕТЫ

Старый литейщик умер в начале июня. Угас тихо, незаметно. На русском кладбище, террасами раскинувшемся по склону горы, у Кедровых появилась под молодой акацией родная могила.

Летом Кедров редко уезжал в город — только в дни дежурств по школе да за тем, чтобы получить в русском

кооперативе очередной месячный паёк. Почти все дни Кедровы проводили у моря. Иногда, забрав сына, Кедров уходил с утра на рыбалку за Хошигаура к «Чёрным скалам». Там в тихих заводях среди скал ловилась мелкая рыбёшка. Во время отлива собирали в камнях большие ракушки: из их улиток Таня готовила вкусное рагу.

Вечерами к Кедровым обычно приходили Дружинины. Коротали время за маджаном<sup>1</sup>. Клавдия Андреевна, жена Степана, днём шила. Хорошая портниха, она приобрела уже много постоянных заказчик.

Отрываясь от игры, Кедров подсаживался к радиоприёмнику и переводил последние известия из Токио. Из этих туманных сообщений о войне с Америкой было ясно, что для Японии уже определилось начало конца её военной авантюры.

— Я думаю, что тут последнее слово Советский Союз скажет, — высказывал своё мнение Дружинин. — Японки оказались для него пакостными соседями. Как ты на это смотришь, Николай?

— Логично! Война на западе кончена. Теперь очередь за Японией. Поживём — увидим.

— Хорошо, что мы со Стёпой уехали из Маньчжурии, — вздохала Клавдия Андреевна. — Здесь, в Дальнем, как-то спокойнее живётся...

Так казалось Клавдии Андреевне, но не так было в действительности. Один за одним пустели стулья русских служащих различных дальнинских контор, не выходили на работу русские сторожа заводов, угольных складов. Жёны этих русских тщетно пытались узнать что-либо о их судьбе в японской полиции, в жандармерии, в военной миссии...

Всюду им отвечали с хладным бесстрастием:

— Это... нам неизвестно!..

Поэтому, Таня всегда неохотно провожала Кедрова в город и переживала, когда он не возвращался вовремя.

Чтобы не волновать жену, Кедров каждый раз торопился домой, но 9 августа заставил Таню пережить несколько тревожных часов.

Ещё в Хошигаура, садясь в трамвай, он заметил на себе косые взгляды японцев.

<sup>1</sup> Маджан — китайская игра, напоминающая домино, только значительно сложнее.

В вагоне сидевшие рядом с ним две японки зашептались. Из их шёпота Кедров, занятый книгой, уловил только одно слово: «русский». Японки поднялись с сиденья и отошли в сторону. Свободных мест больше не было, и японки, держась за поручни, остались стоять.

Кедров удивлённо взглянул на них и, усмехнувшись, опять занялся книгой:

— Чёрт с ними! Не хотят сидеть — пусть стоят...

На остановке около русского кооператива, он вышел из трамвая. На углу, вокруг репродуктора на столбе, стояла большая толпа японцев. Кедров вслушался в слова передачи и радостно замер:

— Война с СССР! Вот он... штыковой удар!

Быстро зашагал в кооператив. В магазине, как никогда, оживлённо. Но продавцы заняты мало. Посетителям не до покупок. Многие зашли сюда встретить знакомых, поговорить о том, что с утра вззволновало весь город. В гуле голосов то и дело прорывалось слово «война».

Героя обороны Порт-Артура георгиевский кавалер Евгения Ильинична Едренова, старушка лет под семидесят, подходит к священнику Коломину:

— Я вот когда смотрю на вас, отец Марин, то мне всегда кажется, что у вас лицо, как у Иисуса Христа...

Священник расплывается в елейной улыбке. Рука его поднимается для благословения, но Евгения Ильинична отступает:

— Лицо-то, как у Христа, — повторяет она, — а вот душа-то у вас — дьявола!..

Вокруг раздаётся смех, слышатся реплики:

— Правильно. Так его...

— Этот поп — хуже дьявола. Выпытает всё на исповеди, а потом с доносом бежит.

— «Стукач», а не поп.

— Я напротив миссии живу, — говорит один пожилой человек. — Нет, нет, смотришь, и ныряет наш отец Марин туда...

Коломин, путаясь в рясе, протискивается к выходу.

— Нехорошо с батюшкой обошлись, — говорит отельный комиссар Нестеров. — Почтенного человека обидели...

— Ну, да, почтенного! — шумит народ. — Такой же почтенный, как и ты. Что сюда пришёл? Подслушивать,

о чём говорят? Иди скорей, торопись—стучи. Вы ведь с Нивой дружки-приятели... Ничего, скоро отцаствуете...

Выкупив паёк и оставив его в кооперативе, Кедров решил съездить в бюро эмигрантов. Потянуло туда любопытство: как-то там восприняли эту новость?

Народа в приёмной бюро сидело много. Разговаривали полушёпотом.

— Ну что, какие новости? Как дела? — спросил Кедров у заведующего клубом Плотникова.

— У генерала сейчас Ивамото сидит, — вместо ответа проговорил тот, кивнув на кабинет Нечаева.

Ивамото был начальником иностранного отдела миссии и одновременно советником бюро.

Из кабинета Нечаева вышел секретарь бюро и второпях оставил дверь полуоткрытой.

Донёсся резкий, отрывистый голос Ивамото:

— Сегодня же сжечь все дела бюро! Анкеты, документы... Всё сжечь! Это приказание начальника миссии. Надо принимать срочные меры...

Кедров прошёл к секретарю, но тот замахал на него руками:

— Некогда, некогда... Видите, какая каша заварилась!..

Секретарю было действительно некогда: он освобождал все шкафы от бумаг и папок, сваливая всё это кучей в угол кабинета.

Из бюро Кедров пошёл пешком. Проходя мимо миссии, он увидел, как в её дворе пылал большой костёр. Здесь тоже... принимали срочные меры.

Захватив в кооперативе свой паёк, Кедров заторопился домой. Было уже четыре часа дня, а обещал вернуться к часу...

В трамвае два японских офицера, не обращая внимания на Кедрова, громко разговаривали о начавшейся войне.

— Не может быть, чтобы это была война, — говорил один, постарше.—Советский Союз слишком ослабленвойной на западе, чтобы осмелиться напасть на нас. Скорее всего, это какой-то пограничный инцидент.

— Но если даже и война, — самоуверенно отвечал молодой, — то наша Квантунская армия даст советским должный отпор.

Офицер постарше промолчал.

Выйдя из трамвая на своей остановке, Кедров заметил Таню и Клавдию Андреевну. Они поджидали трамвай в город.

— Куда собирались? — окликнул он их.

Таня порывисто обернулась и кинулась к Кедрову:

— Ну, как же так можно, Коля? Жду час, два... Тебя всё нет. Я, бог знает, что передумала. В городе, что ни день, то японцы кого-нибудь схватят...

— Татьяна Николаевна ко мне прибежала, — укоризненно проговорила подошедшая Клавдия Андреевна. — Где, говорит, теперь его искать? Как я могла одну её в таком состоянии отпустить? Поедем, говорю, вместе...

— Виноват, но... заслуживаю снисхождения, — попытался Кедров шуткой успокоить Таню. — Такое дело случилось, такое дело! Но, однако, пошли домой. По дороге расскажу.

И он взвалил на плечи кульки с пайком.

— С кем ребят оставила?

— Одни. В садике играют. На всякий случай попросила соседку-китаянку присмотреть. Так какое же дело случилось?

— Ах, да, — спохватился Кедров. — Война! Советский Союз начал войну с Японией. У япошек паника. Жгут все документы. В бюро тоже. В кооперативе был. Наши русачи гудят.

Кедров рассказал про случай со священником Коломиным и комиссаром Нестеровым.

— Отец Марин? — удивлённо вскрикнула Таня. — Не может быть!

— Вот тебе и не может быть! В нашей жизни всё может быть. Этот поп одной рукой ладоном кадит, а другой своего ближнего за глотку берёт. Все они на один покрой...

— Опять война! — вздохнула Клавдия Андреевна. — Если затянется надолго, совсем тugo придётся.

— Не затянется, Клавдия Андреевна! — уверенно проговорил Кедров. — Эта война долго не затянется. Сами япошки это чувствуют. Не устоять им против наших.

Ребята забавлялись в садике. Коля наигрывал на барабалайке «Во саду ли, в огороде», а Оля устраивала из своих кукол хоровод.

Барабалайку Коле подарили весной, когда он перешёл во второй класс. Слух у мальчика оказался музыкальным.

Коля налету схватывал всё, чему учил его Кедров, подбирал по слуху сам. Таня мечтала:

— Было бы у нас пианино! Как бы надо учить Коленьку!..

Начавшаяся новая война тоже встревожила Таню:

— Что если затянется? И так с каждым днём всё тяжелее становится сводить концы с концами...

Но Дружинин, который в этот вечер не утерпел, чтобы не зайти к Кедрову, тоже был убеждён, что «япошкам быстро набают морду».

— Ты не представляешь, — говорил он, — что сегодня у нас, у «Чурина», делалось! Наши только что не прыгали от радости. Китайцы-продавцы тоже... Сияют. Скоро, говорят, съёпиза фангули<sup>1</sup>. Подняли голову все, осмелились...

Однако, японцы не сдавались. Через «стукачей» они выявляли таких откровенно высказывавшихся людей и отводили их в концлагерь в дачном районе Какахаши. Переведены были в концлагерь и все те, кто томился в подвалах жандармерии и военной миссии.

Кедров и Дружинин оказались правы. Война долго не затянулась. Она закончилась даже значительно раньше, чем это могли предположить сами японцы.

Во дворах многочисленных дальнинских японских учреждений не успел ещё остыть пепел от костров из папок с документами, как сопротивление Квантунской армии, на которую японские правители возлагали большие надежды, было сломлено советскими войсками.

15-го августа в двенадцать часов дня Кедров, сидя у радиоприёмника, с чувством несказанной радости слушал заявление японского мицадо о безоговорочной капитуляции Японии.

Мицадо говорил, что Япония проиграла войну... по воле неба и великой богини Аматерасу и призывал японский народ безропотно покориться этой божественной воле.

Кедров громко рассмеялся.

<sup>1</sup> Съёпиза (по-китайски) — дословно — маленький нос. Презрительная кличка, которой китайцы называли японцев. Фангули (по-китайски) — по-русски имеет значение «перевернуть». В данном случае «съёпиза фангули» — «японцам пришёл конец».

— Ты что? — спросила его Таня, не понимавшая японски.

Кедров перевёл ей слова микадо и проговорил:

— Остроумно придумал! Сам полез, а теперь, когда ему морду набили, на волю неба да на богиню всё сваливает. Как говорится — с больной головы на здоровую...

И вот, наконец... Это было 21-го августа. Кедровы сидели на золотистом песке хошигаурского пляжа. Освещённые купанием, они грелись под жаркими лучами солнца. Под зонтиком, разметавшимся, мирно спала Оля. Коля ещё плескался в море. Мальчик ложился на песок около воды, и набегавшая волна окачивала его с ног до головы.

Неожиданно на пляже поднялась суматоха. Японцы, подхватывая ребятишек и одежду, как были в купальных костюмах, кинулись к парку.

Кедров уловил слова, которыми перебрасывались убегавшие японцы.

— Советские самолёты!..

Прикрыв рукой глаза от яркого солнца, Кедров посмотрел вверх. Из-за горы один за одним появлялись большие транспортные самолёты. Сколько их?.. Один, два... двенадцать. Они летели низко, и на их прямых крыльях можно было ясно рассмотреть красную звезду.

Сделав над Хошигаура круг, самолёты скрылись за горами в сторону аэродрома.

— Видал? — крикнул Кедров тоже внимательно смотревшему на кружившиеся самолёты Коле.—Наши прилетели! Русские, советские...

На следующий день по улицам дальнинских пригородов загремели гусеницы советских танков. В городе появились советские военные.

Первое знакомство Кедровых с советскими бойцами состоялось в тот же день, когда на пустыре неподалёку от их дома расположились танки. Коля с соседскими ребятишками не отходил от невиданных им машин и успел перезнакомиться чуть ли не со всеми танкистами. Двух из них он привёл домой.

— Танкисты, мамуля, к нам... — запыхавшись, вбежал в калитку Коля. — Водички попить пришли.

Кедров вышел из дома. В калитке стояли двое молодых парней в комбинезонах и кожаных шапках.

— Да вы заходите в квартиру, — пригласил он их. — Что там у калитки прижались?

— Мы только напиться, папаша, — проговорил один из танкистов. — Пацан привёл нас. Говорят: здесь русские живут. А вообще-то, конечно, можно и зайти...

Выпили воды, закурили. Понемногу разговорились.

## 49. ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА

Кедрова интересовало всё. Каждая мелочь. Таня даже подсмеивалась над ним:

— Ты, как наша Оля... Та тоже всё время — как, да почему?.. Почемучка.

Однако Кедрова это не смущало, и он жадно расспрашивал заходивших к ним бойцов и офицеров: как живут люди в Советском Союзе. Каковы теперь русские деревни, города... Правда, об этом он уже немного знал. Очень немного, но всё же знал из советских газет и журналов, которые имел возможность читать, работая ещё в «Харбинском Времени», но разве газеты могли рассказать обо всём так подробно, как говорили живые люди?

— А какое различие между колхозом и совхозом? — допытывался он у этих молодых парней в военной форме. — Почему у крестьян нет собственных лошадей? Как же работать без лошадей?..

В первых числах сентября всех русских жителей Хошигаура вызвали в районную советскую военную комендатуру.

Когда Кедров вошёл в приёмную коменданта, там уже сидело человек около тридцати русских хошигаурцев.

Взглянул на часы:

— Не опоздал? Вызывали к четырём. Сейчас — без пяти четыре.

Из кабинета появился комендант, майор, лет под тридцать.

— Здравствуйте, товарищи! — окунул он взглядом собравшихся. — Прежде всего, спасибо, что откликнулись на приглашение. А затем, чтобы вас долго не задерживать, давайте приступим сразу к делу. Нам нужна ваша помощь. Кто из вас хорошо владеет японским языком?

Поднялись трое: Кедров, владелец мастерской по ремонту радиоприёмников Сивков и одна девушка.

— Неужели только трое? — удивился комендант. — Больше никого нет? Девушка не подходит, а эти два товарища пожилые, один даже очень, — указал он на Сивкова. — Помоложе никого нет?

Из молодёжи никто японского языка хорошо не знал. Комендант вздохнул:

— Ну, что ж... Тогда, может быть, вы, — обратился он к Кедрову. — Сколько вам лет?

— Сорок пять. Скоро будет сорок шесть.

— М-да... Но всё равно. Будем договариваться с вами. Остальных ещё раз благодарю за посещение и... прошу считать себя свободными.

Кедров остался один.

— Так вот, товарищ... простите, как ваша фамилия?

— Кедров.

— Так вот, товарищ Кедров, я прошу вас занять в комендатуре должность переводчика японского языка.

— С удовольствием, но я работаю.

— Где?

— В русской школе, физруком.

— Этот вопрос я утрясу. Вы семейный?

— Жена, двое детей.

— Мы дадим вам квартиру около комендатуры. Сколько дней вам понадобится на переезд?

— Дня два хватит.

— Хорошо. Два дня. Завтра, послезавтра на переезд, а потом — за работу. Зарплатой не обидим. Сейчас мой помощник пойдёт с вами, покажет квартиру. Вопросов больше нет?

— Как будто, всё ясно, — поднялся Кедров.

— Значит, договорились. А переехать вам наши бойцы помогут, я дам указание. Ну, а теперь немного подождите, я вызову своего помощника...

Вся эта перемена в жизни Кедрова произошла так быстро и стремительно, что задумался над ней он только после того, как, осмотрев предложенную ему квартиру и распрошавшись с помощником коменданта, садился в трамвай, чтобы ехать домой. Но возражений против принятого решения у него не было:

— Надо помогать... Включаться в общую работу. В советскую. В свою...

И он уже чувствовал себя настоящим советским человеком. Не тревожило даже и то, что он предварительно не посоветовался с Таней, как привык делать это всегда:

— Конечно... Она возражать не будет... Даже наоборот...

На следующий день Кедровы перебирались в особняк, занимаемый до того начальником одного из отделов Южно-Маньчжурской железной дороги.

Майор оказался прав. Работа переводчика в комендатуре была нелёгкой. Японцы плохо подчинялись воле неба и богини Аматерасу. В городе рассосалось много японских диверсантов, провоцировавших беспорядки, совершивших налёты на квартиры горожан, нападавших на одиночных советских военнослужащих. Китайская полиция, заменившая японскую, была ещё плохо организована и неправлялась со своей задачей. Вся работа по установлению и поддержанию в городе порядка осуществлялась пока что советской военной администрацией и военными комендатурами в разбросанных районах Дальнего.

Несмотря на то, что квартира Кедровых находилась теперь неподалёку от комендатуры, он мог только на несколько минут в сутки забежать домой, чтобы попрощаться семью. Бывали дни, когда бойцы, а с ними и Кедров, по несколько раз садились обедать и, каждый раз не закончив обеда, вскакивали по тревоге из-за стола и мчались в машине на вызов. По ночам удавалось спать урывками.

Кедров не чувствовал усталости. Какой-то нервный подъём захватил его в этой суматошной работе, в которой забывались дни недели, числа месяца. Оставались в памяти лишь эпизоды. Сколько их было! Диём и ночью...

Вот ночная облава в китайской части Дальнего, в Сиканцзы. Проливной холодный октябрьский дождь. Всё теснее сжимается около двухэтажного дома кольцо бойцов комендатуры. Как удар бича, хлестнул выстрел, другой... В ответ — автоматная очередь. Завязывается перестрелка. Неподалёку от Кедрова вскрикивает и хватается за руку молодой лейтенант — помощник коменданта. Ранен ещё один боец. Врываются в дом... Десятком японских диверсантов в Дальнем становится меньше.

Но сколько их ещё осталось! С комендантским патрулём Кедров вбегает в квартиру, которую грабят бандиты.

Выхватив из кармана браунинг, он, стараясь перекричать поднявшийся гул, командует:

— Тэ во аге!<sup>1</sup>

Отводя грабителей в комендатуру, один из бойцов дёргает Кедрова за рукав:

— Слыши, отец! Чего ты постоянно под пулю лезешь? Виши, какие бандюги. По два пистолета у каждого отобрали. Продырявят так тебя, за милую душу. И старуха твоя овдовеет, и ребятишко осиротишь. Мы — другое дело. На войне не так бывало...

В редкие минуты отдыха бойцы иногда заговаривали о минувшей войне, и Кедров слушал их тогда не перебивая. В эти минуты он как-то весь подбирался, как бывает с человеком, который ожидает, что его вот-вот ударят. Кедрову казалось, что бойцы заговорят о том, что в то время, как люди гибли на фронте, он, Кедров, отсиживался здесь, в Дальнем.

Месяца через два Кедрова вызвал к себе комендант:

— Очень жаль, товарищ Кедров, но нам с вами придётся расстаться.

— Но... почему, товарищ майор? — удивился Кедров. — Вы недовольны моей работой?

— Я этого не сказал. Я вашей работой доволен. Поэтому я и говорю, что мне жаль с вами расставаться. Мне приказано передать вас в распоряжение капитана Софронова. Будете работать с ним.

И майор указал на стоящего около окна молодого офицера. Это был невысокого роста человек, лет двадцати шести, с тёмными, слегка вьющимися волосами.

— Давайте знакомиться, — подошёл капитан к Кедрову. — Моя фамилия Софронов. Александр Савельевич Софронов. Ваше имя, отчество?

— Николай Георгиевич.

— Ну вот и прекрасно, Николай Георгиевич. Сейчас идите домой, отдохните, а вечером к семи часам приходите сюда. Начнём работать.

Это был первый день, который Кедров спокойно провёл с семьёй.

Работа с Софроновым начиналась обычно с вечера. Шли допросы бежавших из лагеря военнопленных,

---

<sup>1</sup> Тэ во аге! (японское) — Руки вверх!

вылавливаемых в городе японских диверсантов. Ежедневно через руки Кедрова проходило по несколько таких человек, и за это время он узнал японцев лучше, чем знал их, работая в «Харбинском Времени» и за десять лет жизни в Дальнем. Самоуверенные, когда в их руках была власть, они, оказавшись в положении побеждённых, униженно кланялись и были готовы на любое предательство, стараясь этим купить себе свободу. Как не походили они на тех, других... На Кузьмича с его товарищами, на тех, о которых рассказывали Кедрову бойцы из комендатуры, на тех, о которых он уже успел прочитать в литературе. Те, презирая муки и смерть, не выдавали товарищей. А эти... эти, боясь даже не смерти, а временного лишения свободы, старательно называли своих скрывавшихся товарищей, указывали их адреса...

В городе постепенно налаживался порядок. Вышедшие из подполья китайские коммунисты быстро, при помощи своих советских товарищих, восстанавливали в Дальнем нормальную жизнь. Гудели по утрам фабричные и заводские гудки, оповещая о начале работы. Открылись все магазины, кино, кафе. В бывших японских школах зазвенели весёлые голоса китайских ребят. При японцах они могли рассчитывать только на низшее образование. Средних китайских школ в городе почти не было. Грамотные китайцы японцам были ненужны. Они нужны были самураям, мечтавшим о гегемонии над всей Восточной Азией, как рабочая сила, не больше.

Теперь времена резко переменились. Японцы в Дальнем готовились к депатриации на родину. Китайцы в городе вступали в свои права законных хозяев.

Мимо квартиры Кедровых потянулись обозы китайских арб, гружёных домашним скарбом. На возах — китаянки с ребятишками. Каждый обоз сопровождали по несколько китайцев в европейских костюмах с красными повязками на рукаве.

— Что это? Откуда такое... «переселение народов»? — спрашивала Таня, выглядывая в окно.

Кедров пожимал плечами:

— Не знаю. Похоже, что из деревень в город переезжают.

Оказалось, что китайцы переезжают не из деревни в город, а с окраин города на его центральные улицы. Это были рабочие, которые при японцах ютились в развалив-

шихся глинобидных фанзах окраин. Заливая асфальтом главные улицы города, где жили сами, японцы не обращали внимания на китайские рабочие кварталы, которые задыхались от пыли в засушливое время года и тонули в грязи во время дождей.

Наблюдая это «переселение народов», Кедров невольно вспомнил свой давнишний разговор с китайцем Лю, старшим драгоманом харбинской городской управы.

— Почему вы, господин Лю, и другие китайцы работаете у японцев? — спрашивал его Кедров. — Неужели вы ждёте от них чего-нибудь хорошего?

Лю, смеясь, отвечал:

— Мы подходим к вопросу по-коммерчески. Японцы строят на свои деньги на нашей земле фабрики, заводы, железные дороги. Это очень хорошо. Этому надо помогать. Когда они это выстроят, мы всё заберём у них даром, без денег...

Днём Кедров почти всегда бывал дома. Он так же, как и китайцы, начинал жизнь снова и, в первую очередь, учился, просиживая все дни за советской художественной литературой, споря иногда с Таней — кому из них первому начать читать только что купленную новую книгу.

Однажды Таня прервала его чтение вопросом, который показался ей праздным.

— Как ты думаешь, Коля, — проговорила она, указывая на пустой угол гостиной. — Здесь было бы самое удобное место для пианино. Не правда ли?

— Уж не думаешь ли ты купить? — засмеялся Кедров.

— Думаю.

— Думать о многом можно. Вернее, мечтать.

— Я не шучу, Коля. Мне очень хочется, чтобы Коленька учился играть. Слух у него идеальный, способности тоже есть. А потом и Олењка подрастёт...

— «Купило»-то у нас притупило! — пошутил Кедров. — На какие деньги ты покупать-то мечтаешь? Что, на трамвайный билет выиграла что ли?..

— Деньги у меня есть. И пианино я уже присмотрела. Одни японцы по дешёвке продают. У меня как раз хватит.

— Да откуда у тебя такие деньги? — поразился Кедров.

— Накопила.

— Как?

— Я в церковном хоре семь лет пела? Пела. По двадцать иен получала? Я из этих денег ни копейки не расходовала. Откладывала и... старалась забыть про них. Вот и посчитай!..

Кедров от изумления, казалось, потерял дар речи. На конец...

— Слушай, Таня, — взволнованно заговорил он. — Это... Какую же это надо иметь выдержку, чтобы отказывать себе и копить! И ведь мне — ни звука! Все семь лет ни звука...

— Тебе нельзя такие вещи говорить, — взъерошила его волосы Таня. — Ты у меня такой... Сразу бы нашёл — то надо купить, другое... Так, значит, покупаем пианино?

Вместо ответа Кедров притянул Таню к себе на колени.

— Десять лет мы с тобой женаты, Танюша, а всё ещё, оказывается, я мало тебя знаю. Верно мне говорила Надежда Викторовна — с такой не пропадёшь!

— Ах, вот как! Ты значит по расчёту на мне женился! — притворно рассердилась Таня. — Вот тебе за это! Вот!

И причёска Кедрова окончательно превратилась в бесформенную копну волос.

— А ты всё-таки, Коля, нехорошо делаешь, — перестав шалить, заговорила Таня. — Года два уже не писал Пономарёвым. Как-то они теперь там живут?..

— Если так же, как здесь русские, — приглаживая растрёпанные волосы, отвечал Кедров, — то не плохо. До этого никогда так не жили.

Русские дальнинцы так же, как и Кедровы, порывисто тянулись к новой жизни, работая теперь на восстанавливаемых фабриках и заводах.

Но не всех оставшихся в Дальнем русских радовала происходившая в их жизни перемена. Одного из таких Кедров встретил в приёмной комиссии, прибывшей в Дальний из Москвы для оформления советского гражданства для бывших эмигрантов. Это был коммерсант Яголовский, бывший капитан артиллерии царской армии.

— Поздравляю, Антон Флорианович! — подошёл к нему Кедров. — Сегодня паспорта получаем.

— А с чем поздравляете-то? — недовольно взглянул на него Яголковский.

— То-есть, как «с чем»? — удивился Кедров. — Я же говорю — получаем сегодня советские паспорта.

Яголковский пожал плечами:

— Радости мало.

— А зачем же подавали заявление, если вас это не раздует? — ещё больше удивился Кедров. — Вас никто не принуждал. Это дело сугубо добровольное. Ведь было же объявлено: «желающие»...

— Было-то было, но... попробуйте не пожелать!.. В общем, куда теперь ни кинь, — везде клин получается. Не возьми паспорта, — тебя за шиворот возьмут. А с паспортом могут ещё предложить поехать в Советскую Россию.

— Ну, вот и хорошо, если предложат! — не выдержал Кедров.

— Хорошего мало, — сухо проговорил Яголковский и отвернулся, всем своим видом показывая, что разговаривать дальше с Кедровым он не расположен.

Возвращались с Таней домой под вечер. Кедров время от времени нащупывал во внутреннем кармане пиджака новенькие паспортные книжки — свою и Танину, — с гербом СССР на обложке и счастливо улыбался.

— Ну вот, Танюша... И мы с тобой теперь тоже... Тоже советские граждане, — взволнованно говорил он. — И наши ребятки тоже... Вот теперь бы мне моего Кузьмича встретить... Какой он чудесный человек, Таня! Я бы теперь ему сказал: вот и у меня, Кузьмич, тоже крепкая опора!..

## 50. ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

Зима в Дальнем тёплая. Когда градусник начинает в редких случаях показывать десять-двенадцать градусов ниже нуля, дальнинцы зябко жмутся:

— Какой сегодня мороз!

Окна зимой — без вторых рам. Но и одинарные часто в безветренные, солнечные дни раскрыты настежь. Особенно в школах, во время перемен.

Незадолго до Нового года Кедров, возвратившись домой из книжного магазина, задержался около крыльца и

прислушался. Из квартиры доносились мерно чередующиеся звуки гаммы, затем Коля чётко заиграл «ганон».

Уже месяц, как к Кедровым ходила учительница музыки, и Коля делал большие успехи. Не отходила от инструмента и Оля, старательно пытаясь заучивать всё, что задавалось Коле.

Кедров положил на крыльцо связку только что купленных книг, присел около них, закурил.

Да... Хорошо, что Таня купила пианино... У обоих детишек, кажется, большие музыкальные способности... И ещё лучше, что жизнь так изменилась. Они с Таней уже возбудили ходатайство о выезде в Союз.. Скоро может быть, дадут визу, а тогда... Что ждало здесь русских ребят раньше? Кончали среднюю школу и — всё. Конец. Дальше хода нет. Учиться негде. А там!..

Как «там» — Кедров теперь хорошо знал из рассказов комендантских бойцов и офицеров, из газет, журналов, из книг, которые уже не помещались в его книжном шкафу и грудами лежали на письменном столе, на широком подоконнике.

Вспомнил почему-то о детищах «математика». Вздохнул:

— Счастливые ребята!..

— Скажите, здесь живёт переводчик? — вывел его из раздумья незнакомый голос. Кедров оглянулся. Около садовой калитки стоял военный высокого роста, в шинели с офицерскими погонами, в фуражке лётчика.

— Я переводчик,—поднялся Кедров с крыльца.— Да вы заходите, калитка не заперта.

Офицер толкнул калитку и, не спеша, подошёл к Кедрову:

— Здравствуйте! С просьбой к вам... Никак тут с японцами договориться не могу. Квартиру снять надо, а языка ихнего не понимаю. Недалеко тут, метров сто, не больше... Может, поможете?..

Так началось знакомство Кедрова с авиатехником капитаном Николаем Семёновичем Шавриным, перешедшее вскоре в крепкую дружбу Кедровых с ним и с его женой Татьяной Георгиевной.

Супруги Шаврины по характеру были полной противоположностью друг другу. Сам Шаврин — всегда спокойный, невозмутимый. Даже говор его, тихий и несколько медлительный, как бы внушал собеседнику:

— Ну, зачем волноваться? Каждое дело можно разрешить гораздо легче, если говорить о нём хладнокровно...

Поэтому частые вспышки горячей и вспыльчивой, как порох, Татьяны Георгиевны неизменно разбивались об это эпическое спокойствие Николая Семёновича и кончались её весёлым смехом.

Шаврины безумно любили детей, но теперь были бездетны: их единственный ребёнок погиб в Ленинграде во время блокады. Сам Шаврин об этом ничего не рассказывал. Мало говорила про это и Татьяна Георгиевна. Обоим было слишком тяжело бередить эту ещё свежую душевную рану.

Кедровы, Шаврины и Софронов с женой, которая недавно приехала к нему из Союза, всё свободное время проводили вместе.

Обе Тани подружились быстро. Вначале их сблизил общий интерес к рукоделию. Татьяна Георгиевна не могла равнодушно пройти мимо вышивки. Вся её квартира была застлана салфеточками, вышитыми дорожками, накидками. Любила и умела Татьяна Георгиевна принять гостей, угостить...

Но главное, чем Шаврины и Софроновы привлекали к себе Кедровых, — это дружеская простота, радущие и сердечность... Это были совсем другие люди, не такие, как давнишние знакомые по Дальнему, жившие только своими личными интересами.

По выходным дням иногда появлялись Дружинины. У женщин находились свои неиссякаемые разговоры, а мужчины или усаживались за преферанс, или, дымя сигаретами и папиросами, оживлённо разговаривали.

Впрочем, говорили только Шаврин и Софронов. Кедров с Дружининой расспрашивали.

Войну Шаврин провёл в суровых условиях Заполярья и вспоминать о ней не любил.

— Лучше поскорее забыть об этом, — говорил он. — Советский народ слишком тяжело пережил войну.

— «Помнишь, Алёша, дороги смоленщины»... — подсказывал Кедров.

— Да... Смоленщина... Пожалуй, правильно: для того, чтобы увидеть, сколько зла принесли нам фашисты, надо было в те годы побывать в смоленщине. Но... не будем про это говорить. Это уже дело прошлого. Теперь нам надо думать о настоящем.

Мало разговорчивый по натуре, Шаврин здесь обычно увлекался и мог говорить часами. Он рассказывал о ленинградских заводах, где работал до войны, о людях, об их работе, отдыхе, о повседневном стремлении добиваться того, чтобы сегодня было лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

Неторопливо, медлительно, как о чём то самом простом и обыкновенном, рассказывал обо всём этом Шаврин, — а Кедров чувствовал, что от этих спокойных слов у него бурно закипает в жилах кровь и словно крылья вырастают за плечами:

— Скорей бы... Скорей получить визу и... туда! Тоже работать, вместе со всеми!..

Иногда Шаврины уводили к себе на целый день Колю с Олей.

Не видя детей, Кедров начинал тосковать.

— Как-то пусто в доме без ребят, Таня, — говорил он тогда жене. — А ведь всё равно, подрастут они, оперятся, расправят крылья и вылетят из родного гнезда.

Однако, один птенец вылетел из своего родного гнезда гораздо раньше, чем оперился.

— Коля не с тобой? — встретила однажды Таня вернувшегося домой Кедрова.

— Нет, а что?

— Отпустила его к приятелю, к Жоржику Имшенецкому. Сказала, чтобы в пять был дома. Сейчас уже семь, а его всё нет. Я думала — к тебе зашёл в комендатуру.

— У меня его не было. Что же могло случиться, — встревожился Кедров. — Парнишка всегда аккуратно являлся домой... Где живут Имшенецкие?

— Где-то недалеко от комендатуры... Я уже хотела тебе звонить...

Не ответив жене, Кедров побежал в комендатуру — там должны знать адрес. Боец проводил его к Имшенецким.

Но Коли там не было, — он ушёл домой около пяти часов.

У Кедрова сжалось сердце. Где же искать? Что могло случиться?

Боец высказал предположение:

— Тут неподалёку машина какого-то пацана подмыла... В больницу увезли...

— Где? Где?...

— Тут, около японской школы, — объяснил боец.

Около японской школы... Это как раз около остановки, где должен был выйти из трамвая Коля... Кедров побежал домой.

— Нашёл? — встретила его Таня.

— Да... Кажется... Нашёл... — срывающимся голосом отвечал Кедров. — Ты вот что — одевайся скорее. Идём. Колю, кажется, машина сшибла. Надо узнать в больнице...

По дороге в больницу у Кедрова подкашивались ноги.

— Неужели...

— Возьми себя в руки, — успокаивала его Таня. — Может быть, ничего не случилось.

Однако, предчувствие не обмануло Кедрова. Сына они нашли в советском военном госпитале, куда его привезли с места несчастья случайные прохожие. Мальчик был в тяжёлом состоянии.

Кедров знал об этом, врачи от него не скрывали. Но чтобы его мальчик перестал жить... Об этом Кедров даже боялся думать, Таня осталась в больнице с сыном, а он всю ночь, не смыкая глаз, просидел около телефона.

Телефон молчит! Значит, всё благополучно. Выживет...

Обманывая себя, загадывал:

— Если ещё час не позвонит, всё будет хорошо.

Уже рассвело, когда послышался телефонный звонок. Кедров похолодел, дрожащей рукой взялся за трубку и долго её не снимал. Наконец...

— Алло! Кто говорит?..

В трубке послышался голос Софронова. Отлегло — не Таня...

Но первые же слова Софронова заставили Кедрова пошатнуться.

— Будь мужчиной, Николай Георгиевич, — говорил капитан. — Сейчас из больницы звонила Татьяна Николаевна... Коля...

Трубка выпала из рук Кедрова.

Не надеясь на свои силы, Таня позвонила Софронову и попросила его осторожно подготовить Кедрова. Капитан сделал это, как сумел.

В хлопотах о похоронах Кедров несколько забылся.

Таня оставалась на попечении Клавдии Андреевны, которая эти дни ночевала у Кедровых. Почти безотлучно

с Таней были Татьяна Георгиевна и Тося — жена Софронова.

Колю похоронили рядом с дедушкой.

А затем...

Смерть сына состарила Кедрова на добрый десяток лет, покрыв волосы густой сединой.

Убитая горем Таня, с осунувшимся лицом и провалившимися глазами походила на человека, только что перенёсшего длительную, тяжёлую болезнь.

Возвращаясь с работы, Кедров неизменно заставал Таню с заплаканными глазами. Он ни о чём не спрашивал, а садился около жены на спинку кресла и гладил её волосы, а у самого на глазах накипали слёзы.

— Не надо, не надо... — успокаивала Таня. — Возьми себя в руки.

Взять себя в руки?.. Да, надо... Надо... Но как это сделать, если перед глазами, в мыслях, всегда и всё время его мальчик, его сын.

Бот он смотрит на него с портрета над пианино своими большими, не по годам серёзными глазами с длинными ресницами.

И кажется Кедрову — вот-вот весело заискрятся эти близкие, родные глаза и с губ мальчика сорвётся его радостное:

— Папуля!

Кедрову остро вспоминается каждая мелочь. В больнице, когда он впервые, с приливом необычайной нежности поцеловал это появившееся на свет маленькое смуглое существо, лежавшее в кроватке около Таниной постели, — он был вне себя от охватившего его счастья.

— Таня, смотри, смотри... Улыбается! — повернулся он к жене.

Малютка, конечно, ещё не улыбался, но Таня не спорила:

— А то как же! Узнал своего папку!..

Как только мальчик начал ходить, Кедров всегда, возвращаясь с работы, летом брал его в огород, а зимой придумывал какое-нибудь дело дома.

— Ну, парнище, — звал он его, — пошли работать, хозяйствничать. Учись с малых лет трудиться — добрый казак будешь!

Кедров часто фотографировал сына: то дома в саду, или в огороде, то в парке, то у моря — одного, с Таней,

позднее с сестрёнкой. И в этом большом альбоме фотографичек можно было видеть, как из малиотки постепенно рос крепкий, здоровый мальчик. В этом году он начал учиться уже в третьем классе и вот теперь...

Хлопнула калитка. Кедров вздрогнул: Коля пришёл из школы! Сдвинув набекрень пилотку, он, насвистывая и размахивая сумкой, проходит по садику к дому. Вот он вошёл в переднюю...

Кедров проводит рукой по лбу. Криво усмехается:

— Дошёл, кажется... до галлюцинаций.

Но в переднюю действительно вошли. Послышался голос Шаврина:

— Дома? Можно? Вернулся домой — нет моей Татьяны Георгиевны, — заговорил он, проходя в гостиную. — Ясное дело — у вас. Решил тоже зайти...

— Проходите, Николай Семёнович, — пригласил Кедров. — Татьяна Георгиевна в комнате у жены.

— Две Тани, — улыбнулся Шаврин. — Две Тани и два Николая. Жёны тёзки, мужья тоже. Как по заказу...

Шаврин сел, не спеша закурил и заговорил о погоде:

— Зима здесь начинается так же, как у нас в Ленинграде. Слякоть, туманы...

Замолчал.

— Красивый город Ленинград, — нарушил молчание Кедров. — Я, правда, там не был. По журнальным иллюстрациям да по открыткам сужу.

— Город красивый, — коротко заметил Шаврин и, опять помолчав, медлительно заговорил:

— Досталось ему в войну... В блокаду. Моя Таня в это время в Ленинграде была. Перенесла не мало... И... сынишку мы тогда потеряли. Получил я тогда от Тани письмо об этом — меня, как обухом по голове. Сначала не понял... Верить не хотел. Несколько раз письмо перечитал... Тут лететь надо, а я ничего сообразить не могу. Однако, слетал, вернулся благополучно... На фронте как-то привыкаешь к смерти... Вернее — свыкаешься с ней... А вот потерял близкого человека — сразу почувствовал её. Всё же, через несколько дней, пришёл в себя. Задумался: ну вот мы с Таней потеряли сына, маленького, двух лет ему ещё не было. Утраты, слов нет, тяжёлая. А сколько таких утрат в войну было? Миллионы матерей и отцов осиротели, потеряли своих сыновей. Да каких сыновей! Не будь войны, все эти ребята горы бы своротили. Пожа-

луй, нет теперь у нас в Союзе такой семьи, которая не потеряла бы отца, мужа, брата, сына... А жизнь всё равно своё требует. Живой о живом думает. Работы для всех много предстоит. Сёла, города, фабрики, заводы восстанавливать надо...

О жизни напомнил Кедрову и Софронов.

— Смотри я на тебя, Николай Георгиевич, — сказал как-то он Кедрову, — и вижу — ходишь ты сам не свой. Горе у тебя, нет слов, большое. Но ведь советский человек живёт не только своей личной жизнью, не только для себя, но и для других, для общества. Возьми-ка себя в руки. Того, что случилось, — неисправиши. Сына не вернёшь. Но, как поётся в песне, «помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела»...

## 51. ГУЛ ЗАВОДСКИХ СТАНКОВ

Началась депатриация японского гражданского населения города Дальнего.

В порту стояло несколько подошедших из Японии пароходов, которые и принимали на свой борт депатриантов. Японцы навсегда и безвозвратно покидали китайскую землю, на которой они полновластно хозяйничали сорок лет.

Кедрова на некоторое время откомандировали из комендатуры в депатриационную комиссию, как переводчика.

Когда закончилась депатриация японцев, надобность в переводчиках японского языка в советской военной комендатуре миновала, и перед Кедровым встал вопрос о работе.

Но сейчас этот вопрос не был сложным, как это было в первые годы жизни Кедрова в Китае. Сейчас не приходилось искать работу. Работа сама искала, требовала людей.

Китайцы, с помощью советской военной администрации и советских специалистов, быстро восстанавливали и расширяли оставленные японцами фабрики и заводы, начинали строить новые. Освобождённый от иноземцев демократический Китай, руководимый китайской коммунистической партией,ставил перед собой задачу — кратчайшими путями идти к построению социализма.

Кедрову и всем другим русским дальнинцам не приходилось теперь, как в былые годы, браться «за любую работу на любых условиях». Каждый мог легко найти применение своих специальностей и знаний.

В консульстве, куда Кедров отправился посоветоваться о работе, ему предложили поступить на большой судоремонтный и судостроительный завод «Дальдок».

— Нет технической специальности? Ничего! — успокоил Кедрова вице-консул. — На заводе нужны и просто хорошо грамотные люди. Осмотритесь, освоитесь и, уверен, будете работать не хуже других.

Вице-консул снял телефонную трубку:

— Алло! Евгений Петрович? Привет! Петров говорит. Вам на заводе люди нужны? Ну, ясно... К вам сейчас пойдёт товарищ Кедров... Специальность? Журналист. Правильно, правильно: журналист быстро освоится. Сейчас я его к вам направлю.

Через полчаса Кедров входил к директору завода «Дальдок».

В большом светлом кабинете за массивным письменным столом сидел военный в кителе с погонами полковника — плотный, коренастый человек, лет сорока. Другой, помоложе, в гражданском тёмно-синем костюме, стоял у окна.

Поздоровавшись, Кедров обратился к военному:

— Вам недавно звонили обо мне из консульства. Я — Кедров...

— Да, да, знаю. Присядьте пока. — Военный указал Кедрову на кресло. — Я сейчас закончу с бумагами и поговорим.

Устроившись в кресле, Кедров осмотрелся. Кабинет застлан большим, пушистым ковром. Мягкая кожаная мебель. На стенах — портрет Ленина и гравюры морских судов, от парусников до современных, в тяжёлых багетовых рамках, через широкие светлые окна, окаймлённые гардинами, видна панorama завода: цехи, огромные башенные краны, за ними — пароходы около пирсов. А дальше — за зеркальной гладью бухты над дымкой тумана — шапка самой высокой в Южной Маньчжурии горы Самсон.

С этой горы в мае 1904 года японский генерал Оку руководил своими частями, атакующими, русские позиции под Киньчжоу.

Эти позиции были ключом к Порт-Артуру, и японский генерал не жалел солдат.

Русские также несли большие жертвы, и киньчжоуские позиции были ими оставлены из-за предательства начальника дивизии генерала Фока. Немец по-национальности, носивший генеральский мундир русской армии, Фок продавал японцам Россию, а с нею и русских солдат.

— Ну-с, так... Теперь с вами,— обратился к Кедрову полковник Желтовский, просмотрев и подписав последнюю бумагу. — Вас мы назначим в отдел кадров к Василию Павловичу... — И полковник взглянул на стоявшего около окна человека в гражданском. — Как, Василий Павлович? К вам, старшим инспектором по кадрам?

На следующее утро Кедров оформился на завод и сразу же остался работать.

Вскоре поступила на завод и Таня: на заводе, в коллективе легче было если не забыть только что пережитое горе, то хотя бы забыться.

На заводе работа заслоняла перед Кедровым личное горе. Разрешение вопросов, связанных с кадрами, разговоры с начальниками цехов и отделов по-китайски и по-японски, реже по-русски (советских работников на заводе было мало) — всё это заполняло его рабочий день, заполняло его самого.

Но дома... Он долго просиживал перед висевшим в гостиной портретом сына. Подходил к пианино. Но... нервы не выдерживали, громко хлопала крышка инструмента, и Кедров выходил на балкон. Оттуда — Кедровы жили теперь на четвёртом этаже заводского дома — был виден завод с его вышкой на заводоуправлении, с башенными кранами у доков. В тишине вечерних сумерек оттуда явственно доносился шум работ — завод работал в две смены.

И эта панорама «Дальдока», гул его станков опять помогали Кедрову забыться. Мысли его уносились туда, на свой завод, на котором обострялся вопрос с кадрами. Правда, в «Дальдоке» было временно оставлено около двух тысяч японских рабочих и специалистов, но сроки их депатриации подходили. Задерживать дольше их отъезд на родину было невозможно. Необходимо было срочно растить китайские кадры...

Русских специалистов в Дальнем также не хватало. Руководство завода решило послать вербовщиков в Хар-

бий, откуда вскоре вместе с первой партией вербованных приехал Миша Пономарёв с женой. Старики остались в Харбине. Их привязывал собственный дом.

Миша привёз нерадостные вести. Когда по договору с Китаем советские войска были выведены из Северной Маньчжурии, в Харбине остались китайские власти. Находившиеся при гоминдановцах американские представители своеобразно поняли своё назначение: они повели среди русских харбинцев пропаганду, прельщая их «блестящими» перспективами заокеанской жизни. Вскоре гоминдановцы вместе с их американскими хозяевами были выгнаны из города восьмой народно-революционной армией, но семена, посаженные американцами, упали, как оказалось, на благодатную почву и дали богатые всходы. Значительная часть русских харбинцев потянулась за океан.

Народно-революционной власти сложно было разобраться — кто из русских лоялен к ней, кто нет, и, проявляя бдительность, она начала проводить во всех предприятиях и организациях замену русских работников китайцами. Русские харбинцы, в том числе и лучшие из них, столкнулись с безработицей.

На заводе Пономарёв занял должность заведующего гаражом и энергично взялся за работу.

— Круто поворачиваю. По-нашему, по-русски, — говорил он, проводя вместе с Надеждой Викторовной вечера у Кедровых. Квартиру Дружинины получили в том же большом заводском доме, на четвёртом этаже, где жили Кедровы.

— Добиваюсь, чтобы оостоях машин у меня не было и речи. Помнишь, как на автобирже работали? Если надо было, то и по ночам не спали, приводили свою машину в порядок, чтобы утром вовремя на работу выехать... Только вот, похоже на то, кажется, что стареем мы с тобой, Николай, а?

Во времена отсутствия Тани присматривать дома за Олей взялась Надежда Викторовна, но девочка большую часть дня проводила у китайцев в соседней квартире, где из четырёх ребятишек старшая девочка была ровесница Оле. Всем им Оля дала русские имена и часто, заигравшись, не успевала встретить Кедровых, когда они возвращались с работы.

Кедров шутливо называл Олю и её приятелей китай-

чат «обществом советско-китайской дружбы». Ему всегда забавно было слушать их оживлённый говор, в котором живо переплетались русские и китайские слова.

После ужина Кедров часто до глубокой ночи засиживался над книгой. Таня тоже или читала, или вышивала.

Такие ночные чтения поставили раз Кедрова в неудобное положение.

Однажды он пришёл на завод плохо выспавшимся. В этот день после работы было как раз назначено организационное профсоюзное собрание советских работников завода.

Собрались в кабинете директора. Вступительное слово говорил сам полковник Желтовский. Кедров удобно устроился в глубоком кожаном кресле. Клонившееся к закату яркое в Дальнем февральское солнце заливало кабинет своими лучами.

И тут Кедров начал чувствовать, что веки его тяжеют. Он делал невероятные усилия, пытаясь скинуть охватывающую его дремоту и... очнулся от дружного смеха... Смех ещё более усилился, когда сидевший рядом с Кедровым Миша Пономарёв громко проговорил:

— Ну и здоров же ты храпеть, Николай! Из-за твоего храта даже полковника не было слышно!..

Кедров начал смущённо извиняться перед директором, но тот, тоже весело смеясь, успокоил его:

— Ничего, ничего, бывает... Некоторые не только на докладах, но даже в кино засыпают... Итак, товарищи, поговорим теперь об обязанностях членов профсоюза...

Чтобы не оскаandalиться во второй раз, Кедров пересел в тень и не упустил ни одного слова полковника.

С этого дня он стал членом профсоюза моряков.

## 52. НАДО РАБОТАТЬ ПО-СОВЕТСКИ

Утром завод оживал за час до гудка. Во всех цехах не только рабочие, но и мастера и начальники цехов, из которых некоторые были безграмотные, прилежно учили основы китайской письменности.

Вечерами, после работы — политучёба. С рабочими каждый день по два часа занимались члены заводского комитета и грамотные рядовые коммунисты.

Учились все китайские рабочие на всех дальнинских

фабриках, заводах. Коммунистическая партия Китая твёрдо и уверенно повела народ по пути к знаниям.

В «Дальдоке» впервые появилось много китайских девушек-работниц. Кедров оформлял их ученицами в различные цехи — в токарный, слесарный, электроцех... Они быстро росли, эти девушки-ученицы, и на заводе стали появляться девушки — токари, слесари, фрезеровщицы, электромонтёры четвёртого, пятого разрядов.

Руководящие цеховые китайские кадры учились работать у советских специалистов.

После памятного для Кедрова профсоюзного собрания в кабинете директора завода, он активно включился в профсоюзную работу.

Обязанности члена профсоюза, о которых говорил полковник, Кедров хорошо понял и через несколько дней заговорил со своим начальником Василием Павловичем, избранным председателем заводского комитета, об организации библиотеки.

— Ничего не выйдет, — разъяснил ему Василий Павлович. — Эта статья расхода не предусмотрена. А в завкоме пока что нет денег...

— Значит, никак нельзя?

— Никак...

Кедров решил всё же библиотеку организовать. Без денег.

Он поговорил с каждым из советских работников завода, — ведь у всех, конечно, были дома лишние книги, — около десятка книг принёс из дома сам, нашёл в архивах завода оставленные японцами технические журналы и справочники на английском языке, и две недели оставался на заводе после работы, составляя каталог, наклеивая на книги ярлыки с номерами, подготавливая картотеку.

Заводская библиотека начала функционировать. А вскоре Кедров вёз на завод полную легковую автомашину книг, купленных им в магазине «Международная книга» — в завкоме появились деньги.

Советский коллектив на заводе рос. В него вливались местные, дальнинские, советские граждане — недавние эмигранты — и приезжали специалисты, командированные из Советского Союза.

Заводской комитет организовал кружки по политучёбе: Советская страна готовилась к очередным выборам в Верховный Совет, и в заводских политкружках ко-

мандированные из Союза товарищи изучали с молодыми советскими гражданами Советскую Конституцию и положение о выборах.

Занятия эти проходили оживлённо. Вопросов к руководителям кружков было много, часто очень наивных.

Улыбки руководителей вызывали такие вопросы, как:

— Имеет ли право советский гражданин переезжать без разрешения из города в город?

Для советского человека этот вопрос смешон. Но для жителя Дальнего он смешным не был: для того, чтобы выехать из Дальнего в какой-нибудь другой город Китая, требовалось специальное разрешение иностранного отдела полиции.

В день выборов Кедровы вышли из дома рано утром, но улицы города были уже оживлены. К клубу «Локомотив», где находился избирательный участок, спешили избиратели — пешком, в автобусах, в трамваях, на грузовых автомашинах.

Знакомых около «Локомотива» встретили много. И у всех у них было приподнятое, праздничное настроение.

— Николай Георгиевич, здравствуйте! — окликнул кто-то Кедрова.

Кедров оглянулся. К нему, широко улыбаясь, подходил пожилой винодел Шароян.

— Голосовали? — спросил он, пожимая обеими руками руку Кедрова.

— Нет ещё. А вы?

— А я уже! Уже!.. Понимаете, в первый раз за свои шестьдесят лет!.. А!.. Дожил, наконец, что настоящим человеком стал!..

Кедров не успел ответить. Шароян уже пожимал руку другого своего знакомого, и до слуха Кедрова доносилось:

— В первый раз за свои шестьдесят лет... Дожил, наконец!

Когда Кедров опускал в урну избирательный бюллетень, его охватило необъяснимое чувство волнения, радости и... гордости за самого себя, и он невольно мысленно повторил слова Шарояна:

— Дожил, наконец!

Закончился праздник выборов.

Проходили дни. Не удовлетворяясь текущей работой и организовав библиотеку, Кедров надумал создать на заводе художественную самодеятельность.

За эту работу он взялся вместе с Таней.

Но наладить это дело оказалось гораздо труднее, чем они предполагали. Шли срочные ремонты стоявших в доке судов. Командированные из Союза специалисты почти не выходили из завода, а вместе с ними и специалисты — местные советские граждане. Служащие заводоуправления, рабочий день которых был нормирован, не верили в свои художественные силы.

С большим трудом Кедрову и Тане удалось подготовить к 1-му мая концерт, в котором участвовало... шесть человек, включая их самих.

Но брешь была пробита. И через несколько месяцев самодеятельность «Дальдока» выступала на городской олимпиаде.

Выступление это было катастрофическим. Кедров ставил сцены из трагедии Пушкина «Борис Годунов» и не досмотрел. В сцене у фонтана жюри заметило на руке у самозванца часы «Победа»!

На отчётом разборе выступлений городских кружков самодеятельности дальдоковцам пришлось пережить не мало горьких минут. Кедров сидел, как пришибленный, не смея поднять глаз. — Это же... он один во всём виноват! Переоценил свои силы... Подвёл товарищей... Лучше бы не брался, если не смог сделать как следует...

На следующий день Кедров входил в кабинет заместителя директора по общим вопросам Александра Фроловича Коренева с твёрдым намерением отказаться от руководства самодеятельностью.

— Прочувствовал вчера? — встретил его заместитель директора. Он всем на заводе говорил «ты».

Кедров криво усмехнулся:

— Прочувствовал!

Входя в кабинет, Кедров смирился с мыслью, что здесь ему ещё раз придётся «прочувствовать»:

— Разнесёт меня Александр Фролович за головотяпство!..

Но в голосе заместителя директора ему послышались тёплые, дружеские нотки, и он, воспирнув духом, приступил прямо к делу:

— Хочу отказаться от самодеятельности.

— Это почему же?

— Неправляюсь. Слышали, как вчера нас разделяли?

— Так... — внимательно посмотрел на Кедрова Коренев. — В кусты, выходит, прячешься? Струсил?

— Не струсил, — попытался возразить Кедров. — А вообще, переоценил свои силы.

— А я говорю — струсил! — откинувшись на спинку кресла, отрезал Коренев. — А потом скажу — не научился ты ещё по-советски работать, критики боишься, от первой же неудачи голову теряешь. В провале не ты один виноват. И я тоже. Не помог тебе, не досмотрел. Оба виноваты, — обоим теперь вместе и выравнивать дело надо.

— Да мне теперь, Александр Фролович, коллективу в глаза смотреть стыдно...

— Стыдно? А бросать коллектив в трудную минуту нестыдно? Как ты полагаешь?

Кедров молчал.

— Такое дело, дорогой товарищ, ещё стыднее, — подвёл черту заместитель директора. — Ясно?.. А с народом я поговорю сам... По душам...

Александр Фролович обладал исключительной способностью говорить «по душам», как будто бы и журит, а в то же время веет от его слов дружеской лаской и как-то сразу ясно становится человеку — ошибался!

Работу с самодеятельностью Кедров не бросил, и на следующем смотре коллектив «Дальдока» реабилитировал себя, заняв второе место.

Работать по-советски... Кедрову много пришлось учиться этому у своих старших товарищней, командированных из Союза специалистов. Работа по-советски требовала от руководителя критического отношения к самому себе и большого внимания к людям. А Кедрову приходилось думать и заботиться о нескольких тысячах китайских и японских рабочих: через несколько месяцев после поступления его на завод кадры несоветских рабочих были выделены в особый отдел, и Кедров, как знающий японский язык и понимающий по-китайски, был назначен начальником этого отдела.

Руководить новым отделом Кедрову было очень трудно. Он часто советовался с заместителем директора по кадрам Василием Павловичем Масловым, нередко заходил за советом и к Кореневу.

Оба учили:

— Будьте настойчивы, но не рубите сплеча. А лучше всего действуйте через своих китайских инспекторов по

кадрам. Китайцы всегда лучше вас договорятся с китайцами.

Но всё же однажды Кедров сорвался. Не посоветовавшись с заводским комитетом китайского профсоюза, не проведя через своих инспекторов разъяснительной работы с рабочими, он ввёл на заводе для китайских рабочих советскую систему табельного учёта. Раньше эта система учёта была на заводе японская, сложная, требующая большого штата табельщиков, но привычная для рабочих.

К новшеству Кедрова рабочие отнеслись недоверчиво. Ежедневно табельные номера терялись сотнями. Учёт выхода на работу в этот месяц вообще не был бы осуществлён, если бы табельщики китайцы, втайне от Кедрова, не вели бы этот учёт по своей, привычной им, старой системе.

Завком китайского профсоюза пожаловался на Кедрова Кореневу.

С замдиректора по общим вопросам пришлось выдержать неприятный разговор.

— Сколько раз говорил тебе — не перегибай! — отчитывал Кедрова Коренев. — Надо было сначала подготовить народ через своих инспекторов — опереться на китайский профсоюз. Начинай теперь всё сначала, да смотри — во второй раз не перегни.

Через месяц на заводе была внедрена советская система табельного учёта, сократившая число табельщиков по цехам и облегчившая работу бухгалтерии.

— Командовать — проще всего, — говорил потом Кедрову Коренев. — Это каждый умеет. Но не каждому дано уметь работать с народом. К людям надо уметь подойти. Надо прежде разъяснить им пользу того или иного мероприятия, чтобы они сами поняли — так вот, дескать, действительно лучше. Учись работать по-советски — не отрывайся от народа.

И Кедров старался, самое главное, не отрываться от народа. Тем более, что китайцы, эта основная теперь масса заводских рабочих, были совсем не похожи на тех, которых он знал прежде — уличных и базарных торговцев, чиновников.

Кедрову казалось, что настоящих китайцев он увидел теперь впервые за двадцать пять лет своей жизни в Китае.

Вот хотя бы взять этого Ван Чи-фу, которого знает и уважает весь завод, все десять тысяч его рабочих.

### 53. ВАН ЧИ-ФУ

Рассказывать о Дальнем можно по-разному.

Русские дальнинцы, которых, кстати сказать, до 1945 года жило в Дальнем не больше трёхсот семейств, стали бы, конечно, в первую очередь говорить о старом городе, о том Дальнем, который был выстроен русскими до русско-японской войны между берегом бухты и железнодорожной линией.

Эта часть города получила при японцах название Росиа-мачи, что в переводе на русский язык означает — русский городок.

Об этом Росиа-мачи русские дальнинцы с гордостью рассказали бы, как прочно стоят там дома, построенные русскими несколько десятков лет назад, и, как на достопримечательности старого города, указали бы на русскую бревенчатую избушку в парке и на большой заброшенный теперь дом, на фронтоне которого значилась надпись «1900 год». Здесь было когда-то русское гарнизонное собрание.

После русско-японской войны до 1945 года в этом старом русском городе жили рабочие «Дальдока», а также рабочие Южно-Маньчжурской железной дороги.

К бывшим русским кварталам приросли китайские с многочисленными мелкими магазинами и ларьками.

Росиа-мачи не пользовался особым вниманием со стороны японских городских властей.

Мостовые старого города пестрели глубокими выбоинами, которые после дождя долго украшали его узкие улицы и переулки грязными озерками.

Японцы рассказали бы, конечно, о другом Дальнем, о новом, который по падям и распадкам широко раскинулся между высокими, голыми сопками.

Пряча за учтивой улыбкой обычную настороженность и недоверие к своему собеседнику, японец говорил бы о японских, американских и английских банках, о многоэтажных зданиях, в которых обосновались дальнинские отделения крупнейших японских промышленных концернов и многочисленные иностранные экспортные конторы. При их содействии уплывало через Дальний за границу «маньчжурско золото» — плоды упорного труда китайских землеробов, соевые бобы.

Японец обязательно упомянул бы о больших торговых

кварталах с их бесчисленными магазинами, о феерическом ночном базаре и, наконец, о «квартале любви», который находился в центре города.

Вход в «квартал любви» охраняли на арке два огромных павлина, горевшие ночью разноцветными огнями неона. Тысячи японских женщин, похожие на кукол своими красочными кимоно и причудливыми прическами, услаждали слух своих гостей игрой на семисен<sup>1</sup> и затем привычно удовлетворяли все их желания.

Один раз в неделю «квартал любви» был закрыт для горожан: туда строем, под командой своих унтер-офицеров, шли японские солдаты дальнинского горизона.

Впрочем, ни русские дальнинцы, ни японцы ничего не рассказали бы о другом Дальнем, о китайском, о тех глинобитных и сложенных из рваного камня лачугах, которые кучились на окраинах города и в которых ютились китайцы-рабочие дальнинских фабрик, заводов, порта, железной дороги, крупных и мелких мастерских. Русским эмигрантам не приходилось общаться с этими людьми, а японцам они были интересны только как рабочая сила.

На одной из таких окраин, в узком грязном переулке, жил котельщик Ван.

Семья Вана была большая. Пять детей подарила ему жена, из которых десятилетний Ван Чи-фу был самый старший. Единственный мальчик из всех детей котельщика, он был надеждой отца и матери на старости лет. На девочек не обопрёшься, вырастут — выйдут замуж, уйдут в чужую семью... Пользы от них мало. А сын, тем более, старший, он обязан кормить своих престарелых родителей до самой их смерти.

Жил Ван Чи-фу, как и все его сверстники, дети китайских рабочих. Днём маленького Вана можно было видеть на кучах шлака около железнодорожных мастерских. С корзинкой и небольшой ключкой в руках он рылся в шлаке, стараясь найти не совсем ещё обгоревший уголь. Корзинка такого угля по крайне мере на полдня обеспечивала тепло в лачуге зимой, когда сырой холодный ветер с моря беззастенчиво врывался во все её щели и стучался в бумажное окно.

---

<sup>1</sup> Семисен — японский народный музыкальный инструмент.

Можно было видеть Ван Чи-фу и около товарной станции, куда часто подходили автомашины, гружёные зерном. Здесь Ван сметал с мостовой просыпавшиеся из машины кукурузу и гаолян. Дома мать очистит зерно от пыли, размелет его и испечёт пампушки.

А вечерами, забравшись на кан, и забавляя там младших сестёр, он терпеливо ожидал ужин. Мать хлопотала около печки. Шипело в чугунном кotle бобовое масло, аппетитно пахло поджаренным луком, капустой. Иногда, если отец задерживался на работе, Ван, так и не дождавшись ужина и не имея сил преодолеть дремоту, незаметно засыпал.

Вану не было ещё полных десяти лет, когда отец решил устроить его работать на завод, в свой цех.

— Конечно, — говорил котельщик своей жене, — парнишка много не заработает, но хоть себя прокормит, — и то хорошо.

Мать Вана не протестовала. Да разве имели бы значение её слова, если так решил муж?..

На утро котельщик повёл сына на завод.

Проходя по заводскому двору, Ван Чи-фу с любопытством смотрел на стоявшие у причалов пароходы, на огромные башни кранов. Около лежавшего на территории завода большого старого пароходного котла мальчик даже остановился, но отец потянул его за руку:

— Пошли скорее. Надо успеть до гудка с мастером поговорить...

Таких малышей, каким был тогда Ван Чи-фу, в котельном цехе работало больше тридцати человек.

Подготавливая к ремонту котлы морских судов, дети очищали от нагара внутренние стенки топок и дымогарных труб. Днём и ночью, на две смены, копошились они в лабиринте этих труб, сбивая молотком и срубая зубилом толстый слой нагара. Тесно, душно, не хватает воздуха. Работать можно только лёжа. От неудобного положения отекают руки, кружится голова. Едкая гарь засыпает глаза, уши, нос, скрипит на зубах...

Тяжёлая эта детская работа, не каждый взрослый её выдержит. Тяжёлая и... опасная. Бывают случаи — задохнётся в трубах маленький работник, и навеки смолкает его звонкий гортанный говор.

На место одного такого, недавно задохнувшегося мальчика, и привёл сейчас Вана его отец.

Окинув взглядом худощавую фигуру Ван Чи-фу, мастер довольно улыбнулся:

— Ничего, подойдёт. Такой в любую трубу пролезет!..

— Значит, завтра может выходить на работу? — радостно спросил котельщик.

Но мастер быстро спрятал улыбку под бесстрастным выражением широкого скуластого лица.

— На работу? Нет, не надо.

— Но как же, Танька-сан, — растерянно заговорил котельщик. — Вы же сами вчера говорили... Я вас просял...

— Не надо, — опять коротко повторил мастер и, достав сигарету, начал старательно её раскуривать.

Долго упрашивал котельщик мастера, и японец, наконец, сказал:

— Ладно, подумаю...

В обеденный перерыв отец Вана пригласил мастера в одну из хорчевен, которые гнездились около завода, и там угостил его саке.

Сидя около цеха Ван Чи-фу доедал чумизную пампушку, которую утром дала ему мать. Он ещё издали заметил отца и хотел побежать ему навстречу. Но с отцом шёл мастер, и Ван побоялся:

— Сердитый японец. Как бы сейчас не погнал с завода...

Отец сам заметил Вана и, кивнув на него мастеру, проговорил:

— Вот он сидит, ждёт.

— Пусть завтра выходит на работу, — услышал Ван ответ мастера и от радости чуть не подавился остатками пампушки, которые он тщательно ссыпал в рот, стараясь не уронить ни одной крошки.

— Ну вот, сынок, — подойдя к Вану, проговорил отец. — Берёт тебя мастер. Беги сейчас домой, скажи матери: пусть завтра собирает тебя на работу...

Так и началась трудовая жизнь десятилетнего китайского мальчика Ван Чи-фу.

От фанзы котельщика полчаса ходьбы до трамвайной остановки по пыльным, грязным улицам, а там в трамвае ещё час езды до завода.

В утренние часы в трамваях, кроме рабочих, ехали обычно школьники, в большинстве японцы.

Ван Чи-фу был доволен тем, что его приняли на

завод. Больше того — мальчик гордился, что теперь он такой же рабочий, как его отец, что мать каждый день будет тоже собирать его на работу, давать ему с собой завтрак, но вид японских школьников, шумных, жизнерадостных, с сумками через плечо, в форменных блузах, в фуражках с белым кантом и с кокардой в виде цветка сакура, будил у Вана зависть к ним: почему он, Ван, не может так же, как и они, ходить в школу?..

Несколько позднее он решился заговорить об этом с отцом.

Котельщик нахмурился:

— Школы, сынок, не для таких бедняков, как мы с тобой. Учись лучше работать...

Маленькому Вану посчастливилось. Он не задохнулся в дымогарных трубах, и через два года, когда эти трубы стали узки для его раздавшихся плеч, был переведён в цех учеником котельщика.

Когда Ван Чи-фу исполнилось 17 лет, и он уже год, как получил разряд котельщика, погиб его отец. Случилось это зимой. Сходя с парохода, котельщик поскользнулся на обледеневшем трапе и с десятиметровой высоты свалился на дно сухого дока.

Всё что получила семья погибшего рабочего за его почти двадцатилетнюю работу на заводе — это пособие в размере двухнедельной зарплаты.

Дальнейшие заботы о семье легли на юношеские плечи Ван Чи-фу.

В привычной работе шли дни, похожие один на другой, отсчитывая месяцы и накапливая годы.

Ван Чи-фу вырастил сестёр, выдал их замуж. Составившаяся мать передала заботы по дому молодой хозяйке — жене Вана.

Однажды, — это было незадолго до того, как Япония начала войну с Америкой, — в котельном цехе «Дальдока» появился новый рабочий. Это был невысокого роста, плотный китаец, с острыми, проницательными глазами.

Новый рабочий хорошо знал дело котельщика, и работа в его руках спорилась. Не прошло и месяца, как мастер-японец уже ставил его в пример другим рабочим:

— Вот учтесь работать у Чен-Сина, — говорил он им про нового рабочего. — Не уйдёт из цеха, пока работу не закончит. Не ленится и после гудка оставаться...

Чен-Син был не словоохотлив. В обеденный перерыв,

когда между рабочими завязывались оживлённые разговоры о работе, о домашних делах, Чен-Син говорил мало. Он больше прислушивался к тому, что говорили другие.

Как-то раз, когда после окончания работ Ван Чи-фу вышел из ворот завода, его догнал Чен-Син.

— Домой, Ло-Ван!<sup>1</sup>

— А то куда же ешё? — сухо отвечал Ван. Ему было не до разговоров. Сегодня он крупно поспорил с мастером. Японец систематически обсчитывал китайцев-рабочих, и Ван, наконец, не выдержал. Однако, мастер коротко заявил ему, что если Вану не нравятся порядки на заводе, то он вообще может не работать.

Чен-Син некоторое время, молча, шёл рядом с Ваном и затем опять заговорил:

— Где живёшь?

— В Сиканцы.<sup>2</sup>

— В Сиканцы? Тогда, значит, нам по пути.

Опять, немного помолчав, Чен-Син спросил:

— Ну как? Из разговора с мастером ничего не вышло?

— А ты откуда про этот разговор знаешь?

Чен-Син улыбнулся:

— Слышал.

— А раз слышал, почему меня не поддержал?

— Ты неправильно поступил, Ван, — серьёзно заговорил Чен-Син.

— Как? — возмутился Ван. — Я был неправ?.. Нас японцы обсчитывают, прижимают нас как хотят, а мы, по-твоему, должны молчать?.. По-твоему, выходит, японцы правы?..

— Нет, Ван, не то... — дав своему спутнику выскаться до конца, заговорил Чен-Син. — В своих требованиях ты, несомненно, прав. Но ты неверно действуешь. Криком да одиночными выступлениями делу не поможешь. Надо иначе действовать...

— Как это иначе?

— Сейчас я тебе этого не скажу. Слишком много ушей вокруг. Ты где живёшь? Вечером я к тебе зайду — тогда и поговорим.

<sup>1</sup> Ло — частица, показывающая на близкие, приятельские отношения, добавляется к именам. Ло-Ван — друг Ван.

<sup>2</sup> Сиканзы — название китайской части города Дальнего.

Чен-Син пришёл к Вану, когда в густой вечерней мгле уже окончательно потонули черепичные крыши домов рабочего посёлка.

Поздоровавшись с матерью и женой Вана, он подошёл к очагу и, потирая озябшие руки, стал греть их над огнём.

— Холодно? — участливо спросила мать Вана.

Чен-Син кивнул головой:

— Холодно, бабушка, холодно! Январь даёт себя чувствовать.

— Садись на кан, скорее отогреешься, — предложил ему Ван. — Жена сегодня хорошо его натопила.

Чен-Син не заставил долго себя уговаривать. Сняв туфли, он уселся на кане, поджав под себя ноги.

Ван сел напротив него, достал из пачки сигарету и протянул её гостю. Оба закурили.

Вану нетерпелось спросить — что же хотел рассказать ему Чен-Син. Ведь за тем он и пришёл к Вану. Но приступить сразу к деловому разговору было неприлично. Обычай требовал поговорить сначала о домашних делах. Поэтому, отвечая на вопросы Чен-Сина, Ван подробно рассказывал ему о здоровье своей жены, матери. И когда Чен-Син заговорил о детях, Ван кивнул на дальний угол кане, где под золатанным ватным одеялом уже крепко спали трое его ребятишек:

— Спят, набегались. А потом — оно теплее на кане-то, под одеялом. Пол-то у нас земляной, холодный. — На этом кане я родился и вырос, а теперь на нём же своих ребятишек ращу. Так вот и живу...

— Очень многие наши китайские рабочие так живут, Ло-Ван, — прихлёбывая небольшими глотками горячий чай, проговорил Чен-Син. — Очень многие. И здесь, в Дальнем, и во всём Китае.

И Чен-Син, стараясь говорить как можно проще, чтобы Вану было понятнее, начал рассказывать ему о безотрадном положении китайского рабочего класса.

— Наши купцы и помещики, наши правители, — говорил он, — продают Китай иностранцам, наживая на этом огромные капиталы. А китайский рабочий люд живёт впроголодь...

— Это верно ты говоришь, — заметил Ван. — Вот сейчас какой нам японцы паёк дают? Гаолян да жмых, от которых у ребятишек животы пухнут. Хороший хозяин

своих собак лучше кормит, чем они нас. А сами рис жрут. Белую муку получают... И за работу платят не то, что следует, а то, что им вздумается. А попробуй слово сказать... Сам знаешь, как у меня сегодня обернулось...

Ван выжидающе посмотрел на Чен-Сина: теперь-то уж он, наверное, скажет о том, о чём не договорил по дороге с работы.

И действительно, Чен-Син заговорил. Он рассказывал Вану о борьбе рабочего класса за свою свободу, за свои права на жизнь. Ван услышал от Чен-Сина о Ленине, который сплотил русских рабочих, повёл их на борьбу с угнетателями и создал первое в мире советское государство рабочих и крестьян.

Впервые от Чен-Сина Ван услышал о китайской коммунистической партии и вожде китайских патриотов Мао Цзэ-дуне.

— Поэтому-то я тебе сегодня и сказал, что ты действовал неправильно, — говорил Чен-Син. — Один ты ничего не сделаешь. Никому не поможешь, а только себя погубишь. Выгонит тебя мастер с завода — и дело с концом. К защите рабочих интересов есть другие пути...

Много раз жена Вана подливала в чашки гостя и мужа горячего чаю. Далеко за полночь затянулась их беседа.

Назавтра в цехе Чен-Син едва кивнул головой на дружеское приветствие Вана и отошёл от него в сторону.

Ван был обескуражен: ясно, что Чен-Син на него обижен... Но за что? Может быть, он вчера плохо его принял, плохо угостили?..

В течение рабочего дня Ван ещё несколько раз пытался заговорить с Чен-Сином, но тот каждый раз всем своим видом показывал, что разговаривать с Ваном не расположен.

Вечером в тот же день Чен-Син опять пришёл к Вану домой и там объяснил ему причину своего поведения.

— На заводе даже стены имеют уши. Японцы внимательно следят не только за каждым нашим словом, но и за каждым движением. Поэтому, чем меньше мы, китайцы, будем разговаривать, тем лучше для нас. Японцы не должны видеть и знать ничего кроме нашей работы в цехе.

Чен-Син стал частым гостем Вана. Нередко и Ван заходил к Чен-Сину, который жил в семье одного из рабочих железнодорожных мастерских.

Бывая у Чен-Сина, Ван часто встречал там не только своих товарищёй по котельному цеху, но и рабочих других цехов своего завода. Заходили к Чен-Сину и рабочие других заводов Дальнего.

Подпольная группа китайских рабочих патриотов была организована Чен-Сином не только на заводе «Дальдок». Такие группы он организовал и руководил ими на машиностроительном заводе Сузуки, в железнодорожных мастерских, на химическом заводе, на цементном и на большом машиностроительном заводе «Дайрен-Кикай», где общая численность рабочих доходила до пятнадцати тысяч человек, из которых больше половины были китайцы.

Пассивные в период своей организации, эти группы вскоре перешли к боевым действиям.

Начало этим боям положил большой взрыв на химическом заводе, выведший на несколько месяцев из строя один из важнейших его цехов.

Сгорел до тла вагоностроительный цех на заводе «Дайрен-Кикай». Взорвался котёл только что выпущенного из ремонта железнодорожными мастерскими большого тяжеловесного паровоза. На заводе «Дальдок» пожар на месяц остановил работу механического цеха. Один японский военный транспорт, вышедший из дока после ремонта, подал в море сигнал о бедствии — у него заклинило штурвал, и он потерял управление. Другой такой же транспорт стоял в доке на ремонте котлов. После ремонта котлы благополучно выдержали ходовые испытания, но когда транспорт вышел в рейс, один из котлов оказался в более худшем состоянии, чем он был до ремонта.

Клепали этот котёл Чен-Син, Ван Чи-фу и ещё несколько котельщиков, которых Ван встречал в квартире Чен-Сина. Ремонтировали они этот котёл старательно, ежедневно оставаясь на сверхурочную работу, чем вызывали похвалу мастера-японца. Но во время сверхурочных часов они между новыми заклёпками ставили старые, проржавленные. Такое «старанье» вывело транспорт из строя ещё на несколько недель.

Ван Чи-фу нередко задумывался над тем, кто же такой Чен-Син, который делает такие большие и такие опасные дела. Как он смог завоевать такое уважение и доверие среди товарищёй, для которых каждое слово Чен-Сина — закон?..

Однажды Ван услышал... Один из его товарищей, возвращаясь с ним от Чен-Сина, назвал его коммунистом.

Ван сразу как-то даже не доосмыслил этого слова.

— Ну да, — повторил его товарищ. — Чен-Син — партийный, коммунист.

Дома Ван долго думал о Чен-Сине:

«Так вот они какие... коммунисты... Люди, которые борются с врагами китайского народа. Борются не на словах, а на деле...»

А на следующий день, возвращаясь с работы вместе с Чен-Сином, он решился спросить его:

— Ло-Чен, скажи — ты коммунист?

— Почему ты так думаешь? — улыбнулся Чен-Син.

— Мне вчера Чжан Вэй-хуа сказал, когда мы шли от тебя домой.

— Ну что ж, если он так сказал — значит, так оно и есть.

Некоторое время шли молча. Наконец, Ван нерешительно спросил:

— Ло-Чен! А я... я... могу стать коммунистом?

Ван выжидательно смотрел на Чен-Сина. На его лице отразилась гамма переживаний за свою просьбу. Он боялся, что Чен-Син скажет: «нет».

Но Чен-Син сказал: «да».

— Да, Ло-Ван, можешь... Но теперь ты уже сам должен понимать, какую большую ответственность накладывает на человека честь быть коммунистом. Ты ничего не должен жалеть для блага народа. Даже своей жизни. Подумай: сможешь ты быть таким?

— Могу! — решительно отвечал Ван и крепко пожал протянутую ему Чен-Сином руку.

Конец 1946-го года. На дверях большой комнаты бланка с надписью на русском, китайском и японском языках:

«Отдел кадров китайских и японских рабочих и служащих завода «Дальдок».

В комнате — ряды столов, за которыми работают инспекторы по кадрам и табельщики.

В глубине комнаты — стол заведующего отделом. За столом — Кедров.

В комнату входит Ван Чи-фу и направляется прямо к его столу. Сейчас он — мастер котельного цеха. Котельщики единогласно выдвинули его на эту должность сразу же после того, как в августе 45-го года сбежал их мастер японец. Начальником же цеха всё ещё продолжал остав-

ваться японец, так же, как и в других цехах: китайских специалистов не было, и советская администрация оставила на заводе работавших на нём раньше японских специалистов и японских рабочих.

Однако, подходили сроки депатриации всех живущих в Дальнем японцев и поэтому тревога Ван Чи-фу была понятна.

— Рабочих надо в котельный цех, товарищ начальник, — говорит он Кедрову. — Сейчас половина котельщиков — японцы, через месяц они уедут — кто будет работать? Кораблей в ремонте много стоит — как справимся? Китайцев набирать надо, учить работать...

Кедров успокаивает:

— Товарищ Ван напрасно так сильно тревожится. Меры к укомплектованию цехов китайскими рабочими принимаются. Уже открыта школа ФЗО, кроме того, во все цехи принимаются ученики...

— Ученики — это хорошо, но сейчас нужны рабочие, — возражает Ван.

Кедров раскрывает книгу со списками рабочих по цехам:

— Рабочие тоже принимаются. За этот месяц в ваш цех направлено тридцать два котельщика...

— Тридцать два — это мало, — не сдаётся Ван.

— Правильно, товарищ Ван, мало, — соглашается с ним Кедров. — Но скоро будет больше, много будет.

Ван Чи-фу поднялся уходить.

— За цех беспокоюсь, — протянул он Кедрову руку. — За работу. Как бы не отстать нам.

Беспокойство Ван Чи-фу было напрасным. К моменту депатриации японцев заводской комитет, совместно с отделом кадров, обеспечили все цехи китайскими рабочими. На многие руководящие должности приехали специалисты из Советского Союза. Начальниками некоторых цехов были назначены китайские мастера. Ван Чи-фу возглавил котельный цех. Сразу же его цех выдвинулся в ряды передовых, и его фотография не сходила с заводской доски почёта.

Ван Чи-фу интересовал Кедрова, и он любил разговаривать со старым котельщиком. Впрочем, назвать Ван Чи-фу старым можно было только по тридцатилетнему его опыту работы в котельном цехе. В действительности же, в то время ему было лет сорок, не больше.

Опыт работы за тридцать лет Ван Чи-фу накопил огромный. Кедрова всегда удивляло, когда Ван, не разбирая снятого с парохода котла, а только обстучав его со всех сторон своим маленьким молотком, безошибочно определял все его дефекты и тут же диктовал мастеру дефектную ведомость.

Сам Ван Чи-фу стал учиться грамоте только осенью 1945 года, когда управление заводом перешло в руки советской администрации. Заводской комитет организовал тогда усиленные занятия по ликвидации безграмотности рабочих.

Рассказывая Кедрову об этих занятиях, Ван Чи-фу говорил:

— Ленин сказал: «Надо учиться, учиться и ещё раз учиться». А нам, китайцам, учиться надо особенно много. Нам надо строить своё, независимое теперь ни от кого, государство.

И Ван Чи-фу учился действительно много и усердно. В 50-м году он закончил областную партийную школу.

Встречаясь с Ван Чи-фу по выходным дням в заводском клубе, Кедров с интересом слушал рассказы этого уверенного в своих силах человека.

Жизнь Вана — это жизнь многих миллионов китайских рабочих, не согнувшихся под тяжестью того положения, в котором они находились до сорок пятого года.

#### 54. ОЖИВШАЯ ЦАРЕВНА

Осень в Дальнем — лучшее время года. Даже в первой половине октября дни стоят тёплые, порой жаркие, как летом, но без удушливого летнего зноя.

На пляже, особенно в выходные дни, много купальщиков.

Кедров лежит на спине на горячем, золотистом песке и, закрыв от яркого солнца глаза шляпой, отдыхает после купанья.

Тёплый ветерок пробегает по его ногам, животу, груди, скользит по закинутым за голову рукам. Набегая на берег, чуть слышно плещет волна и стекает обратно журчащими струйками.

Девять лет, до 45-го года, Кедров жил неподалёку от этого пляжа и летом бывал на нём каждый день по

несколько раз. В те годы здесь слышалась почти исключительно японская речь. Привлекал пляж и русских. Это были, главным образом, дачники, приезжавшие в Дальний, к морю, из городов Северной Маньчжурии.

Особняком держались на пляже жившие постоянно в этом дачном пригороде Дальнего иностранцы: англичане, американцы, датчане, немцы... Эти «аристократы» располагались под большими пляжными зонтами и брезгливо сторонились и русских, и японцев.

И только очень редко встречал Кедров на пляже китайцев. Он не задавался тогда вопросом — почему это так было? Почему китайцы, которые составляли добрую половину шестисоттысячного населения города, не пользуются наравне со всеми отдыхом у моря?

С тех пор, как над городом появились первые советские транспортные самолёты, жизнь китайцев резко изменилась. Они стали полными хозяевами своего города. И.. другими они сделались! Весёлыми, жизнерадостными, уверенными в себе, в своём праве на полнокровную жизнь...

Обо всём этом сейчас и думал Кедров, отдохвая на песке после купания.

Смех и оживлённые голоса по-русски и по-китайски заставили его приподняться.

На залитом солнцем пляже, почти на километр растянувшемся полуподковой между двумя выдающимися в море утёсами, было много китайской молодёжи. Одни группами лежали на песке, другие купались. Некоторые играли с волейбольным мячом, пассуя его друг другу.

Несколько сот китайских юношей делали гимнастику.

— Школьники! — присмотревшись к ним, определил Кедров.

Перед их строем стоял физрук и громко командовал:

— И! Эр! Сан! Сы!<sup>1</sup>

После гимнастики школьники наперегонки бросились в воду, поднимая вокруг себя каскады брызг.

Среди китайцев было много русских — молодых, здоровых, мускулистых парней. Это — бойцы и офицеры расквартированных в пригороде советских воинских частей.

<sup>1</sup> И! Эр! Сан! Сы! (по-китайски) — Раз! Два! Три! Четыре!

Неподалёку от Кедрова играли с волейбольным мячом несколько китайских юношей и девушек. С ними трое русских бойцов.

— Давай, Ваня! — пассовал боец мяч китайцу.

— Давай, Миша! — отбивая мяч, посыпал его другому бойцу китаец.

Ваня... Миша... Кедров уже не раз слышал, как советские бойцы называли китайцев «Ваня», а китайцы их «Миша».

С моря до слуха Кедрова донеслись весёлые детские выкрики и смех. Какой-то русский паренёк, тоже, по-видимому, боец, возился там с китайскими ребятишками. Он нырял и старался в воде схватить кого-нибудь из них за ногу. Те врассыпную кидались от него. Когда из воды показывалась голова бойца, в лицо ему из-под ладоней малышей летели фонтаны воды.

Когда бойцу удавалось схватить в воде кого-нибудь за ногу:

— Попался, Ваня!

Тогда начиналась возня. Товарищи пойманного бросались к нему на выручку. Вода вокруг бойца закипала, пенилась, попадала ему в нос, в глаза, в уши. Он, смеясь, отпускал свою жертву, нырял и выплывал далеко от ребятишек.

— Давай, Миша, давай... Миша, иди сюда! — неслось над морем звонкие детские голоса, и игра начиналась снова.

Жара понемногу схлынула. От пляжных кабинок легли на песок длинные тени. Кедров взглянул на часы:

— Ого! Уже пять... Надо торопиться. Таня просила не опаздывать — они собирались пойти вместе в кино.

Он быстро оделся и направился к трамвайной остановке.

Трамваи шли переполненные. Народ разъезжался с пляжа по домам.

Кедрову посчастливилось притиснуться в первый же подошедший вагон, но свободных мест в нём не было. Пришлось стоять.

Кто-то осторожно потянул за рукав. Кедров оглянулся. Сидевший на скамейке молодой китаец встал и по-русски, старательно выговаривая каждое слово, предложил:

— Прошу вас, товарищ... Садитесь, пожалуйста.

— Сидите, сидите, — отказался Кедров. — Я постою. Ничего.

— Нет, нет, — настаивал китаец. — Вы садитесь, пожалуйста. Я ещё молодой, а вы пожилой человек. Сядитесь, прошу вас.

Дальше отказываться было неудобно, и Кедров, поблагодарив китайца, занял предложенное место.

— Сегодня в трамвае много народа, — оставшись стоять около Кедрова, заговорил с ним китаец.

— Да, — отвечал Кедров. — Погода хорошая, к морю все ездили. А вот вы лучше скажите, где вы так хорошо научились говорить по-русски?

— О, нет, — улыбнулся китаец. — Я говорю по-русски некорошо. Я только один год изучаю русский язык в политехническом институте.

— Вы студент?

— Да, я студент политехнического института. Русский язык очень трудный, очень. Грамматика трудная.

— Однако, по-русски вы, действительно, говорите неплохо, — подтвердил своё мнение Кедров. — И грамматически правильно, да и произношение у вас хорошее.

Китаец смущённо запротестовал:

— Не совсем так, не совсем так... Я ещё довольно плохо говорю по-русски. Но я старательно изучаю русский язык. У нас русская учительница. И есть грамматист китаец, товарищ Сюй. Он окончил в Москве университет и сейчас работает учителем у нас в институте.

Помолчав, китаец добавил:

— У меня, к сожалению, мало русских знакомых и поэтому я не имею достаточно практики.

— Ну что же, если хотите, приходите ко мне, — предложил Кедров. — Я дам вам свой адрес.

Вырвав из блокнота листок, Кедров написал на нём свой адрес и протянул его китайцу:

— Вот, пожалуйста. По выходным дням я обычноываю дома.

Китаец вслух прочитал:

— «Мин-Ло-цзе, номер 54, четвёртый этаж, квартира 10. Кедров». Ваша фамилия Кедров?

— Да, а ваша?

— Моя фамилия, Лю.

— Ну вот и прекрасно, товарищ Лю. Приходите, — ещё раз пригласил Кедров своего нового знакомого. —

А пока до свиданья, мне пора выходить. Сейчас моя остановка — мост Победы. Я живу здесь недалёко.

— Спасибо, — пожал Лю протянутую руку. — Я с большим удовольствием воспользуюсь вашим любезным приглашением и обязательно посещу вас.

Идя домой, Кедров вспоминал книжные фразы Лю, по-видимому заученные им из учебника русского языка, а скорее всего из русско-китайского разговорника, которые в последнее время появились в Дальнем.

— Ну что же, — роились в голове Кедрова мысли, — пусть человек говорит даже заученными фразами, но всё же говорит не на родном для него языке и понимает, что ему говорят. И всего этого добился он за год. А вот он, Кедров... Полжизни прожил в Китае и объясниться по-китайски может только на базаре, спросить, сколько стоит... Полжизни... Если бы за эти ушедшие годы учить только по одному китайскому слову в день и по одному иероглифу, — он бы прекрасно говорил, читал и писал по-китайски. Он, да и другие русские — чему они за эти годы выучились в Китае?.. Если строго разобраться — ничему. Молодёжь-то ещё училась. Приобретала знания, специальности. А вот его, Кедрова, поколение... Сначала боролись за кусок хлеба, потом жевали этот кусок, не отрываясь назад, не заглядывая вперёд... Потерянные годы... Действительно, болтались, по выражению Степана Кузьмича, как навоз в проруби...

На следующий выходной день погода с утра хмурилась, и Кедровы не поехали к морю. После обеда Таня пошла по магазинам, а Кедров только что прилёг отдохнуть, как в передней раздался звонок.

Оля открыла двери и побежала в спальню.

— Папа, папа, — затормошила она Кедрова, — там к тебе какой-то китаец пришёл...

— Какой китаец?

— Не знаю. У него на бумажке наш адрес. Я смотрела — ты писал.

— Молодой?

— Кто? Китаец?

— Ну да.

— Молодой.

Кедров вспомнил — Лю, его трамвайный знакомый.

— Вот что, Олеся. Пригласи его пройти в гостиную.

— Я уже пригласила.

— Молодец! Тогда пойди поговори с ним, пока я приведу себя в порядок...

Когда Кедров вышел в гостиную, Оля и Лю оживленно разговаривали. Оля показывала гостю свои книжки-сказки.

— Я всё это сама читаю, — щебетала девочка. — Я уже в школе учусь, в первом классе. У нас учительницу Галина Калимовна зовут. У меня по чтению пять. Вот только писать у нас трудно. Почему-то от чернил всегда в тетрадке кляксы бывают...

— Вы, я вижу, уже хорошо познакомились? — проговорил Кедров, здороваясь с Лю.

— О, да... Это ваша дочка, товарищ Кедров?

— Моя.

— А у меня кукол много, много, — начала Оля рассказывать Лю.

— Ну вот, ты пока пойди и поиграй с ними, — потребовал её Кедров по волосам. — А мы с товарищем Лю побеседуем. А потом, придёт мама — будем чай пить...

Когда Оля ушла в свою комнату, Кедров заговорил с Лю об институте, о том, где учился раньше, до института. Лю рассказывал. Говорил он по-русски действительно не так свободно, как это показалось Кедрову в момент их знакомства. И, на что Кедров обратил внимание, Лю каждое новое для него слово записывал в записной книжке, приписывая рядом по-китайски его значение.

«Учится человек, можно сказать, на каждом шагу», — одобряюще подумал он о нём Кедров.

Лю рассказывал о том, с каким трудом ему удалось поступить в среднюю школу. При японцах средних китайских школ в Дальнем было только две. А китайских детей школьного возраста — каждый год десятки тысяч. Поступить поэтому в китайскую школу, а тем более в японскую, можно было только при наличии большой пропекции и, конечно, денег.

Лю был принят в японскую школу. За это дядя Лю, подрядчик, бесплатно отремонтировал собственный дом директора школы.

Узнав, что Лю окончил японскую школу, Кедров перешёл на японский язык, но Лю предпочёл продолжать разговор по-русски, вставляя японские слова только тогда, когда в его лексиконе не хватало русских.

Кедров и раньше знал, что на всю Квантунскую область при японцах было только одно высшее учебное заведение — политехнический институт в Порт-Артуре, — но он никогда не представлял, что поступить в него было трудно даже для японцев. Порт-Артурский политехнический институт был привилегированным учебным заведением, и двери его, и то не очень широко, были открыты только для детей японской знати. Девушки вообще в него не принимались. О китайцах же не могло быть и речи.

Молниеносный разгром Советской армией Японии резко изменил положение, открыв перед китайской молодёжью широкую дорогу к знаниям.

В 48-м году в Дальнем насчитывалось уже несколько десятков китайских средних школ и пять высших учебных заведений, в том числе и политехнический институт, в котором учился Лю.

В передней опять раздался звонок. Оля выбежала из своей комнаты и тотчас же послышался её голос:

— Мама, а у нас гости...

Кедров представил жене Лю.

— Познакомься, Таня. Это — товарищ Лю, студент. Мы тут тебя поджидали. Чайком угостишь?..

— Конечно. Я как раз ветчины и сдобных булочек купила. Но... может быть, лучше кофе?..

— Кофе, кофе!.. — захлопала в ладоши Оля.

— Вопрос решён: кофе! — проговорила Таня и прошла в кухню.

Через несколько минут на газовой плитке закипел кофейник, и из столовой послышался голос Тани:

— Прошу к столу..

За столом Оля усердно выковыривала из булочек изюминки и, отправляя их в рот, говорила Лю:

— Я очень люблю кушать тараканов.

— Оля, не шали! — погрозила ей Таня.

— Я неshalю... Я кушаю тараканов.

И большие, голубые глаза Оли, спрятавшись за длинными ресницами, лукаво посматривали на Лю.

— Это называется «тараканы»? — показывая на изюминки, спросил Кедрова Лю.

— Да! — едва сдерживая смех, ответила за отца Оля.

— Не шали! — на этот раз строго погрозила ей Таня.

А Кедров поспешил ответить:

— Это Оля так называет изюм.

В записной книжке Лю тотчас же появилось два новых для него слова: «таракан» и «изюм».

После чая все опять перешли в гостиную, и Оля принимала деятельное участие в разговоре. Она играла для Лю на пианино, затем предложила ему послушать сказку. Выбрала «Сказку о мёртвой царевне» Пушкина.

Лю внимательно её слушал и, когда Оля кончила чтение, продолжал молча сидеть, откинувшись на спинку кресла.

— Вам, товарищ Лю, понятно содержание этой сказки? — вывел его из задумчивости голос Кедрова.

— Да, — провёл Лю рукой по волосам. — Я всё очень хорошо понял. Эта сказка, как история Китая. Однаково.

— То-есть, как «одинаково»? — не понял его Кедров. — Что может быть общего между царевной и Китаем?

— Я так думаю, — извиняюще улыбнулся Лю. — Иностранцы и свои китайские капиталисты, как злая ма-чеха и злая старуха, надолго усыпили нашу страну. Потом Советский Союз помог ей проснуться от долгого сна. Однаково, как в сказке, царевич Елисей разбудил царевну. Извините я плохо говорю по-русски и поэтому вы, может быть, не совсем меня понимаете...

— Нет, нет, я, например, хорошо вас поняла. И могу только сказать, что вы сделали прекрасное сравнение, — возбуждённо проговорила Таня. — Не правда ли, Коля?

— Несомненно! — отозвался Кедров. — Кроме того, это доказывает, что товарищ Лю скромничает: он в такой степени освоил русский язык, что сразу понял не только содержание сказки, но и её внутренний смысл.

Лю засиделся до вечера и после этого стал частым гостем Кедровых.

Он много рассказывал о своём институте, о том, как трудно учиться: учебных пособий на китайском языке было пока очень мало, студенты занимались по советским учебникам на русском языке. Работавшим в институте командированным из Советского Союза специалистам, а также учителям и ассистентам из числа местных советских граждан, недавних эмигрантов, приходилось каждый день подолгу задерживаться в институте и прорабатывать со студентами учебный материал на мало ещё знакомом для них языке. Работа трудная, но она не ос-

тавалась безрезультатной. Более способные студенты начинали уже самостоятельно пользоваться советскими учебниками. К тому же государственное издательство Китайской Народной Республики усиленно издавало переводимую на китайский язык советскую учебную литературу.

— Когда я закончу институт, буду инженером. Это конечно, очень хорошо. Но мне хотелось бы лучше работать учителем, — говорил, привычно улыбаясь и откидывая назад спадавшие на лоб длинные пряди чёрных волос, Лю; глаза его загорались. — Я очень хотел бы учить наших детей. Дети Китая — это его будущее. Скоро наша коммунистическая партия сделает так, что в каждой деревне будет обязательно школа...

Дети Китая... Дети нового Китая, дети Китайской Народной Республики... Как не похожа их жизнь на ту, которую пережил маленький Ван Чи-фу!.. Кедров нередко видел этих, получивших теперь право на счастливое детство ребят, бойко шагавших по улицам города под алым пионерским знаменем, видел тысячи их чёрноволосых голов на стадионе в дни спортивных праздников, наблюдал их у себя на заводе, когда экскурсии школьников осматривали цехи и пароходы. Рассказывала Кедрову о них и дочка: китайские пионеры были частыми гостями советской школы, и Оля со своим классом тоже несколько раз побывала в китайской школе.

— Знаешь, папа, — рассказывала Оля, — китайские мальчики совсем, совсем ни одного словечка не говорят по-русски. Но всё-таки они лучше наших мальчишек. Наши всегда дергают девочек за косы, а китайские мальчики ни разу никого не дернули. А какие они песни поют. Совсем, совсем по-русски, только слова китайские...

— Как это... совсем по-русски, а слова китайские?

— Ну, как тебе сказать?.. — Ну вот когда слушаешь, то понимаешь, какая песня, а слова другие, китайские... Вот, например, один раз они запели, я сразу поняла — «Широка страна моя родная» поют. А слова — все до одного китайские...

Мотивы советских песен со словами, переведёнными на китайский язык, пели не только китайские школьники, не только китайская молодёжь, — пели их и рабочие, слышались они и из многочисленных репродукторов на улицах города, и в китайских клубах, которые были созданы

теперь в каждой организации. Пели эти песни и дошкольники в китайских детских садах.

Одни из таких детских садиков находился неподалёку от квартиры Кедровых — в большом, просторном доме, стоявшем в глубине парка.

Через этот парк Кедров каждый день ходил на завод и, если позволяло время, иногда задерживался около детской площадки, наблюдая за резвящимися стайками детей. Однажды Кедров заговорил с одной из воспитательниц.

— Первое время было трудно,—рассказала она Кедрову.—Трудно не с детьми, а с матерями. Сначала они с большим предубеждением относились к детскому садику и неохотно приводили сюда детей. Тогда мы предложили материам оставаться в садике, чтобы они сами смогли видеть, как их дети проводят здесь день. Через некоторое время недоверие исчезло. Больше того, матери стали приводить детей чисто вымытыми, чего в первые дни не было. Потом мы были вынуждены даже отказывать в приёме детей из-за отсутствия свободных мест. Поставлен вопрос об открытии в нашем районе города ещё одного детского сада.

Воспитательница предложила Кедрову осмотреть помещение. Кедров взглянул на часы и согласился: время позволяло, сегодня он вышел из дома рано.

Две большие комнаты отдыха с рядами аккуратно застланных детских кроваток. Рабочая комната: экспонаты лепки, картонажные работы, детские рисунки.

В комнате для игр Кедров обратил внимание на изобилие игрушек—резиновых, деревянных, металлических — для всех дошкольных возрастов. В углу стояло пианино.

— Мы здесь каждый день поём,—пояснила воспитательница,—китайские и советские песни. Заходите как-нибудь послушать. Это обычно бывает в четыре часа...

Дальше — столовая, кухня, ванная комната...

Кедров взглянул на часы и заторопился:

— Извините, мне пора на работу.

Когда вышли из помещения, к воспитательнице подбежали несколько малышей — мальчиков и девочек.

— Ло-сы! Ло-сы!<sup>1</sup>—наперебой заговорили они.— Вы обещали нам почитать...

<sup>1</sup> Ло-сы (по-китайски) — учительница.

— Сейчас, сейчас,—обняла их всех воспитательница «Как наследка с цыплятами»,—подумал, глядя на неё, Кедров и ещё раз попрощался.

Выйдя из парка, он быстро зашагал на завод: опаздывать было ни в коем случае нельзя даже начальнику отдела китайских кадров.

## 55. РУКИ ПРОЧЬ!

Во второй половине апреля в Дальнем пышно цветёт сакура. В её нежных белых цветах с чуть заметным розоватым оттенком тонут в эти дни все сады и парки города.

Цветок сакуры—эмблема Японии. Этот пятилистный цветок красовался, как кокарда на фуражках японских школьников. Ветка сакуры в дни цветения этого дерева непременно стояла в узорчатых вазах на чайных столах во время приёма японцами гостей, и эта ветка была любимым сюжетом японских художников — одна только ветка на белом фоне.

Для китайцев же сакура осталась просто красиво цветущим деревом, украшающим городские парки.

Кедровы сидят на скамейке в парке Лу-Синь, укрывшись здесь от жаркого солнца под широкой кроной цветущей сакуры.

Таня обмахивает веером разгорячённое солнцем лицо. Сам Кедров снял пиджак и, повесив его на спинку скамейки, курит.

На площадке напротив — детский уголок, качели, горка для катания.

Оля на площадке играет с китайскими ребятишками. Накачавшись на качелях, ребятишки забираются по винтовой лестнице на горку и скатываются вниз.

— Оля, упадёшь! — беспокоится Кедров.

— Нет! — звонко отзыается Оля и снова забирается по лестнице на площадку.

У Тани другое беспокойство. Она знает, что с горки дочка не упадёт, — предохраняет плотный барьер. Но...

— Оля, хватит кататься! Ты всю пыль своим платьем вытрешь.

— Здесь, мамочка, пыли нет, — доносится опять голос Оли. — Здесь уже раньше ребята всю пыль вытерли... Здесь сейчас чисто.

-- Ну что ты будешь с этой девчонкой делать, — начинает нервничать Таня.

— А ты.. ничего не делай, — спокойно решает Кедров. — Сиди и дыши свежим воздухом. Смотри, как здесь хорошо.

Накатавшись с горки, Оля бежит к скамейке.

— Ну вот, — одёргивает ей Таня платье, — посмотри на кого ты похожа: платье измяла, волссы растрепались, ленточки развязались... Как ты теперь пойдёшь? Стыд! Гакая большая девочка!..

— А мы пойдём Мишку-медведя смотреть? — не слушает её Оля.

Парк Лу-Синя — он же зоопарк... В нём клетки с разными птицами, с кроликами, с морскими свинками, кенгуру, есть леопард, в большой клетке живёт семейство мартышек.

Около всех этих клеток Оля сегодня уже побывала. Оставалось посмотреть только медведя.

— Медведя надо орехами угостить, — говорит ей Кедров. — Сбегай, купи.

Через несколько минут Оля возвращается с большим кульком бобовых орехов, и они направляются к клетке с медведем.

Здесь уже много китайских ребятишек. Они бросают медведю — кто хлеб, кто орехи. Медведь широко раскрывает пасть и ловко ловитброшеное ему лакомство.

— Папа, папа, смотри! Мама, видишь? — захлопала Оля в ладоши, — Мишка орешки раскусывает и скорлупку выплёвывает.

И, действительно, поймав орех, медведь, забавно чавкая, раскусывал его и выплёвывал скорлупу. Затем снова раскрывал пасть, ожидая подачки.

— Товарищ Кедров, здравствуйте! — послышался сзади чей-то голос.

Кедров оглянулся. Широко улыбаясь, ему протягивали руку знакомый китаец Чен из общества советско-китайской дружбы.

— Ба, товарищ Чен! Вот уж, действительно... пропавшая грамота! Где утерялись? Что так долго у нас не были?..

— Занят, каждый день очень занят... Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Оля, здравствуй. Как дела? Как учишься?

— Хорошо. Я уже скоро во второй класс перейду.

— Молодец! — и Чен ласково потрепал Олю по щеке. — Я тоже учусь, только не очень хорошо. Я — старик... Голова у меня плохая...

Чен осмысленно прожил пятьдесят лет своей жизни. Старый коммунист, он долгие годы был ближайшим соратником Мао Цзэ-дэна и во время борьбы китайских патриотов с японскими захватчиками исходил с партизанским отрядом немало горных троп в Южном Китае.

Сейчас старый партизан работал в обществе китайско-советской дружбы и старательно изучал русский язык. Именно изучал его, а не учил. Кропотливо углубляясь в тонкости русского языка, заучивая наизусть русские пословицы, читая русскую и советскую художественную литературу, Чен стремился понять характер, облик русского советского человека.

Разговаривая с Олей об учёбе, Чен скромничал: голова у него была неплохая. Проработав над русским языком два года, он самостоятельно, — правда, при помощи словаря, но всё же самостоятельно, — переводил на китайский язык русские пословицы, статьи и рассказы из советских газет и журналов. При его возрасте — в пятьдесят лет — такие успехи были замечательными.

Заходя по вечерам в общество китайско-советской дружбы, Кедров неизменно проходил в комнату Чена и всегда заставал его за большим письменным столом, на котором грудами лежали словари, советские книги, газеты, журналы.

— О, товарищ Кедров. Вы пришли очень кстати, — встречал он Кедрова обычной фразой. — Когда у меня гость, я имею право отдохнуть! Хотите чаю?

И, не дожидаясь ответа, Чен ставил чайник на электрическую плитку.

В этой комнате он и жил. В углу, за ширмой, стояла его кровать. Каждый раз Чен просил Кедрова рассказать ему о Советском Союзе.

Но... что мог рассказать Кедров о жизни советских людей, когда он сам никогда не был в Союзе?.. Правда, Кедров уже много прочитал советской политической и художественной литературы, много слышал о жизни советских людей от командированных из Союза товарищей, внимательно следил за всеми центральными советскими периодическими изданиями.. Однако, то, что знал

о Союзе Кедров, знал и Чен, может быть, даже больше.

Иногда Чен рассказывал Кедрову о себе, о борьбе китайских партизан за свободу китайского народа. И тогда слова Чена звучали для Кедрова пощечинами. Вот он, Чен, старый партизан, всю жизнь, отдавший за лучшее будущее своей родины, — он может, не стыдясь, рассказывать о себе. А он, Кедров? Что он может рассказать о себе? Разве только то, что он когда-то, правда, может быть, невольно, но всё же с оружием в руках мешал своей родине строить новую жизнь. Вот он, Кедров, рассказывал Чену о борьбе советского народа с белобандитами в годы гражданской войны... А сам-то он кто? Тоже бывший белобандит... Нет... Нет... Он никогда, никогда не раскроет перед Ченом эти страницы своей жизни...

И Кедрову в такие минуты бывало стыдно, мучительно стыдно своего прошлого, стыдно самого себя.

Но не только подобные разговоры с Ченом вызывали у Кедрова такие настроения. Как-то раз Оля, увидев в альбоме его фотографию в офицерской форме, спросила:

— Папа, разве ты тоже был офицером?

— Да.

— Значит ты был в Красной армии, белых бил?

Кедров промолчал. Он поспешил отвлечь внимание дочери другим разговором, а когда она вышла из комнаты, вырвал из альбома злополучную карточку.

— Да... — рассказывая потом Тане про этот случай, с горечью говорил он. — За преступлением неизбежно следует наказание. За ошибки молодости нашему поколению приходится держать ответ перед детьми.

Однажды, подойдя к комнате Чена, Кедров услышал за дверью голоса. Разговаривали по-русски.

— Войдите! Кто там? — отозвался по-китайски Чен.

Кедров вошёл и с удивлением огляделся: русских в комнате не было. За столом, напротив Чена, сидел Лю.

— А, товарищ Кедров! — как всегда, приветливо встретил Кедрова старый партизан. — Милости прошу к нашему шалашу! Правильно я говорю? Есть такая русская пословица? Знакомьтесь! Мой молодой друг, студент Лю.

— Мы уже знакомы, — проговорил Кедров, крепко пожимая руку Чена и здороваясь с Лю. — Я не помешал вам? Говорят, незваный гость хуже татарина.

— Как, как вы сказали? — встрепенулся Чен. — Незванный гость...

Кедров повторил пословицу. Затем ему пришлось объяснить — почему «хуже татарина». Рассказал про монгольское нашествие на Русь, про сборщиков дани.

— Вот отсюда и сложилась такая поговорка.

Чен довольно кивал головой:

— Вы всегда очень кстати, товарищ Кедров. У вас я каждый раз узнаю что-нибудь новое. А теперь давайте пить чай. Нам с товарищем Лю пора отдохнуть. Мы вместе с ним изучаем русский язык. Он большой специалист, первоклассный грамматист...

Лю смущённо запротестовал:

— Это неправда. Товарищ Чен лучше меня знает по-русски. Он помогает мне изучать русские пословицы. Потом он рассказывает много интересного о партизанской войне. Я и мои товарищи часто бываем у товарища Чена, учимся у него...

Чен провёл рукой по лицу сверху вниз, потёр ребром ладони подбородок и, щуря глаза в улыбке, проговорил:

— Но, но... Мели Емеля, твоя неделя...

Но о партизанах всё же вспомнил. Он с увлечением рассказывал о боях с японцами, о тяжёлых переходах, нашёл в книге стихотворение о подвиге крестьянина из деревни Тьёвоку, который умер под штыками японцев, отказавшись показать им дорогу к партизанам. Выразительно прочитал это стихотворение по-китайски и затем перевёл его на русский язык.

Лю слушал Чена, не сводя с него горящих глаз, и Кедров чувствовал, что рассказы старого партизана-коммуниста крепко западали в душу студента.

Точно так же загорались глаза и у многочисленных рабочих «Дальдока», когда на цеховых и общезаводских собраниях ими принимались социалистические обязательства. Соревновались все. Обязательства принимались коллективные и индивидуальные. И доски показателей около цехов, доска почёта, густо покрытая фотографиями отличников производства, — всё это говорило о том, что принятые на себя обязательства рабочие завода подкрепляли делом. Кедрова больше не удивлял такой трудовой подъём китайских рабочих.

— Ты помнишь, как раньше китайцы работали? — говорил он Мише Попомарёву. — Кое-как шевелились...

Если, к примеру, китаец воткнул лопату в землю и в это время послышался гудок, — назад лопату он не вытащит. Бросит и пойдёт отдыхать. Секунды лишней не переработает. А теперь — один другого подгоняют, не бросят работу, пока не доделают до конца. А почему это?

— Условия другие, — высказывал предположение Пономарёв. — Лучше труд оплачивается.

Но Кедров разрешал этот вопрос по-своему:

— Отчасти ты, Миша, конечно, прав. Зарплата, безусловно, играет свою роль... Но это не главное. Главное — сознание. Люди стали понимать — для кого и для чего они трудятся. В труде появилась осмысленность. А ещё главное — люди почувствовали себя людьми. Помнишь, у Горького: «человек — это звучит гордо!» Я много раз читал Горького, но только теперь по-настоящему понял эту фразу, потому что только теперь тоже чувствую себя человеком. Настоящим человеком. Также и китайцы... Какие они раньше были?...

И Кедров рассказал Пономарёву один случай.

Было это в конце тридцатых годов. Кедров встречал на морском вокзале знакомых из Шанхая. По трапу с парохода сходили пассажиры. На борту парохода около трапа стоял помощник капитана — японец — и проверял билеты.

И вот Кедров увидел... Около помощника капитана проходил на трап пожилой солидный китаец, в богатом шёлковом халате. В этот момент помощнику капитана зачем-то понадобился стоявший поодаль матрос, и он поднял руку, подавая ему знак подойти. От поднятой руки китаец испуганно отшатнулся и быстро закрыл лицо руками, защищая его от удара.

Так было ещё совсем недавно, тогда, когда иностранцы чувствовали себя хозяевами Китая.

— Теперь китаец не отшатнётся, испуганный от поднятой на него руки, — увлекаясь говорил Кедров, — а властно отведёт её в сторону и веско и твёрдо скажет:

— Руки прочь!..

Теперь новый Китай чувствует свою силу сказать любому:

— Руки прочь не только от Китая, но и от всех его дружественных соседей. Слышал, такими словами закончил наш Александр Фролович свой доклад в годовщину

Китайской Народной Республики. Хорошо сказал, не правда ли?

К этому разговору с Мишой Пономарёвым Кедров вернулся ещё раз, когда американцы начали бомбить мирные города и сёла Северной Кореи.

— Видал, что у нас на заводе делается? — говорил он Мише, возвращаясь вместе с ним домой после работы. — Наша рабочая молодёжь сотнями подаёт заявления о долгосрочном отпуске. Все рвутся в добровольческую армию, которая идёт на помощь корейцам. Помнишь, я тебе говорил: «руки прочь». Теперь Китай в силах сказать это любому...

## 56. ПАРТИЗАНСКИЙ ШТАБ

На одной из улиц харбинского пригорода Модягоу, в глубине тенистого сада с укатанными золотистым сунгариjsким песком дорожками, стоял большой одноэтажный дом богатого китайца Чжоу Дэ-миша.

Двери особняка широко открыты для многочисленных гостей. Это, главным образом, молодёжь, товарищи сына Чжоу, друзья и подруги его дочери. Молодой Чжоу был офицером штаба четвёртого военного округа маньчжуговских войск, а его сестра училась в русском Северо-Маньчурском институте. Студентки и студенты института дали ей русское имя Галя. Также называл её и Кедров, который был знаком с самим Чжоу и нередко к нему заходил.

Он любил бывать в этом доме. Товарищи сына Чжоу, тоже молодые маньчжуговские офицеры, часто рассказывали о китайских партизанах, о борьбе с ними. Для журналиста все эти рассказы представляли большой интерес.

У Чжоу Кедров познакомился однажды с молодым, хорошо образованным китайцем. Звали его Лю Мин-шешом. Он закончил историко-филологический факультет шанхайского университета, но решил заняться коммерцией и приехал в Харбин, где у него были родственники.

Жил Лю в доме Чжоу, и старик как-то раз сказал Кедрову:

— Замуж дочку выдаю... За Лю. Только, пока надо обождать. Лю женат и хлопочет развод. Как только освободится от своей жены — сразу же свадьба...

Иногда Лю на неделю переселялся на ханьшишный завод, который был у Чжоу в Фудзянье, и там, на правах будущего зятя, знакомился с делами. Иногда он вообще уезжал из города на несколько дней по своим личным коммерческим делам.

Однажды, прия к Чжоу, Кедров стал возбуждённо рассказывать:

— Ужасный случай! В центре города... Я только что с места происшествия... С крыши магазина «Мацуура» сбросился кореец. С высоты пяти этажей на мостовую. Представляете? Насмерть, конечно... Несчастный лежал, раскинув руки, и на левой ладони я обратил внимание на татуировку. Между прочим — замечательно тонкая, художественная работа: воин, убивающий мечом дракона.

— Вы говорите — татуировка на левой ладони? — спросил Лю, доставая портсигар. Когда он прикуривал сигарету, Кедров заметил, что его рука, как будто дрогнула. — На левой ладони... бывает очень редко. Обычно татуировка делается на груди, на плечах, иногда на спине... Ну, и... никаких документов у него не нашли?

— Абсолютно ничего. Полиция дала нам информацию для газет, что кореец покончил жизнь самоубийством в припадке умопреступления.

— Всё возможно, — подтвердил Лю. — Несчастная любовь... Запутанные финансовые дела... Всё это может довести человека до такого безумного шага...

И Лю, затушив сигарету в пепельнице, заговорил о новом художественном фильме, который в эти дни привлекал публику к экранам харбинских кинотеатров.

Гостеприимный дом Чжоу, шанхаец Лю, кореец с размежёной головой — всё это воскресло в памяти Кедрова много позднее, когда он как-то вечером сидел в комнате старого партизана.

Чен, как всегда, оставил работу, хлопотал с чаем.

— Разбираю свои старые альбомы, — заговорил он, когда чайник вскипел. — Хотите посмотреть? У меня сохранились фотокарточки многих товарищ.

Перелистывая альбомы, Кедров обратил внимание на одну фотографию: знакомое лицо, где он его видел?..

— Кто это, товарищ Чен?

— Это... — взглянул Чен на карточку. — Один мой очень хороший товарищ. Сейчас он начальник политотдела одной из наших дивизий. А что?..

— Ничего особенного. По-видимому, я обознался. Очень похож на одного моего знакомого по Харбину. Лю... дайте вспомнить... Кажется, того звали Лю Мин-шэн.

— Этого зовут Сюй Цзюй-ян, — сказал Чен. — Впрочем, в Харбине он жил, и тогда его, кажется, действительно звали Лю. Когда вы были с ним знакомы?

Кедров припомнил:

— Так, примерно, в годах тридцать четвёртом, тридцать пятом.

Чен кивнул головой:

— Правильно. Тогда вы действительно знакомы с Сюй Цзюй-яном!

— Но почему он был Лю?

— О, это длинная история. — Чен взглянул на часы. — Не торопитесь..

Если бы Кедров даже и торопился, то он всё равно сказал бы — нет. Рассказы Чена были всегда исключительно интересными.

Кедров закурил сигарету и подготовился слушать.

— Когда японцы захватили Северную Маньчжурию, — заговорил Чен, — китайские патриоты ушли в сопки, начав партизанскую войну с захватчиками.

Вначале партизанские отряды действовали разрозненно, неорганизованно. У партизан не было общего руководящего центра.

Партия решила направить в Северную Маньчжурию человека, который смог бы организовать там подпольный партизанский штаб.

Выбор пал на Сюй Цзюй-яна. Он ещё студентом вступил в партию и затем, по окончании университета, проработав два года на партийной работе, проявил себя талантливым, смелым организатором. К тому же у Сюй Цзюй-яна были в Харбине родственники, которые могли помочь ему ориентироваться в обстановке.

Меня отправили вместе с ним, и поэтому я тоже не много знаю Харбин.

Мы приехали туда, как два коммерсанта. Сюй Цзюй-ян с документами Лю Мин-шена (вы правильно назвали его фамилию), а я, — как Чжан Бо-сян.

Первое время мы остановились в гостинице, в Фудзядяне. Однако, жить там долго было рискованно. Японцы внимательно следили за Фудзядяном, особенно за вновь приезжавшими туда китайцами, тем более с юга.

Через несколько дней Сюй нашёл своего родственника. Это был владелец цветочного магазина Сон Хо-шин, в центре города, рядом с большим пятиэтажным японским универсальным магазином.

— Мацуура? — подсказал Кедров.

— Кажется так. Хорошо не помню. Старик стал, — улыбнулся Чен.

— Расчёт наш был психологически правильный, — продолжал он. — Японцы меньше всего могли заподозрить, что опасный для них человек живёт рядом с ними. А я решил устроиться рабочим на ханьшинский завод в Фудзияне. Хозяином этого завода был Чжоу.

— У него было двое детей, — опять перебил Чена Кедров, вспомнив знакомую фамилию. — Сын офицер, а дочь студентка...

— Так, так! — закивал головой Чен. — Правильно. Вы его знаете?

— Очень хорошо. Я бывал у него в доме. Там-то я и познакомился с Лю.

— Верно, сын и дочь. Но я сначала этого не знал. Я поступил на завод Чжоу, чтобы затеряться среди рабочих. А потом, когда узнал, постарался, чтобы Сюй познакомился с моим хозяином — это было очень важно.

Своего родственника Сюй предупредил, что теперь его фамилия Лю. Он рассказал, что отец у него умер, мать вышла замуж второй раз, и отчим, усыновив его, дал ему свою фамилию.

Сюй вначале очень осторожно подходил к своему родственнику, пока не узнал об его антияпонских настроениях. Затем он стал ему рассказывать о борьбе китайских партизан с японцами на юге Китая, о долге каждого настоящего китайца бороться за свободу и независимость китайского народа.

После таких разговоров Сюй выждал — не донесёт ли на него родственник властям.

А когда, вместо этого, Сон Хо-шин стал ещё откровеннее ругать японцев, Сюй сделал смелый ход. Он рассказал Сон Хо-шину — кто он такой и зачем приехал в Харбин.

Через некоторое время Сон Хо-шин познакомил Сюя с одним полицейским чиновником, у которого незадолго перед тем получилась крупная неприятность с японскими властями. За свою превинность полицейский отсидел ме-

сяц в строгом изоляторе и, кроме того, был понижен в чине.

Поговорив с полицейским об его служебных неприятностях, Сюй решительно приступил к действиям.

— Ты китаец или японский прихвостень? — смотря пристально полицейскому в глаза и нащупывая, на всякий случай, в кармане браунинг, спросил его Сюй. — Почему ты, как кролик, беспомощно ждёшь, когда тебя проглотит удав?

— Но что же я должен делать? — недоумевающе спросил полицейский.

Сюй нагнулся к нему:

— Надо быть лисицей, чтобы потом показать японцам когти тигра. Надо бороться, но умело, хитро, скрытно, — до тех пор, пока мы не выкинем японцев из Китая. Ты, конечно, сейчас можешь пойти и донести на меня своим хозяевам, но я не боюсь этого. Моё место займут другие, тоже настоящие китайцы, которым дорог Китай, и съёпиза будут всё равно раздавлены.

В этот вечер Сюй долго и горячо говорил об угнетённом Китае и борьбе китайских патриотов с иноземными захватчиками, о том близком, светлом будущем, накануне которого стоит китайский народ.

Сон Хо-шин одобрительно кивал головой, вставляя иногда реплики, которые не расходились со словами Сюя.

Полицейский слушал моего товарища молча, не спуская с него глаз. И в этом открытом взгляде Сюй прочитал, что полицейский его не выдаст.

Этот человек много помог Сюю в привлечении к освободительному движению большой группы китайских полицейских.

— В эти же дни, — продолжал Чен, подливая Кедрову чай, — я сделал так, что Сюй познакомился с Чжоу. Предлог для знакомства был хороший. Сюй купил у Чжоу партию ханьшины. Правда, продал он её потом с убытком, но зато получил другую прибыль — он вошёл в дом Чжоу.

Я уехал обратно на юг. Надо было организовать отравку Сюю раций и подобрать для него радиостов.

А Сюй тем временем всё шире и шире развёртывал свою работу. Он познакомился с дочерью Чжоу, подружился с ней и сделал предложение. Девушке Сюй нравился, отец тоже был не против, и Сюй стал женихом молодой

студентки. Однако, со свадьбой приходилось ждать. Сюй не скрыл, что он женат, но с женой разошёлся и сейчас хлопочет развод. Как только по его бракоразводному процессу последует судебное решение, — он будет свободен.

Чжоу предложил Сюю занять у него в доме одну из комнат, и это ещё больше сблизило моего товарища с его невестой.

Чен немного помолчал, как бы что-то вспоминая, и потом заговорил снова:

— Эту девушку звали Чжу-Лян. Она училась в русском институте. Русская молодёжь — хорошая молодёжь, товарищ Кедров. Подружившись с ней, Чжу-Лян: очень скоро поняла, что от японцев никто ничего хорошего ждать не может. Поэтому Сюю не стоило большого труда привлечь её на свою сторону. А через неё и её брата.

Молодой Чжоу сделался ценным осведомителем Сюя. Офицер штаба четвёртого военного округа маньчжуговских войск, он был в курсе всех мероприятий по борьбе с красными партизанами и рассказывал о них Сюю. Кроме того, в своих разговорах были откровенны и другие офицеры штаба, товарищи молодого Чжоу, часто бывавшие у него в гостях. Впрочем, некоторые из этих офицеров также вскоре примкнули к освободительному движению.

С большим трудом, но нам удалось всё же доставить рации в Харбин, и Сюй снабдил ими партизанские отряды. Установить связь с партизанами ему было легче всего. Когда он уезжал на север, ему были даны все явки. Поездки его из Харбина на линию дороги тоже не вызывали подозрений — коммерческие дела!

Одну из раций он установил в квартире Сон Хо-шина. Там, в центре Харбина, среди японцев, был организован Сюем штаб всех партизанских отрядов в Северной Маньчжурии. Там Сюй принимал донесения партизан, оттуда он сообщал им о планах маньчжуговских войск, давал указания, рассыпал приказы.

Иногда Сюй жил по несколько дней на ханьшинском заводе. Но, конечно, его интересовало не производство этой китайской водки, а рабочие завода. С ними у Сюя установилось полное взаимопонимание. Когда Чжоу отправлял бочёчки с ханьшином в посёлки на линию дороги,

он, сам того не зная, отправлял вместе с ними бочёнки с листовками, прокламациями и с другой литературой. В некоторых бочках бывало упаковано даже оружие, аппараты связи и многое другое, чем партизанский штаб Сюя снабжал свои отряды.

Сон Хо-шин, низко кланяясь и расплываясь в подобострастной улыбке, продавал цветы своим многочисленным японским покупателям, которые и не подозревали, что в задних комнатах магазина кипит работа, подготовляющая им сокрушительный удар.

— Смелый человек этот Сюй, — задумчиво проговорил Кедров, когда Чен умолк. — У японцев разведка была поставлена неплохо. Они могли выявить штаб и тогда — конец. С такими людьми японцы расправлялись жестоко.

— Один раз такой момент был, — заговорил опять Чен, снимая с электрической плитки ещё один вскипевший чайник. — Однажды японцы выследили корейца — связного одного из партизанских отрядов. Кореец шёл в штаб с донесением. Почувствовав слежку, он зашёл в большой японский универсальный магазин, рядом со штабом.

— Магазин «Мацуура»? — опять подсказал Кедров.

Чен покачал головой:

— Не помню. Старик стал. Голова плохая. Да... Кореец затерялся в магазине среди покупателей, и японские жандармы принялись его там искать. Деваться было некуда. Все выходы из магазина были заняты жандармами. Кореец выбежал на крышу и, проглотив таблетку с донесением, сбросился вниз, на мостовую.

Чен провёл рукой по лицу, как бы отгоняя от себя страшную картину, и проговорил:

— Этот человек — большой герой, товарищ Кедров. Он решил умереть, чтобы под пытками не выдать товарищей. Японцы ничего от него не узнали...

Чен подлил Кедрову чай и, улыбаясь, спросил:

— Надоело слушать старика?

— Что вы, товарищ Чен, — запротестовал Кедров. — Наоборот. Всё, что вы рассказываете, очень интересно. Очень...

Чен отхлебнул из своей чашки несколько глотков и, порывшись на книжной полке, достал оттуда том Пушкина. Он долго перелистывал книгу и, наконец, остановившись на одной странице, сказал:

— Вот, хотите послушать? «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»... Это я вам тоже рассказываю дела давно минувших дней... Сюй Цзюй-ян не единственный китайский патриот, который в те годы вёл большую и опасную работу. Здесь в Дальнем двое моих друзей много в те годы помогли Сюю. Вы их, конечно, знаете. Они работают на вашем заводе. Это — Чен-Син и Ван Чи-фу.

— Конечно, знаю. — подтвердил Кедров. — Не только по работе, но и вообще... Я с ними в дружеских отношениях.

— Хорошие товарищи, — помолчав, задумчиво сказал Чен. — У Ван Чи-фу я останавливался, когда проезжал через Дальний. У Чен-Сина были свои верные люди в порту и на железной дороге. Он переоправлял Сюю всё, что мы ему посыпали...

— Ну, а Сюй? — спросил опять Кедров. — Он женился на дочери Чжоу?

— Нет, — улыбаясь отвечал Чен. — Зачем? У Сюя уже была жена, тоже коммунистка. В то время, когда Сюй жил в Харбине, она была на партийной работе в Среднем Китае. Сейчас они живут вместе. У них уже трое детей. Когда Сюй полностью организовал работу партизанского штаба, он честно и откровенно рассказал всё Чжу-Лян. Она была умная девушка, и — поняла...

## 57. «ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ»

Уже давно уехали в Союз Шаврины, Софроновы. Николай Семёнович устроился на один из ленинградских заводов. Софронов тоже демобилизовался и писал из Кировской области, где он теперь работал в школе.

В своих письмах друзья подбадривали Кедровых, выражая надежду на скорую встречу с ними в Союзе.

Однако вопрос о выезде на родину затягивался. Получив отказ на первое ходатайство о визе, Кедровы подали заявление вторично, и теперь с нетерпением ждали ответа.

А пока — проходили месяцы в кипучей работе на заводе, в заводской самодеятельности. Сам Кедров работал ещё, кроме того, в молодёжном журнале «Красное Знамя» и в драматическом коллективе общества советских граждан.

Однажды Оля задала папе с мамой задачу.

Таня шила дочке синюю юбку и белую кофточку «матроску». Кедров уже неделю искал по городу настоящий матросский ремень с настоящей матросской бляхой.

— Ну зачем тебе, Оля, такой ремень? — удивился он, когда получил задание. — Разве девочки носят ремни?

Оля подняла на отца свои большие, опущенные длинными ресницами глаза, в которых, казалось, потонула вся прозрачная синева безоблачного неба ласковой дальнинской осени:

— Другие девочки не носят, а мореходы носят. Нам Слава сказал, чтобы у всех были такие ремни.

— Какие мореходы? Какой там ещё Слава?

Оказалось, что в школе, где училась Оля, при пионерской дружине организовался кружок мореходов.

— Морской отряд имени адмирала Макарова, — с серьёзной важностью произнесла Оля название кружка. — А Слава — наш командир. Он в девятом классе учится.

Наступил, наконец, день, когда Оля ушла в школу в матроске, подпоясанная настоящим матросским ремнём с настоящей матросской бляхой.

А ещё через неделю...

— Папа, — подсаживаясь к Кедрову, заговорила Оля, — ты можешь написать для нас марш мореходов? Надо только слова, а мотив мы сами подберём. Только, чтобы там указано было, что мы макаровцы... Имени адмирала Макарова. Мне Слава сказал, чтобы я тебя попросила. У тебя стихи быстро получаются.

— Опять Слава! Давай-ка, расскажи толком — кто он такой, этот Слава ваш. Как его фамилия?

— Савицкий. Он в девятом классе учится, я уже тебе говорила...

— Савицкий... Слава...

Кедров припомнил такого мальчика. Хотя, нет... Тот Савицкий, конечно, другой. Он перешёл в девятый класс в сорок пятом году, и теперь ему примерно... примерно года двадцать два.

Через несколько дней Кедров написал «Марш мореходов», и Оля, прочитав его, выразила своё одобрение.

— Молодец, папа! Как ты это так можешь? И припев как раз подходящий.

Как-то, накануне выходного, Оля предупредила:

— Завтра наши мореходы в поход идут. На гору «Самсон». Слава сказал — через бухту на катере пойдём.

— Не пойдём, а поедем, — поправила Таня.

Но Оля была уже настоящим мореходом.

— Это по суще ездят, — возразила она. — А моряки по морю ходят — на катерах, на пароходах. Через бухту пойдём на катере, а потом пешком до самой вершины горы. Домой только к вечеру.

Утром Кедровы пошли в школу проводить Олю в поход.

Перед школой уже строились мальчики и девочки в матросской форме.

Перед фронтом — молодой человек, высокого роста, широкий в плечах, в морской фуражке.

— Командир, — решил Кедров. — Слава, как называет его Оля.

— Равня-яйсь! Смирно! — басовито скомандовал Слава. — Отделённые командиры, проверить людей по списку.

Пока выполнялось это приказание, Слава, заметив Кедрова, подошёл к нему:

— Здравствуйте, Николай Георгиевич! Спасибо вам за «Марш мореходов». В походах мы уже его поём. Да вы что, кажется, не узнаёте меня. Помните, я в гимназии в баскетбольной команде играл.

— Подожди... — удивлённо вскрикнул Кедров. — Ну, конечно же, ты тот самый Слава Савицкий... Но почему Оля мне говорила, что командир мореходов — ученик девятого класса.

— Это тоже правильно, — улыбнулся Савицкий. — Я сейчас учусь в девятом классе.

И Савицкий вкратце рассказал о себе.

Когда в Дальний вошли советские войска, Слава, владевший в совершенстве китайским языком, забыл о школе и взялся за работу переводчика. Вернуться в школу не пришлось. Заболела мать — надо было работать. В пятидесятом году женился, родилась дочь. И вот только нынче представилась возможность учиться. Работа удобная — ночным диспетчером в порту. Вечерних школ в Дальнем нет, и его, в виде исключения, приняли в общую школу. Активно работая в отделе молодёжи, он в помощь школьной пионерской организации создал отряд мореходов.

— Ребятки ничего... Как надо, — говорил он Кедрову, любовно посматривая на стройные ряды мореходов.

Ребятки были, действительно, «как надо». Об этом рассказывал Кедрову директор школы.

— Савицкий, — говорил он, — так сумел увлечь ребят, что дисциплина у нас в школе стала идеальная. Настоящая военная. Во-первых, — мореходы все успевающие. За случайные двойки Савицкий их так прорабатывает, что они уходят от него, как из бани. За лень, за хулиганство — немедленное исключение из отряда мореходов. А это самое для них страшное. Мореходы дежурят по школе. Это также гарантия полного порядка.

Мореходы организовали школьный радиоузел. У них своя столярная мастерская, где они сейчас ремонтируют две парусные лодки.

О походе на гору «Самсон» Оля рассказывала не меньше недели. А когда мореходы сходили в море на пароходе «Ташкент», который после ремонта на заводе «Дальдок», выйдя на ходовые испытания, взял с собой мореходный отряд, — восторженным рассказом Оли не было конца.

Она даже заявила:

— Если не буду пианисткой, то обязательно поступлю матросом на пароход.

В квартире Кедровых, — особенно, когда приходили Олины подруги, — звонко летали необычные слова: гюйс, тельняшка, кок, камбуз, румб, компас (при этом девочки произносили это слово по-морскому, подчёркнуто делая ударение на букве «а»).

Летом мореходы все дни проводили у моря. Учились грести, ходить под парусом.

Развивая в детях любовь к родине, к её героям, Слава Савицкий не был единственным в своём патриотическом порыве.

Кедров близко знал русскую дальнинскую молодёжь. Его связывали с ней работа в молодёжном журнале, репетиции и спектакли драматического коллектива.

Имея до сорока пятого года отметку в своих паспортах «российский эмигрант», эти юноши и девушки, собственно говоря, никогда не были эмигрантами. Они не бежали из России, а были или в детском возрасте увезены в Китай родителями, или родились в Китае.

Это была та молодая поросль, которая тянулась своими свежими листьями к солнцу родины.

При обществе советских граждан они организовали отдел молодёжи, сокращённо — отмол. Взяв за основу комсомольский устав, отмольцы будили к новой жизни старшее поколение, увлекая его за собой на производстве, в общественной работе, в учёбе. Даже — в учёбе: русские рабочие и служащие во всех организациях усердно штудировали историю и конституцию СССР, историю партии, прорабатывали все очередные мероприятия правительства Советского Союза и решения ЦК Коммунистической партии.

Оба поколения — старшее и младшее — осаждали консульство просьбами о визах на выезд в Союз. Старшее поколение рвалось на родину работать, младшее — работать и учиться.

— Только бы мне переехать границу, сразу же поступлю в литературный институт, — часто делилась с Кедровым своими мечтами молодая стройная блондинка Лена Кириллова, редактор молодёжного журнала «Красное Знамя».

— А как с визой, Лена?

— Ой, не спрашивайте, Николай Георгиевич, плохо. На сегодняшний день никаких результатов. Первый раз получила отказ. Подала вторично — ответа пока нет.

У Кедровых с визой было ещё хуже — на повторное ходатайство ими недавно был получен тоже отказ.

У Дружинина и Пономарёвых хлопоты о выезде на родину были также неудачны.

Новый год все они встречали вместе, у Кедровых.

— За исполнение наших желаний! — поднял бокал Кедров. — Чтобы следующий Новый год нам встречать на родной земле!..

Зазвенели бокалы:

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

Дружинин вздохнул:

— Пить-то мы пьём... За новое счастье. А вот — улыбнётся ли оно нам?.. Я уж, признаться, и надеяться перестал.

— Оно уже улыбается, — заметил Пономарёв. — Но вот только, как сказочная Синяя Птица, в руки не даётся.

— Дастся! — уверенно проговорил Кедров. — Правда, есть ещё среди наших такие, которые говорят, что мы, бывшие эмигранты — пасынки у Советской власти. Кате-

горически простестую против этого. Вот, например, вы знаете, как хоронили Едренову?

— А кто это такая?

— Старушка здесь была одна. В прошлом — участница обороны Порт-Артура. Была там сестрой милосердия, заслужила георгиевский крест. Когда Советские войска вошли в Дальний, ей сразу же назначили пожизненную пенсию. А когда умерла, — Советское командование похоронило её с воинскими почестями, как героя. Гроб с её останками перевезли на орудийном лафете из Дальнего в Порт-Артур и там похоронили на русском военном кладбище.

— Это не пример и не аргумент, — возразил Пономарёв. — Твоя старушка — герой. Ей это по заслугам. А мы кто? Думаешь, и нам воинские почести будут оказаны?

— Я хочу сказать не о почестях, а о том, что и мы не пасынки, — стоял на своём Кедров.

— А почему же нас в Союз непускают?

— Почему?.. Подождите, друзья, — вы знаете, что такие ходовые испытания?

— Это когда судно после ремонта уходит в море для проверки всех механизмов.

— Правильно. А не кажется ли вам, что и мы все, бывшие эмигранты, теперь — молодые советские граждане, так же сейчас проходим эти самые ходовые испытания?

— То есть, как так?

— А очень просто, — увлекаясь пришедшей ему в голову мыслью, оживленно продолжал Кедров. — Все наши мозговые механизмы тоже проверяются, испытываются в нашем труде. И если эти испытания дадут положительные результаты, то-есть, если мы окажемся действительно настоящими советскими гражданами, — поедем в Союз. В этом я уверен. Вот Миша печалится, что нам долго не дают визу в Союз. А вы, друзья, не учитываете, что мы до сорок пятого года почти четверть века по чужим морям плавали. Значит, ремонт нам нужен капитальнейший. Да и ходовые испытания для нас не такая простая штука. На лбу у каждого не написано — в порядке ли все его механизмы, можно ли выпустить его в дальнее плавание с курсом на родину. Вот вы над чем задумайтесь!

— Подожди, Николай! — горячо заговорил Пономарёв. — Всё, что ты сказал, это, конечно, правильно. Но...

не вполне. Не вполне, понимаешь... Ты всех стрижёшь под одну гребёнку... Обобщаешь. А это неправильно...

— Почему?

— А потому, что ты забываешь о молодёжи. Ну, мы... Мы другое дело. Все мы в своё время были в белой армии. Вольно ли, невольно ли, — это не имеет значения. В глазах советской власти мы бывшие белобандиты, и проверить нас безусловно надо. Это логично, и против этого ничего не скажешь. А вот молодёжь... Помню, в Харбине... Это было сразу же после начала войны Германии с Советским Союзом. Тогда сотни наших русских ребят кинулись в Советское консульство, рвали свои эмигрантские паспорта и просили отправить их добровольцами на фронт. Правда, из этого ничего не вышло, но... Но разве это не патриотический порыв?

— Порыв? — заметил Дружинин. — Я бы не назвал это порывом.

— Как? А что же это по-твоему? — ещё больше загорячился Пономарёв.

— Подожди, не кипятись, — остановил его Дружинин. — Ты говорил — мы слушали. Теперь ты помолчи. Гы сказал — порыв. Это слишком слабо. Что такое порыв? Это что-то мимолётное, может быть, даже случайное. А здесь настроения более глубокие, прочные. Я тоже знаю такую молодёжь. Русский дух из неё никакими курсами японского языка не вышибешь.

— Но вы, братцы, забываете про другую часть молодёжи, которая добровольно работала на японцев, — попытался возразить Кедров. — Фашисты, карательные полицейские отряды...

— Подожди, Коля... Дай я ещё расскажу, — перебил его Пономарёв. — Помню в Северо-Маньчжурском институте... Это было, когда немцы рвались к Москве. В аудиторию вошёл профессор Маракулин. Ты, Николай, должен хорошо знать его по Харбину.

— Василий... Василий... — припомнил Кедров. — А вот отчество забыл. В общем знаю. Пожилой, грузный такой. Старый юрист.

— Да, да... Входит он в аудиторию. Смотрят студенты — профессор чем-то расстроен. Вид какой-то пришибленный. Поднялся на кафедру, облокотился, обвёл всех глазами и говорит... Вы меня, говорит, коллеги, извините, но... читать сегодня лекцию я не могу... Не в силах. Вы

знаете, что делается у нас на родине? Враг рвётся к сердцу России, к нашей матушке-Москве. Пусть мы эмигранты, но ведь мы русские люди... И трагедия наша в том, что мы бессильны помочь нашей родине, встать на её защиту... А ведь это наш священный долг... Долг каждого русского человека...

Что тут, братцы, началось, если бы вы знали... Студенты сорвались со своих мест, кинулись к профессору, подняли его на руки, начали качать... В коридор из аудиторий неслась восторженные крики: «Ура профессору!». Мне об этом одна студентка рассказывала, Вера Филатова. Она же тогда написала прекрасное четверостишье, которое затем повторял весь институт. Замечательные стихи! К сожалению, они остались анонимными. Из понятной предосторожности Вера под ними не расписалась.

И Миша вдохновенно продекламировал:

Пусть идём мы по жизни дорогами узкими,  
Пусть нас душат японцы, пусть трудно дышать...  
Всё равно навсегда мы останемся русскими,  
За родную страну мы пойдём умирать...

— Стихи, как таковые, конечно, не замечательные, и весьма примитивные, — проговорил Кедров, — но смысл их, действительно, замечательный. Глубокий смысл — «Всё равно навсегда мы останемся русскими»... В этих словах девушки — крик её души наболевшей... Всё равно мы останемся русскими...

— Подождите, братцы, это ещё не всё, — продолжал Миша.— У этой девушки был жених Володя Коновалов. Я тоже знал этого паренька. Он работал автослесарем в каком-то гараже... Ну так вот, этот паренёк тоже ходил в Советское консульство, просился добровольцем на фронт. И его потом вместе с другими зацепали за это японские жандармы. Били, пытали — парень всё терпел. Но когда жандарм плонул ему в лицо, Володя не выдержал. Рванулся, да как смажет жандарма по уху... Как полагается, по-русски. Японат кубарем отлетел в другой конец комнаты. Остальные накинулись на Володю и измочалили его так, что живого места не оставили, голову проломили рукояткой пистолета. Беднягу замертью стащили в подвал. Это, может быть, его и спасло. Полуживого его освободили и передали родственникам. Отлежался, ничего... Потом они с Верой поженились... Мы с

Надеждой Викторовной на свадьбе были. Недавно письмо от них получили. Тоже спят и видят, как бы поскорее в Союз уехать. У них уже двое ребятишек.

— Всё это показательно, — подливая друзьям вина, заговорил Кедров, — но, согласитесь, что ведь не все такие были. Разве мало было из числа молодёжи японских прислужников.

— Были и такие, — согласился Миша. — Вот хотя бы история с профессором Маракулиным. На следующий день после своего выступления в институте профессор был арестован японской жандармерией. Среди студентов нашёлся мерзавец, который донёс об этом. На свободу профессор не вышел. Японцы привили ему сыпняк.

— Ну вот видишь, — потрепал Мишу по плечу Дружинин. — Сам договорился. Выходит, что Николай прав. Ходовые испытания для всех нужны, в том числе и для молодёжи. А то приедем в Союз — такая паршивая овца репутацию всего нашего стада испортит.

Пономарёв шутливо поднял руки:

— Сдаюсь, сдаюсь... Большинство ваше. Но всё же я...

— Преняя закойчены! — постучала Таня вилкой по тарелке. — Предлагаю — петь!

— Не разбудим? — кивнула Клавдия Андреевна в сторону Олинской комнаты.

— Что вы! — успокоила её Таня. — Её теперь никакими пушками не разбудишь. Я заходила к ней: она зарылась в подушку и так сладко похрапывает. Напрыгала сегодня в школе на пионерской ёлке. Коля, бросай свою сигарету, садись за пианино!..

## 58. ФРИДМАН СФОТОГРАФИРОВАЛСЯ ЛЁЖА

Надо отдать должное Александре Антоновне — цыганские романсы она пела прекрасно. Играя своим грудным контральто, она вкладывала в эти напевы, казалось, всю свою душу, которая, просуществовав в её чувственном теле лет пятьдесят, всё ещё продолжала настойчиво целяться за жизнь. Её тёмно-каштановые волосы в молодости, к сорока годам сделались вдруг чёрными, как смоль, и продолжали затем всё время сохранять этот цвет. Правда, если бы Александра Антоновна перестала следить за своими волосами, то через некоторое время они были бы

совершенно седыми. Но... седая голова была не в интересах Александры Антоновны, которая всё ещё никак не могла смириться с тем, что молодость её давно уже прошла и притом — безвозвратно.

К тому же седина не оправдывала бы кажущуюся моложавость лица. А своему лицу она уделяла каждое утро не мало времени. При помощи компрессов, массажей, различных втираний, а, главным образом, ретуши и красок, лицо Александры Антоновны всегда выглядело завидно свежим. И только предательские морщинки около глаз выдавали если не старческий, то, во всяком случае, бальзаковский возраст этой почтенной дамы.

Свою жизнь Александра Антоновна прожила бурно.

Появившийся в Забайкалье атаман Семёнов часто в 1918 году наезжал со своей свитой в Харбин, и тогда владелец харбинского шантана «Чёрная кошка» подсчитывал хорошие барыши: семёновцы бесшабашно кутили, щедро расплачиваясь золотом.

В шантане атаману приглянулась цыганка Маша, а бывшему с ним генералу Верига — шансонетка Сандрा, она же по паспорту Александра Антоновна Миронова.

«Атаманша» и «генеральша» собирались недолго и через несколько дней укатили со своими покровителями в Читу.

Через год генерал Верига был убит, и Александра Антонова сразу же оперлась своей холёной ручкой на другой генеральский погон — семёновского генерала Власьевского — и опиралась на него до тех пор, пока Власьевского не разыскала его законная жена.

Кедровы познакомились с Александрой Антоновной в Дальнем в начале сороковых годов. К этому времени она успела сменить не мало кабаре и шантанов. Сменила она не мало и мужей — сколько, она и сама не помнила, и в год знакомства её с Кедровым нашла себе тихую пристань под опекой последнего мужа, пожилого пианиста Гутмана — музыканта дальнинского дансинга «Пироке».

Но и на этот раз счастье Александры Антоновны было недолговечно. За несколько месяцев до начала войны в Дальний зашёл американский корабль.

В «Пироке» зазвенели американские доллары. Марину кутили шумно. Около полуночи в «Пироке» зашла группа пьяных японских моряков.

Лышать одним воздухом с цветными --- этого амери-

канские моряки не смогли перенести. Они предложили японцам убираться вон.

Началась перебранка, подвыпившие японцы не уступали: как-никак но в Дальнем хозяева они.

Схватились за бутылки. Гутман, владевший английским языком, выбежал из оркестра в зал и попытался успокоить разбушевавшихся американских парней. Удар бутылкой пришёлся ему в висок, и... Александра Антоновна овдовела.

После войны она года на два потерялась из виду. Только уже работая в «Дальдоке», Таня случайно встретила её в магазине, из приличия дала свой адрес и просила «как-нибудь заходить».

Эта встреча давно уже забылась, как вдруг однажды в передней послышался голос Александры Антоновны:

— Здесь что ли Кедровы живут? Правильно попала? Здравствуйте, встречайте гостью.

Не ожидая приглашения, она устало опустилась в кресло:

— Уф! Еле забралась к вам. Как в скворечнике живёте. Пока поднялась по лестнице — без ног осталась...

А когда отышалась, заговорила снова:

— В городе-то что творится — ужас! С ума народ спятил... Куда ни пойдёшь, только и слышишь — товарищ, товарищ... Тьфу, прости господи. Тридцать пять лет спокойно прожили. Думали навек от большевиков избавились. А тут — на, тебе... Как снег на голову свалились...

— Вот и хорошо, — проговорил Кедров. — По крайней мере, начинаем теперь жить по-настоящему...

— Хорошо... Хорошо... — вспылила Александра Антоновна. — Дурак ты, вот что я тебе скажу! — Она всем говорила «ты» и подчас бывала грубовата, но эта грубость как-то шла к ней и никого не обижала. — Может, ещё в совдепию поедешь? Поезжай, поезжай!.. Там тебя давно ждут... Казённую квартиру подготовили, с решётками...

Наступившее неловкое молчание сгладила Таня, прислав к столу.

После чая опять перешли в гостиную.

— Это кто у вас играет? — кивнула Александра Антоновна на пианино.

— Оля и папка немного, — ответила Таня. — Оля в музыкальной школе учится, а папка так, любительски бренчит

— А ну-ка, сыграй! — обернулась Александра Антоновна к Кедрову.

— Что вы! Какой я музыкант. Так, халтурщик. Вот, аккомпанировать, если хотите, могу. Спойте, а? Помнится, я вас в русском клубе слышал... Вы там цыганские романсы пели.

Упрашивать долго Александру Антоновну не пришлось.

— «Очи чёрные» знаешь?

— Вообще-то слышал... — И Кедров быстро подобрал аккомпанемент.

Густым, сочным контральто Александра Антоновна запела с цыганским надрывом:

Очи чёрные, очи страстные,  
Очи жгучие и прекрасные.  
Как люблю я вас, как боюсь я вас,  
Знать увидел вас я не в добрый час.

И после отыгрыша, опять:

Скатерть вся кругом залита вином.  
Все гусары спят непробудным сном.  
Лишь один не спит — пьёт шампанское,  
За контральто пьёт, за цыганское.

— Вот, видал, как люди раньше жили? — кончив петь, говорила Кедрову Александра Антоновна. — Гусары, вино, шампанское, любовь, веселье!.. А теперь что?.. Утром — на работу, вечером — домой. Мёртвая скука. Никакой радости в жизни нет...

— Да, но... не все же так развлекались, — пытался осторожно протестовать Кедров.

— Все, решительно все! Все порядочные люди умели брать от жизни всё, — отрезала Александра Антоновна. — Я-то вот успела пожить. А моя Люся?.. Что она красивого видела в жизни? И не увидит, если мы отсюда не уедем.

Люся — это дочь Александры Антоновны от самого первого мужа. Ей уже за тридцать. Возраст, когда девушка становится ярко выраженным перестарком и категорически заявляет, что она ненавидит мужчин и никогда и ни за что не выйдет замуж, но на самом деле с радостью готова отдать свою руку и сердце любому, кому придёт в голову мысль сделать ей это предложение.

Люся — неудачница в жизни. Когда она жила в Тяньцзине, у неё был там жених — американский моряк. Он

развлекал Люсю в тяньцзинских барах и развлекался с ней сам. Но пришло время — американский корабль покинул тяньцзинский порт. Вместе с ним покинул порт и Люсю её жених, увезя с собой её мечты о скорой свадьбе, об Америке.

Для американского моряка Люся была Pretty Russian girl не больше. Такие Pretty girls были у него повсюду, куда заходил его корабль. Как у каждого уважающего себя американского моряка — по девушке в каждом порту.

Это не мешало, однако, Люсиному жениху аккуратно писать письма в Сан-Франциско своей любимой Китти и передавать нежные отцовские поцелуи двум карапузам Бобу и Сэму.

Люся приехала из Тяньцзина в Дальний, к матери. О Джонни мечту она оставила, но об Америке — нет. В конце концов, не все же американцы такие, как Джонни? Но у всех у них есть доллары, которыми, она видела, сорили в тяньцзинских барах Джонни и его друзья и которые частенько перепадали из карманов Джонни в её шёлковую сумочку с расшитыми на ней бисером пекинскими пагодами.

А пока... Пока Люся устроилась на работу в управление дальнинского порта и всегда с негодованием поднимала свои тонко выщипанные, накрашенные брови, когда простые, бесхитростные парни — советские моряки — обращались к ней, дружески называя её:

— Девушка.

— Безобразие! — возмущённо жаловалась она матери.

— Что за фамильярность! Какие некультурные люди!..

Когда Александра Антоновна рассказала об этих случаях, Кедров искренне рассмеялся.

— Что ржёшь? — накинулась на него Александра Антоновна. — Что ржёшь, спрашиваю, как лошадь? Что же, по-твоему, это культурное обращение — «девушка»? Тыфу, прости господи! Ко мне тоже разлетелся недавно на улице какой-то оголтелый лейтенант... Не скажете ли, говорит, мамаша, как тут пройти на почту. Как это тебе нравится — мамаша! А? Ну, я его, конечно, сразу обрезала: ты, говорю, мил человек, может старушкой меня

---

<sup>1</sup> Pretty Russian girl (по-английски) — Милая русская девушка.

назовёшь? Не дошло до него! Извините, говорит, бабушка, не рассмотрел я, что вы в преклонных годах. Какова наглость! Ну, уж тут я ему отпела! Так отпела, что отскочил от меня, как ошпаренный!

— Отскочишь, пожалуй,—согласился Кедров.—Воображаю, как вы его... Не хотел бы я быть на месте этого лейтенантика.

Александра Антоновна решительно тряхнула головой:

— И не советую. Не переношу грубиянов.

В разговор вмешалась Таня:

— Но где же здесь грубость, я не понимаю.

— Молода ещё, поэтому и не понимаешь,—отрезала Александра Антоновна.— А я, мать моя, жизнь прожила. Научилась в людях разбираться... Если где сейчас и осталась ещё культурные люди, так это только за границей.

— В Америке?— не выдержав, насмешливо спросил Кедров.

Но Александра Антоновна не почувствовала насмешки, подтвердила:

— Хотя бы!.. В Америке, в Австралии, где угодно — только не здесь.

Александра Антоновна засиделась до позднего вечера, и Кедрову пришлось провожать её до трамвая.

— Чего это она к нам разлетелась?— вернувшись, спросил он Таню.— Откровенно говоря, мне она не нравится.

— Кажется, это я её пригласила,—вспомнила Таня.— С месяц назад встретила. Разговорились, и я дала ей наш адрес. Будем надеяться, что больше не придёт.

Тянулись за океан не только Александра Антоновна с дочерью. Влекло туда и других русских дальнинцев. Всех тех, кто осенью 45-го года с затайной надеждой поглядывал на стоявшие в дальнинском порту американские миноносцы, а затем, когда на рейде миноносцев уже не было, опасливо брали советские паспорта, тревожно задавая себе вопрос: неужели придётся ехать в Советский Союз?..

В 53-м году Китайские власти начали давать разрешение на выезд за границу. Советское генеральное консульство беспрепятственно снимало с учёта всех этих перелётных птиц.

Первыми замахали крыльями, чтобы улететь за океан, коммерсанты, любовно нащупывающие в своих карманах чековые книжки на крупные вклады в американских бан-

ках. Америка сулила им возможность продолжать накапливать если не рубль на рубль, то копеечку на копеечку—обязательно.

Другим «перелётным птицам», у которых не было чековых книжек, помогало взмахнуть крыльями американское правительство. В Гонконге объявился американский представитель, который через своих агентов в городах Китая сулил золотые горы в Америке, а в первую очередь—бесплатный проезд за океан во втором классе на комфортабельном пароходе.

Из трёх тысяч русских дальнинцев человек сто клюнуло на эту закинутую американцами удочку.

— Безобразие!— возмущался Дружинин всякий раз, как только узнавал об очередном отъезде за океан.— Не набегались ёщё! Пора бы, кажется, одуматься.

— А ты не горячись,— успокаивал его Кедров.— От таких в России всё равно толку не будет. Это, понимаешь, мякина. Когда на току пшеницу веют, зерно остаётся, а мякина летит по ветру. Но про родное гумно они ещё вспомнят.

Кедров не ошибся. Про родное гумно вновь испечённые американцы вспомнили. И очень скоро.

Кедрову представлялись случаи знакомиться с письмами из-за океана.

Эти письма ничем не отличались от тех, в которых когда-то уехавший в Америку Мунгалов писал Кедрову о безотрадном положении русской молодёжи, превратившейся за океаном в «белых негров». За тридцать лет в стране доллара ничего не изменилось.

«Я никак даже и не мечтала так жить, как я живу сейчас,—двусмысленно писала из Америки своим дальнинским друзьям опытная фельдшерица-акушерка Романова.— Работаю сейчас судомойкой в ресторане. Зарплаты хватает не только на комнату, но даже на стол».

Работавшая в управлении дальнинского порта бухгалтером, Дудкина в Америке тоже... «хорошо устроилась»...

«Устроилась я прекрасно,— писала она в Дальний.— Работа у меня такая же интересная, как у нашей общей знакомой Анфисы Павловны...» Эта «общая знакомая» работала в Дальнем в детяслях прачкой.

Не было писем только от капитана артиллерии Яголовского. Он уехал за океан и ничего не писал. По-видимому, тоже похвастаться было нечем.

Зато много разговоров вызвало письмо Додика Фридмана. Кедров по работе на заводе хорошо знал этого энергичного молодого человека, активного работника по молодёжной линии, члена заводского комитета.

Фридман рвался в Союз, но мать утянула его в другую сторону.

Уезжая в Америку, Фридман тепло попрощался со своими товарищами и предупредил:

— Я пошлю фотографию. Если сфотографируюсь стоя, значит живу хорошо. Если сидя — плохо...

Месяца через четыре на заводе ходила по рукам фотография Додика, присланная уже из Америки. Он сфотографировался, лёжа!

## 59. ЛЕС ЗАЗЕЛЕНЕЛ

Александра Антоновна с Люсей в Америку не уехали. Опоздали. Задержала их продажа обстановки. Пока Александра Антоновна торговалась с покупателями, которые не хотели давать ей цену, какую она хотела, китайские власти прекратили выдачу разрешений на выезд за границу.

Люся нервничала и осыпала мать упрёками:

— Из-за тебя всё, из-за тебя. Пожадничала — вот и остались у разбитого корыта... Ну что теперь делать?..

Что теперь делать? Александра Антоновна и сама не знала. Растерялась. На ту сторону дорога закрылась... А здесь?.. Здесь после 45-го года всё сделалось для неё чуждым. Здесь она не находила теперь своей красоты жизни.

Зайдя как-то к Кедровым, Александра Антоновна соловала:

— Упустила! Какой счастливый случай упустила! Главное проезд бесплатный и с полным комфортом. А уж там-то бы моя Люся устроилась.

— Работать?

— Не работать, а замуж. Порядочные девушки не работают.

— Выдайте её замуж здесь, — советовал Кедров.

— Здесь? За кого?

— Ну. Мало ли... Найдётся хороший человек...

— Нет здесь для Люси подходящего мужа, — сердито

замахала рукой Александра Антоновна.— Одни голоштанники. А выйти замуж для того, чтобы работать,— благодарю покорно.

— Подождите, Александра Антоновна,— возражал Кедров.— Я вот, нельзя сказать, чтобы был голоштанник. Одет, обут. Зарабатываю достаточно — семью прокормить могу. Тем не менее, моя Таня работает. А в Союзе, по вашему, тоже голоштанники живут? А ведь там все женщины работают...

— Мне твой Союз не в пример,— не сдавалась Александра Антоновна.— Да я и знать его не хочу...

Кедровых с первого посещения Александры Антоновны раздражала её неприязнь ко всему советскому. У обоих мелькала мысль — не перестать ли её принимать? Однако, сделать это было как-то неудобно. И вот однажды, то, на что никак не могли решиться ни Кедров, ни Таня, сделала Оля.

На этот раз, когда пришла Александра Антоновна, Оля сидела за книгой в гостиной.

Александра Антоновна оживлённо рассказывала о том, как её хорошие знакомые недавно уехали из Шанхая в Бразилию.

— У них два сына,—рассказывала она,—один в Бразилии, а другой в Советском Союзе. От обоих они почти одновременно получили вызов. Конечно, предпочли ехать в Бразилию. Не дураки же они ехать в Союз.

Оля резко захлопнула книгу и в неожиданно наступившей от этого тишине срывающимся голосом заговорила:

— Почему вы думаете... что в Союзе дураки живут?..

— Оля, что ты говоришь?— попытался остановить её Кедров.

Но Оля не остановилась. Нервно теребя концы пионерского галстука, она говорила:

— Да, да... Тётя Саша всегда ругает всех советских... Если ей не нравятся советские, то почему она к нам ходит...

— Оля!..—укоризненно строго проговорил опять Кедров.

Резко поднявшись с кресла, Оля быстро вышла из гостиной.

Поймав взгляд мужа, Таня понимающе кивнула головой и пошла в Оlinу комнату.

Оля лежала на кровати, уткнувшись головой в подушку.

— Оля! — потрясла её за плечо Таня. — Что это значит? Ну-ка, сядь...

— Ничего не значит...

— Как «ничего не значит»?.. Кто так со старшими разговаривает? Почему ты нагрубила тёте Саше?..

— А почему она... — давясь слезами, заговорила Оля... — Почему она всегда так... Всё советское для неё плохо... Не нравится — пусть едет в свою Америку и к нам не ходит...

— Всё равно, во-первых, она тебя старше, а во-вторых, она пришла в гости. Разве можно так с гостями обращаться?

— Не нужны нам такие гости... Пусть не ходит...

Александра Антоновна сидела на этот раз недолго и, сухо попрощавшись с Кедровыми, ушла, отказавшись даже от чая.

— Обиделась! — проводив её, сказала Таня. — Как нехорошо получилось. Не понимаю, что это с Олей. Всегда была такая выдержанная...

— А я, кажется, понимаю, — помолчав, ответил Кедров. — Мы с тобой ещё не вполне отрешились от нашей прежней мягкотелости. А Оля... Она не напрасно носит пионерский галстук. Она уже борется за свою родину... Оля уже по-настоящему, по-советски, любит свою родину, хотя ещё не была на ней и не знает её.

Не только Оля. Все другие школьники не напрасно носили свои пионерские галстуки. Девочки и мальчики — школьные товарищи Оли — часто собирались в квартире Кедровых. Тогда в Олиной комнате и в гостиной звонкие детские голоса сливались в общий оживлённый гам. Чтобы не мешать ребятам, Кедров уходил с книгой в столовую и оттуда его ухо улавливало отдельные фразы из шумных ребячих разговоров:

— Вопрос о Мите Ягунове надо поднять на соборе отряда. Эта «обезьяна» каждый раз своими выходками срывает уроки...

— Наталья Михайловна проверяла доклад Ларисы к дню Советской армии. Говорит, — очень хорошо написан!

— Папа с мамой вчера опять ходили в консульство хлопотать о выезде в Союз...

— Я вот ещё подрасту немножко и убегу. Переиду где-нибудь границу — и всё. Обратно не отправят.

Кедров сидел, облокотившись на стол, забыв о раскрытой книге.

Да... Дети теперь — другие... Интересы у них тоже не те, что прежде, когда Кедров был в их возрасте... Сколько сейчас Оле? Нет ещё полных тринацати... Но она не будет гадать, «в какую партию записаться?», как это делал в Енисейске учитель Евтеев в первые дни революции. И не будет мучительно искать «правду жизни», как это долгие годы делал он, Кедров... У неё так же, как и у всех этих ребят, твёрдо сложился взгляд на жизнь. Даже — убеждения.

— Убегу... Переиду где-нибудь границу — и всё... — повторил Кедров услышанную им фразу... — Да... Такой убежит. Да и все они... Молодая поросль бурно потянулась к солнцу родины...

Уверенно зазеленели молодыми побегами и поваленные деревья российского бурелома, те, корни которых цеплялись за родную землю.

Когда Кедрову случалось проходить через сквер на площади около гостиницы «Интурист», он часто встречал там винодела Шарояна и другого старика — Тонкина. Кедров подсаживался к ним на скамейку, и разговор начинался обычной фразой:

— Ну как? Скоро домой поедем?

Шароян мечтал:

— Поеду к себе в Армению. Годы ещё не ушли. Мне только шестьдесят пять... Поступлю на винный завод, буду обучать молодёжь, как надо вино делать. Человек двадцать обучу, а там и помирать спокойно можно...

— А я в колхоз, — говорил Тонкин.

— В колхоз? — удивлялся Шароян. — А что ты там будешь делать? Разве сторожем поступишь...

— Сторожем? Нет. На это тоже силёнки у меня не хватит. — И Тонкин мрачно шутил: — Я — на удобрение. Чтобы не без пользы помереть...

Помолчав, он серьёзно заговоривал:

— Я в Маньчжурии с постройки дороги живу. Молодым приехал. А теперь — песок из меня сыплется... Хоть бы помереть-то на родной земле... Воздуха русского глотнуть бы перед смертью...

Глотнуть русского воздуха...

Всякий раз от этих слов Тонкина у Кедрова болезненно сжималось сердце. Правда, он постоянно уверял себя и других:

— Уедем! Все поедем... И, может быть, даже скоро...

Но... не слишком ли, действительно, долго тянутся «ходовые испытания»?..

Дружинины и Пономарёвы тоже явно нервничали. В день рождения Тани Дружинин даже отказался выпить за исполнение желаний:

— Вот за здоровье Татьяны Николаевны не откажусь. Могу даже несколько раз повторить... А за это — нет. Выпью, как полагается, только... когда зашагаю по русской земле.

— О, да ты совсем, как Степан Кузьмич! — засмеялся Кедров.

— Какой Степан Кузьмич? — не понял Дружинин.

— Дружок мой старый. Замечательный человек. Жив ли он? Теперь ему лет за семьдесят... Когда в тридцать пятом году он уезжал на родину, тоже решил: до границы ни-ни... А там, говорит, тяпну, как полагается!.. После сорок первого года потерялся мой Кузьмич. Ни от него, ни от других друзей — ни строчки.

— Может быть и писали, да до тебя эти письма не дошли, — высказал предположение Миша. — Коллекционировались в архивах японской жандармерии. Кто он, этот твой Степан Кузьмич?

— Слесарь железнодорожных мастерских. Я разве о нём не рассказывал?..

— Об этом после ужина, — вмешалась Таня, ставя на стол блюдо с пельменями. — Поговорим сейчас о пельмениях: кому с чем? С бульоном? Со сметаной? С маслом и сухарями? Для любителей есть соя...

После кофе женщины, убрав со стола, увлеклись рассматриванием образцов вышивки: Таня по вечерам училась на курсах художественной вышивки при обществе советских граждан. Мужчины перешли в гостиную.

— Ты хотел рассказать о твоём Степане Кузьмиче, — напомнил Дружинин.

— Ах, да... Это, друзья мои, был первый настоящий человек, которого я встретил в Харбине...

В гостиную давно уже доносились из столовой отрывистые слова:

— Пять кар... Вест... Семь бам... Зелень... Норд...<sup>1</sup>  
Женщины, рассмотрев все образцы вышивки, засели  
за маджан.

А Кедров всё ещё рассказывал о Кузьмиче, перебирая  
в памяти все мелочи своей крепкой дружбы с ним.

На пороге гостиной появилась Таня:

— Товарищи, собирайтесь! Едем в Союз!

— Телеграмму получила? — пошутил Кедров.

— Лучше! Я загадала, что если выиграю первый сэт,  
запишат едем. И вот...

— Обобрала нас, как липок! — перебил Таню голос  
Клавдии Андреевны. — Что ни маджан у неё, то лимит!  
Везёт новорожденной!..

— А накурили-то вы!.. Фу!.. Не прдохнёшь! Ты бы  
хоть, Коля, форточку открыл что ли.

— Это можно! — согласился Кедров. — А ты тем временем  
сообрази нам чайку. После пельменей пить хочется.  
Или, может быть, братцы, пивка выпьем?

— Ну, так что лучше? — выжидательно остановилась  
Таня. — Чай или пиво?

Единогласно решили — пиво.

В столовой опять застучали маджанные косточки.

— Кузьмич, это была моя совесть, — снова заговорил  
Кедров, подливая в стаканы пиво. — Простой, малограмматный  
человек, а ведь скажет, лучше и правильнее не  
придумаешь. Казалось бы, откуда ему знать? Будто нутром  
чувствовал, понимал...

— Чутьём угадывал, — высказал мнение Миша. — Я  
недавно ваш спектакль смотрел, Николай, «На дне». Ты  
там Луку играл.

— Хорошая пьеса, не правда ли?

— Да. Но больше всего произвёл на меня впечатление  
последний акт. Да и на Степана тоже, — кивнул Миша на  
Дружинина. — Мы с ним рядом сидели. Понимаешь, Николай,  
как иной раз отдельные слова могут раскрыть перед тобой всю жизнь — свою, окружающих тебя людей,  
всего народа... Вот барон рассказывает о своём прошлом,  
мечтательно говорит, что у него были «кареты, кареты»...  
А Сатин, как ушат холодной воды на голову: «В карете  
прошлого далеко не уедешь!» Вот она и подведена черта

<sup>1</sup> Название косточек китайской игры маджан.

под всей царской Россией, под былой прогнившей аристократией с её каретами...

— А на меня большое впечатление произвела другая сцена — барона с Настей,— сказал Дружинин.— Кстати, кто их играл? Что-то я забыл.

— Супружеская чета наших художественных руководителей; Павел Алексеевич Дьяков и Елизавета Карповна Марулина. Они оба артисты-профессионалы.

— Это и видно,— проговорил Дружинин.— Барон был хорош. Но Настя... У этой Марулиной, действительно, как говорится, божий дар. Как она сильно провела эту сцену. Ты, говорит, живёшь мной, как червь яблоком!.. Меня захватило всего. Ведь в народе-то все эти бароны и прочая старая знать, — действительно, как червь в яблоке были, народными соками питались тунеядцы-черви...

— Горький непревзойдённый художник слова,— смотря на друзей улыбающимися глазами, сказал Кедров.— Его книги были первыми, которые я купил в эмиграции.

— Во всяком случае насчёт червя в яблоке—это очень образно сказано,— подтвердил Миша.— Вон у нас на заводе как китайцы с такими червями разделяются — красота!

— Это ты о «покаянии» говоришь?—понял Кедров.— Китайцы мудро поступают. Во-первых, покаяние сугубо до бровольное, без всяких следователей. Каждый должен сам написать о всех своих прегрешениях. Сидит такой грешник в отдельной комнате и пишет. Кушать ему приносят, выходить разрешают только по нужде. Вообще — думать и писать ёму никто не мешает. А потом просматривают его покаянную и решают. Да как разумно решают! Помнишь, Миша, как перевоспитали у нас на заводе завфинотделом Тян Ди-ляна? Он при японцах работал бухгалтером и помогал им обсчитывать рабочих. За такие грехи проверочная комиссия решила: быть Тян Ди-ляну год разнорабочим, пускай сам прочувствует, как достаётся рабочему человеку его трудовая копеечка! Отрубили Тян год, теперь опять «завом». И за рабочих — горой стоят!

— Не переживёшь сам — не прочувствуешь,— подтвердил Дружинин.— Червь в яблоке... Ха-ха-ха... Здорово сказано!

## 60. ДЕДУШКА С КОСТЫЛЕМ

Наболевший вопрос об отъезде на родину разрешился для всех русских дальнинцев совершенно неожиданно и гораздо проще, чем они предполагали.

После январского пленума отмол проявил инициативу—написал коллективную просьбу от всех русских дальнинцев в Верховный Совет СССР с просьбой разрешить въезд в Союз на освоение целинных и залежных земель.

В один из таких дней Кедровы, вернувшись с работы, застали у себя Дружинина.

— Я вот здесь с Олей пока что беседую, вас поджидаю,— поздоровался он с ними.— У вас на заводе ничего про отъезд на целину не слышно?

— Вот ты про что!—засмеялся Кедров.— У вас тоже, значит, подписывали заявление в Верховный Совет?

— А у вас?

— И у нас тоже. Все русские подписались, за исключением трёх-четырёх человек. Эти в другую сторону лыжи навастривают...

— И как ты думаешь, Николай, получится что-нибудь из этого заявления? Разрешит Верховный Совет?

Кедров пожал плечами:

— Стопроцентной уверенности у меня нет. Но на девяносто девять и девять десятых процента в положительный ответ я верю.

Зашёл Пономарёв:

— Ну, братцы, едем! Здоровь, Степан!

— Да вот Стёпа, кажется, не особенно в «ехало» верит,— кивнул Кедров на Дружинина.— Сомневается.

— Не то, что сомневаюсь, а просто изверился, что когда-нибудь дома окажусь,—возразил Дружинин.— Кстати, ребятки, мешковину для обшивки багажа и ящики я могу вам устроить с чуринского склада. Не даром, конечно. Не моё собственное. Заплатите там в кассу, что следует по себестоимости...

В эту ночь в русских квартирах четырёхэтажного заводского дома долго светились огни.

Таня с карандашом в руках составляла подробный список—что из вещей везти с собой, что продать, что из одежды купить...

Кедров взглянул на часы и спохватился:

— Таня, ты разве завтра на работу не пойдёшь? Вчера,—сегодня?

— А что?

— Особенного ничего, но уже третий час.

На следующий день Оля, вернувшись из школы, накоротко приготовила уроки и занялась разборкой своего имущества. Извлекла из ящика уже больше года мирно отдыхавших там десятка два кукол и отнесла их соседским китайским девочкам. Под книги и тетради попросила у Кедрова ящик.

— Да куда ты так торопишься, Оля? — успокаивал её Кедров.— Во-первых, пока ещё ничего определённо неизвестно, а, во-вторых, когда будет известно, уложиться ты всегда успеешь...

— Известно, всё известно! — стояла на своём Оля.— У нас все ребята в школе собираются.

Завод работал день и ночь. К маю необходимо было выпустить из ремонта определённую группу судов, а рабочие обязались сделать это досрочно. Во время работы разговаривать было некогда. Но в обеденный перерыв—в заводской столовой, на скамейках перед заводоуправлением, в цехах, отделах русские дальлоковцы оживлённо обсуждали один и тот же вопрос:

— Разрешат или нет?..

Многие хотели верить, что разрешат. Но были и скептики:

— Сколько лет хлопотали о въезде в Союз и—безрезультатно,—говорили они.—Поверим, что уехали, только когда переедем границу.

— Но, позовите,—спорили с ними оптимисты.—Курсы трактористов, которые открылись при обществе советских граждан? А тот факт, что на строительных курсах общества, на бухгалтерских курсах, на курсах кройки, шитья и художественной вышивки программы проходятся сейчас ускоренно, чтобы к маю закончить выпускные экзамены? Разве это вам ничего не говорит?

— Но ведь, из Москвы-то пока ещё ответа нет? О чём же говорить?—стояли на своём скептики.

Но 2-го апреля скептики перестали спорить: Советское консульство объявило предварительную запись желающих ехать на целину.

В Обществе советских граждан, где производилась эта запись, трудно было протолкнуться. Все старались

записаться первыми, считая, что чем раньше запишутся, тем скорее уедут.

В канцелярии Общества Кедровы встретили много знакомых. И у всех—возбуждённо-радостное настроение:

— Едем! Наконец-то!..

Многие так же, как и Кедровы, уже неоднократно возбуждали ходатайство о выезде в Союз, но каждый раз получали отказ.

И вот теперь всё разрешилось так неожиданно и так просто:

— На целину!..

Дружинины приходили записываться вместе с Кедровыми. Пономарёвы запоздали и сходили в Общество граждан только в конце дня: Мишу задержала срочная работа на заводе.

Вечером он зашёл к Кедровым мрачный:

— Придётся нам с Надеждой Викторовной всех провожать. Чуть не последними записались...

В этом году весеннее солнце казалось русским дальнинцам особенно ярким. Весна расцвела цветами светлых надежд и ожиданий.

Казалось, что пышнее и краше одеваются нынче в одежды из бело-снежных и светло-розовых цветов слива, яблони, абрикосы, сакура. Словно душистее стала сирень.

Первое мая. Открытая сцена летнего театра Общества советских граждан украшена красными флагами, первомайскими лозунгами, огромными гирляндами и букетами сирени. В центре—портрет Ленина.

Все места на скамейках перед сценой заняты, но народ всё прибывает.

Председатель Общества открывает торжественное собрание.

— В президиуме консул,—шепчет Кедров Тане.—У меня какое-то предчувствие, что сегодня объянут о выезде...

Такое предчувствие было не у одного Кедрова. Народ рассеянно слушал доклад, речи. Все как будто бы чего-то ждали.

И вот... На трибуну поднялся консул. Все выжидающие затихли.

— Товарищи,—начал консул.—Поздравляя вас с праздником Первого мая, я счастлив сказать что Совет-

ское правительство разрешило вам въезд в Советский Союз на освоение целинных и залежных земель.

Что дальше говорил консул, Кедров не слышал. Громкое, восторженное «ура» заглушило его слова.

На следующий же день в Обществе советских граждан закипела горячая работа—оформлялись документы отезжающих, составлялись списки по группам.

Пономарёвы попали в список первой группы и должны были выехать в первую очередь.

Миша, весело насвистывая, вместе с Кедровым обшивал ящики мешковиной, упаковывал вещи. Помогали друг другу, работая то у Пономарёвых, то у Кедровых. И, конечно, в первую очередь пришлось упаковать Олины книги, все, кроме учебников.

Провожали Пономарёвых первого июня.

Кедровы и Дружинины с трудом протолкнулись к вагону. Провожающие густо заполнили перрон.

— Консул... — подтолкнул Кедров Дружинина, покаявая на плотного человека в шляпе.

Консул поздравил отъезжавших и сердечно пожелал им счастливого пути и успеха в работе на родной земле.

— Ну, Миша... Надежда Викторовна... До свиданья... — расцеловался с Пономарёвыми Кедров. — Я не говорю — прощайте. Увидимся... Дома...

Родители Надежды Викторовны должны были присоединиться к ним в Харбине.

Медленно поплыли мимо вагоны...

— Мишка-то! — вздохнул Дружинин. — Обскакал нас... Записывался чуть не последним, а уехал первым...

До отъезда Кедровых и Дружининих оставался месяц. Они были записаны в одну группу. Отъезд намечался на второе июля.

Оля особенно болезненно переживала этот месяц. Что-бы скорее шло время, она то по несколько дней не обрывала календарных листков и потом ликовала, что после восьмого числа сразу появлялось двенадцатое, то обрывала по несколько листков вперёд, авансом...

В половине июня Кедровым было разрешено уволиться с завода — для сборов. К этому времени вещи, в основном, уже были упакованы, и Кедров имел время проститься со своими друзьями.

Завод устроил отезжающим «чашку чая», на которой долго и сердечно говорил Чен-Син:

— Братья и верные друзья никогда не расстаются навсегда,— говорил он.— Если они даже и временно живут далеко друг от друга, то их сердца и мысли—рядом...

Накануне отъезда Кедров поехал на кладбище. Один. Без Тани. Ему хотелось наедине побыть на могиле сына, поговорить с ним, проститься...

Он поднялся по выложенной в горе лестнице на верхнюю террасу, где под общим памятником лежали рядом дедушка с внуком.

Кедров не замечал, как летели часы. Ушёл из дома до обеда и понял, что пора уходить, когда уже начало смеркаться. Он просидел эти часы неподвижно, подперев голову руками, глотая подступавшие к горлу предательские комки:

— Надо... Надо взять себя в руки... Потерянного не вернёшь... Не вернёшь...

День отъезда с утра прошёл в хлопотах по сдаче багажа.

Посадка—вечером. Назначенных в группу вызывал по списку старший по вагону.

Последние крепкие рукопожатия: старый партизан Чен, Ван Чи-фу, Чен-Син, Лю с его постоянной приветливой, несколько смущённой улыбкой... Рабочие завода, с которыми сроднились Кедровы за долгие годы работы в «Дальдоке». Сколько их, этих крепких, мозолистых рук!..

— В гостях хорошо—дома лучше!—обнимая Кедрова, говорил Чен. — До свиданья... До скорого свиданья... Я тоже очень мечтаю поехать в Москву. До скорого свиданья, Татьяна Николаевна. Оля, не забудешь старика? Будешь мне писать?

Мечтал о поездке в Союз и Лю.

— Я также имею большое желание совершил поездку в Советский Союз,— говорил он, прощаясь с Кедровым.— И, конечно, тогда я буду иметь большое удовольствие опять повидаться с вами...

Сердечные объятья с русскими друзьями—Дьяковым, Марулиной, с супругами Лукович, с командиром мореходов—Славой, остававшейся пока ещё в Дальнем частью русских дальдоковцев — все они ехали в Союз с последующими группами.

Не было среди провожающих только Александры Антоновны с Люсей.

Впрочем, ни Кедров, ни Таня и не надеялись, что они

придут. Незадолго до отъезда Кедров встретил Александру Антоновну на улице.

— Поздравьте! Едем скоро... в Союз! — радостно по здоровался он с ней.

— Ну и дурак! — отрезала Александра Антоновна. — Да и Таня твоя... Тоже из ума выжила. Вы-то оба — чёрт с вами. А вот дочь погубите...

С площадки вагона послышалось:

— Кедровы, Дружинины! Пять мест... Купе номер шесть...

Кедров подхватил чемоданы. В купе поднял окно:

— До свиданья, товарищи! До скорой встречи на родной земле!

Поезд плавно взял с места и стал постепенно набирать скорость.

— От меня... — махал Кедрову рукой Шароян. — Не забудьте поклониться от меня матушке России. Я ещё не скоро... С последней группой...

Когда утряслась сутолока, которая обычно бывает при посадках в вагон, Кедров потрепал Дружинина по плечу:

— Ну, Фома неверный! Веришь теперь, что едем? А?

Дружинин нервно засмеялся счастливым смехом:

— Едем!.. Теперь чувствую, что едем! На родину...

На вагоне — лозунг:

«Упорным трудом оправдаем доверие партии и правительства».

Эти слова не только на лозунге. Они звучали в сердце каждого дальнинца, устраивавшегося теперь в этом вагоне дней на пять — до станции Маньчжурия.

В Маньчжурии был сформирован большой людской состав. Вагоны с дальнинцами, мукденцами, харбинцами, хайларцами. Из всех городов Китая ехали русские, советские люди в свою страну, которую старые покинули молодыми и помнили её, не забыли. А молодые, родившиеся в Китае, никогда её не видели, но знали по литературе, по рассказам отцов и матерей, и любили.

Уехали молодыми. И Кедров уехал молодым, а теперь... Когда он вышел на перрон харбинского вокзала, одна девочка, цепляясь ручонками за юбку матери и показывая на него, сказала:

— Мама, смотри! Дедушка с костылём!..

— Ну что ж, пусть дедушка, — улыбнулся Кедров. — Годы ушли, но силы есть. Лет десяток ещё пора-

ботает дома... для дома, для большого советского дома.

Утром 7-го июля поезд медленно проходил под шлагбаумом пограничного поста. Громкое «ура» прокатилось по вагонам.

По щекам Клавдии Андреевны крупными каплями потекли слёзы.

— Что с вами? Успокойтесь... — дотронулся до её плеча Кедров...

— Въезжаем-то... — всхлипывая проговорила Клавдия Андреевна.—На русскую землю въезжаем... Сколько лет не видели её...

Дружинин потянул Кедрова за рукав и молча указал глазами в сторону женщин. У них у всех повлажнели глаза от радости.

А лица... Кедров скользнул взглядом по всем находившимся в вагоне. Такие лица, такая отражавшаяся на них полнота счастья бывает только у людей, встретившихся с родными, близкими после долгой с ними разлуки.

Позади Кедрова, прижавшись к его плечу, стояла Таня. Он обернулся к ней и, заглянув в её счастливые глаза, смог только проговорить:

— Вот — Россия!

Но разве можно было ещё что-нибудь сказать, когда Кедрову неудержимо в этот момент хотелось плакать, смеяться, петь, обнять всех, кто был с ним в вагоне, обнять этого пограничника, который стоял около шлагбаума и приветливо кричал им: «Здравствуйте, товарищи!» Неудержимо хотелось обнять всю эту землю — свою родную, русскую, — которая медленно наплывала навстречу поезду.

Крепко сжав руку Кедрова, Оля не отрывала восторженных глаз от полей, сопок, уходивших к горизонту на русской стороне.

А впереди стальные ленты сверкающих на солнце рельс указывали поезду путь в Россию, в Советскую Россию, — путь на Родину!



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1. Нерадуший приём . . . . .	5
2. Товарищ по университету . . . . .	11
3. «Великая, бескровная» . . . . .	15
4. Где правда? . . . . .	19
5. «Счастливая Хорватия» . . . . .	26
6. Любую работу—на любых условиях . . . . .	36
7. — У кого целые подмётки? . . . . .	42
8. «Белые негры» . . . . .	47
9. Полноправный член общества . . . . .	52
10. Степан Кузьмич . . . . .	57
11. Четыре стакана за деньги, пятый даром . . . . .	63
12. Золотых дел мастера . . . . .	69
13. Основная специальность . . . . .	74
14. Истоки жизненной правды . . . . .	81
15. Ротмистр Павлищев . . . . .	88
16. «Ваша посиди, наша подумай» . . . . .	96
17. Интеллигентные кельнерши . . . . .	101
18. «Тимошка» . . . . .	113
19. Совы, киты и квнты . . . . .	117
20. Магазинёры . . . . .	127
21. «Стрелки» и «хапалы» . . . . .	133
22. Пусть медведь работает! . . . . .	138
23. Живой товар . . . . .	144
24. Мелочи жизни . . . . .	149
25. Крупицы радости труда . . . . .	158
26. Шавки тякают из подворотни . . . . .	162
27. Крепкая опора . . . . .	169
28. Представитель прессы . . . . .	176
29. «Нужные» люди . . . . .	185
30. Пескари и щуки . . . . .	192
31. В Иерусалим на богомолье . . . . .	202
32. Кот Васька слушает да ест! . . . . .	211
33. Золотые слова Настасьи Петровны . . . . .	221
34. Предатели и патриоты . . . . .	228
35. Там—Россия! . . . . .	237

36. „Диверсанты“ . . . . .	244
37. Порошок . . . . .	253
38. Пятая национальность . . . . .	260
39. Таня . . . . .	267
40. Старая гвардия умирает, но не сдаётся! . . . . .	278
41. Своя линия . . . . .	290
42. Война! . . . . .	294
43. „Стукачи“ . . . . .	299
44. „Дружеская помощь“ . . . . .	304
45. „Наталка-Полтавка“ . . . . .	312
46. „Брёвна“ . . . . .	317
47. Ось лопнула!	324
48. Наши самолёты . . . . .	329
49. Жизнь начнется снова . . . . .	336
50. Тяжёлая утрата . . . . .	343
51. Гул заводских станков . . . . .	350
52. Надо работать по-советски . . . . .	354
53. Ван Чи-фу . . . . .	360
54. Ожившая царевна . . . . .	371
55. Руки прочь! . . . . .	381
56. Партизанский штаб . . . . .	387
57. „Ходовые испытания“ . . . . .	391
58. Фридман сфотографировался лёжа . . . . .	47
59. Лес зазеленел . . . . .	48
60. Дедушка с костылём . . . . .	49

Георгий Николаевич Волокитин

**БУРЕЛОМ**

Оформленне худ. Р. АНАНЬИНА

Редактор И. И. Пантелеев

Худ. ред. А. П. Масленников

Тех. ред. Л. Ф. Ильина

Корр. П. А. Амурский, Н. С. Кобежикова

Подписано к печати 31 декабря 1957 г. Формат бумаги 84×108 $\frac{1}{4}$ з. Печ. л. 26 $\frac{1}{4}$ .  
А400731. Уч.-изд. л. 22,12. Тираж 30.000 экз. Зак. 3560. Цена 8 руб 15 коп.

Типография из-ва „Советская Хакасия“, г. Абакан

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строки		Напечатано	Следует читать
	сверху	снизу		
10	—	12	благообразный	благообразный
28	1	—	зародилось	зародилась
61	—	6	заговорил, вздохнув	заговорил, вздохнув,
			слесарь—	слесарь—
91	7	—	«иностранцами»	«иностранцами»
125	1	—	ребятах	ребятах
158	—	9	писал об всём	писал обо всём
169	—	16	— И мы, можно сказать,	— Их мы, можно сказать,
177	1	—	Кузьмы Силантьича	Кузьмича, Силантьича
239	21	—	ставленник военной	ставленник военной
251	—	8	миссии.—Танака-сан	миссии Танака-сан.
307	—	1	о котором	о котором
310	—	21	протянув	протянув
363	9	—	письма	письмо
384	—	12	Танька-сан	Танака-сан
406	7	—	деверю	дверью
			girls	girls

6

8/11/84  
09/24/8373

Цена 8 руб. 40 коп.

Хакасское книжное издательство  
Абакан 1958

